

# РУССКИЙ АЛЬМАНАХ

1981

ПАРИЖ

Дорогому Диме Швацу -  
обычный экземпляр

от  
Русский Альманаха

с благодарностью за  
уточку и с надеждой, что  
номериванный, авторский экземпляр

От всей семьей и друзей!

Зинаида

Шахматова

Париж

1981

август

# ALMANACH RUSSE

ZINAÏDA SCHAKOVSKOY

RENE GUERRA

EUGENE TERNOVSKY

Paris  
1981

# РУССКИЙ АЛЬМАНАХ

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

РЕНЭ ГЕРРА

ЕВГЕНИЙ ТЕРНОВСКИЙ

Париж

1981



*Настоящее издание отпечатано в количестве  
одной тысячи экземпляров.  
Сто экземпляров этого Альманаха  
на веленовой бумаге,  
нумерованные от 1 до 100  
и пять именных, в продажу не поступают.*

Обложка работы С. ГОЛЛЕРБАХА

*Outre l'édition courante, limitée à mille exemplaires,  
il a été tiré de cet ouvrage cent exemplaires de luxe  
sur papier velin supérieur,  
numérotés de 1 à 100  
et cinq exemplaires Hors Commerce.  
Le tout constituant l'Édition Originale.*

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation  
réservés pour tous les pays, y compris l'U.R.S.S.  
World Copyright © 1981 by l'Almanach russe. Paris.

# П Р О З А



## ТОМОЧКА-ПЕСИК

(Отрывок из романа «Эпопея»)

Подарили нам Томочку, чудного песика: понтера!

Томочка, песик — такой самоокий, такой длинноносый ушан: повисает ушами, коричневый, с беложелтою грудью и с твердою шишкой на узком затылке; опустит свой нос и ушами своими покроет и нос (мокрый нос), и шерстистые, псиные щеки свои; а из черной губы выпускает до полу слюну.

— «Том, засмейся!»

И кожа его на шерстистой щеке (с бородавками) — морщится; глазом косится; и — дернется трехволосая бровь; и наставится кости ломающий клык, дозирующий все, очень крепкий, умеющий кости раскракать. Престрашная морда; но — хвостиком весело Томочка ходит: налево, направо — тук-тук, тук-тук-тук.

Восклицают:

— «Смотрите-ка!»

— «Песик смеется...»

А мамочка в розовой кофточке, вздернет бедовое личико родинкой вверх, распутивши волнистую густоросль мягких, каштановых прядей, всплеснув быстро ручками с желтоливым бериллом на пальчике — Томочку, песика, возьмет за уши; уши натянет на нос; и показывает глазами на уши:

— «Породистый понтер!»

А папочка, взяв с тарелки куриную кость, перед Томкой пройдет *топ-топом* и *скрипом*, наткнувшись на стул; озираясь плутовато и собираясь в нас запустить своим носом — скуластый, брадастый, он косточкой дирижирует в воздухе, рывкнувши стих свой:

Не бил барабан перед смутным полком  
Когда мы вождя хоронили!

Том (вот умный песик!), он знает, что нужно: привздернув уши и жарко дыша языком, в пол роняющим слюни, захлопает по-

полу хвостиком (в тон); «барабану» подгамкнет, припрыжет; а папа — подтопнет, подпрыжет над Томочкой; выкрикнет:

— «На!»

Кость швырнет: и поймает, подпрыгнувши, Том ту косточку ртом; и пройдетя в переднюю: кракать ей, костью, он там обитает, на псином матрасике; слушая *краканье*, папочка — улыбается, приподнявши очки жестяные на лоб, вылезавший прямо на нас из-под косм, улыбается ртом и раскосыми, малыыми, будто татарскими глазами:

— «Знаете ли — да, да: это Томочка, знаете ли, читает газеты; грызенье костей у собак, это, знаете ли, газетное чтение: очень серьезное дело-с!»

И все мы в восторге: наполнилась Томочкой жизнь; стало весело; то, придя, рано утром к постели, передними лапами — «скок» на постель; и — облапит: лизнет языком прямо в губы (и тащут меня к рукомойнику: будет лишай на губах). А уж Томочка цацает звонким ошейником прочь: у него есть серебряный кольчатый очень ошейник; и делает этот ошейник «ца-ца» на весь дом; собирается томкина кожа на шею свободными мягкими складками; мама натянет на четверть аршина ее; и — укажет нам глазками:

— «Томкина кожа в какие угодно слагается складки: породистый понтер!»

Породистый понтер!

До Томочки жизнь протекала моя: сиротливо, лениво; мне — скучно; пойду выковыривать глинку из печки бывало: и — в ротик... Невкусная глинка; грызну лакированный краешек кресла: невкусно опять. Иль примусь языком я расталкивать свой молочный зубок: он — качается, раскачается до того, что рукою я в ротике заверну свой зубок; и — подергиваю от скуки его; делать нечего: скучно. А с пеской — не то.

Если Томочке прямо под носик подставить со столика зеркало, Томочка нос заворотит от зеркала: очень ему неприятно увидеть себя. Если Томочке схватиться за хвост и хвостом его собственным щекотнуть мокрый нос, — то он бросится мордой за собственным хвостиком; и начинает кружиться, лоя — свой же собственный хвост. Если же

мамочка сядет за табуретом пред старым пьянино и запоет из Маскот, —

О, мой Пиппо, я та же вся,  
И так же все люблю тебя, —

— Том, свернувшийся калачом около печки, свой нос положивший под хвост (он ведь спал, милый песка!), как вскочит и примется громко фыркать и хлопать ушами; и — взвояет совсем огорченно; и горько скосив окровавленный глаз, пробирается около стенки с поджатым хвостом — вон из комнаты; носом и лапою дверь отворяет себе; убирается прочь он, в переднюю: вздрагивать всем породистым телом и тихо присвистывать носом; порою: свернувшись на войлочной, грязной подушке, куда он запрягивал кость, он гамкнет во сне на весь дом; папочка мой, яснолобый, такой ясноглазый, тотчас прибежит в коридор и подкинувши в воздухе перочинным ножом, он шутовски над Томочкой, нам на утеху, свою вытопатывать песенку примется тупоносою ногою, — про Томочку, им сочиненную:

В воздухе, желтом от вони,  
Том, благороден и прост,  
Грезит грызней и погоней  
Нос подоткнувши под хвост.

Этот песинька распространяет нам запахи: часто приносит себе на подушку тухлятину с улицы; Аннушка примется эту тухлятину от него отнимать; пес — рычит: угрожает. Раз — очень пахло; и все — «фу-фу-фу!» Затыкали носы и разгневанно отыскивали источник заразы; и — отыскивали: принес со двора превонючую тряпку наш Том; ею чавкал он; отнимали, а он, накрывая вонючую тряпку решительной лапой, на всех повернулся; и вздернув слюнявую щеку, всем выставил клык:

— «Ррр-га-гам!»

Тряпку отняли; он поглядел окровавленным глазом обиженно как-то. Какая невкусная тряпка! И как это Томочка может отведывать гадости эти?

Бывало все скажут:

— «Пошел, гадкий пес!»

— «Фу-фу-фу!»

И закроют носы носовыми платками; и Томка, испуганно бросивши взгляд и поджавши свой хвост, убегает: он знает, что сделал. Бегу утешать я печального песика:

— «Томочка, это — не ты; это — бабушка!..»

Если кто-нибудь скажет:

«Где хлыст!»

Пес — бежит.

Раз пришла тетя Дотя, рассказывая про негодяйство какое-то: папочка вспыхнул; и пальцы его заплясали горошиками:

— «Ах негодяй, — я б хлыстом его!»

Томка, свернувшийся под ногами моими, как вскочит; скосив укоризненно глаз, побежал вон из комнаты; Томочку оскорбили напрасно: я — в слезы!

...а...

Вся жизнь — полна песиком.

Утром обходит он нас: тыкнет мордой в постель: «Ффууу» и царапает лапами в мамину спальню; бывало, он будит ее, подпрыгнув передними лапами на одеяло, над спящею мамой, облапивши, стонет — с воняющим жиром во рту; это просит ее он: запрятать ему под подушку ком жиру:

— «Пошел, пошел Том».

Средь дня мы гуляем: я, Томочка, Аннушка:

«Том, гулять!»

Примется быстро мотать головой, громко фыркать и бегать туда и сюда; на улице бросится — за черномордиком-песиком: нюхать под хвостиком (песик — доволен!). Иль устало метнется на галку: клювоносовая, чернолапая галка зачакает; и — отскочит. Раз встретивши рыжего сеттера, хвост приподнял и принялся откидывать снег, забросав свои задние лапы; я знал, что такое (мне папа уже объяснил); это — способ ругаться собак: «Ты то самое, что зарывают ногами благовоспитанные собаки». И псы — обижаются; начинают подки-

дывать снег задней лапой: «Ты сам — то же самое». Псы подбегают к стене — поднимать над стеной свои ноги; то — оставляют друг другу визитные карточки (папа мне растолковывал это). Вернувшись с прогулки, Том тихо сидит, нос опустит (и свесятся уши, закрыв ему нос); он расставит передние лапы, а задние бросит: какая-то раско-ряка! И ночью бывало, когда все уедут, так тихо, темно: жутко мне; я — в постельке: прислушиваюсь. Тихо-тихо: лишь Том из передней подгамкнет во сне; и — не страшно: есть — песик!

. . . . .

Ужасное произошло: Том под конку попал; принесла его Аннушка с переломанной лапой, со сломанным боком, с лиловым распухшим, как шар, животом. Он дрожал, не виждал, — с сухим носом; большими глазами посматривал; обложили свинцовой примочкою Томку; и доктор собачий сказал:

— «Дело плохо: не выживет пес; будет мучиться долго; и лучше бы — пристрелить.»

Мама, Аннушка, Дарья, я — в слезы:

— «О нет, — никогда!»

Так застал нас в слезах возвратившийся с лекции папа: он был в синем, форменном фраке, с портфелем под мышкой; склоняясь над Томочкой, маму похлопал:

— «А жалко ведь... песика... Но, Лизочек, Лизочек — не плачь. Томка — сложная знаешь ли, эдакая монада; он есть государство монад; в государстве распалась гармония. Томочка перейдет, знаешь ли, — в формы высшие.»

— «Вы так думаете?»

Мамочка недоверчиво поглядела на папу; его окружили мы; и ожидали рассказа о судьбах несчастного песика; папа, совсем вдохновенный, собравши в кружок все семейство, прочел превосходную лекцию: Томка есть форма души своей; теперь та душа перейдет в совершенные формы; и Томка, такой, каким знаем его, распадется; но Томка родится опять; и мы разливались слезами над Томкой, над папочкой, ставшим с портфелем в руке, в синем, форменном фраке — среди нас.

— «Что же, может родиться он?»

— «Ну конечно, Лизок!»



И подумавши, папа вспыхнул, охваченный духом:

— «Он — умный пес: добродетельной жизни!»

Горячие слезы о томкиной участи в нас перешли в восхищенье пред будущей участью пса: и несчастье объяснялось; от нас научившись быту людскому, развил преждевременно он, человеческое сознание; и — побежал поскорее под конку: сломать свою ветхую, псиную жизнь; милый песик пылал нетерпением: стать человеком!

Его пристрелили.

Мы долго грустили; ночами я слышал, как цацал ошейник (серебряный, Томкин); страннее всего: слышал — папа; он ночью с зажженою свечкою выходил в коридор; и шептал сам с собою:

— «Да-с!»

— «Знаете...»

— «Чудеса...»

Выходила в переднюю — мама, с свечою в руке:

— «Вы что это?»

— «Знаешь ли — так себе...»

Мама же перебила.

— «Вы слышали Томкин ошейник: я — слышала тоже».

Потом перестали мы слышать: должно быть, родился наш Томочка где-нибудь — маленьким мальчиком.

Мы еще — встретимся, станем товарищами: в поливановской гимназии, может быть, где я буду когда-то учиться.

*Андрей Белый*

*Из собр. А. Я. Полонского, Париж.*

### ОСТРОВК В СУМЯТИЦЕ ЖИЗНИ: РАССКАЗ О ТОМОЧКЕ-ПЕСИКЕ

Прелестный рассказ Андрея Белого «Томочка-песик» публикуется впервые. Подзаголовок «Отрывок из романа "Эпопея"» включает этот рассказ в цикл автобиографических текстов, которые Андрей Белый одно время думал объединить под общим заглавием: «Я — эпопея». Этот большой замысел можно проследить в разных публикациях Белого, но как таковая «Эпопея» не увидела света. Замысел родился в Дорнахе в первые годы Мировой войны: первым его ростком является «Котик Летаев», написанный в Швейцарии и опубликованный в России, в «Скифах» Иванова-Разумника. Однако в предисловии к журнальному изданию Белый представляет свою повесть как вступление к будущему роману «Моя жизнь». Личное, автобиографическое служит лишь материалом для этого «романа». В сущности для Белого речь идет не о нем одном, и даже не об эпохе, им пережитой, а об «эпопее» человеческого «я», вырастающего в «Я» самосознания. В детстве Котика «проявляется» детство человечества. Новорожденный Котик протягивает руку будущему «новорожденному» самосознающему Андрею Белому. Жизнь с маленькой буквы является лишь эскизом к Жизни с большой буквы. Этот путь Андрей Белый впоследствии назовет «эпопеей». Само слово «эпопея» мелькает в предисловии к «Запискам чудака» \*). Белый объясняет, что, хотя они были задуманы независимо от «Эпопеи», «Записки» как-то сами влились в его огромный замысел «произведения, долженствующего развиваться в ряд частей или, может быть, томов». Одним из мотивов эпопеи «Я» является тема «возвращения на родину». (В 1915 году Белый возвращается в Россию из Базеля через Париж, Лондон и Скандинавию, чувствуя погоню за собой каких-то загадочных, злых и мифических шпионов-преследователей). Воспоминания этого «путника» потом расчленились на «Путевые записки» (на основе газетных фельетонов 1911-1912 гг. — это путешествие Белого в Сицилию, Тунис, Египет и Палестину) и на «Записки чудака». Некоторые главки были опубликованы в 1922 году в «Московском альманахе» под заглавием «Я — сумасшедшее». Мистический замысел подчеркивается самим автором: «Я в моей "Эпопее" надеюсь с достаточной ясностью показать: перемещения сознания могут кончиться и не одним сумасшествием, а чем-то бóльшим, о чем говорит Ангел Силезский» («Московский альманах»).

\*) «Записки мечтателей», том I, Алконост, Петербург, 1919.

Другим, не менее важным мотивом «Эпопеи» является, так сказать, «возвращение в детство».

От зародыша человеческой души в новорожденном ребенке до зародыша сверхчеловеческого, космического сознания: эта руководящая нить неосуществленной, грандиозной «Эпопеи» Белого проходила уже через его роман «Петербург». «Герой "Я" воображает, что в него опустилось Я мировое — в пробитое темя», — пишет он в 1922 году. Однако в «Петербурге» эта тема еще завуалирована иронией, и «брешь» в темени сенатора — лишь гротескный вариант этой мистической бреши в храме «Я». В «Эпопее», по крайней мере в тех фрагментах задуманной многотомной «Эпопеи», которыми мы располагаем, защитная ирония спала; остается или «сумасшествие», или детский юмор.

Андрей Белый недаром определял свой образ мышления и восприятия как «спиральный». Не только каждое его произведение сверх видимой мозаичности построено по принципу многозначной «спирали», но и творчество его целиком повинуетя этому принципу: одни и те же «единицы» его фабульного мира неизменно возвращаются, однако каждый раз в новом, более глубоком, выстраданном виде. От «Симфоний» к «Петербургу», от «Петербурга» к «Эпопее» — эти «единицы» переходят из одного вихря значений в другой.

Рассказ «Томочка-песик» ближе всего к «Преступлению Николая Летаева». «Преступление Николая Летаева» было осознано как первый том десятитомной «Эпопеи». Главы из этой книги были опубликованы в «Современных записках» в 1922 году со следующим уведомлением: «"Преступление Николая Летаева" — первый том серии томов "Эпопеи", задуманной автором».

По своей детской простоте, по своей удивительной непосредственности, а также по своей ритмической (гексаметрической) линии рассказ о Томочке-понтере несомненно фрагмент «Преступления Николая Летаева» (вышедшего отдельным изданием лишь в 1928 году под новым заглавием: «Крещеный китаец»\*\*) «Преступление Николая Летаева», на первый взгляд, — продолжение «Котика Летаева». Однако «Котик» написан в разгар антропософского увлечения Андрея Белого. Каждый обломок быта преломляется в нем через призму «Самосознания». Страдания «роста» Котика становятся муками человека в процессе духовного перерождения. Котик умирает на кресте,

\*\*) В первом томе своих мемуаров, «На рубеже двух столетий», Белый еще осложняет историю своего замысла: «Крещеный китаец» становится там разросшейся «первой главой» повести «Преступление Николая Летаева», никогда не написанной.

распинаемый бытом. В «Преступлении Николая Летаева» аллегоризм убывает, краски и рельеф каждого предмета, каждой «единицы» быта распределяются более уравновешенно; сложная архитектоника «быта» кристаллизуется в новом, умиротворенном освещении. Монументальность, «эпичность» целого достигается путем ровного, почти гомеровского освещения каждой детали.

Впрочем, в том же 1922 году, когда выходят в свет первые главы «Преступления Николая Летаева», Андрей Белый основал, вместе с М. Вишняком, литературный ежемесячник опять же под заглавием «Эпопея». (Вышло всего четыре номера). В своем вступлении Белый объявляет «эпопейность» эпохи. Действительность осмысливается им как возвращение на родину будущей культуры, как «одиссея». Он провозглашает «эпопею», «Гомеровский эпос грядущего, близкого». Он осуждает «мертвую культуру Европы», рассматривает ее как «дребезги» гомеровской культуры и призывает к «новому Гомеру»: «Самым заглавием «Эпопея» мы говорим «Эвое» — грядущему, которого пока еще нет в осязаемых формах. В неосязаемом, в душах — оно уже есть: Гомер будущего искусства уже зачат». Сам, в первой книге своей «Эпопеи», в «Преступлении Николая Летаева», Белый стремится к этому «гомеризму», к возобновленному, мифическому, уравновешенному осмыслению «дребезгов» жизни.

Итак, Белый называет «эпопеей» все свои творческие предприятия 1921-1922 годов. «Эпопейность» его лозунг. Гомер, освящаемый новым религиозным сознанием, — его идеал.

Каким образом и почему выпала из «Преступления Николая Летаева» главка о Томочке, мы не знаем. Дурацкие стишки отца напоминают нам не только рифмованные экспромты отца Котика, но и шутки в стихах сенатора Аблеухова в «Петербурге». Эти гротескные отцовские «выбеги» из профессорского кабинета в быт семьи наполняют все, без исключения, книги Андрея Белого. Вот, например, как описывается «папа» в первой главе «Преступления»: «А папа сидит юмористиком: едко, раскосо смеется и смотрит внимательно, как положили турусы на дроги: стегнут лошаденку; и благоглупость — поехала; белендрикает очередной белендрия!». (Между прочим, отметим задорный вызов Белого всем будущим переводчикам: поди-попробуй!). Однако профессор Бугаев не сводился лишь к шуточности, к математичности, к фанатическому изгнанию из быта всего иррационального. Он пленял Котика (т. е. Бореньку Бугаева, потом ставшего Андреем Белым) и своей кротостью, беззащитностью. В «Томочке» он прелестной своей выдумкой о переселении души песика утешает всю семью, приводя рассказ к неожиданному, нежному, поэтическому катарсису. Мама Котика поет арию из оперетки «Маскотт» французца Одран. Главка «Рулада» в «Крещеном китайце» вся отдана

«маминой» линии: мама играет, поет, воюет с «математичностью» и с «нумерацией» папы. «То мама: опять принялась выговаривать; яркает грацией, яркой градацией, жестикуляцией гаммы: от птичьего пеня до... тигра; лимонным цветком нежно пахнет; дивуется взлетными бровками: глазки — анютины». Там же мама поет ту же арию о Пиппо из оперетки «Маскотт»...

Преступление Бори Бугаева состояло в его неумении преодолеть глубокий разлад между отцом и матерью. То он весь отдавался «нумерации», и мать с отвращением отталкивала большелобого сынка с упреком: «весь — в отца!». То он отдавался музыке, сказкам, чуждался отца и чаще всего уходил в уединенный мир своих собственных фантазий. Чувство «преступности» пропитало все его детство.

«Живешь, ощущая преступность свою, без вины виноватость, как выросший рог: его надо утаивать. Лоб мой вышел таким рогом: большим, неприличным; и мама бранила за лоб, закрывала кудрями». («На рубеже двух столетий»). «Преступление лба» отравляет всю жизнь Котика. Скандал вспыхивает в связи с «подлогом»: несколько недель подряд Котик ходил в читальню и пропускал занятия в гимназии. На вопрос воспитателей: «Куда пропал?» он солгал: «Болел».

Андрей Белый удивительный рассказчик: каждая деталь у него выпуклая, красочная, мифическая. Рассказ о Томчике на диво пропорционален, совершенен, и, как соната, замыкается нежным и трогательным финалом. Все протагонисты детской «эпопеи» налицо: папа, мама, няня и Котик. Все жестикулируют, играют, грызутся согласно своей «роли». Однако Томчик совершает чудо: он примиряет всех. При нем все заплясало, папа «проходится топтопом и скрипом», и дирижирует невидимым оркестром. Под пение мамы Том неистово вытанцовывает свою радость. В самом буквальном смысле Том, своим псиным присутствием, наполняет и «опсиняет» жизнь мальчика Котика.

Глаголы у Белого чудесным образом растут и размножаются, бесконечно, оснащаясь новыми приставками, капризно озвучаясь новыми суффиксами: беловский глагол роится, взвихривается... За свое краткое существование в нынешнем своем облике Томочка спасает всех от скуки, от безразличия, от «буддизма» страшноватого быта.

Как поется в знаменитом романсе И. И. Козлова, приводимом здесь, он стал «вождем» семьи, но скоро придется его похоронить под воображаемый бой барабанов, как и «сира Джона Мура» \*\*\*)... От

\*\*\*) Это стихотворение Козлова на самом деле — перевод с английского; оригинал принадлежит Чарльзу Вульффу.

него остается еще на время отголосок, эхо, «цапцапанье» его ошейника...

По морфологии этого фрагмента «Эпопеи» читатель может судить об искусстве Андрея Белого. Поражает свежесть восприятия, рельефность жестикуляции, точность звуковых впечатлений. Поражает «уместность» каждой детали: и клык пса, и берилл на пальце мамы, и воображаемый барабан, которому «подгамкивает» Томчик. Все на месте потому, что все охвачено великолепным, «эпопейным» ритмом: трехсложный ритм, величественный, как античный гекзаметр, и игривый, как песенный рефрен, выстраивает предметы, дирижирует всем этим детским космосом. Это не проза, не стихи, а «эпопейное оформление» жизни: по умиленному примеру Томчика мы, даже не сознавая этого, убеждаемся, что действительно у Тома есть душа, что души на самом деле переселяются, что воистину разворачивается великая эпопея «Я», вырастающего из крохотного, новорожденного, псиного «я»...

Непрерывность ритма передает непрерывность процесса. Все «заквашено» чем-то; что-то пытается воплощаться, достигнуть новых, более совершенных форм: Томкин ошейник по ночам долго бренчит...

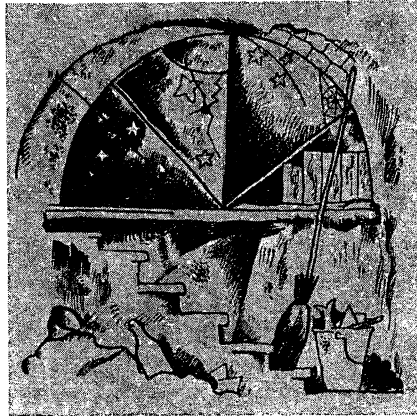
Любимой книгой Андрея Белого, которую он вечно перечитывал, был роман Диккенса «Давид Копперфильд». «Диккенс — мое перманентное чтение, и теперь я читаю Диккенса; в последний раз я читал «Давида Копперфильда» в 1927 году; первый раз прослушал в 1887-м: сорок лет читаю этот бессмертный роман (...) знаешь, как свои пять пальцев фабулу Копперфильда, и снова путешествуешь по изученным пространствам романа». («На рубеже двух столетий»).

Фабула «Копперфильда», на самом деле, была близка сердцу Белого: в «преступлении» сироты Копперфильда он узнавал свое собственное «преступление». В семье Михаила Соловьева он находил такой же нежный и чудачествующий приют, как и Давид у мисс Бетси. Но больше всего ему нравились «пространства» романа Диккенса, объемность восприятия, «мифологичность» каждого эпизода, Диккенс — это вся ностальгия «сироты» Бугаева, вся оторванность от мира взрослых, затвердевших форм, его тоска по какому-то умиротворенному, полудетскому, полуангельскому, «иному» миру. Он тем более нуждался в прочной связи (ритма, мифов), что так остро ощущал «бессвязность», «абракадабру» течения жизни.

Томчик, несомненно, существовал; но он остался исключением в жизни семьи декана Бугаева. Мы не находим упоминаний о нем в

других мемуарных текстах Белого. В «Котике Летаеве» лишь мелькает «Лев», добродушный и мордастый сенбернар, появления которого мифологически боялся Котик, когда его водили на Собачью площадку (увы, исчезнувшую под небоскребами Нового Арбата!). У Давида Копперфильда нет песика-друга. Есть только огромный и злой пес отчима Давида, и самого Давида унижают до собачьего состояния после того, как он укусил г-на Мэрстона: вешают ему на спину надпись: «Берегись, он кусается». Может быть, эти отрицательные «пси-ные» образы вытеснили милого Томчика, вычеркнули этот светлый миг дружбы с Томчиком из «эпопеи» взрослого мальчика Бугаева-Летаева-Андрея Белого-Леонида Ледяного. Из всех танцующих псевдонимов и масок запуганного профессорского сына Бореньки Бугаева самый подходящий, самый пляшущий — это все-таки детское имя: Котик. Оно рифмуется со словом: песик. У Котика умер любимый песик Томчик. Его раздавило конкой. И выросший в Андрея Белого Котик исключил Томчика из «Эпопеи». Наверное, из любви к нему, чтобы этот островок остался цел и незатронут сумятицей жизни...

*Жорж Нива*



## ЧОРТЬ

## Вставка (пропускъ) № 1 \*)

Вторымъ же вопросомъ батюшки, еще болѣе, хотя иначе меня удивившимъ, было: — Съ мальчиками цѣлуешься? — Да. Не особенно. — Съ которыми же? — Съ Володей Цвѣтаевымъ и съ Андреевскимъ Борей. — А мама позволяетъ? — Съ Володей — да, а съ Борей — нѣтъ, потому что онъ ходитъ въ Комиссаровское Училище, а тамъ, вообще, скарлатина. — Ну и не надо цѣловаться, разъ мама не позволяетъ. А какой же это Цвѣтаевъ Володя? — Это сынъ дяди Мити. Но только я съ нимъ очень рѣдко цѣлуюсь. Разъ. Потому что онъ живетъ въ Варшавѣ.

О, Володя Цвѣтаевъ, въ красной шелковой рубашечкѣ! Съ такой же большой головой, какъ у меня, но ею не попрекаемый! Володя, все свое трехдневное пребываніе непрерывно раскатывавшийся отъ передней къ зеркалу — точно никогда паркета не видалъ! Володя, вмѣсто соборъ зорливый «Успенскій заборъ» — и меня поправлявший! Володя, заявившій обожавшей его матери, что я, когда приѣду къ нему въ Варшаву, буду жить въ е г о комнатѣ и спать въ е г о кроваткѣ.

— Но при чемъ тутъ чортъ? Ахъ, все такое — чортъ: тайный жаръ.

С в о е г о не предавъ и все главное утаивъ, я, естественно, на другой день безъ радости — и не безъ робости — подходила къ причастію, ибо слово матери и соотвѣтствующее видѣніе: «Одна дѣвочка на исповѣди утаила грѣхъ» и т. д. все еще стояли у меня въ глазахъ и въ ушахъ. До глубины я, конечно, въ такую смерть не вѣрила, ибо умираютъ отъ діабета, и отъ слѣпой кишки, и еще, разъ, въ Тарусѣ, мужикъ — отъ молніи, и если гречневая каша — хотя бы о д н а гречинка! — вмѣсто э т о г о горла попадетъ въ т о, и если наступить на гадюку... — отъ т а к о г о умираютъ, а не...

**NB!** Всѣ мои «вставки» — рудневскіе пропуски, какъ неинтересные для «средняго читателя». М. Ц.

\*) Послѣ: — такъ мальчишки на улицѣ ругаются.



Поэтому, не упавъ, не удивилась, а запивъ теплотой въ полной сохранности отошла къ своимъ — и потомъ меня всѣ поздравляли — и мать поздравляли «съ причастницей». Если бы знали, и если бы мать знала — съ какой радости поздравленіямъ, какъ и бѣлому платью, какъ и пирожкамъ отъ Бартельса — изъ-за полной всего этого незаслуженности — не было. Но и раскаянія не было. Было — одиночество съ тайной. То же одиночество съ все той же тайной. То же одиночество, какъ во время безконечныхъ обѣденъ въ холодильникъ Храма Христа Спасителя, когда я, запрокинувъ голову въ куполь на страшнаго Бога, явственно и двойственно чувствовала и видѣла себя — уже отдѣляющейся отъ блистательнаго пола, уже пролетающей — гребя, какъ собаки плаваютъ — надъ самыми головами молящихся и даже ихъ — ногами, руками — задѣвая — дальше, выше — стойкомъ теперь! какъ рыбы плаваютъ! и вотъ уже въ розовой цвѣточной юбочкѣ балерины — подъ самымъ куполомъ — порхаю.

Чудо! Чудо! кричитъ народъ. Я же улыбаясь — какъ тѣ барышни въ Спящей Красавицѣ — въ полномъ сознаниі своего превосходства и недосыгаемости — вѣдь даже городской Игнатевъ не достанетъ! вѣдь даже университетскій педелъ не заберетъ! — одна — изъ всѣхъ, одна надъ всѣми, совсѣмъ рядомъ съ тѣмъ страшнымъ Богомъ, въ махровой розовой юбочкѣ — порхаю.

Что, мнѣ объ этомъ тоже нужно было рассказать «академику»?

Есть одно: его часто нѣтъ, но когда оно есть, оно, якобы вторичное, сильнѣе всего первичнаго: страха, страсти — и даже смерти: т а к т ъ . Пугать батюшку чортомъ, смѣшить догомъ и огорашивать балериной было не-прилично. неприлично же, для батюшки, все, что непривычно. На исповѣди я должна быть какъ в с ѣ .

Другая же половина такта — жалость. Не знаю почему, но вопреки ихъ страшности, священники мнѣ всегда казались немножко — дѣти. Такъ же, какъ и дѣдушки. Какъ дѣтямъ (или дѣдушкѣ) рассказывать гадости? Или страшности?

Кромѣ того, какъ мнѣ было рассказывать о т о м ъ , говорить о немъ о н ъ , когда для меня онъ былъ т о и т ы . Говорить о немъ ч о р т ъ , когда для меня онъ Мышатый: т ы , имя настолько сокровенное, что я и одна не произносила его вслухъ, а только въ постели или на полянѣ, шепотомъ: — Мышатый! Звукъ слова Мышатый былъ самъ шепотъ моей любви къ нему. Н о — шепотомъ это слово не существовало. Звательный падежъ любви, другихъ падежей не имѣющей.

Вѣдь если я о тебѣ сейчас пишу о н ъ , то вѣдь это потому что я о те бѣ пишу, не тебѣ! Въ этомъ вся ложь любовнаго разсказа. Любовь неизмѣнно второе лицо, растворяющее даже первое. О н ъ есть объективизація любимаго, то, чего нѣтъ. Ибо никакого о н ъ мы никогда не любимъ и не любили бы: только т ы , — восклицательный в з д о х ъ !

И — внезапное прозрѣніе — по-настоящему, до дна души исповѣдаться — во всемъ тебѣ во мнѣ (для ясности: во всемъ «грѣхѣ» твоего присутствія во мнѣ) — во в с е й м н ѣ — я бы могла — только тебѣ!

...Не тьма — зло, а тьма — ночь. Тьма — все. Тьма — тьма. Въ томъ-то и дѣло, что я ни въ чемъ не раскаиваюсь. Что это моя р о д н а я тьма!

Нѣтъ, со священниками (да и съ академиками!) у меня никогда не вышло. Съ православными священниками, золотыми и серебряными, холодными, какъ ледъ распятія — н а к о н е ц ъ подносимаго къ губамъ. Первый такой страхъ былъ къ своему родному дѣдушкѣ, отцову отцу, шуйскому протоіерею о. Владимиру Цвѣтаеву (по учебнику священной исторіи котораго, кстати, учился Бальмонтъ) — очень старому ужъ старику, съ бѣлой бородой немножко вѣромъ и стоячей, въ коробкѣ, куклой въ рукахъ — въ которыя я такъ и не пошла.

— Барыня! Священники пришли! Прикажете принять?

И сразу — копошеніе серебра въ ладони, переливаніе серебра изъ руки въ руку, изъ руки въ бумажку: столько-то батюшкѣ, столько-то дьякону, столько-то дьячку, столько-то просвирнѣ... Не надо бы при дѣтяхъ, либо, тогда ужъ, не надо бы намъ, дѣтямъ с е р е б р я н а г о времени, про тридцать с е р е б р я н и к о в ъ . Звонъ серебра сливался со звономъ кадила, ледъ его со льдомъ парчи и распятія, облако ладана съ облакомъ внутренняго недомоганія, и все это тяжело ползло къ потолку бѣлой, съ изморозными обоями, залы, на непонятно-жуткихъ повелительныхъ возгласахъ:

— Благослови, Владыко!

О - о - о - о ...

Все было — о, и зала о, и потолокъ — о, и ладанъ — о, и кадио — о. И когда уходили священники, ничего отъ нихъ не оставалось, кромѣ послѣдняго, въ филодендронахъ, о — ладана.

Эти воскресныя службы для меня были — вой. «Священники пришли» звучало совершенно какъ «покойники».

— Барыня, покойники пришли, — прикажете принять?

«Посрединѣ черный гробъ  
И гласить протяжно попь:  
Буди взять моги-лой!»

Вотъ этотъ-то черный гробъ стоялъ у меня въ дѣтствѣ за каждымъ священникомъ, тихо, изъ-за парчевой спины, глазѣлъ и грозилъ. Гдѣ священникъ — тамъ гробъ. Разъ священникъ — такъ гробъ.

Да и теперь, тридцать съ лишнимъ лѣтъ спустя, за каждымъ служащимъ священникомъ я неизмѣнно вижу покойника: за стоящимъ — лежащаго. И — только за православнымъ. Каждая православная служба, кромѣ единственной — пасхальной, в о п я щ е й о воскресеніи и съ высоты разверзтыхъ небесъ отрясающей всякій прахъ, каждая православная служба для меня — отгѣваше.

Что бы ни дѣлалъ священникъ, мнѣ все кажется, что священникъ надъ н и м ъ наклоняется, е м у кадитъ, изо всѣхъ силъ уговариваетъ и даже заговариваетъ: — «Лежи, лежи, а я тебѣ попою...» Или: — «Ну, лежи, лежи, чего ужъ тутъ...» Заклинаетъ.

Священники мнѣ въ дѣтствѣ всегда казались колдунами. Ходятъ и поютъ. Ходятъ и махаютъ. Ходятъ и колдуютъ. Охаживаютъ. Окуриваютъ. О н и, такъ пышно и много одѣтые, казались мнѣ не-нашими \*), а не тотъ, скромно- и сѣро-голый, даже бѣдный бы, если бы не осанка, на краю Валерійной кровати.

Отъ священниковъ — серебряной горы спины священника — только затѣмъ горы, чтобы с к р ы т ь, мнѣ и Богъ казался страшнымъ: священникомъ, только еще страшнѣй, серебряной горой: Араратомъ. И три барана дѣтской скороговорки — «На горѣ Араратъ три барана орали» — конечно орали отъ страха, — оттого что остались одни съ Богомъ.

Богъ для меня былъ — страхъ.

Ничего, ничего, кромѣ самой мертвой, холодной какъ ледъ и бѣлой какъ снѣгъ скуки, я за все мое младенчество въ церкви не

\*) Народное наименование чорта. — М. Ц.

ощутила. Ничего, кромѣ тоскливаго ожиданія: когда же кончится? и безнадежнаго сознанія: никогда. Это было еще хуже симфоническихъ концертовъ въ Большомъ залѣ Консерваторіи.

Богъ былъ чужой, Чортъ — родной. Богъ былъ — холодъ, Чортъ — жаръ. И никто изъ нихъ не былъ добръ. И никто — золь. Только, одного я любила, другого — нѣтъ: одного знала, а другого — нѣтъ. Одного мнѣ тасканьями въ церковь, стояніями въ церкви, паникадиломъ, отъ сна въ глазахъ двоящимся: расходящимся и вновь сходящимся — Ааронами и фараонами — и всей славянской невнятицей — навязывали, одного меня — заставляли, а другой — самъ, и никто не зналъ.

---

Но ангеловъ я — любила.

## САМЫЙ КОНЕЦЪ ЧОРТА

то-есть самый хвостъ ЧОРТА  
отсѣченный Рудневымъ.

Милый сѣрый догъ моего дѣтства — Мышатый! Ты не сдѣлалъ мнѣ зла. Если ты, по Писанію, и «отецъ лжи», то меня ты научилъ — правдѣ сущности и прямогѣ спины. Та прямая линия непреклонности, живущая у меня въ хребтѣ — живая линія твоей дого-бабье-фараоновой посадки.

Ты обогатилъ мое дѣтство на всю тайну, на все испытаніе вѣрности и, больше, на весь тотъ міръ, ибо безъ тебя бы я не знала, что онъ — есть.

Тебѣ я обязана своей несосвятимой гордыней, несшей меня надъ жизнью выше, чѣмъ ты надъ рѣкою: — *le divin orgueil* — словомъ и дѣломъ его.

Тебѣ, кромѣ столькаго, я еще обязана безстрашіемъ своего подхода къ собакамъ (да, да, и къ самымъ кровокипящимъ догамъ!), и къ людямъ, ибо послѣ тебя — какихъ еще собакъ и людей бояться?

Тебѣ я обязана (такъ Маркъ-Аврелій начинаетъ свою книгу) своимъ первымъ сознаниемъ возвеличенности и избранности, ибо къ дѣвочкамъ изъ нашего флигеля ты не ходилъ.

Тебѣ я обязана своимъ первымъ преступленіемъ: тайной на первой исповѣди, послѣ котораго — все уже было преступлено.

Это ты разбивалъ каждую мою счастливую любовь, разъядая ее оцѣнкой и добывая годрыней, ибо ты рѣшилъ меня поэтомъ, а не любимой женщиной.

Это ты, когда я съ взрослыми играла въ карты, и кто-то, нечаянно и неизмѣнно, загребалъ мой выигрышъ, вгонялъ мнѣ обратно въ глаза — слезы, въ глотку — слово: — А ставка была — моя.

Это ты оберегъ меня отъ всякой общности — вплоть до газетнаго сотрудничества — нацѣпивъ мнѣ, какъ злой сторожъ Давиду Копперфильду, на спину ярлыкъ: Берегитесь! Кусается!

И не ты ли, моей ранней любовью къ тебѣ, внушилъ мнѣ любовь ко всѣмъ побѣжденнымъ, ко всѣмъ *causes perdues* — послѣднихъ монархій, послѣднихъ конскихъ извозчиковъ, послѣднихъ лирическихъ поэтовъ.

Это ты — на всю свою непреклонность превышая распластан- ный въ сдачѣ городъ — послѣднимъ всходишь на сходни послѣдняго корабля.

Богъ не можетъ о тебѣ низко думать — ты же когда-то былъ его любимымъ ангеломъ! И тѣ, видящіе тебя въ видѣ мухи, Муши- нымъ княземъ, мириадамъ мухъ — сами мухи, дальше носу не ви- дящіе.

И мухъ вижу и носъ вижу: твой длинный сѣрый баронскій замшевый договъ носъ брезгливо и огрызливо наморщенный на мухъ — мириады мухъ.

Догомъ тебя вижу, голубчикъ, то-есть собачьимъ б о г о м ъ .

Когда я одиннадцати лѣтъ въ католическомъ пансионѣ ста- ралась полюбить Бога

*Jusqu'à la mort nous Te serons fidèles,  
Jusqu'à la mort Tu seras notre Roi.  
Sous Ton drapeau, Jésus, Tu nous appelles,  
Nous y mourrons en combattant pour Toi...*

— ты мнѣ не помѣшалъ. Ты только ушелъ на самое мое дно, вѣж- ливо уступая мѣсто — другому. — «Ну, попробуй — кротостью...» Ты никогда не снизошелъ до борьбы за меня (и за что бы ни было!), ибо все твое богоборчество — бой за одиночество, которое одно и есть власть.

Ты авторъ моего жизненнаго девиза и могильной надписи:

**Ne daigne !**

— чего? Всего: ничего не *daigne* — да хотя бы снизойти до здѣ- лежащаго праха.

И когда мнѣ на всей моей одиннадцатилѣтней жизни грѣхи изъ черной дыры чужихъ глазъ и чужой исповѣдальни было сказано:

— Un beau bloc de marbre se trouve enfoncé dans la boue du grand chemin. Un homme vulgaire marche dessus et l'enfonce encore plus profondément. Un noble cœur le dégage, le lave et en fait une statue qui dure éternellement.

Soyez le sculpteur de votre âme, petite Slave !

— чьи это слова?

Тебѣ я обязана зачарованнымъ, всюду со мной передвигающимся, изъ-подъ ногъ рождающимся, обнимающимъ меня какъ руки, но какъ дыханіе растяжимымъ, в с е вмѣщающимъ и в с ѣ х ѣ исключаяющимъ кругомъ своего одиночества.

И если ты когда-то въ видѣ сѣрой собачьей няни снизошелъ до меня, маленькой дѣвочки, то только затѣмъ, чтобы она потомъ всю жизнь сумѣла одна: безъ нянь и безъ Вань.

Грозный догъ моего дѣтства — Мышатаый! Ты одинъ, у тебя нѣтъ церковей, тебѣ не служатъ вкупѣ. Твоимъ именемъ не освящаютъ ни плотского, ни корыстнаго союза. Твое изображеніе не виситъ въ залахъ суда, гдѣ равнодушіе судить страсть, сытость — голодъ, здоровье — болѣзнь: все то же равнодушіе — всѣ виды страсти, все та же сытость — всѣ виды голода, все то же здоровье — всѣ виды болѣзни, все то же благополучіе — все ту же бѣду.

Тебя не цѣлуютъ на крестѣ насильственной присяги и лже-свидѣтельства. Тобой, въ образѣ распятаго, не зажимаетъ рта уби-ваемому государствомъ его слуга и соубійца — священникъ. Тобой не благословляются бои и бойни. Т ы въ присутственныхъ мѣстахъ — н е присутствуешь.

Ни въ церквахъ, ни въ судахъ, ни въ школахъ, ни въ казармахъ, ни въ тюрьмахъ — тамъ гдѣ право — тебя нѣтъ, тамъ гдѣ много — тебя нѣтъ.

Нѣтъ тебя и на пресловутыхъ «черныхъ мессахъ», этихъ привилегированныхъ массовкахъ, гдѣ люди совершаютъ глупость — любить тебя вкупѣ, тебя, котораго первая и послѣдняя честь — одиночество.

Если искать тебя, то только по одиночнымъ камерамъ Бунта и чердакамъ Лирической Поэзии.

Тобой, который есть — зло, общество н е злоупотребило.

Марина Цвѣтаева

Ванв, 19-го июня 1935 г.





## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Известно, что муж Марины Цветаевой, Сергей Яковлевич Эфрон, в качестве члена т. н. *Союза друзей советской родины* в Париже, был замешан в насильственной смерти бывшего агента ГПУ, Игнатия Рейса, убитого 4-го сентября 1937 г. в Пюлли близ Лозанны. После первых же допросов следственными властями в Париже, Эфрон (вместе с другими заговорщиками) счел за лучшее исчезнуть и, проехав через красную Испанию (тогда в полном разгаре гражданской войны), вернулся в Советский Союз.

Известно также, что сама Цветаева ничего не подозревала о преступных действиях мужа и, несмотря на то, что она, конечно, ни в чем не сочувствовала его политическим взглядам, все же вскоре решила, по свойственному ей принципу *верности*, сама присоединиться к нему (что она и сделала летом 1939 года). Это решение было во всех отношениях «цветаевское»: твердое, непоколебимое, чистое — но и (несмотря на противоположные утверждения некоторых специалистов) лишное всяческих иллюзий насчет той судьбы, которая ждала ее — и ее творчество — на родине. Следовательно (и именно поэтому), в течение 1938 года она подготовила огромный «архив» разных своих произведений, с целью их сохранения и в данном случае их напечатания «в нужный срок» на Западе, когда ее уж там не будет.

Этот архив Марина Ивановна намеревалась передать до отъезда своему другу Юрию Павловичу Иваску, с которым она была в переписке уже с 1933 года и которого она встретила в последний раз в Париже в декабре 1938 года. К счастью потомства, прозорливый, предусмотрительный Иваск, живший в то время в Эстонии, ей это отсоветовал. В статье «Благородная Цветаева» он передает разговор с Цветаевой 21-го декабря 1938 года:

— Перед отъездом отдала бы вам некоторые материалы.

— Не отдавайте, Марина Ивановна. Я живу в Печерах, в Эстонии. Вот-вот грянет война и нас оккупирует красная армия. Лучше отдайте Елизавете Эдуардовне Малер, профессору базельского университета.

Так Цветаева и сделала. Это было, по-видимому, в начале (весною) 1939 года. Е. Э. Малер в свою очередь передала эти «некоторые материалы» библиотеке базельского университета, где они и до сих пор хранятся (*Handschriftenabteilung: Depositum Marina Zwetajewa*).

Некоторые из этих бумаг, тогда еще «нигде не напечатанных», впоследствии вышли в разных изданиях (напр. цикл *Лебедный Стан*, поэма *Перекоп*, *Повесть о Сонечке* ч. II, статья *Посмертный подарок* [о Н. П. Гронском] и пр.). Но наряду с этими произведениями есть в базельском архиве и другие документы, представляющие весьма значительный интерес для цветаоведа. Как ни удивительно, эти материалы, насколько нам известно, остались и до сих пор без систематической обработки. С любезного разрешения властей базельской библиотеки мы недавно (в июле 1980 года) подвергли целый архив внимательному осмотру и сейчас занимаемся подробным исследованием его содержания. Полная разработка столь богатого материала, разумеется — еще впереди: если нам удастся, подробный труд о базельском архиве будет представлен на коллоквиуме, посвященном жизни и творчеству Марины Цветаевой, который состоится в Лозанне в августе 1982 года.

\* \* \*

#### ОРФОГРАФИЯ

В своей статье *О Марине Цветаевой*, Марк Слоним, упоминая яростно-враждебное отношение поэта к новому правописанию, пишет по этому поводу: «Она его сперва люто ненавидела, потом презрительно не любила, а только к 1925 году с неохотой с ним примирилась... однако, бесспорно одно: до возвращения в СССР в июне 1939 г., Марина Ивановна постоянно и исключительно пользовалась старой орфографией — «вплоть до ижицы», как это правильно отметил Глеб Струве в редакторском предисловии к книге *Лебедный Стан*. Можно было бы прибавить: «Да — и вплоть до ыты» — как это видно, напр., по оттискам второй части статьи *Живое о живом*.

Особенно бережно и ревниво защищала Марина Ивановна собственную свою фамилию — с такой устойчивостью, что к концу статьи о Рильке *Твоя смерть*, напечатанной по новому правописанию, ей пришлось как бы инстинктивно вписать ъ над (первым) напечатанным е. Есть и другой, еще более замечательный такой «случай» — случай до сих пор, кажется, никем не отмеченный. Это — цветаевские *Стихи к Маяковскому*, которые напечатались по новому правописанию, но вместе с тем фамилия поэта — напечатана по старому, т. е. через ъ: *Марина Цвѣтаева*. (Недосмотр в редакции? Соучастие в тайном заговоре молчания?! Озорная прихоть судьбы?..).

Другое цветаевское возражение относится к правописанию слова «чёрт» (чортъ) — которое, как известно, составляет заглавие одной из ее статей. При правке оттисков первой части своей *Повести о Со-нечке*, где это слово также встречается (речь идет о цирковом романе Германа Банга *Четыре Чёрта*), Цветаева постоянно исправляет там напечатанное «Черта» в «Чорта», и, на полях стр. 94, приводит весьма характерное замечание, полное смущения перед таким «неуважением к слову»:

Всѣ эти чертъ, черта — идиотизмы наборщика. Мнѣ и сейчасъ обидно за слово! МЦ.

#### О РЕДАКТОРАХ

Трудно, очень трудно было Цветаевой с редакторами (но и им — с нею — едва ли легче). Помнится, как она горько жалуется в письмах к Иваску:

«... В эмиграции меня сначала (сгоряча!) печатают, потом опомнившись, изымают из обращения, почуяв не-свое: тамошнее! Содержание, будто «наше», а голос — *ихний*. Затем *Версты* (сотрудничество у Евразийцев), и окончательное изгнание меня отовсюду, кроме эсеровской *Воли России*, (...) Но *Воля России* — ныне кончена. Остаются *Числа*, не выносящие меня, *Новый Град* — любящий, но печатающий только статьи и — будь они прокляты! — *Соврем. Записки*, где дело обстоит так: — «У нас стихи, вообще, на задворках. Мы хотим, чтобы на 6 стр. — 12 поэтов» (слова литер. редактора Руднева — мне, *при свидетелях*). ...»

(Письмо от 4-го апреля 1933 г.)

«... Кстати мне недавно вернули из *Совр. Записок* мою «Оду пешему ходу», уже набранную, — в последнюю секунду усумнились в понятности «среднему читателю». ...»

(12-го мая 1934 г.)

Бесспорно — самый яростный гнев, самую горькую иронию, самое лютое свое негодование, Цветаева сорвала на *Современных Записках* и в частности на несчастном Рудневе, названном ею (не совсем верно) «литературным редактором». Тем временем, в защиту Руднева вступил, между прочим, М. В. Вишняк (другой член редакции журнала) в одной статье, посвященной истории *Современных Записок* (напеч. в книге *Русская литература в эмиграции*, Питтсбург, 1972):

«... Руднев писал в журнале на социально-экономические темы (...) и он ведал сотрудниками-экономистами. С Цветаевой он сблизился по религиозной линии, а не потому, что он был близок ее творчеству. Подробности его сношений с поэтессой оставались неизвестны редакции. В частности, я узнал о конфликте лишь через 17 лет уже в Нью-Йорке, когда Руднев и Цветаева уже умерли...

... Положение Цветаевой было трагическим: не только материально безысходным, но и морально-политически нестерпимым. (...) Тем не менее ее раздражение, гнев и проклятия были неосновательны и несправедливы. Об этом свидетельствует хотя бы тот неоспоримый факт, что из 70-ти книг *Современных Записок*, Цветаеву печатали в 36 книжках. (...)

... В. Руднев не был «литературным» редактором.. (да такового вообще не существовало). Его оплошность вызвана была его переоценкой близости к Цветаевой и доверчивостью к ней. (...) Надо было знать деликатность Руднева, чтобы не вменять ему в вину того, что в исступлении вменила ему бедная, несправедливо обойденная Цветаева.»

Между Рудневым и Цветаевой недоразумение было, по-видимому, коренным и — взаимным, будто они говорили на разных языках. Выделять вину — не наше дело, да и вообще это теперь уже — пустая, бесплодная задача. Что цветаевские проклятия были «несправедливыми» — допустим; однако — с тем, что они были «неосновательными», нельзя согласиться. Ведь *слово* для Цветаевой было святое святых и, тем самым, — неприкосновенным; да и вообще — *ремесло* поэта она ставила выше, несравненно выше, всех остальных соображений. Притом — трудно не сочувствовать обидчивости «исключительной», разборчивой, взыскательной Цветаевой при одной мысли, что наизаветнейшие ее творческие жертвоприношения потому уродовали или просто не принимали, что они считались недоступными или неинтересными для — *среднего читателя* (!).

Как бы то ни было — цветаевские бумаги в базельском архиве усеяны вспышками негодования по отношению к Рудневу. Впрочем, некоторые из них действительно свидетельствуют о деликатности, упомянутой Вишняком. Например, на оттиске статьи *Дом у старого Пимена*, (стр. 230) печатный текст последнего абзаца читается:

«Если былъ у Д. И. Богъ — то Богъ ветхозавѣтный, губительный, Богъ съ засухой изъ ноздрей и съ саранчей за-пазухой, — т о т ъ Богъ, не нашъ».

Цветаева собственноручно заменяет слово «губительный» словом «убийственный» и комментирует:

Замѣнено по требованію В. В. Руднева — чтобы не задѣть «части нашей редакціи». М. Ц.

Подобное — в конце второй части статьи *Живое о живом*. Самая последняя фраза в печатном тексте читается:

«Такъ ты, рукой безвѣстнаго бытописца, еще до воссоединенія своего со стихіями, заживо взятьъ въ миѳъ.»

На оттиске, слово «бытописца» — заменено словом «проходимца» — вместе с заметкой на полях:

Замѣнено по требованію В. В. Руднева — дабы не обидѣть автора. М. Ц.

В другом месте (в первой части той же статьи), Цветаева жалуется на «скупость Руднева на мѣсто (мое — въ журналѣ)» потому, что имена Елизавета Ивановна Димитріева и Черубина де Габріакъ, часто повторяющиеся в статье, иногда напечатаны одними буквами (Е.И.Д., Ч. де Г.). Такое возражение может действительно показаться преувеличенным. Зато — заметка на полях первой страницы статьи *Искусство при свете совести* — особенно показательна; можно даже предположить, что она дает ключ ко всему несчастному недоразумению, разделившему автора и редактора. В печатном тексте, заглавием статьи следует звездочка, а внизу страницы редакторское примечание:

«Выдержки изъ книги того же наименованія.»

На базельском оттиске (стр. 305) это примечание, исправленное и дополненное рукою Цветаевой — совсем иное:

Выдержки из статьи того же наименованія, которую мой редакторъ Рудневъ превратилъ въ «выдержки»

На эти вещи — я злопамятна.

М. Ц.

Ванвь, іюня 1938 г.

#### **МАШИНОПИСИ, СОДЕРЖАЩИЕ «ВСТАВКИ» В СТАТЬИ, СОКРАЩЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ «СОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСОК»**

Рудневские купюры иногда принимали такие размеры, что Цветаева считала уместным составить собственный список соответствующих пропусков. Как ни странно, такого списка, относящегося к статье *Искусство при свете совести*, в базельском фонде нет (да и, кажется, нигде не нашли). Зато, Цветаева включила туда «вставки» в две другие статьи.

Первые относятся к статье *Живое о живом*. Они довольно длинны (всего 8 вставок, в объеме 19 машинописных листов). На титульном листе:

## Вставки въ Живое о живомъ

(Мѣста, выпущенныя В. В. Рудневымъ, какъ «неинтересныя для средняго читателя»)

Всѣхъ счетовъ — восемь.

В издании ИПДТ (II, стр. 27-79) текст, восстановленный не только по СЗ, но и по публикации журнала *Литературная Армения* (1968, №№ 6-7), в основном включает и базельские вставки, хотя не последовательно и не совсем точно, не принимая во внимание некоторые исправления, предпринятые Цветаевой при окончательной правке 5-го апреля 1938 г. — (как, напр., вышеупомянутую замену слова «бытописца» словом «проходимца», но и ряд других).

«Вставки» касаются статьи *Чортъ* (*sic!*). Их только две (всего 10 машинописных листов малого формата, 20 × 13 см.). Зато они, как нам кажется, крайне интересны (представляющие собой бесценное дополнение к портрету Цветаевой-человека и Цветаевой-поэта).

Насколько нам известно, текст *Чорта* существует лишь в двух публикациях. Это —

I) СЗ *LIX* [1935] 205-226. Оттиск этой публикации, исправленный рукою Цветаевой, находится в базельском архиве и на эту-то публикацию она ссылается в своих вставках.

II) ИПДТ т. II, 151-166 (между прочим: под заглавием *Черт* (!)). 1-ая вставка вводится после фразы: Так мальчишки на улице ругаются. (Это: в СЗ, стр. 220, 5-ая строка сверху; в ИПДТ, II/161, 4-ая строка снизу.)

2-ая вставка является окончательной частью статьи — т. е. (по-цветаевски) «самый хвост ЧОРТА, отсеченный Рудневым» (!). (СЗ, стр. 226; ИПДТ, II/166.)

Вообще, и прежде всего, эти тексты — в наилучшей традиции цветаевской автобиографической прозы. Это — единообразная, неподражаемая цветаевская *смесь* фактов и фантазии, «проза жизни», перевоплощенная в чистую поэзию (пусть без строф и рифм — все же скорее «поэма в прозе»). Это — события из детства (мечты и мысли, радости и разочарования), будто истолкованные из оптики взрослой, опытной женщины, которая однако, через все испытания судьбы и скорби, никогда не теряла всю чистоту и остроту своего детского сердца (отсюда — редкая честность, непосредственность и жизненность повествования). Есть на этих страницах и юмор и печаль (у

Цветаевой так же — смех сквозь слезы), а вместе с тем — размышления о жизни и смерти, о Боге и — о Чорте (разумеется!), о совести и о раскаянии (вернее — об отсутствии раскаяния...). А время от времени — размышления иного порядка, отступления от автобиографической темы — заметки о ремесле: о слове, о языке, о звуке... Одним словом, это — документ, представляющий не только огромный человеческий и нравственный, но и художественный и даже научный интерес.

В сущности, это — исповедь: та полная, откровенная исповедь, тайну которой девочка Марина решила утаить перед батюшкой. А почему утаить? По причине, на первый взгляд не очень-то свойственной Цветаевой — п о т а к т у. Только у нее это (как всегда) — иной такт, — чуткое, прирожденное восприятие внутренней действительности, искреннее нежелание зря обидеть, возмущать.

Есть одно: его часто нет, но когда оно есть, оно, якобы вторичное, сильнее всего первичного: страха, страсти — и даже смерти: т а к т . Пугать батюшку чортом, смешить догом и огораживать балериной было не-прилично. неприлично же, для батюшки, все, что непривычно. На исповеди я должна быть как в с е .

Другая же половина такта — жалость. Не знаю почему, но вопреки их страшности, священники мне всегда казались немножко — дети. Так же, как и дедушки. Как детям (или дедушке) рассказывать гадости? Или страшности?

А раскаяние? —

... Но и раскаяния не было. Было — одиночество с тайной. То же одиночество с все той же тайной.

Сразу же мы — в сути дела: в цветаевском одиночестве. Одиночество с тайной: «тайной на первой исповеди, после которого — все уже было преступлено» — «своего не предав и все главное утаив...» Одиночество в тайне, ибо «Ты обогатил мое детство на всю тайну, на все испытание верности и, больше, на весь тот мир, ибо без тебя бы я не з н а л а , что он — есть». Одиночество в гордыне, ибо «Тебе я обязана своей несосвятимой гордыней, несшей меня над жизнью выше, чем ты над рекой: — le divin orgueil — ...» Одиночество во гневе и негодовании, ибо «Когда я одиннадцати лет в католическом пансионе старалась полюбить Бога (...) — ты мне не помешал. Ты только ушел на самое мое дно, вежливо уступая место — другому. — "Ну, попробуй — кротостью..."». Одиночество в любви, ибо «Это ты разбивал каждую мою счастливую любовь, разъедая ее оценкой и добывая гордыней, ибо ты решил меня поэтом, а не лю-

бимой женщиной». Одиночество в борьбе, ибо «... не ты ли, моей ранней любовью к тебе, внушил мне любовь ко всем побежденным, к всем *causes perdues* — последних монархий, последних конских извозчиков, последних лирических поэтов».

Во главе первой части романа *Мастер и Маргарита* Мих. Булгаков вставил эпиграф — цитату из гетевского *Фауста*: «...Так что ж ты наконец? — Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Маринин Чорт, по-видимому, с ним в родстве — и весьма достоин стоять с ним рядом. Впрочем — он также ангел, пусть падший («но ангелов я любила»): «Бог не может о тебе низко думать — ты же когда-то был его любимым ангелом!»

Оказывается, Цветаева всем обязана «милому Мышатому» — но это «всем» в конце концов всегда — к лучшему. «Ты автор моего жизненного девиза и могильной надписи: *Ne daigne!*» «И когда мне на всей моей одиннадцатилетней жизни грехи из черной дыры чужих глаз и чужой исповедальни было сказано:

— *Un beau bloc de marbre se trouve enfoncé dans la boue du grand chemin. Un homme vulgaire marche dessus et l'enfonce encore plus profondément. Un noble cœur le dégage, le lave et en fait une statue qui dure éternellement.*

Soyez le sculpteur de votre âme, petite Slave!

— чьи это слова?»

Его? Да нет — «твой». «Ведь если я о тебе сейчас пишу о н, то ведь это потому что я о т е б е пишу, не тебе! В этом вся ложь любовного рассказа. Любовь неизменно второе лицо, растворяющее даже первое. О н есть объективизация любимого — то, чего нет. Ибо никакого о н мы никогда не любим и не любили бы: только т ы — восклицательный в з д о х!

Бедная, гордая Цветаева. Помнится одна строфа из Лебединого Стана:

Город буйствует и стонет,  
В винном облаке — луна.  
А меня никто не тронет:  
Я надменна и бедна.

Бедность, это — близость к Богу? А гордость, надменность — разве это не — первый из грехов? От гордости, значит, от этой чор-



товой гордости — все одиночество? Всем одиночеством обязана ли она своему милому Чорту? — А Бога — забыла? Не забыла. В полном разгаре гражданской войны — без вестей о муже, без дочки Ирины, отданной в детский приют, где она вскоре умрет от голода — Цветаева посвятила целое стихотворение теме — Одиночество. Но это — одиночество в скромности, в смиренности:

Дорожкой простонародною,  
Смирною, богоугодною,  
Идем — свободные, немодные,  
Душой и телом — благородные.

(...) Быть может — вздох от нас останется,  
А может — Бог на нас оглянется...  
Пусть будет — как Е м у захочется:  
Мы не Величества, Высочества. (...)

Действительно ли эти базельские «вставки», эти блестящие миниатюры — «неинтересные для среднего читателя»? Быть может. Как бы то ни было — для всех тех, кто интересуется жизнью и творчеством их автора, они — хотя скромный, но вместе с тем бесценный клад.

*Робин Кембалл*



## ПЕРВАЯ ГЛАВА ИЗ РОМАНА «ПРЫЖОК»

Единственным его приобретением за последние месяцы была устойчивая бессонница. Серый остов собора в окне поджигал закат. Розовое, шутя, в полчаса, менялось с голубым. Разгорались костры ночных ресторанчиков. Кирилл одевался, хлопал по карманам, ища ключи, нащупывал пальцем в пистоне джинсов облатку лекарства — в последнее время шалило, не в ту сторону стуса, сердце — гасил свет — отчего, исчезнувший было собор, наезжал, сшибая плечом стайку звезд, на окна, — прихватывал под горло перевязанный пакет с мусором и выходил пройтись перед сном.

Пакет он оставлял у ворот, в обществе таких же угрюмых удавленников. Стук ножей и вилок сопровождал его, пока он огибал развороченную стройкой дыру Ле Аля — столики ресторанов доживали последние недели под открытым небом. Он пересекал скучную прямую Риволи и спускался к реке. Пахло гнилью, бензином, из иллюминатора яхты тянуло шваркающим подгорающим маслом, накрапывал Шопен. Пробегала, бесшумно суча ногами, тень породистой собаки. Совсем близко в мутных волнах проплывала длинная баржа: на корме шептались огни двух сигарет. Ночь внятно дышала, кто-то невидимый то ли стонал, то ли смеялся на каменной скамейке, и однажды из-под моста на него выпрыгнул худощавый подросток с ножом в руке. Удивляясь себе, Кирилл легко отнял нож и выбросил в воду; секунду он стоял в замешательстве, не зная что теперь делать, ударить или уйти. Но парень сам втянулся назад, во тьму моста, и та сожрала его без остатка, а Кирилл по крутой лестнице, со всхлипывающим сердцем, вскарабкался наверх и, уже перейдя Сену, сообразил, что парень шутил, требуя жизнь или — сигарету.

Он пил пиво на шумной веранде в разноязыком гомоне. Появлялся горластый толстяк, обвязывался цепями, щелкал замками, страшно хохотал дырой рта. Цепи с бутафорским грохотом спадали. Вертлявый красавчик со смоляной косичкой и косым шрамом на щеке, хлопая в ладоши освобождался от засаленных одежд. Впрочем, подергав отрок ремня, благоразумно оставался при джинсах, и, стоя на коленях, долго пил вздорожавший бензин. Кирилл видел фальшивую работу его звериного кадыка, хихикала пьяная простушка, скользил наклонно, наплевав на законы притяжения, официант с круглым подносом над головой, язык длинного пламени взвивался к небу, высвечивая черепа булыжников, трупы окурков и шляпу пожарителя огня с чешуей монет на истлевшей подкладке.

Первые недели после Москвы Кирилла забавлял этот улич-

ный карнавал: циркачи, шарлатаны, музыканты. Но, решив не возвращаться в Союз, и сразу потяжелев, провалившись уже серьезно в совершенно новый мир, он остыл к чудесам улицы. Официально он гостил у родственников — седьмая вода на киселе, выездная виза была лотерейным выигрышем, везением, чьей-то ошибкой — и сохранял советский паспорт. На самом же деле он попросил политубежище во Франции, ждал ответа и жил в пустующей комнатухе приятеля, владельца русского ресторана «Тысяча первая ночь». Курчавая бестия, делившая с ним летом все, что делилось на два, вечно подкурренная, вечно с фотокамерой, выстригающей из действительности золотые прядки — исчезла в юго-западном направлении с юным флейтистом. Вестей от нее, кроме ночных, утром недействительных, не было. История была банальной, но, как это и случается, банальная до тех пор, пока происходит с кем-то другим.

Он расплачивался, мучительно стараясь правильно сосчитать до сих пор непривычные деньги, и, со все нарастающей ненавистью к жаркой подушке, ускользящим простыням, к этой верной, поджидающей его дома бессоннице, брел напрямик, через два моста, домой.

Часть ночи он лежал в некрепком тумане полусновидений. Усталость тянула на дно, но, уступчивое прежде, лоно сна обладало теперь упругой сопротивляемостью. Он тратил последнее терпение, уговаривал себя, елозя, зарываясь с головой под подушку и, наконец, скользил по наклонной в рваную мглу, все с большей скоростью, все сильнее теряя себя дневного, растворяясь, счастливо наполняясь собственным отсутствием, как вдруг, в бледнеющей тьме совершенно трезво открывал глаза.

Хозяйский транзистор обитал справа под рукой. Он включал короткие волны и привычно продирался сквозь заросли станций к Би-би-си. Сердечные капли морзанки капали сквозь голос диктора. Ночные новости отличались от дневных реестром нарастающих деталей. Смерть и деньги заполняли мир.

Но ночам его слух обретал географию. Где-то у коммерческой Биржи зарождался сжатый скачущий звук. Чем ближе он был, тем сильнее разрастался, пока не заполнял все ночь клокочущим ревом. Дрожали стекла в окнах, мотоцикл сворачивал в конце улицы налево и исчезал около почтамта. С домашним перестуком в улочку вкатывалась тележка, несколько раз за ночь совершавшая короткий маршрут из булочной к ночным ресторанам. Медленно, со стрекозиным трепетом, проползало под окнами такси. Обязательное пьяное пение, не способное взяться за руки, спотыкающееся мужскими голосами, проходило от угла до угла. Пели по-немецки. Одиночки — по-французски. Исключений не бывало.

Он вставал и, несмотря на влажную духоту, закрывал окно. Пил воду, ложился опять. Зажигался огонек комара. Пикировал, делал развороты, шел на снижение, щекотал где-то у щеки. Нужно было выждать, дать ему приземлиться и, когда от наглого покалывания становилось невтерпеж, прихлопнуть. Парижская ночь аккуратно поставляла ему одного, от силы двух кровопийц в ночь.

Под утро он все же рушился в розоватое болото сна. Но пленка отделяющая его от мира была так тонка, что он чувствовал все подробности законного мира, всю пульсацию дома. Соседи сверху аккуратно возвращались в пять. Она, однажды виденная на лестнице, вислозадая, молодящаяся блондинка, журчала в ванной прямо над головой. Затем, после плохо скоординированных звуков, перебиралась к окну, где, судя по всему, стояла старая, провисающая брюхом до пола, кровать. Муж ее реализовался в покашливаниях и в напористом однообразном раскачивании матраса. Она фальшиво постанывала, никогда не сбиваясь хотя бы на крошечное крещендо. Кровать умирала, над головой опять плескалась и журчала вода, а снизу, с улицы, уже раздавались тупые удары тесаков, взвизгивание ножей, шмяканье туш на оцинкованные, с желобками для крови, столы. Ночные разделщики мяса, мягко бранясь, танцевали в черных резиновых сапогах, в тяжелых фартуках на усыпанном опилками каменном полу.

Ровно в восемь, когда сон, сжалившись, подсовывал плохо отснятый фильмик из детства: обморок дачной аллеи, восьмерку велосипеда в дровяном сарае, грозу на станции и высвеченный молнией бесконечный товарняк, старинную рюмку синего стекла с обручальным кольцом и мертвой пчелой на дне, или брызжущее солнцем зеркало, затылок матери и руки, укладывающие волосы в тяжелый пучок, куст сирени и, всегда колдовское, шевеление нагретой занавески в горячем окне — ровно в восемь с двух сторон ударяли отбойные молотки, врываясь в трухлявые стены, все тряслось, как у дантиста, шла реставрация соседних домов. Для подкрепления этого веселого ада на улицу врвалась помоечная машина и, с танковым скрежетом и лязгом, что-то пожирала, фырча и отплевываясь.

Он еще проваливался урывками на пять минут, на час — время совсем перепутывалось — и, когда наконец оставлял измученную кровать, было около одиннадцати, в индийском магазинчике внизу тренькал колокольчик, он распахивал окна — красная пожарная машина задом пятилась в гараж, оживал вдоль всей улицы размотанный шланг, кричал задрав голову бродячий стекольщик и Кирилл шел в ванную и охая залезал под ледяной душ.

После кофе он оживал, но ненадолго. Бессмысленно перебирал бумаги на столе, перепечатывал что-нибудь старое, мимоходом пра-

вил, выкидывая эпитеты и утяжеляя глаголы. Чтобы продвинуться дальше в новом тексте, нужен был разгон, разогрев. Наконец что-то сдвигалось и он исписывал ворох страниц крупным скачущим почерком, уговаривая себя не раздражаться и не реагировать ни на сирену пожарников, ни на грохот рушащихся перекрытий в соседнем доме. Он старался не перечитывать написанное, но за очередной чашкой кофе, не выдержав, сначала урывками, а потом по порядку, прочитывал, морщился, сникал, собирался сесть и перепечатать исправив неровности, и вдруг все бросал на завтра, мрачнел и думал о кружке холодного пива.

Несколько раз в эту осень он вдруг засыпал посеред дня, как был одетым, и это смахивало на короткий оглушительный обморок. Тогда, вынырнув обратно, взмокший, со слипшимися волосами, он необычайно оживал, бросался звонить по совершенно ненужным телефонам, прибирал квартиру, стирал, делал неожиданные заметки, отправлял целую голубятню писем.

Так или иначе к октябрю задуманная статья была окончена, переписана дважды, переведена невесть откуда взявшейся студенткой и отдана в журнал. Зарядили дожди. В их характере было желание взять наизмот. Мир слинял до однообразного серого марева. Стены собора промокли и почернели. Жалкие похудевшие голуби жаллись по карнизам. Камин дымил. Денег на дрова не было и теперь, вечерами, он отправлялся на охоту за топливом. Весело и быстро прогорали ящики из-под апельсинов. Вспыхивали грудастые красавицы. Тлели караваны дромадеров. Если везло, он притаскивал чурку с соседней стройки. Тогда огонь занимался не на шутку, и, под унылый шопот дождя он читал, лежа на полу у камина, книгу за книгой, запретное дома, в России, чтиво. Вместе с дождями вернулся и сон. Теперь он спал по восемь-десять часов, погружаясь так глубоко, что просыпаясь приходилось возвращаться сквозь целые пласты, слоистые этажи, сна.

Кончались последние деньги. Дожди унесло ветром, один за другим распахивались свежие голубые дни. Утром вызолоченного до мелочей, до дверных ручек, до пуговиц продавца газет, дня, маленькая переводчица принесла журнал с напечатанной статьей. «Мост назад, — читал он, положив русский текст рядом и угадывая французские слова. — Это строительство мучительно, идет в кромешной тьме, сорвавшихся вниз не хоронят. Но культура современной России не может быть восстановлена иным путем. Без осознания своего исторического и культурного прошлого невозможно шагнуть в настоящее. Революция уничтожила в первую очередь именно носителей исторической памяти, создателей культурной традиции. Она кричала о строительстве с нуля, о взлетной площадке в будущее, и, расчистив бульдозерами страну от гор трупов, создала пустыню духа. Эмиграция — не поиск удобств, не побег в нормальное общество.

Для новых русских это попытка второй жизни. Неофициальная культура сантиметр за сантиметром все же реконструирует прошлое. Мост висит уже над бездной, но его строят русские и с той и с этой стороны. Будет ли когда-нибудь уложен последний пролет? Обнимутся ли люди над пропастью преодоленной исторической лжи? Не знаю. Может быть, если новый взрыв не разнесет в щепки кропотливый труд последних десятилетий... Эмигрировать — все равно что совершать самоубийство с расчетом на скорую помощь. Гораздо надежнее, когда тебя просто выкидывают из здания светлого будущего: звон стекла и вопли означают заодно и ожидающую внизу бригаду врачей. Но в обоих случаях жизнь со сломанной спиной — это прижизненное распятие. Скрепки в позвоночнике вместо лиловых штампов визы. Новое самоосознание начинается все так же — с боли...»

Журнал был из новых, читаемых, странных. За успехом маячила обреченность: люди были слева, деньги — справа. На фотографии Кирилл был похож на младшего брата: кривая ухмылка, прищуренный глаз. Но вывеска булочной на заднем плане отрицала сходство. Ожил телефон. Звонили соседи по прошлой жизни. О существовании одних на новом берегу он и не догадывался, о других и вовсе забыл. Мыча что-то в трубку, выгадывая время, мучительно роясь в захлапленном углу памяти среди миниатюрных пирушек и трамвайных встреч, он вытягивал за хвост заснеженную, спотыкающуюся улочку на Старом Арбате (запах мастики, оттаивающие на вешалке шубы, священнодействующий наверху рояль), она существовала, а вот супруги Маклаковы в два голоса протискивающиеся в трубку, увы, никак не воплощались. — А помните Кирилл Дмитриевич, — он и отчество помнил! — вы еще обронили шарф и я возвращался? Приходилось соглашаться, договариваться о встрече, записывать русскими буквами плохо звучащий французский адрес — ничего, потом найду по плану — и, накануне, звонить, ссылаясь на родственников из Нью-Йорка, простуду, выступление в клубе эксгуматоров-любителей, одним словом безбожно лгать, чувствуя головокружение и тоску.

Супруги Маклаковы со Скрябинским музеем вытащили на свет Божий, сами того не зная, силуэт молодого человека в волчьей ушанке. Припоминая его, Кирилл пропустил автобус. Стоял, бессмысленно таращась в лиловую лужу, пытаюсь увеличить удаляющуюся сутулую спину. Соскальзывало. Память не срабатывала и приходилось все прокручивать сначала. Спина приближалась, наезжал торчком стоящий воротник легенького пальто, глыбы грязного колотого льда обозначали февраль, подкатывал из парижской действительности автобус, Кирилл садился, арбатская кариатида с сифилитически облупленным носом сгущалась в вечеряющем воздухе, мелькал Бульмиш, нужно было сходить, и, уже огибая Люксем-

бургский сад, раскрывая упрямый, не в ту сторону выгибающийся зонт, он вспоминал, с идиотской улыбкой останавливался, спазм памяти ослабевал и волчья шапка с облегчением удалялась, и с грохотом рушилась преувеличенно стеклянная метровая сосулька. Это был болезненно наглый однокурсник, навсегда заигравший синий томик Камю, цена на которого на черном рынке подскочила до 50 рублей и покупать не было никаких сил.

Звонили и совсем неизвестные личности. Не всех удавалось переключить на более доступный английский. Они внятно и однообразно сожалели, спрашивали сколько лет во Франции, да уже порядком, скоро год, что же вы еще не говорите, да как в булочной, жаль, говорят у русских талант к языкам, не у всех, а мы-то надеялись вас пригласить, но ведь не по-английски же?... Из Онфлера, из оккультного, судя по словечкам, общества, пришло письмо — в статье Кирилл упоминал Распутина, Гурджиева, Макса Волошина, русских масонов — просили быть в следующую пятницу. Какой-то молодчик позвонил из Канады. Голос был напористым, вопросы идиотскими. Продолжалось это недолго, меньше недели, с маленьким рецидивом после перепечатки статьи в Германии и Штатах.

Он старался не пить, в крайнем случае один стаканчик, не более, но, как-то лавируя между собакой и волком, был либо собачьи тосклив, либо по-волчьи зол, а в итоге к полуночи изрядно навеселе, если так можно было назвать его мрачное, ерническое через три языка протискивание.

Он уже подумывал о серии статей для одной левой-полусредней газеты: продолжение темы, разработка деталей, ему давали карт-бланш на целых шесть номеров, как неожиданно в два дня подписал контракт с молодым, но уже известным и оборотистым издательством на книгу, получил аванс и в ту же неделю переехал.

От прежних жильцов осталась целая плантация пальм, цветов, в стеклянной колбе плавал папирус, пыльные водоросли плюща ползли по стенам. В белых пустых комнатах гулял хвостатый сквозняк. Во всех четырех тускло мерцали зеркала и чернели каминь, но лицензия была лишь на один, два других нужно было чистить, а внутри четвертого жила жилистая телевизионная антенна. На барахолке он приобрел новенький матрас, рыжее невесомое одеяло. Все это устроилось на полу, напротив пляшущего узаконенного огня, а французские друзья привезли тяжелый раскладывающийся стол и пару стульев. Штор не было, но неширокий балкон палубой шел вдоль всей квартиры и на ночь закрывались скрипучие жалюзи со струпьями облезавшей краски.

Однажды по дороге с рынка он неожиданно для себя купил

мощный приемник с кассетником и теперь ночами, пока трещали марокканские ящики или стреляло мокрое полено, выуженное из реки, он обшаривал мир сантиметр за сантиметром и засыпал под бесконечный список убийств, крушений, похищений, угроз и обещаний. Маленькие стремительные экскурсии на просторы родины вызывали повторяющуюся тошноту: все то же величаво-фальшивое звучание голосов, сводки о перевыполнении плана и отчеты о забастовках и подорожаниях на Западе. По заявкам моряков передавали вальсы Штрауса, потом доярка из Чувашии интересовалась этюдом Шопена, вползало бархатно-стальное сообщение ТАСС об очередном запуске на орбиту экипажа из чукчей и кубинцев, и Кирилл переходил на средние волны, нащупывая то парение Майльса Дэвиса, то тяжелые пассажи Монка.

*Д. Савицкий*





## С В О Я К Р Ы Ш А

Купленный недавно пустырь Толя решил, в память имени прадедов, назвать «Дубенкой». И в этой «Дубенке» без единого дубка, лишь с парой косматых олив, началось робинзоновское первозданное бытие. Для постройки дома Толя и Таня поселились во временном сарайчике. Просыпались со светом, спали на сене, нарезанном на пустыре. Оно чудесно пахло и порою покалывало. Сквозь щели ложились солнечные пятна, залезали муравьи. Однажды Таня даже заметила мышонка. Он тихонько сидел в углу и смотрел на нее без страха. Пустырь лет пятьдесят стоял необитаемым, не было здесь ни людей, ни кошек, и мыши были доверчивы и смелы. Когда Таня шевельнулась, мышонок неторопливо вылез из сарайчика и спрятался в корни оливы. И Таня насыпала туда хлебных крошек. Про колодезь, откуда черпали воду, Толя говорил, что «он терпеливо поджидал их полвека». Вода его была свежа даже в августовские дни и с привкусом железа. Но это была «их вода» и они ее находили отличной.

Августовская земля растрескалась от зноя и все совершалось под однообразный стрекот цикад. Если же налетал ветер, сарайчик ходил ходуном, дуло отовсюду сухим раскаленным воздухом.

В сарайчике стояли скромные спутники жизни робинзоновской: примус, на нем кофейник, — кофе пили беспрерывно — бутылка с вином, спелые помидоры — вот вот треснут и изойдут красной влагой. Земля кишит мелкими аргентинскими муравьями. Они облипают сахар, тонут в компоте и все же идут непобедимым, неистощимым воинством.

К восьми утра приходил на работу Аполлон Александрович, свежее испеченный каменщик, с которым Коля вдохновенно и не раздумывая, сговорился еще зимой.

С отчеством Аполлона, коренастого расплывающегося человека, у Толи постоянно выходили недоразумения. Он его стихийно все величал Аполлон Бельведеровичем, и тот сердился. А Толя сердился, что Аполлон, уверявший его, что даже трехэтажные дома строил, не умел разбить угла маленького дома. В пылу работы Толя кричал на него так, что и на Аржевилльской колокольне можно было услышать каждое слово. Потом отходил, хлопал его по спине и угощал кофе.

Третьим работником был араб Магомет. Таня смеялась, что «сам Магомет с благословения Аллаха, будет строить их дом, и это будет дом с большой буквы».

Когда Апполон с Толей спорили, Магомет с его удлиненным смуглым лицом и печальными глазами, делал, как «господа». Он тоже бросал мотыгу, глубокомысленно устремлял взор к небу и делал вид, что занят важным делом. Была в его движениях благородная неторопливость Востока, задумчивость и важность.

С Аполлоном же дело не пошло. Недоразумения цвели, как дикая морковка на пустыре, и они с Толей, как неудавшееся супружество, решили расстаться «по взаимному согласию», тем более, что Аполлон работал без рубашки и сжег себе спину.

Так августовское солнышко оказалось толиным союзником. Расстались дружески. Толя мазал ему спину мазью. Аполлон Бельведерович решил, что толина нервность извинительна с философской точки зрения: «Дом строит!» Была в этих словах и терпеливая примиренность с неизбежным злом, и сочувствие.

Послеобеденный отдых в разогретом солнцем сарайчике, рядом с цементными мешками и оконными рамами, после волнений и споров, казался блаженством. Дверь чуть приоткрыта и в нее видно небо и легкая листва оливы. Она серебрится, двигаясь непрерывно, бросая перемежающиеся тени на землю. За оливой, на заднем фоне, холм с одиноким кипарисом. Полдень. Жара. Насыщенность солнечным светом.

Но вот налетает мистраль. Глухо ухает сарайчик под порывами раскаленного ветра. Пересохло во рту и трудно дышать. Кажется, что воздушные воинства стучатся в утлые стены. Парусом вздымается мешок, защищающий от солнца навес перед сарайчиком, где стоят стол и три стула.

Таня лежит на импровизированном ложе и читает «Детские годы Багрова-внука», осеннюю дорогу в Багрово, и совершенно невероятным кажется ей, что где-то может быть осень, мелкий дождик, колеса, увязающие в грязи...

Но вот и здесь, на юге, подходит осень и стройка кончается. Стоят стены, лежит черепица, оконные отверстия зияют дырами и нет входной двери. Но есть «своя крыша», есть ожидание будущей жизни под кровом «Дубенки», есть надежда на лучшие дни. А само робинзоновское бытие, разве на радость? И эти дни кажутся ей благословенными.

Приморские Альпы. Март 1975 года.

*Екатерина Таубер*

## ЗОЛОТАЯ КНИГА

Я сидел, под вечер, за столиком на набережной перед Симитеро. Туристы считают это место задворками Венеции и толпятся на Пьяцетте около Дворца Дожей. Но душа Венеции не там. Она здесь, в неподвижных водах, усталых шелками заката, в черных сваях, торчащих из воды, в птицах, опознать которых трудно в этот час. Глядя на желтые стены Симитеро с чернеющими за ними кипарисами чувствуешь, что быть там похороненным так же хорошо, как умереть в объятьях прекрасной синьорины.

Через лагуну двигалась погребальная гондола, черная с золотом.

— В такой поздний час?! — подумалось мне.

Должно быть у меня вырвалось какое-то восклицание, потому что сидевший поблизости счел его удобным, чтобы заговорить,

К моему удивлению, он оказался русским.

— Не правда ли, красиво на закате плыть в вечную обитель?

Приученный к осторожности при встречах с незнакомыми русскими, я отвечал кратко и невнятно.

— Только это не для всех — продолжал незнакомец. — Лишь избранных хоронят в такое время.

— Каких же избранных? Прелатов? Министров?..

Он усмехнулся.

— Это, по-вашему, «избранные»? Они забываются на другой же день, как миллионы простых смертных.

Я посмотрел на незнакомца и показалось, что где-то видел его.

— Под избранными я понимаю исторических деятелей, чье имя останется в веках.

— Значит и в этом гробу, что плывет на кладбище, лежит исторический деятель?

— Несомненно.

— Это интересно. Но раз уж вы так утверждаете, то не называйте ли, хоть, имя?

— Оно вам ничего не скажет.

— Я, конечно, не знаток мировой политики, но слежу за нею с интересом профессионального журналиста. Думаю, что имена, имеющие какой-нибудь шанс на вечность — не тайна для меня.

— Вот и видно, что истинно-мировая политика скрыта от вас. Те, за кем вы следите — марионетки. Не замечая нитей, с помощью которых ими управляют, вы ничего не можете понять в их жизни. Впрочем, что я говорю? Это же не мои, а ваши собственные мысли. Вы их высказывали когда-то лучше меня.

— Что такое? Я высказывал? Кто вы? позвольте узнать...

— Кто я? Это вы должны припомнить, а слова ваши — вот они.

Он достал пожелтевший листок и, как кельнер, рекомендуемый хорошее вино, проговорил:

— Ему двадцать пять лет. Позвольте прочесть?

В листке говорилось, что несмотря на телефон, радио, газеты, сообщающие о назначениях министров, о скандалах в Палате Депутатов, о протоколах и конференциях — не было никогда более тайной политики, чем сейчас. О чем бы ни трещало радио и ни кричали газетные заголовки — все это вздор. Пойло для толпы. История делается в таких местах и такими людьми, о которых мы понятия не имеем. И делается с давних пор.

— Почему вы это приписываете мне? Такое мог сказать любой, если не школьник, то студент. А главное: где и когда это было сказано?

— Сказано было в ответ на жалобу на наше бесцветное время, на отсутствие великих людей. Вы признали наши дни столь же богатыми такими людьми, что и в прошлые времена. Только, мы их не знаем. Указали мне на худенького господина с газетой в руках «Быть может это он наш Ришелье или Талейран». Припоминаете?

Двадцать пять лет! Дело Стависского... Убийство Думера... Мировая война... Гибель Райха... И все-таки, в памяти что-то зашевелилось.

— Люксембургский сад... — подсказал мой собеседник. И тут прояснилось.

— Я, кажется, видел вас там. Вы часто сидели возле памятника Флоберу.

— Bravo! — обрадовался он.

— У вас были усы и волосы зачесанные а ля Флобер и во всем вы старались походить на него.

— Да, я тогда обожал Флобера. Не столько романы, сколько личность.

— Помню. Вы это сказали сразу после нашего знакомства. Кажется, вас больше всего поражило его отшельничество, каторжный труд и полное отсутствие тщеславия.

— О! У вас чудесная память! Я, действительно, преклонялся перед величием этого человека. Он сознавал свой гений. Он знал, что его ждет посмертная слава. Вы укрепили меня в моем благоговении, сказав замечательные слова. Они вот тут у меня записаны: «Знать, что посмертная слава тобой заслужена, это то же, что иметь ее при жизни».

— Очень рад, что нам довелось снова встретиться — сказал я, хотя продолжавшее работать воспоминание плохо проясняло образ давнишнего знакомого. Вспомнил я, что уже тогда, в Париже, он чем-то тревожил меня, хотя, при встречах в Люксембургском саду обнаруживал несомненную интеллигентность и умение хорошо говорить. Он сильно постарел, поседел.

— Ни за что не припомнил бы, если бы вы сами не заговорили. Но как вы меня узнали? Ведь я, конечно, изменился не меньше вас.

— О, с моей персоной у вас связан короткий и легко забывающийся эпизод, вы же — величайшее событие в моей жизни. Я не переставал следить за вами все эти двадцать пять лет. И сюда, в Венецию, приехал, как только узнал, что вы здесь. Не пугайтесь... Просто, вы своими речами взволновали меня на всю жизнь.

— Что такое?.. Никак не могу понять...

— Забыли — вот и все. А я ваши речи тогда же записал и буду смиренно просить позволения прочесть их вам сейчас.

Он вынул какие-то листки и по мере их чтения передо мной вставала картина нашего парижского знакомства.

— Записки мои начались с того дня, когда я спросил, не масон ли вы. Вы сказали нет. — Но я часто вижу у вас «Revue Maçonique». — Это потому, ответили вы, что масоны меня интересуют. — Своим учением? — Нет. Оно запутанное и придумано умными масонами для своих дураков-собратьев. — Но чем же оно увлекает вас? — Увлекает не учение, а сами масоны; тем же, чем вас пленял Флобер — посмертной славой.

Помню: мы в это время стояли у фонтана Медичи. Мой собеседник, опиравшийся руками о решетку, так подпрыгнул, что чуть не упал в бассейн.

— Ин-те-ресно!.. Очень интересно! Не объясните ли?

— Что же тут объяснять? Вам известно, что говорят о масонах.

— Кого вы имеете в виду — публику или их самих?

— Какой же толк слушать, что сами они говорят? На то они и тайная организация. Тайны своей не выдадут. Нас больше занимают те, что стараются раскрыть эту тайну. И сколько бы сами масоны ни отрицали своего влияния на мировую политику — никто им не верит. Общество успело много узнать о них. Один аббат Турментен сделал столько разоблачений, что в сказку об аполитичности масонских организаций могут верить только дети. Мы не знаем всех их ходов и маневров, но знаем, что такие существуют и этого достаточно.

Он слушал так, будто готов был проглотить каждое мое слово.

— Значит вы верите в легенду о захвате власти над миром, как конечную цель масонства?

— А то как же? Не будь этой цели, оно не представляло бы ни малейшего интереса. Разве что для полиции. Меня, лично, оно увлекает именно своей всемирной миссией.

— Но ведь это ложь.

— Кто вам сказал?

— Ну... так говорят...

— Так говорят сами масоны и боящиеся их, а все независимые

считают это сущей правдой. Если бы не было этой великой цели, то грош цена всем этим «ложам» и «храмам». На свете есть более интересные игры и развлечения. Но строить терпеливо такую храмину в течение сотен лет, раскидывать сеть по всему миру, вовлекать в нее профессоров, генералов, министров, членов парламента, королей, президентов, устраивать кризисы, войны, революции, можно только при наличии грандиозного замысла, а вовсе не из любви к искусству. Нет, существует великая целесообразность во всех их планах и действиях... Вот и жалуйтесь после этого на серенькое обличье наших дней, на отсутствие великих дел, грандиозных замыслов... Для меня, наше время — самое интересное, захватывающее дух. Подумайте только! Создается подлинно мировая держава. Ни Рим, ни Чингиз-хан в уме не держали подобного. И создается методами невиданными до сих пор — путем подделки под исторический процесс, под «объективные факторы общественного развития»... Существовал ли когда-нибудь более грандиозный план и проводился ли в жизнь так неуклонно?

— Ха-ха-ха! Вот вы бы и написали в ваших «Последних Новостях». Ваш Милюков хоть и не масон — никогда не упустит случая польстить масонам. Но должен признаться, в вашем лице я вижу первый раз врага масонства без ругательств, без черносотенной ненависти.

— С чего вы взяли, что я «враг»? Я никогда не был и не буду масоном, но и врагом их себя не считаю. Я просто наблюдатель, восхищающийся их игрой. Одно то, что они стремятся прибрать к рукам все правительства, все крупные силы в этом мире, делает их достойными такого восхищения. А жалобы на скудость государственных умов и дарований в наши дни — простое недоразумение. Прошло время, когда их видели на министерских и президентских постах. Теперь надо уметь различать гений тех невидимых, что стоят позади правительств. Вот подлинно великие люди, демиурги истории! Что там Питты и Бисмарки! Наше время отмечено появлением людей, превосходящих гениальностью всех Цезарей и Наполеонов.

Мой собеседник стоял бледный с преображенным лицом.

— Говорите! — шептал он. — К чему вы клоните?

— К тому, что эти люди вряд ли при жизни будут известны. Им дают богатства, комфорт, наслаждения, но славы...

Тут он сорвался с места и бросился из сада. Больше месяца его не видно было.

Сидя однажды на скамье возле большого бассейна, я увидел его и не сразу узнал. Флоберовские усы сбриты, волосы зачесаны на

другой манер, лицо худое, бледное. Он сел рядом и молчал.

— Так вы говорите, они лишены будут славы?

Успевши забыть наш предыдущий разговор, я не сразу понял, а когда понял и, улыбнувшись, спросил, почему он так близко к сердцу принимает их судьбу, он нервно встал и опять не сказав ни слова, ушел.

Дня через два, на бульваре Сен-Мишель, он не подошел, а подбежал ко мне.

— Вы хотите сказать, что историю делают люди, презирающие славу, известность и все, что движет государственными знаменитостями? По-вашему, они даже имен своих не оставляют потомству... Неужели жертвуют ими ради комфорта и богатства?

— Насчет имен я ничего не говорил. Думаю, что только ради этого они живут и только это их вдохновляет.

— Тогда я ничего не понимаю.

Меня начало тяготить приставание странного субъекта. В немногих словах, не вполне дружелюбным тоном, сказал насчет имен: — Они не пропадают для потомства, но уже сейчас записываются в Золотую книгу. Раскроется она в тот день, когда заново начнут писать историю. Тогда Талейран, Меттерних, Бисмарк отойдут в тень, а на первый план выступят имена, никому доселе не известные.

С тех пор я не видел его двадцать пять лет.

Глядя теперь на подергивающееся лицо, на глаза, лихорадочно следящие за погребальной гондолой, я понял, что все эти двадцать пять лет думал он об одном.

— Ну скажите — разве это не величайшее из всех убийств, если человеку, совершившему важный исторический подвиг, отказывают в занесении его имени в Золотую книгу?

В голосе его такое отчаяние, какого еще не приходилось слышать. Несколько дней его не было. И вот опять:

— Вы мне должны помочь! Помочь!

Взялась откуда-то пачка бумаг. Он умолял их прочесть.

— В этом мое спасение!.. Мое спасение!



Это было слишком. Я отодвинул бумаги и попросил оставить меня в покое. Но покоя не было. Дома почувствовал, как раздражение перешло в щемящую жалость. В жизнь свою не слышал большего отчаяния, чем в голосе этого человека. Не отказал ли я в помощи страждущему? Не проявил ли черствость? В дверь постучались. Вошел пожилой господин и заговорил со мной по-русски.

— Простите, но я пришел умолять спасти моего несчастного брата. Вы знаете, о ком я говорю. Прочтя его бумаги или хотя бы сделав вид, что прочли, вы доставите ему величайшее облегчение, а если исполните после этого его скромную просьбу, то может быть — спасете жизнь.

— Но кто вы и кто ваш брат? Я не знаю.

Посетитель горестно помолчал.

— Одно могу сказать: мы оба русские и такие же изгнанники, как вы сами. Имена наши... Чем они отличаются от десятков тысяч ничтожных, никому не нужных имен? Да и самое дело такое, что если бы в нем не было трагизма, могло бы показаться смешным. Вам, лично, оно ни с какой стороны не опасно. Моя просьба — это, в сущности, просьба о милосердии.

Увидев мое недоумение, он вынул знакомую мне пачку листов и положил передо мной.

— Прочтите хотя бы несколько из них и вам станет ясно.

Листки были порядочной давности, написаны разными почерками без подписей. Только на двух-трех стояла буква А.

— Это означает подпись Керенского, — пояснил незнакомец.

— Это не только не проясняет, но окончательно лишает меня понимания. При чем тут Керенский и что означают странные распоряжения и приказы, писанные не на официальных бланках, без соблюдения формы, без дат, без указания фамилии, полные намеков и каких-то цифр.

Не могу даже понять, к какому времени относится вся эта письменность.

— К лету 1917 года.

— Гм! Но о чем же тут?

— Вся эта переписка связана с Корниловским делом. С лишением генерала Корнилова звания верховного главнокомандующего и с заключением его в Быкове. Из этих листков должно явствовать, что брат мой играл главную роль в качестве доверенного лица и тайного советника Керенского. Он часто говорит — это его любимая тема, — что корниловские дни были поворотной точкой в мировой истории. Решена была судьба России, предопределен приход большевиков. У власти в те дни стоял масонский триумвират: Керенский-Некрасов-Терещенко. Самым главным был Керенский. Но брат уверяет, что невращеник Керенский ни на что не годился, разве лишь, быть простым исполнителем. Вся операция, связанная с провокацией и арестом Корнилова разработана и проведена моим братом, державшим все нити в руках, несмотря на то, что находился в тени. Он этим гордился, считает это своим историческим подвигом. Бумаги, которые я вам принес, должны, по его мнению, убедить в этом. Он случайно их спас и сохранил, заметив, как чьими-то происками его заслуги в этом деле стали замалчиваться. Это грозило ему опасностью не быть занесенным в «Золотую Книгу» и лишиться посмертной славы.

Тут я, как ни был хмуро настроен — расхохотался.

— Как можно лишиться славы, располагая таким богатым архивом?

Незнакомец терпеливо перенес мой смех и, выждав минуту, заговорил снова.

— За целостность этого архива мой брат как раз и боится. Он не может отдать его на сохранение ни в один институт, ни в одну библиотеку. Всюду масоны и всюду бумагам грозит уничтожение. Последняя его надежда — вы. Он просит вас принять их и хранить до того дня, когда можно будет пристроить в надежное место. Никому в мире кроме вас не доверяет.

— В своем ли уме ваш брат? Что я буду делать с этой макулатурой?..

— Вы его убьете, если не согласитесь.

— Ну, это уж на шантаж похоже.

— Я вас умоляю не подозревать у меня таких намерений. Мой брат сейчас в очень тяжелом состоянии.

— Но чего вы от меня хотите?

— Простого человеколюбия. Вы можете несколькими словами успокоить человека и предотвратить его душевный кризис, если сейчас пойдете со мной и скажете то, о чем я вас просил.

В бедном отельчике на Lista di Spania, куда он меня привел, сидел осунувшийся, пожелтевший, с горящими глазами — мой парижский знакомец.

— Вы пришли?! Пришли?! Я знал, что вы не откажете. В этих бумагах моя душа, мое будущее, мое место в истории... Вы примете их, вы не совершите убийства — не уничтожите!

Я посмотрел на безумное лицо, на умоляющий взгляд его брата и дал согласие. Пакет хранился у него на груди и был еще тепел, когда он вручил мне его.

— Через несколько месяцев он будет в безопасности — уедет в Австралию. Но сейчас ему грозит опасность. Вокруг меня увиваются подозрительные личности. Пусть они убивают меня, но бумаги должны быть спасены.

— До каких же пор я должен хранить их у себя?

— К вам придет пожилой господин. Имени своего не назовет, но сделает знак пальцами. Вот так. Запомните этот знак. Вы ему без слов передадите мой пакет.

Целый месяц после этого, не встречался с ним. Только однажды встретил его печального брата. Узнал, что бедняга скончался. Последняя его просьба была ко мне: хранить документы, пока таинственное лицо не придет за ними.

Мне стало грустно и я отправился к своему любимому кафе с видом на остров вечного покоя, и на черные кипарисы, поднимающиеся над желтой стеной. Это было, как тогда, под вечер. Опять, показалась похоронная гондола. Мне стало не по себе. Вспомнился несчастный мой знакомый, и наш разговор с ним в такое же вечернее время.

— Это он! Это он! — услышал я совсем рядом.

Говорил неизвестный господин, подсевший тихо и незаметно. Он указывал на гондолу.

В ответ на мой недоуменный взгляд, сделал пальцами тот странный знак, который показывал мне покойный.

— Ах, вот что!... Но у меня нет здесь с собой этих бумаг.

— А мне их и не надо. Можете себе оставить.

— Как?... Неужели вы лишаете собрата и Золотой книги и посмертной славы?

— Гм! Не будь перед нами этой лодки Харона, уносящей останки нашего бедного безумца, я мог бы рассмеяться. Я никакой не «собрат», а он никакой не масон. Я только, подобно вам, терпеливо выслушивал его бред и ахиною о его подвигах в 1917 году. Ничего, кроме черносотенной премудрости, он не знал о масонах. Это вы ему наговорили про Золотую книгу, про посмертную славу и свели с ума.

— Но что же это за архив, что он мне оставил и который я должен вам передать?

— Там все подделка. Ни одного подлинного документа. Это его собственное творчество. Имена, даты, события перепутаны. Он плохо знал историю 1917 года и быховские события. Свою собственную персону вставил туда некстати, словно для того, чтобы ясней была подделка... Интересовал он меня и привлекал своей психологией. Шутка ли, добиться вечной славы посредством фальшивых документов!...

Он хотел рассмеяться, но, взглянув опять на похоронную гондолу снял шляпу и перекрестился — Царство ему небесное!...

Н. Ульянов



## ВИД С ОЛИМПА

Гера поставила свой бокал на стол и посмотрела вниз. Она ничего не увидела, только тучи плывущие от Эгейского моря. Тучи она не любила и поэтому очень редко покидала Олимп, где солнце пекло с утра до вечера.

— Вот прошел уже почти год, — сказала она. — Почему же Троя еще не взята?

— Троянцы герои, — сказала Афродита.

— Данаи тоже. Но эта война тянется как-то слишком долго.

Геба поставила на стол кувшин с нектаром и посмотрела тоже вниз, где должна была быть Троя. Она тоже ничего не увидела. Только тучи.

— Какая такая война? — спросил Зевс.

— Троянская, — сказала Афродита. — Мы тебе уже много раз об этом говорили.

— Ну ладно, ладно, не могу же я помнить все, что вы говорите. Из-за чего они воюют?

— Из-за Елены.

— Из-за Елены? Ну, что ж, бывает всякое, люди знают, что они делают. Какая такая Елена?

— Ведь это же бывшая жена Менелая. Теперь она жена Париса, сына троянского короля Приама. Мы тебе это уже тысячу раз говорили.

— Постой, постой, — сказал Зевс. — Я тебя спрашиваю, из-за чего они воюют, а ты мне рассказываешь, кто на ком женился и кто с кем развелся.

Геба встала и налила нектар в уже пустой кубок Зевса. Аполлон ухмыльнулся. Афродита пожала плечами и сказала:

— Разве же ты это не помнишь? Мы были однажды на свадьбе Тетис, которая выходила замуж за Пелея. Мы тебе это рассказывали тысячу раз. И Эрис, это та, которая любит ссоры, бросила в толпу

приглашенных яблоко, на котором было написано: «Самой красивой женщине». Самые красивые на Олимпе я, Афина и Гера, но яблоко должна была получить только одна, самая красивая из самых красивых. И потом ты приказал...

— Теперь уже вспоминаю, — сказал Зевс. — Я приказал, чтоб ваш спор рассудил Парис, который тогда пас стада своего отца на горе Ида. Я это отлично помню. В женских вещах Парис хорошо разбирается.

— Верно, — сказала Афродита — в таких вещах Парис очень хорошо разбирается. Поэтому он дал это яблоко мне.

Афина сказала:

— Не знаю если он в этом разбирается или нет, но твоя красота его совсем не интересовала. Ты его подкупила. Он тебе дал это яблоко только потому, что ты ему обещала найти самую красивую женщину в мире.

— Ты ему обещала славу, а Гера власть. Вы его тоже хотели подкупить.

— Это хорошо, — сказал Зевс. — О славе и власти мечтают только страдающие комплексом неполноценности. А самая красивая женщина... Вот это мне нравится. Кто эта самая красивая женщина в мире?

— Да Елена же.

— Как? Елена? Замужняя?

— Да, — сказала Афродита.

— И ты не могла найти какую-нибудь подходящую девственницу? Какой срам! Люди будут теперь распускать сплетни, что мы здесь занимаемся сводничеством. Ведь Менелай же это так не оставит.

— Он это так не оставил, — сказала Гера. — Менелай, Агамемнон, Одиссей и остальные данайские короли уже почти год осаждают Троию.

— Но они ее еще не захватили, — сказала Афродита. — Троянцы герои.

— Данаи тоже.

— Дело совсем не в геройстве, — сказала Геба. — И война у них не настоящая, это дело торговое.

Был полдень. Четыре огненные коня, запряженные в огненную колесницу, летели над Олимпом. Аполлон взглянул на часы и увидел, что Гелий опоздал сегодня на две минуты. Но Гелий щелкнул кнутом и крикнул:

— Не беспокойся, дорогой, я эти две минуты наверстаю!

— Значит, это не настоящая война? — спросила возмущенно Афина. — Значит, это только дело коммерческое? Кто тебе это сказал?

— Гермес, — сказала Геба. — А он в коммерческих делах разбирается.

— Ну, посмотрим, — сказал Зевс и посмотрел вниз, где должна была быть Троя. Он ничего не увидел, только тучи, плывущие с Эгейского моря. Однако Эол догадался сразу, что ему надо делать и мгновенно разогнал тучи.

Троя теперь была как на ладони. Естественно, только для Зевса, необычайно дальнозоркого.

— Видишь ты что-нибудь? — спросила Гера.

— Вижу Приама, Гектора, Кассандру, Хрония и Париса. У них совещание.

Хроний сказал:

— Вот прошел уже почти год, а мы их все еще не победили. В школе нас учили, что мы самое сильное государство в мире.

— Мы самые сильные в мире, — сказал Приам, — но данаев очень много. Впрочем, мы не спешим.

— А что, если они нам перестанут доставлять пшеницу, скот, оливковое масло и вино? На голодный желудок сражаться нельзя.

— На голодный желудок я дерусь еще лучше, — сказал Гектор. — Когда я наемся и напьюсь, я люблю своих врагов как самого себя.

— Вот герой, — сказал Зевс.

— Что он сказал? — спросила Афина.

— Гектор говорит, что на голодный желудок он дерется еще

лучше. Я этому верю. Но после драки он все-таки должен что-нибудь съесть.

— Не беспокойтесь — сказала Кассандра — мы голодать не будем. Все, что нам будет нужно, нам подвезут данаи.

— Странная война, — сказал Зевс и придвинул к себе бокал с нектаром. — Кассандра говорит, что все, что им будет нужно, им подвезут враги. Какая чепуха! Разве же Менелай не хочет взять Троию и увезти домой Елену?

— Он хочет, конечно, но он не может, — сказала Геба.

— Как так не может?

— Не может. Гермес говорит, что как только данаи перестанут доставлять провизию троянцам, будет у спартанских, аргосских, микенских и итакских крестьян слишком много пшеницы, скота, оливкового масла и вина. Продать все это будет им некому. Ничего не поделаешь, троянцы были всегда их самыми лучшими покупателями.

— Троянцы герои, — сказала Афродита.

— Героям нужно больше белков, жиров, сахару и остальных питательных веществ, чем негероям. Это сказал Гермес. Данаи привыкли делать, что им вздумается, ведь у них же демократия. Если Менелай, Агамемнон, Одиссей и остальные данайские короли запретят своим акционерным обществам доставлять троянцам пшеницу, скот, оливковое масло и вино, Греция перестанет существовать.

— Как же это так? — спросила Гера. — Они же могут бросить в море пшеницу и все остальное. Они это делали часто.

— Теперь они это делать не могут. Теперь спартанские, аргосские, микенские и итакские крестьяне бросят в море скорее всего Менелая, Агамемнона, Одиссея и остальных королей. Где там, троянская война никогда не кончится.

— А что мы? — спросила Афина. — Будем мы только смотреть, как герои торгуют пшеницей, скотом, оливковым маслом и вином, вместо того чтобы сражаться как следует?

Вопрос был задан очевидно Зевсу, но тот ничего не сказал. Вероятно, он не знал, что сказать. Он посмотрел опять вниз, но не на Троию, а на берег Эгейского моря, где данаи построили солидные укрепления вокруг своих кораблей. У данаев было тоже совещание.



Менелай сказал:

— Они украли у меня жену. Они меня оскорбили. Троянские воры подошли бы давно с голоду, если бы мы им не поставляли пшеницу, скот, оливковое масло и вино. Ведь они же наши враги, господа.

— У них золото и они хорошо платят, — сказал Одиссей. — Кроме того, мы не троянцы, которые делают только то, что выгодно для государства. У нас другое мировоззрение. У нас каждый имеет право делать, что ему вздумается и если мы запретим нашим акционерным обществам продавать троянцам сельскохозяйственные продукты, у нас будет перепроизводство, девальвация, безработица и наши крестьяне бросят нас в море.

— Но воевать слишком долго мы не можем. У нас дома дела.

— Продолжительная война — хорошая война, а для экономически процветающего государства даже необходима. Такая война повышает спрос и таким образом совершенствуется предложение. На войне, господа, можно заработать лучше, чем на чем-нибудь другом.

— Что они говорят? — спросила Гера.

— Ничего особенного, глупости они говорят, — сказал Зевс. — Разве же герои рассуждают о спросе и предложении, когда их враг не спит? Наверное они что-то задумали и болтают вздор только для отвода глаз.

На Олимпе было тихо и солнце припекало. Немножко ниже, на земном лугу гонялся сатир за расшалившейся дриадой. Где-то совсем внизу, под землей, стучал молотком Гефест, кующий для Зевса молнии. Это слышал, конечно, только тот, у кого был особенно тонкий слух.

— Это примиренчество! — крикнул Менелай. — Мне наплевать на ваши коммерческие операции, здесь в ставке моя честь. Парис мерзавец украл у меня жену и должен быть наказан. На этом мы все договорились. На нашей стороне тоже богини Афина и Гера!

— Вот оно как, — сказал Зевс сердито. — Люди нам не простят, что мы на стороне государства экономически более сильного.

— На стороне троянцев Афродита и Аполлон.

Зевс поставил на стол бокал с недопитым нектаром и встал.

— Кто же здесь, собственно, воюет, — спросил он. — Люди или же боги? Хватит! Не желаю на это смотреть. Скажите Эолу, чтобы он нагнал туда как можно больше туч.

Тучи плыли от Эгейского моря почти неделю, но троянцев и данаев это нисколько не беспокоило. Когда солнца не было, можно было сражаться еще лучше. Кроме того, все знали, что около сороковой параллели плохая погода не держится слишком долго.

Порядок дня был точно установлен, на этом договорились обе стороны. Точно в семь часов утра городские ворота открывались и троянцы бросались на данаев, которые уже поджидали перед воротами города. Сражались до одиннадцати часов. Потом был обед и после обеда все отдыхали до половины пятого. Потом сражались опять, но не слишком ожесточенно, было все еще довольно жарко. Убитых обыкновенно не было, разве что кто-нибудь начал преждевременно думать о своих домашних делах и забыл защищаться. Троянцы и данаи были опытными бойцами и знали отлично, для чего у них щиты. Раненых было мало, главным образом это были шишки, синяки или же надорванные сухожилия, но ругались все с упоением. Крепкие слова придавали героям силы. Точно в семь часов вечера всем очень хотелось есть и рабочий день кончался. Данаи возвращались в свой лагерь, а троянцы в Трою и городские ворота закрывались. После ужина шли данаи к стенам Трои подышать свежим воздухом, а троянцы гуляли наверху между сторожевыми башнями.

Здесь происходил обмен мнениями. Обыкновенно выяснялось, кто откуда родом, у кого предки боги или богини, кто кого когда-нибудь победил, кто умеет бегать быстрее всех и что было сегодня к ужину. Иногда тоже ругались, в особенности когда пили больше чем надо, крепкого греческого вина. Но однажды Одиссей подошел к стенам Трои и крикнул:

— Позовите сюда Гектора, мне нужно с ним серьезно поговорить!

— Убирайся, мерзавец, — сказал патрульный, выпивший сегодня больше чем надо крепкого греческого вина. — Нечего тебе здесь околачиваться, проклятый сын Лаерта, проклятый внук Адмета, проклятый правнук бога Гермеса, который тебя научил лгать и красть.

— Постой — сказал Одиссей. — Я не пришел сюда ругаться, а вести переговоры. Пусть сюда сейчас же придет Гектор, иначе я уйду и вы ничего не узнаете.

Патрульный вспомнил, что Одиссей не любит ругаться и его настроение стало менее воинственным. Ругаться один он не умел, ему был всегда нужен партнер, умеющий ругаться так же хорошо, как он. Он только пожал плечами и послал самого молодого караульного за Гектором. Тот пришел, посмотрел вниз и спросил:

— Чего тебе надо, оккупант?

— Мне ничего не надо, — сказал Одиссей. — Это вам, троянцам, всегда чего-нибудь надо.

— Нам надо победить вас и захватить ваши дурацкие корабли.

— Это я уже слышал тысячу раз, но дело совсем не в этом. Вы хотите, чтобы у вас была всегда хорошая и полезная пища, верно?

— А тебе-то какое дело, проклятый сын Лаерта, проклятый внук Адмета, проклятый правнук бога Гермеса, который тебя научил лгать и красть!

— Это я уже тоже слышал тысячу раз, — сказал Одиссей. — Но дело тоже не в этом. Как тебе известно, мы доставляем вам регулярно пшеницу, скот, оливковое масло и вино. Но может случиться, что мы вам это перестанем доставлять.

— Ты говоришь серьезно?

— Очень серьезно.

Гектор смутился. Но вдруг он что-то вспомнил и расхохотался.

— Чего ты смеешься? — спросил Одиссей мрачно.

— Только так. Я что-то вспомнил. Кассандра сказала однажды, что у вас перепроизводство и что вы должны продавать сельскохозяйственные продукты во что бы то ни стало. Она тоже сказала, что вы страшно боитесь безработицы, девальвации, забастовок и что ваши крестьяне, которые привыкли делать, что им вздумается, бросят вас когда-нибудь в море.

— Кассандра несет вздор, — сказал Одиссей. — Мы производим больше продуктов, чем надо самим, но покупателя за границей мы всегда найдем. Относительно же восстания, об этом не может быть и речи. У нас хорошая полиция и она оплачивается хорошо.

— Ну, ладно, в ваши государственные дела я не вмешиваюсь. Что вы от нас хотите?

— Ах, пустяки. Мы будем вам доставлять по-прежнему пшеницу, скот, оливковое масло и вино, но только при определенных условиях.

Тучи плыли от Эгейского моря, но их было уже меньше и по временам появлялось солнце, заходящее за морем. Море было голубое

и спокойное. Посейдон по-видимому отдыхал или же у него было хорошее настроение.

— Нет, — сказал Гектор, — об этом не может быть и речи. Вы хотите наверное, чтобы мы вам отдали Елену, но об этом и не думайте. Это дело чести, а честь мы не продаем.

— Да нет же, — сказал Одиссей, — подавитесь вы вашей Еленой, у Менелая уже другая. Но посуди сам, Гектор. У нас производство и других вещей, например цедилок, искусственных цветов и игрушек.

— Цедилка полезная вещь, — сказал Гектор.

— Конечно. Но у нас их слишком много. Мы можем каждый день покупать себе одну цедилку, а в воскресенье даже две.

— Зачем же вы их производите?

— Тебе этого не понять. У нас каждый имеет право делать, что считает выгодным для себя. Но вам эти вещи наверное пригодятся.

— Нет, — сказал Гектор, — нам не нужны цедилки, искусственные цветы и игрушки.

— Ну, пожалуйста, это ваше дело. Но тогда мы вам перестанем доставлять пшеницу, скот, оливковое масло и вино.

Гектор задумался. Троя была окружена со всех сторон, это верно, но с другой стороны троянцы слепо верили Кассандре, которая твердила, что данаи никогда не решатся приостановить поставку пшеницы, скота и того-другого хорошо платящим государствам. Ведь данаи же боятся себя самих. А что, если они уже не боятся себя самих?

— Я один ничего решить не могу, — сказал Гектор. — Подожди здесь, я пойду посоветоваться с отцом.

— И скажи ему, что цедилки и остальное мы вам продадим за полцены, — сказал Одиссей. — В крайнем случае, даже в кредит.

Это было вымогательство, но делать было нечего. Приам созвал совещание, а так как дело было совершенно ясное, Гектор вернулся через полчаса на стену и сказал:

— Ладно, мошенник, давайте нам эти проклятые цедилки и все остальное за полцены. Но берегись, проклятый сын Лаерта...

— И внук Адмета, — сказал Одиссей, — и правнук Гермеса, который меня научил лгать и красть. Это я уже слышал тысячу раз.

И все осталось по-старому. Внизу на земле люди сражались, ели, пили, занимались коммерческими делами, исполняли свои мужские и женские обязанности и иногда работали. Естественно, когда у них было свободное время. Троянцы делали только то, что было выгодно для государства и они этим очень гордились. Данаи делали, что считали выгодным для себя и они этим тоже очень гордились. Троянцы и данаи еще не умели ненавидеть друг друга по-настоящему. Собственно, ненавидеть противника было в те времена нехорошо, неспортивно, неприлично. Ведь это же не была настоящая война, а только спортивное состязание, до некоторой степени олимпиада под покровительством богов. Боги вмешивались в частные человеческие дела только изредка, но следили исправно за тем, чтобы земля рождала в изобилии вещи съедобные, питьевые и для украшения. Если им что-нибудь внизу не нравилось, они низвергали гром и молнии и делали землетрясения.

Однако такая идиллия не нравилась богине раздора Эрис и поэтому она пришла однажды к Менелая и сказала:

— Я слышала, что у тебя другая жена и что ты Елену забыл. Ну что ж, в твои семейные дела я не вмешиваюсь. Но все же я не понимаю, как ты можешь вести как ни в чем не бывало торговые дела с троянцами. Ведь они же тебя оскорбили.

— С троянцами я сражаюсь каждый день, кроме воскресенья, точно восемь часов, — сказал Менелай. — Относительно же торговых дел... Все же ведут торговые дела.

— А думать ты разучился, король? У тебя голова на плечах только для того, чтоб носить шлем и рога? Ну, как же тебе не стыдно, роконосец! Разве же ты не знаешь, что троянцы для вас очень опасны?

— Мы для них очень опасны, — сказал Менелай. — Мы их осаждаем.

— Я говорю о троянском мировоззрении, подрывающем вашу государственную мораль. Я знаю людей в Спарте, в Аргосе, в Микенах и на Итаке, которые подумывают уже о том, что это хорошо, делать только то, что служит на пользу государству.

— Проклятье! — сказал Менелай.

В тот же день Эрис пришла к Гектору и сказала:

— Берегись, герой, данаи гораздо сильнее, чем ты думаешь.

— Ну и пусть, — сказал Гектор. — Мы их все равно побьем.

— У них другое мировоззрение и оно постепенно подрывает вашу государственную мораль. Я знаю троянцев, которые уже считают, что хорошо делать, что им взбрдет в голову. Борешься ты против такого пагубного демократического мировоззрения?

— Проклятье, — сказал Гектор.

А потом все изменилось.

В один прекрасный день на небе не было ни одного облака. Не было на земле даже тени, потому что был полдень и Гелиос летел над Олимпом в своей сияющей колеснице, запряженной в четверку огненных лошадей.

— На земле что-то неладно, — сказала Геба, ставя на стол блюдо с амброзией. — Люди внизу уже не ругаются, а дерутся по-настоящему. Гектор уже убил Патрокла и Ахиллес свирепствует. Патрокл был его самый лучший друг.

— Кто тебе это сказал? — спросила Афродита.

— Гермес. И он сказал еще, что Филоктет убил Париса. Какой ужас! Троянцы и данаи стали ни с того ни с сего ненавидеть друг друга по-настоящему. Они дерутся как сумасшедшие и у них уже совсем пропал аппетит.

Аполлон посмотрел на часы и установил с удовлетворением, что Гелиос сегодня не опоздал ни на минуту. Афина сказала:

— Троянцы и данаи убивают друг друга, как безумные, забыв все правила хорошего поведения. Я даже не подозревала, что они могут друг друга так ненавидеть.

— Но ведь это же понятно, — сказал Аполлон. — Они уже догадались, что разные политические мировоззрения к добру не ведут. Данаи делают еще, что им придет в голову, но они уже подумывают с беспокойством, что их демократия зашла как-то слишком далеко. Троянцы делают все еще только то, что приносит пользу государству, но они уже начинают побаиваться демократии.

Прилетел Гермес, снял со своих сандалий крылышки и сел за стол. Зевс взглянул на него вопросительно, но ничего не сказал. Афродита спросила:

— Что там внизу делается? Говорят, что люди там дерутся по-настоящему.

— Дрались, — сказал Гермес и протянул руку к своему бокалу с нектаром. — Они дрались, как сумасшедшие, но вдруг ни с того ни с сего перестали драться.

— Не может быть! — крикнула Гера. — Они заключили мир?

— Нет, мир они не заключили, но они ведут себя как-то странно. Не дерутся и даже не ругаются и нет у них уже никакого вечернего обмена мнениями. Кажется они что-то задумали.

— Это мне не нравится, — сказала Гера и посмотрела вниз, где кончалась земля и начиналось Эгейское море. Трои она все-таки не увидела, та была слишком далеко, а она не была так дальнорюбка как Зевс. Она увидела внизу только разъяренных Эринний, которые куда-то летели.

— Что тебе не нравится? — спросила Афина.

— Они не сражаются, не ругаются и все же война длится почти уже десять лет. Им бы нужно было больше сражаться и меньше заниматься торговыми делами.

— Они что-то задумали, — повторил Гермес.

— Ну что ж, посмотрим, — сказал Зевс и посмотрел вниз. Он увидел Менелая, стоящего под стенами Трои, а наверху, между сторожевыми башнями, Гектора.

Менелай сказал:

— Вашего вора Париса мы уже убили и скоро вас всех убьем.

— Это я уже слышал, — сказал Гектор. — Кстати, пшеница у нас уже кончается.

— Подвезем, не беспокойтесь, но уже в последний раз. Скоро у нас будет новое усовершенствованное оружие и потом мы у вас все отберем.

— Не болтай глупости, — сказал Гектор. — Гомера мы тоже читали и вашего деревянного коня сожжем сразу же и со всем, что у него будет внутри.

— У нас другое оружие, получше гомерского деревянного коня. У нас атомовая бомба.

— Врешь — сказал Гектор.

— Честное слово. Самая смертоносная бомба. Когда она взорвется, все, что будет на пространстве девяти квадратных метров полетит ко всем чертям. Даже от железа ничего не останется.

Солнце заходило и было тихо. Ниже на лугу звенели цикады, но это тишину не нарушало. Совсем внизу, в данайском лагере, пели герои, выпившие сегодня больше чем надо крепкого греческого вина, но это тоже не нарушало тишину. Только в Трое никто не пел, не звенел и это действовало данаям на нервы.

— Троя гораздо больше чем девять квадратных метров, дурак, — сказал Гектор.

— Это не важно, — сказал Менелай. — Суть совсем в другом. Бомба уничтожит все в пространстве девяти квадратных метров и все же от вашей Трои ничего не останется. Это наше новое усовершенствованное оружие. Атомовая бомба.

— Не болтай глупости, — сказал растерянно Менелай.

— Не болтаю я никаких глупостей. Наша бомба, когда взорвется, уничтожит все в пространстве девяти квадратных метров. Даже от железа ничего не останется.

— С ума они сошли, что ли, — сказал Зевс. — Ничего не понимаю.

— Что они говорят? — спросила Афродита.

— Глупости. Есть у них будто бы какое-то усовершенствованное оружие, какая-то бомба, которая может уничтожить все в пространстве девяти квадратных метров. Какая чепуха! Гермес, сбегай, дорогой, вниз и посмотри, что они там замышляют.

Гермес надел крылышки на сандалии и улетел. Афина попыталась было вспомнить, что писал Гомер об усовершенствованном оружии, но пришла к заключению, что об этом он ничего не писал. Гера была возмущена, что троянцы уже знают, что будет внутри троянского коня.

— Теперь мы узнаем, что задумали троянцы и данаи, — сказала Геба. — Гермес докопается до всего, потому что он... Как бы это сказать...

Она не закончила фразу, но не потому, что не знала, как сказать, а только потому, что Гермес был уже опять здесь.

— Ничего не понимаю, — сказал он смущенно. — Менелай, Агамемнон и Одиссей исчезли.



— Как так исчезли? — спросил Зевс.

— Исчезли. И никто не знает, где они. Я заглянул, конечно, в Трою, но там то же самое. Гектор, Сарпедон и Кассандра исчезли. В жизни еще не было случая, чтоб я не знал, что на земле делается.

Боги и богини стали возбужденно шушукаться. Аполлон и Афродита были убеждены, что Кассандру, знающую наперед как кончится троянская война, убили в гневе Гектор и Сарпедон и теперь скрывались где-то, чтобы их не казнил Приам. Афина и Гера боялись, что без Менелая, Агамемнона и Одиссея Троя не будет никогда взята.

— Ну ладно, посмотрим, что там у них делается, — сказал Зевс и посмотрел вниз. Естественно, он сразу же все увидел, потому что он был Зевсом.

— Видишь Трою? — спросила Афродита.

— Я вижу Менелая, Агамемнона и Одиссея, — сказал Зевс. — Они идут к Атласу и что-то несут. А с другой стороны по тропинке между скалой и пропастью идут Гектор, Кассандра и Сарпедон. Они тоже что-то несут. Теперь они остановились перед Атласом.

Гектор остановился, посмотрел сумрачно на данаев и спросил:

— Что вам здесь нужно?

— То же самое что и вам, мерзавцы. Не прикидывайся дураком.

— Они с ума спятили, — сказал Одиссей. — Видел ты когда-нибудь, Гектор, таких сумасшедших, как Менелай и Агамемнон?

— Гектор и Сарпедон тоже сошли с ума, — сказала Кассандра. — Если боги знают, что сейчас будет, они сбросят их в пропасть.

— В чем там дело? — спросила Гера.

— Не знаю, — сказал Зевс. — Кажется все походили с ума. Это говорит Кассандра, а она знает, что говорит.

— Что они хотят сделать?

— Ведь говорю же тебе, что не знаю. Кассандра говорит, что если бы я знал, что они хотят сделать, я бы сейчас же сбросил в пропасть Менелая, Агамемнона, Гектора и Сарпедона. Только я не делаю ничего преждевременно.

— Что вам здесь нужно? — спросил Атлас, который не любил, когда около него собирались боги или люди.

Менелай сдвинул на затылок шлем и сказал:

— У нас новое оружие. Атомовая бомба. Когда она взорвется, все в пространстве девяти квадратных метров полетит ко всем чертям.

— Ну, а я-то здесь при чем?

— Ты стоишь как раз на девяти квадратных метрах, которые мы хотим взорвать. Мы бросим тебе эту бомбу под ноги, вот и все.

— И ноги полетят ко всем чертям, — сказал Агамемнон. — Все полетит ко всем чертям. Ты должен будешь отпустить небо и оно обрушится вниз. И Троя пойдет ко всем чертям.

— Спарта, Аргос, Микены и Итака тоже пойдут ко всем чертям, дураки, — сказал Одиссей.

— Ну и пусть себе. Главное что Троя пойдет ко всем чертям. Пусть никто не думает, что у меня можно безнаказанно украсть жену.

Кассандра хотела что-то сказать, но Гектор вдруг побагровел от злости и крикнул:

— Пусть никто не думает, что можно безнаказанно осаждать нашу Трою. Наша бомба взорвет Атласа и тот выронит небо на ваши дурацкие Спарту, Аргос, Микены и Итаку!

— Идиот, — сказала Кассандра.

Одиссей беспомощно развел руками.

Зевс развел беспомощно руками и сказал:

— Они сошли с ума. Они хотят уничтожить все, что я творил миллионы лет.

— Что они хотят сделать? — спросила Афродита.

— У них какая-то бомба и они хотят ее бросить под ноги Атласу. Если небо обрушится, все полетит ко всем чертям. Олимп тоже полетит ко всем чертям.

— Убей их, — крикнул Гермес.

— Не могу, дорогой, — сказал Зевс. — У Менелая и у Гектора бомбы и если я поражу их молнией, бомбы взорвутся и это мерзавцы отлично знают. Я должен был их убить раньше, пока они еще не стояли около этих проклятых девяти квадратных метров. Ну, делать нечего, господа. Это была прекрасная земля, несмотря на то, что иногда рождала идиотов.

Где-то совсем близко бог лесов и лугов Пан играл на свирели что-то очень веселое. Люди на земле ели, пили, размножались, иногда работали, иногда сражались и в общем были довольны. На зеленых лужайках сатиры гонялись за расшалившимися дриадами, а в морях плавали, смеялись и пели коварные nereиды. Верно, земля была прекрасна.

— Мы бессмертны, — сказала Гера.

— Да, — сказал Зевс, — но у нас будет очень много работы. Мы будем должны вырастить какую-нибудь другую планету, но это отнимет у нас очень много времени.

Гектор и Менелай вынули из футляров атомовые бомбы и их лица стали багроветь от злости. Одиссей сказал:

— Ладно, бросайте ваши бомбы, болваны. Жить с вами на одной планете было все равно скучновато. Жаль вот, что зря пропадут такие чудесные сандалии.

— Какие такие сандалии? — спросил Менелай, переставая багроветь от злости.

— Ну те, что на ногах у Атласа. Кто ими завладеет, будет бессмертным.

— Не валяй дурака, — сказал Гектор и его лицо тоже немножко побледнело.

— Никакого дурака я не валяю. Вот спроси сам Кассандру.

— Ведь это же ясно, — сказала Кассандра, понявшая сразу же правила игры, — Атлас бессмертен, потому что у него эти сандалии.

— Он бессмертен и без сандалий, — сказал Одиссей. — Когда мы его взорвем, он пойдет на Олимп к остальным богам.

— Будет действительно бессмертным, кто оденет эти сандалии? — спросил Гектор.

— Действительно. Тебе бы хватило одной сандалиии и ее не

нужно бы было надевать на ногу. Ты бы ее мог вставить в рамку и повесить дома на стену.

— Хватит только одной сандалии?

— Ну конечно же. У кого одна сандалия, тот не может быть только наполовину бессмертным.

Зевс хохотнул и сказал:

— Одиссей тертый калач.

— Он сын Лаерта, внук Адмета и правнук нашего Гермеса, который его научил лгать и красть, — сказала Афина.

Гермес хотел было сказать, что лгать и красть научил людей инстинкт самосохранения, но Гелиос, летящий над Олимпом в своей сияющей колеснице с четверкой огненных лошадей, щелкнул кнутом и крикнул:

— Внизу что-то готовится!

Да, внизу что-то готовилось. Гектор улыбнулся более или менее дружелюбно и сказал:

— Ты только подумай, Менелай. Мы выполним наше задание, а что потом? Нас просто не будет. Не хотел бы ты быть бессмертным?

— Хотел бы, — сказал Менелай. — У меня на Олимпе знакомые, Афина и Гера. И я бы очень хотел попробовать амброзии.

— А что будет со мной? — спросил настороженно Агамемнон.

— Нас шестеро, — сказал Гектор, — но только я и Менелай можем решать, что и как, потому что у нас бомбы. Остальные должны будут смириться со своей судьбой.

— Нельзя ли эти сандалии разрезать на шесть равных частей? — спросил Сарпедон.

— Нельзя, — сказал Менелай. — Во-первых потому, что третья часть сандалии уже не сандалия, а что-то неопределенное. А во-вторых я и Гектор имеем полное право их присвоить, потому что мы самые сильные. Атлас их даст, конечно, только самым сильным.

— Нет, — сказал Атлас.

— Ведь ты же все равно бессмертный и сандалии тебе не нужны, — сказал Гектор.

— Нет — повторил Атлас.

Одиссей моргнул глазом Кассандре. Кассандра моргнула глазом Атласу, но Атлас даже глазом не моргнул, потому что ничего не понял. Одиссей вздохнул и сказал:

— Послушай, Атлас, почему же ты не хочешь дать сандалии Менелая и Гектору. Ведь они же очень хорошие парни. Ты бессмертный и сделаешь себе потом другие сандалии.

— Не дразни ты меня, Одиссей, сын Лаерта и так далее, — сказал Атлас. — Разве же я могу поднять ногу, чтобы эти дураки сняли с нее сандалию? Ведь я же держу небо, черт возьми, а оно очень тяжелое.

— Ну ладно, — сказал Одиссей, — он не может поднять ногу. Бросайте уж ваши бомбы, пусть все полетит ко всем чертям. Ну разве же это не чудесно? Не будет на свете ни Трои, ни Спарты, ни Микен, ни Итаки, ровнешеньки ничего. Только бессмертные боги и богини, и те начнут оборудовать какую-нибудь новую планету. Наша все равно никуда не годилась.

Агамемнон и Сарпедон закрыли глаза и приготовились смириться с своей судьбой. Кассандра пожала плечами и села на краю пропасти. Менелай сказал:

— Я бы хотел быть бессмертным. Я бы хотел жить на новой планете, где не будет никакой Трои и где никакой мерзавец не сможет украсть у меня жену.

— Если на новой планете не будет ни Спарты, ни Микен, ни Итаки, я бы тоже хотел быть бессмертным, — сказал Гектор. — Оно очень тяжелое?

— Что? — спросил Атлас.

— Ну небо же.

— Довольно тяжелое, ты его все равно не удержишь.

Агамемнон и Сарпедон открыли глаза и посмотрели с недоумением на Гектора. Кассандра встала и посмотрела на Одиссея. Одиссей сказал:

— Геркулес его однажды удержал.

— Геркулес был силач, — сказала Кассандра и подмигнула опять Атласу. Тот все еще ничего не понял и поэтому не подмигнул.

— Может быть мы оба, Гектор и я, все-таки несколько минут удержали бы небо, — сказал Менелай. — Ты бы мог между тем снять сандалии. Все равно тебе они уже не нужны.

— Хорошенькое дело, — сказал Атлас. — Я вам дам сандалии, а вы меня потом взорвете. Что я, дурак, что ли?

— Ведь ты же бессмертный.

Атлас наконец понял в чем и хотел было подмигнуть Одиссею, но тот смотрел в это время на небо. Может быть он просил Зевса вывести его как можно скорей из этого дурацкого положения. Гектор и Менелай тоже смотрели на небо. Может быть они мечтали о том как будут бессмертными, будут жить на новой планете и сидеть за одним столом с богами и богинями.

Зевс сказал:

— И смех и грех! Из-за сандалий никто еще не стал бессмертным. Разве же они это не знают?

— Какие такие сандалии? — спросила Афина.

— Одиссей утверждает, что сандалии Атласа могут сделать Менелая и Гектора бессмертными. И дураки этому верят.

— Раз уж это говорит Одиссей, он что-то определенно задумал. Вероятно, что-нибудь вроде троянского коня.

— Никакого троянского коня не было, — сказал Аполлон. — Это сказал Гомер, а поэт никогда не скажет, как дело было в действительности. Он даже не намекнул, что данаи и троянцы спят однажды с ума и выдумают атомовую бомбу.

— Данаи и троянцы были когда-то умные, — сказала Геба. — Пока не начали ненавидеть друг друга. Мне бы хотелось знать, кто их свел с ума.

— Я, — сказала Эрис. — Но Зевс не имеет никакого права меня наказывать. Я богиня раздора и исполняю только свои обязанности.

— Да замолчите же вы, пожалуйста, — сказал Зевс. — Внизу что-то происходит. Кажется, Атлас понял уже в чем дело.

— Ладно, — сказал Атлас. — Подержите минуточку небо, но смотрите чтоб оно вас не раздавило. Оно все-таки довольно тяжелое.

Одиссей и Кассандра затаили дыхание. Боги на Олимпе затаили дыхание. Гектор и Менелай спрятали бомбы под скалой, положили на землю щиты, латы и шлемы, плюнули в ладони и подперли плечами и руками небо. Небо было действительно довольно тяжелое, но ничего, дело сошло.

— Сошло, — сказала Кассандра с облегчением.

— Сошло, — сказал Зевс.

Одиссей взял обе бомбы и бросил их в пропасть. Внизу раздался глухой гул и из расселин в скалах вылетели разъяренные Эриннии. Может быть, бомбы пробили дыру в подземное царство бога Гадеса, но с божеской точки зрения дыра было совсем незначительная, только восемнадцать квадратных метров.

— Иди отдохни, Атлас, — сказал Одиссей. — Гектор и Менелай останутся здесь навсегда.

— Как так навсегда? — крикнул Менелай. — Ты нас надул, проклятый сын Лаерта, проклятый внук Адмета, проклятый правнук Гермеса, который тебя научил лгать и красть! Я твое небо отпущу!

— Не отпустишь, — сказал Атлас. — Кто взял на плечи небо, у того сразу же появляется чувство ответственности и он будет смотреть в оба, чтобы его случайно не упустить.

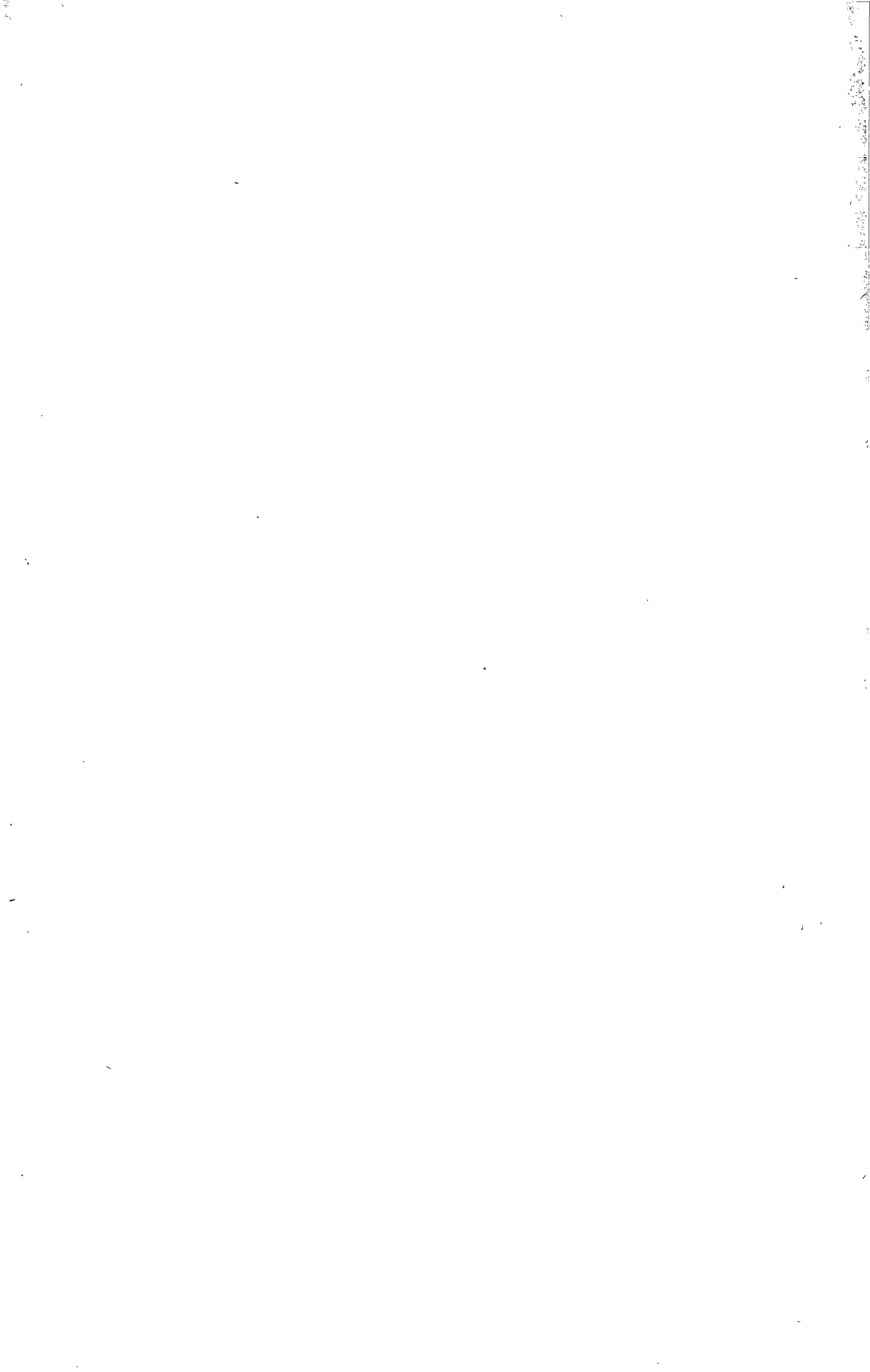
Зевс сказал:

— Он действительно тертый калач. Я говорю об Одиссее, сыне Лаерта и так далее. Я рад, что мы не должны переселяться на другую планету.

*Н. Терлецкий*

# ПОЭЗИЯ





Долго молили о Танце мы Вас, но молили напрасно,  
Вы улыбнулись рассеянно и отказали бесстрастно.

Любит высокое небо и древние звезды поэт —  
Часто он пишет баллады, но редко ходит в балет.

Грустно пошел я домой, чтоб смотреть в глаза тишине,  
Ритмы движений небывших звенели и пели во мне.

Только так сладко знакомая вдруг расцвела тишина,  
Словно приблизилась тайна иль стала Солнцем луна;

Ангельской арфы струна порвалась и мне слышится звук:  
Вижу два белые стебля высоко закнутых рук,

Губы ночные, подобные бархатным красным цветам...  
Значит, танцуете все-таки Вы, отказавшая там!

В синей тунике из неба ночного затянутый стан  
Вдруг разрывает стремительно залитый светом туман.

Быстро змеистые молнии легкая чертит нога  
— Видит наверно такие виденья блаженный Дега,

Если за горькое счастье и сладкую муку свою  
Принят он в сине-хрустальном высоком Господнем раю.

...Утром проснулся и утро вставало в тот день лучезарно  
Был ли я счастлив? Но сердце томилось тоской благодарной.

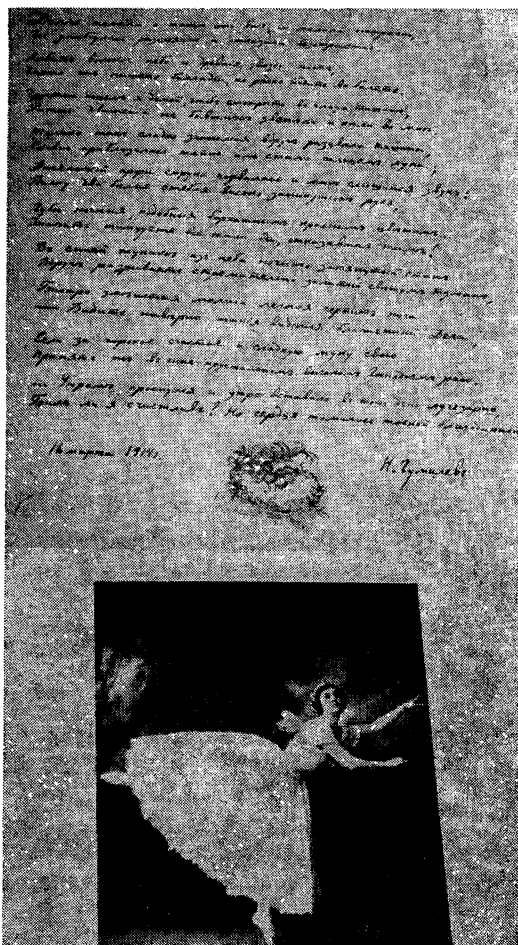
16 марта 1914 года

*Н. Гумилев*

Оригинал этого стихотворения находится в альбоме маркизы де Рипон, переданном мне её дочерью Лэди Джулет Дафф в Лондоне в 1930 году.

Весь этот альбом в двух частях посвящен Тамаре Карсавиной.

С. Лифарь  
Париж 1980



Свидетельствую, что стихотворение «Долго молили о Танце мы Вас» принадлежит Н. Гумилеву и посвящено Карсавиной.

Оно было написано Гумилевым в альбоме, поднесенном Карсавиной на вечере, устроенном в ее честь I Цехом Поэтов 26 марта 1914 года. В этом альбоме были также стихи Ахматовой, Лозинского, Г. Иванова и других поэтов I-го цеха.

Ирина Одоевцева  
Париж 1980 г.

P.S. Я помнила наизусть две строчки из него.



Портрет А. Белого раб. С. Залшупина, Берлин 1922 г.

Дорогой Борису  
 Максиму  
 Къ твою к нервности  
 на предмет касмен и в  
 расен гави



или Къа Гурин

Москва — 1922 г.

Дарственная надпись Б. Пастернака  
 А. Белому

Vanux (Seine) 65, Rue J. B. Pottin  
 5<sup>e</sup> étage, 1437<sup>e</sup>, Вюртем.

Дорога, Витра,

Ковело на шови отива джу — јазу Ви Мей,  
 и ома радуюе и жужу джигери  
 Понде бокама кроела: а. Слоника шифа  
 — келле? Ома твот — джу, ома бокама пошито  
 фит молодик, (и келле оделет) фелла шотел  
 фелла. Кови кадраи.

Дело м ома келителет, татот ома шифа джу,  
 то да м е ома джигери и келет, а што е оделет  
 фелла.

Дистрибуција шифа фелла!

В хорана м — келет — келет джигери джу  
 фелла, а джу джигери в джигери, во фелла  
 ома оделет) фелла, не фелла.

Д на джигери фелла, фелла — или то джигери,  
 фелла: фелла — фелла м джу, фелла не е келет,  
 фелла и фелла фелла фелла фелла, фелла.

Автограф письма М. Цветаевой  
 В. Н. Буниной

Игорю  
 Фредру Августовичу  
 Степуну  
 с целым роем всего  
 лиричного, но с еще  
 большим миром ка-  
 жется на будущее,  
 которое ты видишь  
 впереди себя.

---

Мастерная  
 Москва  
 10 мая 1958 г.

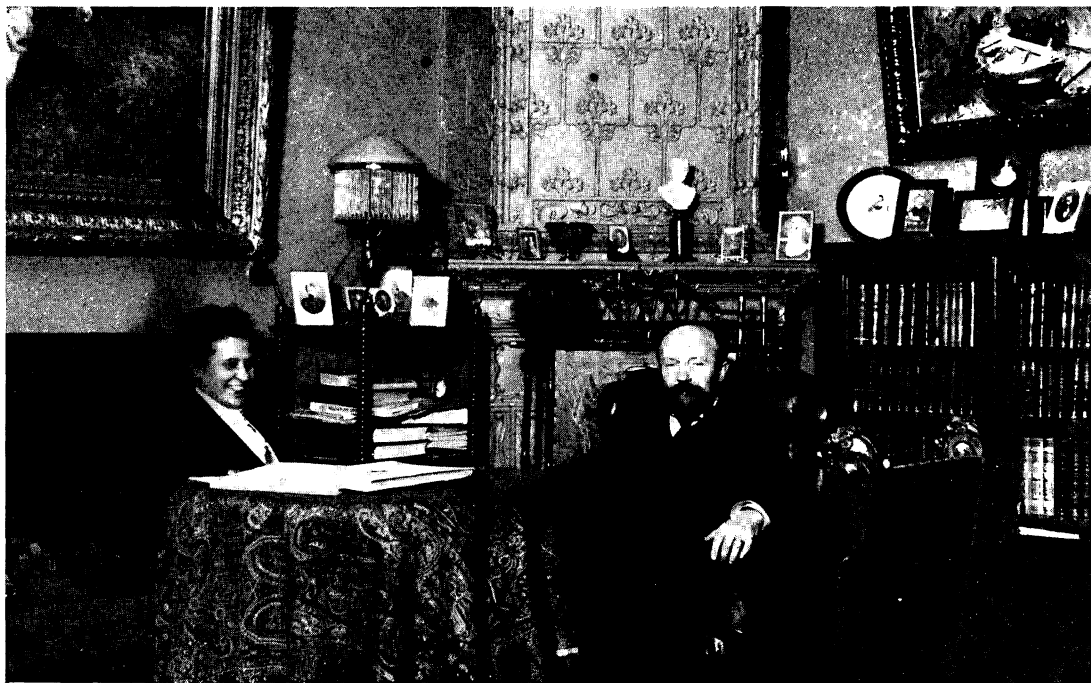
© Collection R. Guerra

Дарственная надпись Б. Пастернака  
Ф. Степуну



© Collection R. Guerra

Ф. А. Степун  
(шестидесятые годы) Мюнхен



Н. О. Лосский с женой. Петербург, 1912 г.



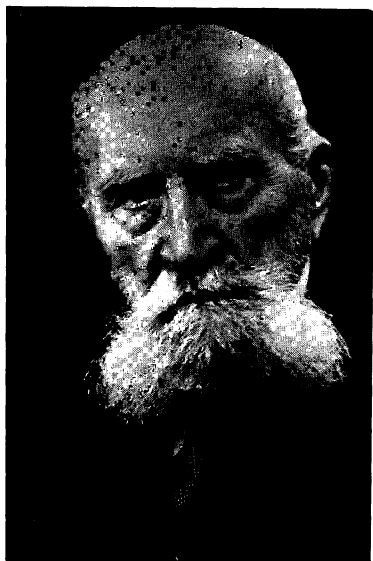
Ю. А.  
1912.

Портрет Л. Андреева  
(рис. Ю. Анненкова)

Портрет Л. Андреева,  
раб. Ю. Анненкова, Куоккала, 1912 г.



И. А. Бунин на банкете  
в честь С. Лифаря, Париж 1937 г.



В. И. Немирович-Данченко  
19. 6. 35

В. И. Немирович-Данченко.  
Прага 1935 г.



С. В. Рахманинов и С. Лифарь.  
Париж 1939 г.

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. К. ЗАЙЦЕВА



Портрет Б. Зайцева,  
раб. С. Залшупина. Берлин 1922



© Collection R. Guerra

Портрет Б. Зайцева,  
раб. С. Иванова. Париж 1960 г.

*Portrait of Boris Zaitsev  
by the artist Serge Ivanoff*

←



Портрет Б. Зайцева,  
раб. Ю. Анненкова. Париж 1968 г.



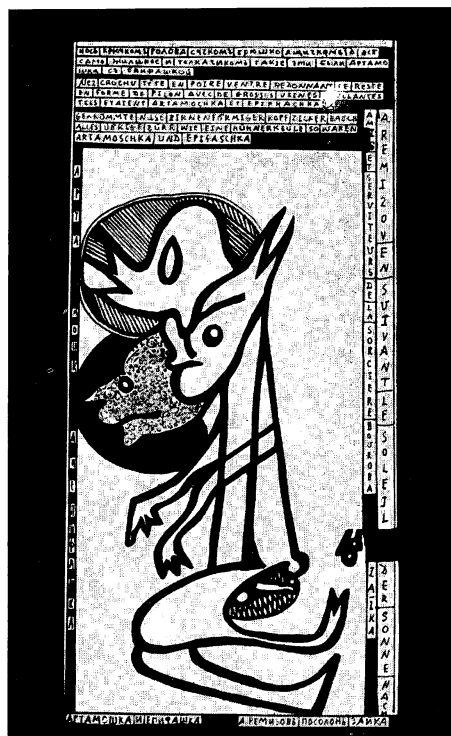
© Collection R. Guerra

Б. Зайцев, фото Р. Герра.  
Париж 1970 г.

*На память о жизни  
и творчестве  
Бориса Зайцева*  
Р. Г. 70



А. Ремизов. Рисунок из серии  
«Les hommes et les démons».  
(В. Ходасевич)



А. Ремизов.  
Рисунок «Артамوشка и Епифашка»



Портрет А. Ремизова,  
раб. С. Залшупина. Берлин 1922 г.



Портрет-шарж А. Ремизова,  
раб. Н. Андреева. Берлин 1923 г.



К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. К. ЗАЙЦЕВА

© Collection R. Guerra



Портрет В. Зайцева,  
раб. С. Залшупина. Берлин 1922

© Collection R. Guerra



Портрет В. Зайцева,  
раб. С. Иванова. Париж 1960 г.

© Collection R. Guerra



Портрет В. Зайцева,  
раб. Ю. Анненкова. Париж 1968 г.

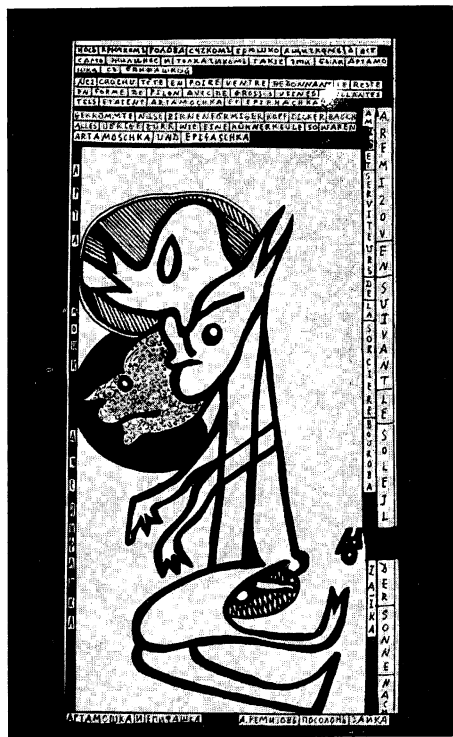
© Collection R. Guerra



Б. Зайцев, фото Р. Герра.  
Париж 1970 г.



А. Ремизов. Рисунок из серии  
«Les hommes et les démons».  
(В. Ходасевич)



А. Ремизов.  
Рисунок «Артамощка и Епифашка»



Портрет А. Ремизова,  
раб. С. Залшупина. Берлин 1922 г.



Портрет-шарж А. Ремизова,  
раб. Н. Андреева. Берлин 1923 г.

© Collection R. Guerra

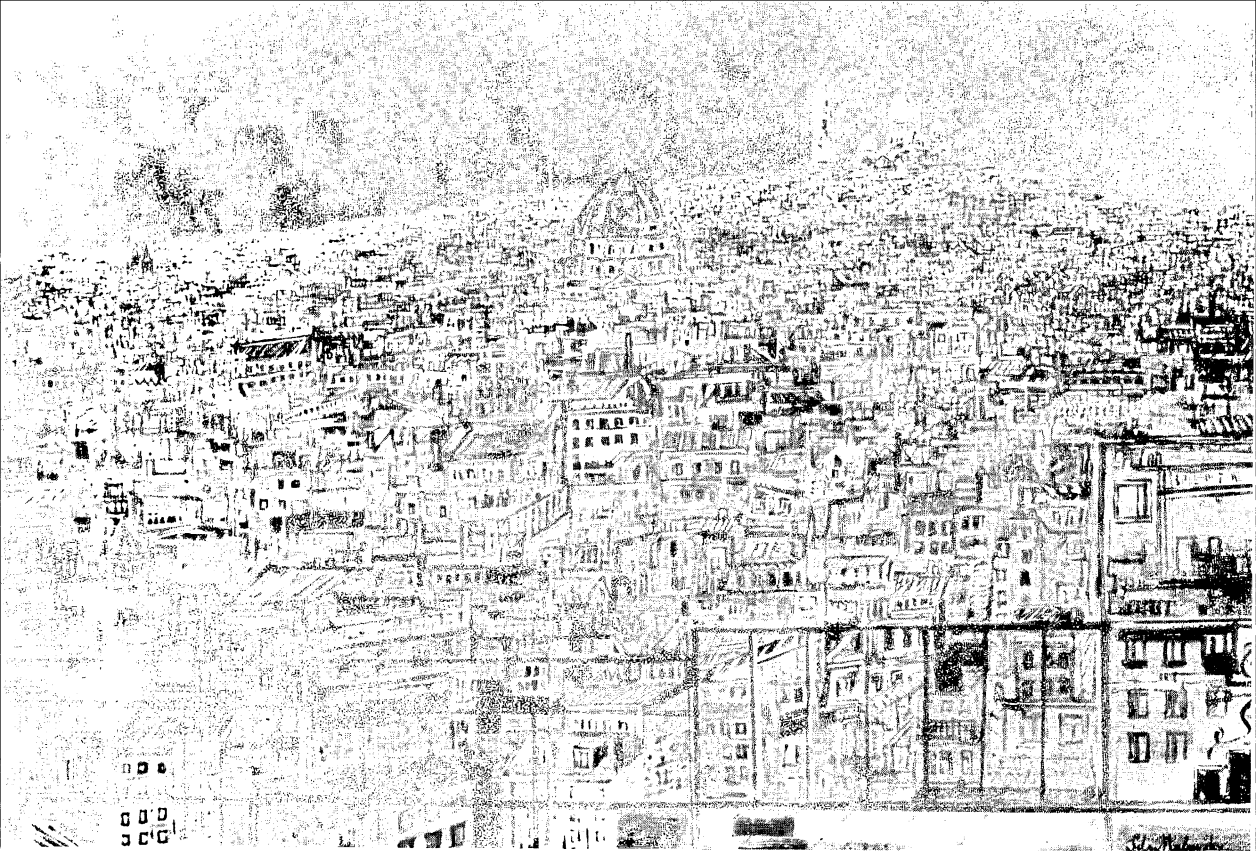


Ю. Анненков. Латинский квартал, Париж 1925 г.



Л. Зак. Парижское кафе, Париж 1927 г.

© Collection R. Guerra



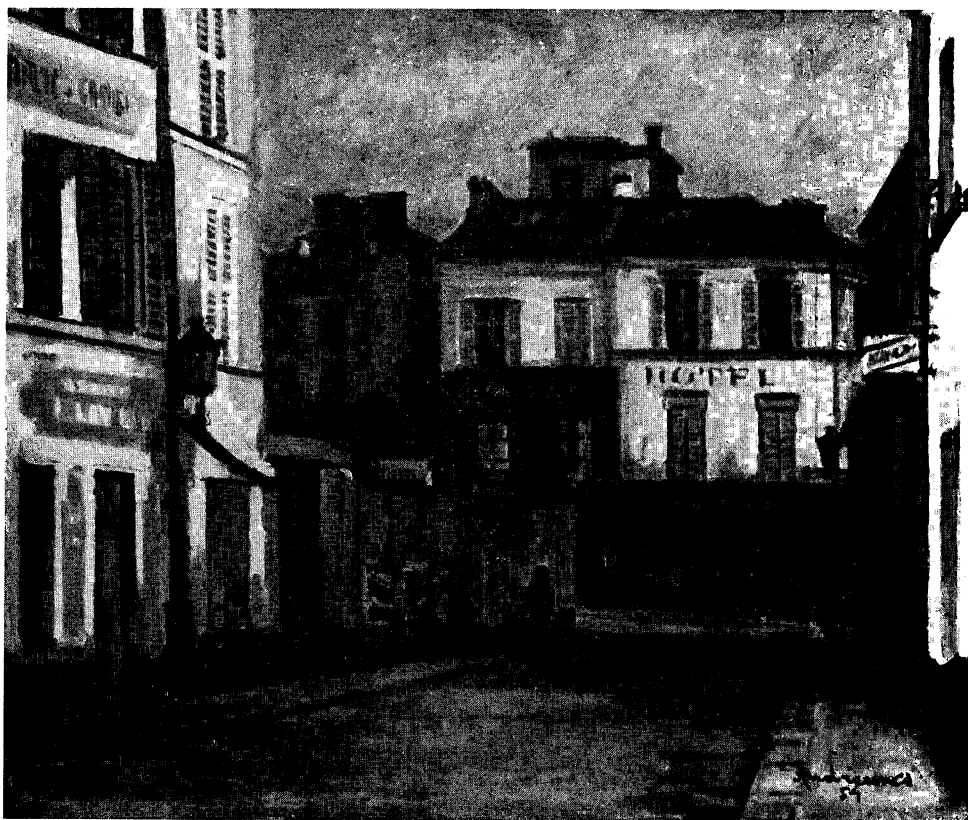
© Collection Z. Schakovskoy

С. Малевский. Париж ночью, Париж 1964



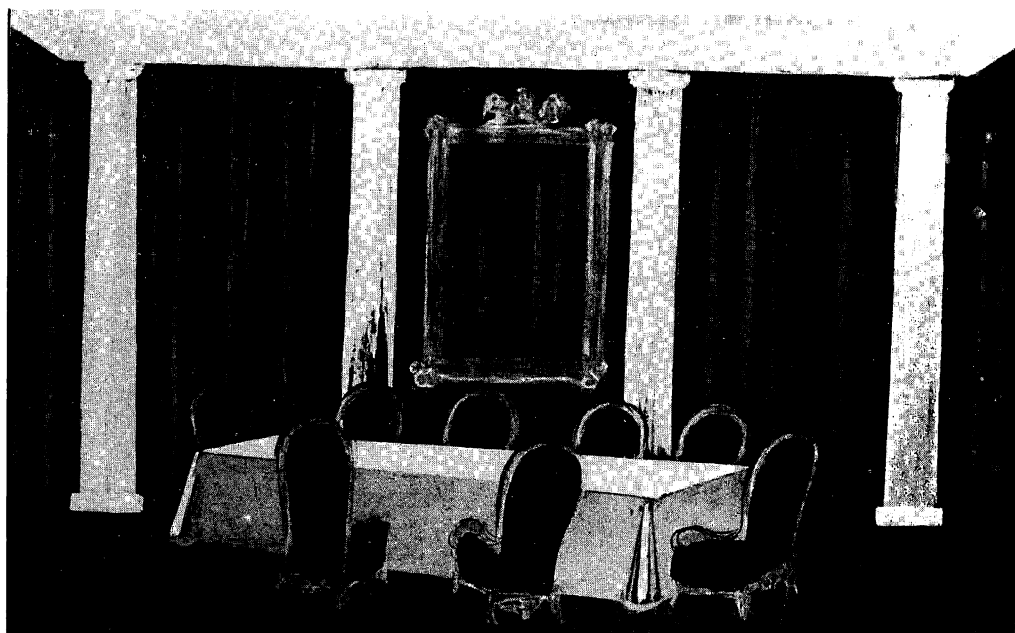
© Collection Z. Schakovskoy





© Collection R. Guerra

М. Андреев. Монпарнас, «Paris disparu», Париж 1954 г.



© Collection R. Guerra

Ю. Анненков. Декорация к постановке пьесы В. Набокова «Событие», Париж 1939 г.

**ПЕСНЯ ДУХОВ ДОЛИНЫ**

Провожала дни в радости сердца;  
Николи печали не знавала;  
Дитя свое прижимала к сердцу.  
Во Младенце Ее вся отрада,  
Целовала Его, миловала;  
Светлыми очами наглядеться  
Не могла на прекрасное Чадо.

Ее не омрачали  
Крылом своим печали,  
Уста Ее молчали,  
Покой любви святыя.  
И лилии, цветы,  
Умильным отвечали,  
И ангелы качали  
Небесное Дитя.

Желанье развевало  
Над спящим покрывало,  
И счастье целовало  
Родимое Дитя.  
И, благостно светя,  
Глаза приоткрывало  
И Матерь узнавало  
Улыбкою Дитя.

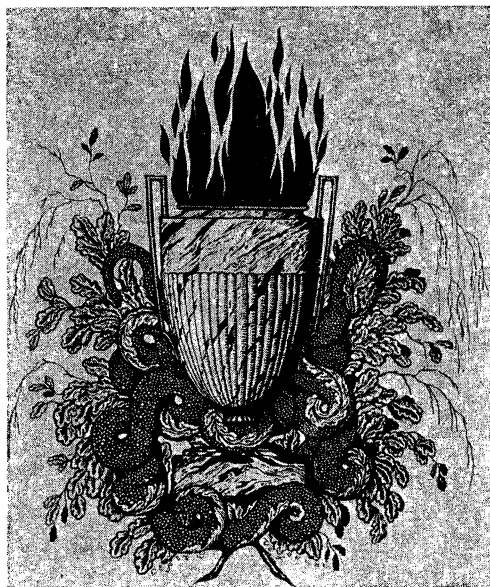
\*\*

Когда, без чертежей и числ,  
Понятен будет жизни смысл,  
И там, где книжники лукавят,  
Нас поцелуй да песнь наставят,  
И светел будет вольный свет,  
И жизни жизнь — один завет,

Когда строй мира станет ясен,  
Затем что с ночью день согласен,  
И в былях, и в напевах струн  
Узнаем правду древних рун:  
Тогда изгонит духа злого  
Неизглаголанное Слово.

*Вячеслав Иванов*

*Из архива Д. Иванова.*



## К СТИХАМ МОЕГО ОТЦА

В дневниках за 1909 г. — от 25 июня до 7 сентября — Вячеслав Иванов отмечает свою чуть ли не ежедневную работу над переводом, или вернее, как он пишет, «переложением», а то и «расширением», стихов Новалиса. Немецкий поэт, которого В. И. считал одним из главных представителей поэзии символической, в смысле «религиозном» или «реалистическом» этого слова, был его русскому переложителю душевно близок. Над его стихами работал В. И. в один из самых тревожных периодов своей жизни. «Прикасаюсь там и здесь к стихам Новалиса, которые хотел бы перевести. В душе чувство огромного сиротства», — пишет В. И. 25/VI/1909 г. и 1/VIII/1909 г.: «Мой час продолжить перевод Новалиса...»

Переводы должны были появиться отдельной книгой под заглавием «Лира Новалиса». Издание не осуществилось. Пять стихотворений были опубликованы в журнале «Аполлон» (№ 7, 1910 г.). Они вошли в издание «Стихотворений и поэм» В. И., Библиотека Поэта, Ленинград, 1976 г. «Новалис, — пишет В. И. в краткой вступительной заметке, появившийся в «Аполлоне», — создатель песен и баллад, вместе простодушных и замысловато-иносказательных, романтически-причудливых и символически-точных, мало притязательных и не всегда выдержанных по стилю и все же музыкально-стройных и намечающих неожиданно-новые возможности словесной мелодии...»

Стихотворение «Когда без чертежей и числ...» взято из материалов Новалиса к повести «Г. фон Офтердинген». В. И. несколько раз брался за него. Последний вариант сделан 9 авг. 1909 г. 18 авг. читаем в дневнике: «Переложил маленькую песнь, звучащую из дерева в Офтердингене, расширив и вовсе изменив ее в картину Мадонны». Это «переложение» и «расширение» печатается под заглавием: «Песня духов долины». Предлагаемые здесь стихотворения воспроизводятся по рукописям, находящимся в архиве В. И. в Риме. Они, насколько нам известно, печатаются в первый раз.

Дневники цитируются по «Собранию Сочинений Вячеслава Иванова» том II, Брюссель, 1974 г. Переводы Новалиса войдут в IV-ый том этого издания, которое появится в свет в 1981 г.

Дмитрий Иванов



Слава, императорские троны, —  
Все о них грустящие тайком,  
Задаются вы на макароны,  
Говоря вульгарным языком.

Что мечтать-то: отшумели годы,  
Все исчезло, сгнили мертвецы,  
Но, пожалуй, рыцари свободы  
Те еще отчаянней глупцы.

Мнится им — из пустоты вселенской  
Заново, и сладко на душе,  
Выгарцует этакий Керенский  
На кобыле из папье-маше.

Чтобы снова головы бараньи  
Ожидали бы наверняка,  
В новом Учредительном Собранье  
Плети нового Железняка.

(? 1954)

Он встал и сказал жене:  
— Ах, будьте добры, убирайтесь прочь!  
Мне тошно от глупых ссор.  
Слезами и криками здесь не помочь —  
Всё рухнуло с давних пор.

Сегодня такая скверная ночь  
И ворон сидит на окне  
Он очень мрачен и очень сердит,  
Как ворон Эдгара По  
И каркает: Never More.

А рядом ворон второй сидит  
И каркает: Глад и мор.

1923

\*\*  
\*

*Отрывок непосланного письма,  
найденный в старых бумагах*

...А в те двадцатые года,  
в начале беженского бытия —  
вернее, путешествия по мукам —  
мы были молоды и Вы и я  
И Вы мне очень нравились  
Но Вы об этом ничего не знали.

Хотя встречались часто мы  
на всевозможных вечерах  
но на меня  
«Зеленоглазую Ирину  
с крылатым бантом в рыжих волосах» —  
как там на берегах Невы  
меня прозвали —  
внимания не обращали Вы.

Потом я переехала в Париж  
И ничего о Вас я больше не слыхала  
А время шло...

И вот чрез много лет я — став уже  
«вдовою знаменитого поэта» —  
за океаном, на приеме  
вновь с Вами встретилась.  
И нашей встрече Вы  
Казалось были очень рады.

Вы стали с грустью вспоминать  
о восхитительных — как Вы их называли —  
берлинских днях и тут же  
слегка смутившись рассказали мне  
что были Вы в меня  
В Берлине влюблены.

Но я была жена поэта  
Георгия Иванова. И это  
Из уважения к поэзии —  
Заставило Вас избегать меня,  
что после моего отъезда из Берлина  
Вы долго тосковали обо мне  
И не могли меня забыть  
все эти годы.

Я молча слушала.  
Мне стало ясно, Вами  
владеет прошлое  
и то что было стало мило  
для Вас.  
А Ваше увлечение мною  
Вы просто сочинили  
для романтического украшения  
того, что было и прошло.

И я Вам не поверила.

На этом всё и кончилось.  
Я возвратилась в Париж.  
И с Вами больше не встречалась  
и редко думала о Вас.

И вдруг нежданно-нежданно  
Вы стали еженочно сниться мне  
И с Вами я теперь во сне  
веду вторую жизнь.  
Я с Вами счастлива, так счастлива,  
как никогда ни с кем я не бывала.

И эти сны так явственны и живы,  
что иногда мне кажется, что я  
по-настоящему во сне живу.  
А то что происходит наяву  
мне только снится.  
И это так меня тревожит и мучит,  
что я решила...

На этом и кончается отрывок  
не посланного мной письма  
и мне почти не верится, что это  
когда-то написала я.

1980

*Ирина Одоевцева*

## ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ

Как эта ночь прозрачна и светла,  
Вся звездная, вся неземная...  
Прислушайся, поют колокола  
Нам наяву приснившегося рая.

Он в легком мраке тайно растворен,  
Он — звездный трепет и твое дыханье.  
Молчи, молчи. И слушай горный звон,  
Так скорбно светел, так приветен он, —  
Как будто эта ночь — уже воспоминанье.

\*\*\*

Последний лист на дереве сквозном,  
А в ясном небе злой прозрачный ветер.  
Порыв, еще — и желтым лоскутком  
Кружится лист в осеннем легком свете.

И вот упал, и вот затоптан в грязь, —  
Но не забыто светлое круженье:  
Так помнит дух, над телом возносясь,  
Святую боль освобожденья.

\*\*

Больше ласки, простоты, покоя, —  
Все на свете суета сует.  
За тобою и перед тобою  
Миллионы миллионов лет.

Все пройдет, как тонкое дыханье  
Ветерка, коснувшегося нас, —  
Все, и наше детское страданье  
В этот горький и чудесный час.

Не печалься, дай мне эти руки...  
Не бунтуй — все суета сует.  
Каждый миг наш — это миг разлуки  
С тем, что было и чего уж нет.

Но быть может сердце достучится,  
Отопрут — и время вдруг замрет.  
В вечном солнце так отраднo спится  
Без любви, без боли, без забот.

*Л. Алексеева*



**НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ПЕЙЗАЖ**

Смотрю, зажмурюсь — и взгляну опять.  
Как хороши вы, дня куски живые!  
И как вас взять, да как бы вас не смять,  
А бережно упрятать в кладовые:

Светло-покатое плечо моста,  
Старуху под диковинною шляпой,  
И — где асфальта серая плита  
Февральским солнцем скупно облита —  
Вылизывающегося кота  
С торчком застывшей задней лапой.

## ОСЕННЯЯ ИДИЛЛИЯ

...А там, в безветренной дыре,  
В недобром южном ноябре  
Проходят, вежливо гуляя,  
Уроды Босховской семьи —  
Там пол-свиньи, там пол-змеи,  
Там лис куражится, виляя.

А в доме щаный пар валит,  
И тесно в сырости корыт  
Копром вспухает от ехидства,  
И рыхлый грузный грязный быт  
Крыт утиральником бесстыдства.

Довольно! Прочь... В иную ночь,  
Где дышит совесть одиноко,  
Где выпот дряблого порока  
Далёко...

Но забыть невмочь:  
Зудит бессонных мыслей свёрло,  
Толпятся слухи у окон,  
Молчит задавленный за горло,  
Забитый кляпом телефон...

Спать, спать! Глаза рукой зажать,  
Сознание выключить! Не знать,  
Не видеть: спать... Не думать: спать...  
Безбудно спать.

Подспудно спать.

*Ольга Анстей*



\*\*  
\*

Это ли не город-ключ  
Первозванного Петра?  
Ангела пята с утра  
опирается о луч...

Вызолотя высь иглой,  
здесь воцерковляет шпич  
государственных гробниц  
тяжко оградённый строй.

Это ли не побратим  
твой, что над Невой навис,  
мысля головою вниз,  
горний Иерусалим?

Это ли не в твой указ,  
Спасе золотой, пальбой  
половиним день любой,  
звонко четвертуем час?

Слышите? Курант! Курант!  
Циркулем для умных мук  
человек распят на круг,  
вписан в звездяной квадрат

кронверка. И — равно — над  
храмом и тюрьмой (у нас,  
вольно-крепостных — все враз!)  
слезно преломился взгляд...

Шпиль! И — двунебесна цель:  
то ли восклицает знак  
царское: «Да будет так!»,  
ангельский ли возглас: «Эль!»?

Господи! Какой провал  
дико перевернут вверх,  
чтобы и на третий век  
граней пересверк сиял.

Видно, что молельщик есть  
крепкий на святом посту:  
воин ледяной в скиту  
тихо сотворяет крест.

Ангел да корабль горят  
в скважинах небесных круч...  
Это ли не город-Ключ?  
Только от каких оград?

## МАЛЫЕ ТЕРЦИНЫ

## 1.

Бесстыден, и любезен, и свиреп, —  
ни дать, ни взять, как Цезарь у Катулла, —  
тяжёлой государственности вепрь

в гнезде орла воссел короткотуло.  
Ты скажешь: — У Истории в хлеву  
свинья спихнула курицу со стула...

Но я-то на земле впервой живу!  
Не наблюдал я, как летели перья,  
но, кажется, увижу наяву

кровавый жир последней из империй.

## 2.

Не потому «Свобода или смерть»,  
что, мол, на эшафот идут герои,  
а потому, что стыдно разуметь

большой народ в короткоштанной роли.  
«Хвали начальство, а не то: бо-бо!»  
Молчать, мычча? Доиться по-коровьи?

Выслуживаться: пиль или тубо?  
Нет, если этим выбором защежит,  
то, право, будет вовсе не слабб,

а сладко умереть от отвращенья!

## 3.

...Но не поёт! Идёт на крик крещендо.  
Тысячелетье — разве это срок  
для отрока-народа от Крещенья?

Увы, до отреченья. Не глубок  
был омут у Подола, если Велес,  
по-видимому, даже не промок.

В подростке силы взрослые прозрелись,  
застыла кость неясного лица,  
и, кажется, вот-вот наступит зрелость...

Нашед себя, ищи, сынок, Отца!

## 4.

Казалось бы... Но нет! За новой модой  
бечь, фалдами развеивая фрак,  
и ради Муз пересобачить модуль

церковного сознания — а никак!  
Иначе ж мы в несовременном свойстве:  
без вольностей, без европейских благ.

А если бы и не было их вовсе?  
Их тут и быть не может! Чем же плох  
единственный из нас в небесном войске?

Всего один. Державин. Ода «Бог».

*Д. Бобышев*

**НА ЗВЕЗДУ МОЮ — ЕЛИЗАВЕТУ****в морозную полночь**

Мороз ударил — выйди по  
святому ли произволенью.  
Пропой в простуженный мой пост,  
Великий в срету Воскресенью.  
Крестом впорхни, весны в веснах  
нетленно тлея в волосах,  
что незабудкой на Весах  
с гвоздикой! — лет ли к просветленью.

Рази оружием в мороз  
под кожу труженицы, ссыльной  
в родные руды, где бы мозг  
ей столь же пламенный и сильный —  
моей сердечной — мышце мышц,  
что гору двигнет аки мышь,  
когда жена родит что муж —  
по судороге по крестильной!

Началом радуги в мороз  
впиваясь в сон мой среди ночи,  
стеклом дверным стекла со звезд  
пчелою чаемая дочь.  
Гуди ж по-Отче на отца,  
глазами прыгая с лица.  
Топчись у притолки, овца  
моя, — в уста влагая очи!

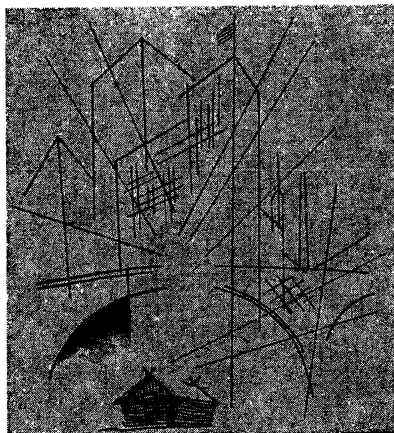
Зови туда, где грузный Лев,  
уоставши простыни утужить,  
у опрометчивой из дев  
лежит уюченный и выюжит...  
Туда, где жертвует Персей  
красой и славою своей  
тому, чьи Конь Копье да Змей  
тебе Дельфином да послужат!

Веди, дитя мое, веди!  
Копьем на ушка узкий светоч.  
Во храм Крестителя введи  
сквозь святооблачную ветошь.  
Кричи-красуйся розой роз,  
открытой раною на Пост —  
родное сердце родилось —  
звездой, взметаемой под ветром!..

Все это было ли вчера?!  
В свирельном голоде свирепом  
уходит небо в полчаса  
на небо. В холодом взогретом  
дому — все по два: руку роз  
рукою сердца лижет Пес! —  
Во имя милое сошлось  
на полдень полночи ответом.

Как ты печалилась, пчела,  
как ты отчаянно при этом  
ярилась, угол испещря  
в дверях — гонима неба взлетом!  
Храни Христос тебя в рою.  
Голубь Господь тебя в Раю.  
В лесах тюрингских повторю  
на зависть всем Елизаветам.

*И. Бурихин*



\*\*  
\*

Лучи сквозь тучи дождь зажгли  
И улыбается природа,  
С деревьев струйки потекли  
Расплавленного солнцем меда.  
И стало так светло, светло  
Что я глаза свои зажмурил  
Весь, целиком, вошел в тепло  
И в блеск сияющей лазури.  
О, если б мне среди лучей  
Как этот дождь растаять тоже...  
Избавь от гроба и червей  
Природу любящих, о, Боже!

\*\*  
\*

Не знаю, как подняться мне с колен,  
Всем ростом встать перед веками,  
Россией будет ли благословен  
Путь пройденный, когда-то, нами?  
Когда одни, чужие всей вселенной,  
Мы звали мир на путь борьбы священной...

\*\*  
\*

Апостолов, Марии, Спаса,  
Все лики списаны с лица.  
Среди икон иконостаса  
Не видно Господа-Творца.  
Лишь высоко, где купол храма  
Едва заметно освещен,  
Весь окруженный облаками  
Седой старик изображен.  
Но Тот, Кто в глину душу вдунул  
И звездную раскинул сеть,  
Природу создал вечно-юной,  
Ужели может постареть!

\*\*  
\*

Я пробую вообразить,  
Что в бесконечные зеркала  
Уходит мысленная нить,  
В безумных поисках начала.  
Мой мысленный доходит взгляд  
Не знаю до какой границы,  
И возвращается назад,  
Как обессиленная птица.  
Как ограничен разум мой,  
Воображая бесконечность,  
Я только обвожу чертой  
Свою земную человечность.

*А. Величковский*



\*\*  
\*

Спускается вечер... который?  
Неверный сбивается счет.  
Под гул голосов и моторов  
Толпа непрерывно течет.

Спешить эти люди устали,  
А все же спешат и спешат,  
Как будто бы все они стали  
Толпой суетливых мышат.

Доносятся хриплые звуки —  
Калека у стенки поет,  
Повисли отсохшие руки,  
И жалобно корчится рот.

Сменяются волны народа,  
Нет времени людям зевать  
И некогда слушать урода,  
И франк недосуг доставать.

И долго уродливый нищий  
Напрасно о счастье поет.  
Такого и добрый освищет,  
Такому и злой подает.

*Тамара Величковская*

## СОЛНЧИЙ

ПЕТЕРБУРГСКОМУ ПОЭТУ  
ДИМИТРИЮ БОБЫШЕВУ

*До чего она неказистая,  
Дверь в котельню и та же стена...*

**ЗИЯНИЯ**

А потому что тихо незаметен..  
Пройдет: и тот же Невский и Бродвей,  
И те же наши видимости сплетен:  
Терпение, нелегкое, имей.

Свидетельствую: Солнчий неужнайкой,  
Сторонкой, огибая, проходил.  
Давид: и не в парче, а скрытый майкой.  
Не из числа ловчил и заправил.

Прекрасны пригороды: неказисты  
Кирпичики, стена, котельня, хлам.  
А луч аукается с грязью: чистый.  
Где солнце осветило: сразу храм.

**ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ****НИКОЛАЮ АНДРЕЕВУ**

*Не ели комони травы детлевиньы...  
Псковская свадебная песня.*

Сорокалетие с гаком: Печёры.  
Церкви из теста. Подмышкой: крыльцо.  
Валкие домики. Крепки запоры.  
С Нового Света пишу письмецо.

Цоканье быстрой гороховой речи.  
Древние комони издали ржут.  
Ночью страстной четверговые свечи,  
Медля, кивая, навстречу текут.

Льяноголовый звучный мальчишка:  
Пали рядами его городки.  
Зычная баба, стирая бельишко,  
Песни зазорные пела с тоски.

Прошлое крутится змейкой-позёмкой.  
Отчина есть ли? Не померли все?  
Голос из памяти зыбкой, но ёмкой —  
Друга веселого, павшего: — Е!

24 июля 1979 г.

Ю. Иваск

*Комони: кони (как в Слове о Полку Игореве). Детлевина: клевер. Е: есть (псковский говор).*

## ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ КАНОН

Князя считаю я старою сошкою,  
Графа считаю я снятою пешкою,  
И реверансам учиться мне лень,  
Но даже будь я и сороконожкой,  
Перед явленьем природы, не мешкая,  
Я бы склонил тридцать девять колен.

Я предаюсь верноподданным почестям  
И наслаждаюсь отменным количеством:  
Небо я чествую Вашим Высочеством,  
Тучу могучую — Вашим Величеством,

Молнию светлую — Вашим Сиятельством,  
Ливень живительный — Вашею Милостью  
И, увлекаемый изобретательством,  
Как многолетием певчий на клиросе,

Море приветствую — Вашей Безбрежностью,  
Радугу — Вашею Ясновельможностью,  
Глетчер вдали — Вашей Пребелоснежностью,  
Слово — Моею Великовозможностью!

**ЧАРОДЕЙКА**

Клянут истопники осину  
За чертовую древесину,  
И достается поделом  
Ей в пересудах о Иуде  
И упырях, которым люди  
Грозят осиновым колом.

И чудится она такую  
Бесовскою и колдовскою,  
Когда, в безветрии шурша,  
Кольшет желтою листвою,  
Не находя себе покою,  
Как некрещеная душа.

Волшебной осени создание,  
Она лепечет заклинанья  
И так на призрачном стволе  
Сидит, как, расплетая косы,  
Красавицы простоволосы  
Сидят верхом на помеле.

Вся в струйках зелья золотого  
Она вот-вот порхнуть готова  
Сорокой, сойкой, пустельгой,  
Русалкой, панночкой, ведьмой,  
В замороженный взор влететь мой  
И обернуться там строкой.

## СТИХИ И СТИХИИ

Я меж Творцом стихий и стихотворцем  
Соперничество вижу и родство —  
Полны единством и единоборством  
Два корня уравниенья одного.

В день первый, день стихий (стихов?) творенья  
Возникли сразу небо и земля,  
Как две строфы, в противопоставленье  
Осуществленный замысел дея.

Согласно стали звезды загораться,  
Светя чужой и собственной судьбе,  
И горы воздвигали, как Гораций,  
Нерукотворный памятник себе.

Гудели ритмы в смутном океане,  
Текла и пела первая река,  
Летели, плыли по-аристофаньи  
Лягушки, птицы, осы, облака.

И с явно независимым сознанием,  
Подобно двум счастливейшим строкам,  
Росли с мужским и с женским окончаньем  
В саду Эдема Ева и Адам,

Где, в ироническом являясь виде,  
Пел языком стихов (или стихий?)  
Любви искусство райский пра-Овидий,  
Накликавший изгнанье змий.

**ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ. ГРАММАТИКА ОГНЯ**

Когда погас за елями закат,  
А Волопас надумал разгораться,  
Как полиглот, костер стал языкат,  
И говорил с природою как брат:  
Он был язычник — верил в панибратство.

Сперва струил он плавный дым — такой,  
Который служит пламени предтечей,  
И, о текущем речь ведя с рекой,  
Он изъяснялся на речном наречье.

И кратких два зажег он огонька,  
Двойным «Й - Й» приветствуя кого-то,  
Когда во тьме сверкнули два зрачка  
Безгласного ежа или енота.

Язык деревьев зная от корней  
До разветвлений сложносочиненных,  
Идеограммы бликов и теней  
Он рисовал в пирамидальных кронах.

И полыхал, как звездные рои,  
И потухал под пепельным покровом,  
Но, дотлевая, все нет-нет да и  
Воспламенялся искрою, как словом.

Так и летели искры до утра  
На придыханьях млечных и прощальных,  
На сожаленьях искренних костра  
О всем, что тленно, что склонять пора  
В падучезвездных окончаньях.

*Н. Моршен*

**ДАЧНЫЕ ПАРОВОЗЫ****А. С. БУШМАН***Es war einmal...*

Вот и шипом, и паром, и горьким дымком,  
И гудком начинается этот рассказец:  
Там, у станции дачной сухим вечерком  
В темноте подползал паровоз-двоглазец.

Вылезали усталые, теплые дачники,  
Наслаждались прохладой, спешили домой;  
Паровозам подобно, курилы-табачники  
Папиросой дымили в прохладе ночной.

А вот в полдень к скрещенью являлся курьерский,  
Громыхал и визжал на тугих тормозах,  
И гудок у него был и зычный, и зверский,  
А потом он скорбел, что «зачах, чах-чах-чах!»

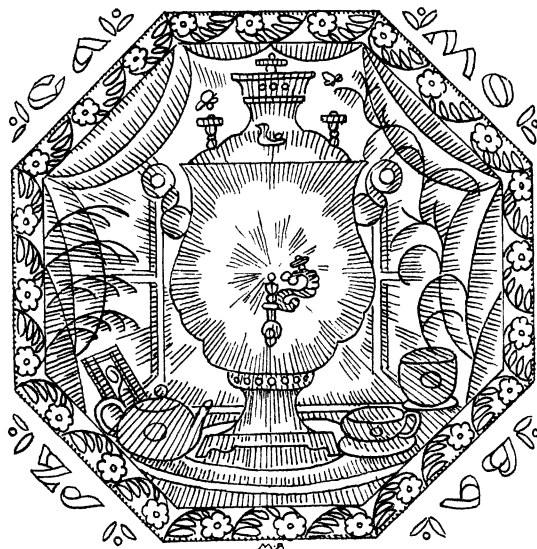
Из буфета несло аппетитным и жареным,  
Пассажирки же пахли дыханием роз.  
И от долгого бега горячий, распаренный,  
У перрона страдал от жары паровоз.



## ЖИЗНЬ

В огороде моем было тесно, но весело:  
Огуречная сила плетение свесила  
И кормила шмелей пустоцветами,  
А шмели изжужжались приветами.  
Мотылек вытворял пред капустницей  
Пируэты и всякие всякости,  
Предвещая червячные пакости,  
А она-то, в кокетстве искусница,  
Мотыля приглашала на листья капустные —  
Для потомства в июле единственно вкусные.  
И морковки-свекровки со свёклами-Фёклами  
Упивались земными растворами теплыми,  
А укроп распушил золотистые зонтики  
И листочки свои, разрезные и тонкие,  
Где лишь можно ему, меж ботвою просовывал.  
И не ведали все, что им жизнь уготовала:  
То ли в суп, то ли в борщ, а не то во щи.  
И огромное доброе солнце-подсолнечник  
Язычками блестящего желтого пламени  
Распускалось по краю тихонечко с полночи,  
Благосклонно взирая на малые овощи  
И шурша им шершаво-широкими дланями.

Б. Нарциссов



## А ЧТО ВНИЗУ?

Час утренний — нежаркий, мутно-синий,  
Безветренный. В воде отражены  
Оглядчиво отсеянные сны:  
Уступчивость округлых форм и линий,

Податливость, прилипчивость актиний,  
А сумерки бесстыдной глубины  
Не женственной толпой населены  
(Чего не знал — до Фрейда — старший Плиний).

Не хочешь ли и ты меня завлечь  
Туда, где скат и спрут, и рыба-меч?  
А если тут убийцам негде плавать —

И брод найду легко, полушутя?  
Короче: вдруг не море ты, а заводь,  
Не сердцеед, а сонное дитя?

## НАЗАД

Слабее всех, почти слепой калека,  
В гимназии страдал я от задир,  
И утешал меня запретный мир  
Учительской: надежная опека!

Опять синяк. Изгладит ли аптека  
Мне со скулы кулачный сувенир?  
Сойду ли я в чистилище-надир  
С отметиной? И, вот, прошло полвека.

Теперь я стар. Но не от тех обид —  
Ребяческих — мой изменился вид,  
А от иных, нешуточных, наскоков.

Ах, если бы, из-под пяты лжецов  
Сбежав назад, назло теченью сроков,  
Расцеловать тогдашних сорванцов!

## КРУГ

По-своему, конечно, я везучий:  
Обыгранный мошенницей судьбой,  
Использовать умею разнбой  
Сменяющих друг друга злополучий,

Выдумывать звезду за каждой тучей,  
За траурным нарядом — голубой,  
За болью смех — и быть самим собой,  
Глашатаем тугих противозвучий,

По прихоти нелепого холста  
Нагромождать безумные цвета,  
Постыдные удачи невпопада —

Дикарский гонг поверх салонных лир,  
И обретать под оболочкой ада  
Проигранный — и выигранный мир!

*В. Перелешин*



**ВИД НА ИСААКИЙ**

двойное имя тает на ветру  
случайный оклик над водой канала  
деревья голые стоят как на смотру  
и холодно и сонно поутру  
и солнца мало

в застуженном пальто уткнувшись в шаль  
вдоль грубо нарисованной решетки  
бредет гетера с нею старый враль  
глаза слезятся скучно денег жаль  
в смешке его собачьи нотки

но воздух чист а грязная вода  
какое ни на есть но небо повторяет  
и там где мрачные сцепились провода  
два ангела заплаканных всегда  
исаакиевский светильник охраняют

\*\*

зима империя замшелый чернокнижник  
зовет на чашку чая краснобая

сошлись и в жаркой тусклой кухне  
пьют водку. за окном текут снега  
льют струи снега. дом трясет подземка  
в шесть рук жестикулирует рассказчик  
а чернокнижник мочит ус в стакане

народонаселение справляет  
пред синими экранами вечерю  
кресты антенн поставив крест на прошлом  
плывут над православными церквями

зима метель окончен разговор  
допита водка. между фонарями  
к метро крадется пьяный краснобай  
а чернокнижник фолиант открыв  
в девятый раз впустую тянет строчку —  
слова звучат но смысл отсутствует

в окне бежать пытаются раздетые кусты  
часы за сутки накопив терпенья  
теперь когда пора бы спать  
двенадцать пушечных отвесили поклонов  
и чернокнижник оскользнувшимся умом  
попал в колени Богу и молчит  
и терпит ужас

\*\*  
\*

раздевается город пора умирать тополям  
опустело окно и засыпало с верхом скамейку  
небо снова расчерчено косо в линейку  
до зимы далеко и в природе пока по нулям

сыро пахнет земля разбегаются листья в испуге  
то ли ветер тоскует а может быть просто пора  
окна мыть и заклеивать кроме фрамуги  
чтобы детские крики зимою неслись со двора

тихо ходит старик натыкая на гвоздик окурки  
тихо ходят часы полумертвая бьется пчела  
тихо женщина в зеркало смотрит забыв про дела  
в сквере дети играют в старинные жмурки

вечереет горчит тяжелеющий воздух  
как всегда когда больно далекий оркестр кружит  
то ли Глюк то ли Брамс то ли прошлого отзвук  
и по-зимнему ярко звезда над Москвою дрожит

\*\*  
\***В. НАБОКОВУ**

и фокусником вынул из кармана  
морскую раковину бубенец  
в табачных крошках леденец  
и наконец без всякого обмана  
печной голландский изразец

мелькали шали зеркала кошачий  
промчался в воздухе горящий глаз  
но дальше хуже: знаменитый бас  
а с ним кусок кавказской дачи  
кусты форзиции блеск волны луна анфас

теперь он складывал налево и направо  
букеты чьих-то разогретых лиц  
виток дороги что валилась ниц  
и туч распихивал ораву  
застрявших извлекая птиц

но вот его рука нащупала добычу  
и отряхнув взбесившийся поток  
вещей и мест — он вытянул платок  
и нос победоносно тыча  
взревел как атлантический гудок

взрывались бляели и гасли облака  
крошилась с хрустом терракота  
скрипел морской песок ползла зевота  
мир был его его была рука  
вся прихоть лень вся неохота

## ТИХИЕ СТИХИ

**St. Gilgen**

Я отвык от всех снежинок,  
Странен танец их земной.  
Словно ходит белый инок  
Предо мной и надо мной.  
И за ним иду я, каюсь,  
Удивляясь, покрываясь,  
Растворяясь белизной.

1970

**Charring Cross**

Предутреннее оживленье ломко;  
Пустеет площадь, растворясь в делах,  
И дождь своею бедною соломкой  
Метет, метет земли холодный прах.

Душа стоит перед стеклом оконным  
И видит нерожденную страну  
Простых людей, еще немного сонных  
У лондонской туманности в плену.



**ПАМЯТНИК ВЕРЕСАЕВУ В ТУЛЕ**

Черта прямая и чуть-чуть косая  
Ведет чрез Тулу. Чахлый, пыльный сад.  
Река неблагозвучна \*) для наяд.  
Украсил этот город Вересаев.  
Он доктор и писатель. Был женат,  
О Пушкине писал без умолчанья,  
Лечил людей, вылечивал навряд.  
В чугунном сюртуке своем до пят,  
Он охраняет русское молчанье.

**СИНИЕ ЦВЕТЫ НА ГОРЕ**

Отсвет неба в свете синем,  
В лепестках неосторожных.  
Скоро этот мир покинем,  
Где беседа невозможна.

Только сердцем, еле-еле,  
Узнавать мы сердце в силах,  
А слова давно истлели  
В затерявшихся могилах.

---

\*) Упа.

Стихи промелькнут. От них  
Останется стих один,  
Бедный, потерянный стих  
Каких-то новых глубин.

Он все на свете поймет,  
Взлетит горячей стрелой,  
Пойдет в свой последний лёт  
И станет навеки мной.

### УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ

Чуждый песням и добродетелям,  
Я остался среди людей  
Только странником и свидетелем  
Удивительности твоей.

Я тебя только словом трогаю,  
Ты, как Небо, идешь ко мне  
И ведешь свою дорогою  
К удивительной тишине.

*Странник*

\*\*  
\*

Я отвыкла совсем от стихов,  
Отвыкают от дома родного,  
Забывают значение слов,  
Что от стужи служили покровом;

Равнодушно обходят друзей  
И бросают венчальные кольца,  
И отраву зовет ротозей  
Родниковой водою колодца.

А потом, ненароком, в столе  
Вдруг наткнешься на рифмы и строчки  
И на старом, забытом стволе  
Пробиваются новые почки.

\*\*  
\*

Там, на дереве, солнцем нагретая  
Эта слива сочна и нежна,

В плащ закутана фиолетовый,  
Летним днем так блаженно пьяна.

Шмель над нею, как шалый, проносится,  
Тихо бабочка кружит, легка.

И коснуться рука моя просится,  
И жалеет, и медлит рука.

\*\*  
\*

Жизнь требует жизни, волнений, хлопот,  
 То радости слезной, то скорби сухой.  
 От будничных сердце устало забот  
 И хочет, как птица, уснуть под стрехой

Родимого дома, где в комнатах свет,  
 От ламп керосиновых тени в углах,  
 Где муж и отец собрались на совет  
 Помочь, как и прежде, шагнуть через страх.

\*\*  
\*

Солнце снова черепицу греет,  
 Старая избушка ожила.  
 Так прошу: «Вернись домой скорее  
 К радостям суровым ремесла.

Без тебя не смею, не умею  
 Ничего задумать и начать,  
 Только память о тебе лелею,  
 Как любви последнюю печать.»

*Е. Таубер*

\*\*  
\*

Морщины: трещины. От времени, от бремени.  
Грызут минуты, как термиты,  
Земную радость. Только в адском пламени  
Сгорят, забытые, заботы?

Или сгорит печаль в сиянье розовом  
Страны божественно-блаженной  
Где во дворце лазурно-хризопразовом  
Хрустальный зал многоколонный?

Мы улетим в Элизий... Нет. Но жалким стариком,  
На зло житейскому Борею,  
«Печаль моя светла.» «Мне грустно и легко» —  
Я улыбаясь повторяю.

Мы не войдем в сияние Элизия:  
Нас бог любви туда не пустит.  
Но утешает нежная поэзия —  
Дарохранительница грусти.

И лучше — проще: домик у опушки, на  
Юру. Скамья, береза, яшень.  
И медленно бредя за тенью Пушкина,  
Мы встретим болдинскую осень.

\*\*  
\*

Все загадки бытия  
Мы недавно разгадали.  
Дождь и солнце, ты и я.  
Над большим кустом азалий  
Светит каждая струя.

На асфальт кидай, роняй,  
Ливень, светлые медали!

Дождь прошел, и от перил  
Тень по мраморному полу.  
(Нет, не тень, а только полу-).  
Парус набирает сил.  
Красной лапкой зацепил  
Желтый листик белый голубь.  
Спит зеленая змея  
В синеватом ярком иле.  
В пышном парке ты и я.  
Много далий, много лилий.  
Замок в мавританском стиле.

Чтож загадки бытия?  
Мы о них совсем забыли.

\*\*  
\*

По долине пролегает  
Путь извилистый земной,  
А долина зарастает  
Лебедой и беленой,

Лопухом, чертополохом,  
Чернобыльником, репьем.  
Мы с покорным, слабым вздохом  
Воздух горьковатый пьем.

Но бормочем, как ни странно,  
Про заоблачный Эдем,  
Где огромная поляна  
Орхидей и хризантем.

Гиацинты и левкои  
Там сияют и поют  
И придумавшим такое  
Предлагают там уют.

И, как синие стрекозы,  
Души реяли, пока  
В белые большие розы  
Превращались облака.

\*\*

Я думал перевоплотиться  
В красавицу или красавца,  
В Нарцисса или Царь-Девицу,  
Но, вероятно, не удастся.

Я собирался стать Жар-Птицей,  
Павлином, Фениксом, секвойей,  
Орлом, который громоздится  
Над снегом горного покоя.

Мечту на мелочи разменим:  
Придется удовлетвориться  
Смирненным перевоплощеньем  
В рябину, сосенку, синицу.

А может быть, и это много  
И в лучшем случае я стану  
Туманом над лесной дорогой,  
Дымком, примешанным к туману?



\*\*  
\*

Кто может сосчитать морской песок? Весной  
Я шел по берегу, устало:  
Я точно сосчитал песчинки — до одной.  
Но двух песчинок нехватало.

Песок... Моя судьба — песочные часы:  
Переверни — и всё сначала.  
Я всё щучу. Из белой полосы  
Песчинка в черную упала.

Навек. Но не горюй: вновь солнечный восход  
Над морем, волны заблестели  
И Афродита-Муза вновь плывет  
На раковине Ботичелли.

Ну, а душа — моллюск. Но стенки отворят,  
Совсем невзрачные снаружи,  
И вдруг увидят мой несовершенный клад:  
Некрупных несколько жемчужин.

Пусть раковиной бледной и пустой  
Я на песке похолодею:  
Но светлый мусaget из раковины той  
С улыбкой вырезал камею.

И. Чиннов



# ИСКУССТВО



## ТАНЕЦ НАВСЕГДА...

Как-то в Киеве советчики дали приказ: все молодые люди, родившиеся в 1903, 1904 и 1905 году, должны явиться, в такой-то день и час, на пристань Днепра. Действительно, я погрузился на «Свердлов», бывший «Император». Через несколько часов плавания, мучимый каким-то неясным предчувствием (которое меня не обмануло, так как через некоторое время этот пароход взорвался и тут же потонул со многими своими юными пассажирами), я бросился в воду, чтобы добраться до берега. Я долго боролся с течением, чтобы доплыть наконец до отлогого песчаного берега, покрытого местами тростником. И там я, обессиленный, бросился на землю. Когда я встал, то увидел возле себя какой-то песчаный бугорок, возбудивший мое любопытство. Я подошел, порыл песок — и в моих руках очутилась... человеческая голова. Я до сих пор вижу эту голову казака, с его чубом, недавно отрубленную, зарытую в песок. Я на мгновение остолбенел с этой головой, похожей на Тараса Бульбу, в руках, один между небом, водой и тростниками. Мне было 16 лет. Здесь я прибавлю, что, когда это случилось, я не читал еще «Гамлета». Когда через некоторое время я прочел его, сцена с бедным Йориком отозвалась странным эхом в моем сознании. Литература смешивалась с жизнью.

Это была эпоха, когда музыка также волновала мою душу. Когда я начал готовиться в университет, я учился и в консерватории. Тогда и установился мой музыкальный вкус. Моцарта, с его музыкой, в которой объединялись юность со зрелостью, я ставил выше всего. Напротив, Шопен ставил передо мной особую проблему: его произведения притягивали меня тем, что я называл чувственностью, и именно из-за этой страстности я избегал ее. Мне слышалась в его музыке высокая, слишком певучая и резкая нота, сливавшаяся с той музыкой, которая была близка моему сердцу и меня раздражала; я читал ее просто как фразу из его дневника. Однако, когда я играл ее или слышал, я уже не различал: он ли был во мне или я в нем. Он был мне дорог.

Я написал это и думаю еще сейчас, что это верно: воспитанный с детства на Глинке и Бородине, к русским композиторам я оставался

все же холоден. Я не скажу, что меня не волновали некоторые страницы «Бориса Годунова», но в общем — Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков оставались мне чуждыми. Мне кажется, что я не находил у них того, что меня восхищало у Пушкина и Моцарта: какую-то легкость, прозрачность, которые необходимы в том возрасте, который я переживал. Что мне кажется наиболее странным, это то, что только теперь я узнал их и по-настоящему полюбил.

Позже думая о «Тристане и Изольде», о «Нюрнбергских Мейстерзингерах», о «Парсифале», я не могу сказать, какую из этих опер я предпочитал, но без них я не мог жить — я грезил ими ночью. Я грезил также Чайковским, который был всегда мне близок и оперы которого — «Евгений Онегин» и «Пиковая Дама» мне были хорошо знакомы и жили во мне. Дебюсси, Равель, Стравинский, Прокофьев были мне совершенно неизвестны.

Я всегда любил музыку. Для меня было всегда большой радостью сидеть у рояля и одну за другой разбирать мои любимые вещи. Я находил в музыке то же опьянение, что и в книгах, и чего в жизни мне недоставало. Я долго мечтал о карьере виртуоза — до того дня, когда, после оккупации белой армией, город был снова атакован большевиками. Белая армия была принуждена отступить. Тогда образовали отряд из пятидесяти гимназистов в сокольской форме, в который входил и я, причислили его к 34-му Сибирскому полку, имевшему честь быть награжденным генералом Бредовым Георгиевским крестом. Генерал Драгомиров решил бросить нас в бой. Мы упорно сражались в неравном бою. Трещали пулеметы, свинцовый дождь сметал всю жизнь. Вдруг в нескольких шагах от нас с оглушительным грохотом взорвался снаряд большого калибра. Ошеломленный силой взрыва, я едва отдал себе отчет, что засыпан песком, летевшим со всех сторон. Почувствовав сильную боль в правой руке, я увидел, что она вся в крови. Мой старший брат Василий спас меня из этой резни, где большинство моих товарищей погибло. Когда прошел первый страх при виде крови, первой мыслью было: «Моя рука! Как же я буду играть на рояли? Неужели останусь калеккой?» Город был сдан. Меня лечили тайком какими-то случайными средствами. Осколок снаряда так глубоко врезался в мою руку, что рану пришлось зашивать. Обнаружилась гангрена. Пришлось рану заново открывать. Глядя на оставшиеся по сей день шрамы, я вспоминаю это время, решившее мое будущее: я должен был отказаться от карьеры музыканта.

В течение весны 1920 года, мой отец, Василий и я — оба служившие в белой армии — имели все основания бежать от Чеки. Таким образом, нам пришлось искать убежища в далеких от города лесах. Одеты мы были в рубашки из сурового полотна и отрастили себе волосы. Я изредка возвращался тайком в Киев, повидаться с семьей. Однажды вечером мы оказались в предместье Тараща, где находился проездом отряд красных кавалеристов. По вечерам, для общего удовольствия, своего и сельчан, они устраивали танцы. Гремели духовые инструменты, все кончалось гомерическим весельем. Когда великороссы бросались исполнять удалую камаринскую, а украинцы плясали свой зажигающий гопак — полный восхищения, я следил за их движениями. Все было мощно и ловко в этом народном искусстве, которое позднее все увидели в балетах Моисеева. Мое сердце сильно колотилось, видя их прыжки, падения, человеческий волчок, уносимый в своем верчении. И вдруг эта буря сменялась медленной грацией. Я жадно следил за движениями танцоров. Во мне происходила работа — какое-то еще неосознанное внутреннее брожение при виде этих инстинктивных движений, которых подлинное искусство еще не тронуло.

Так понемногу я начал себя осознавать. Силы во мне накаплились; и чем их было больше, тем сильнее была моя тоска. Не тогда, когда я был среди моих любимых книг или у рояля, но когда я сталкивался с тем, что другие называли настоящей жизнью. Никогда она не казалась мне более тусклой, более презренной. Юность всегда имеет в себе какое-то желание порядка и в то же время строгости, а также искание причины, из которой они исходят. Я жаждал этого, может быть, больше, чем другие. А вокруг меня было ужасающее зрелище упадка общества. Это было полное поражение духа и всех ценностей. Религия была осмеяна и разлагалась. Старшее поколение тонуло в разврате. У меня звучит еще в ушах такая фраза: «О, что касается меня, то мне бы немножечко любви да десятка два папирос!» В этом, действительно, был предел и высший кругозор целого поколения, которое плыло по течению.

Государство, со своей стороны, начинало организовываться: Россия стала СССР. Большевизм покорил всю страну. Последние остатки белой армии сложили оружие, бои окончились с их эвакуацией из Крыма. Мы, грезившие о чуде, в виде помощи от Западных стран, были покинуты на произвол судьбы. После изгнания польской оккупационной армии Пилсудского, пробывшей месяц в Киеве в 1920

году, советское государство окрепло. Народ устал от войны и, хотя в душе своей он еще не признавал Советов, но был доволен приходом русских, приходом своих. Я был теперь мобилизован в ряды красной армии. Мне исполнилось 16 лет. Из армии я был командирован в Университет — ВУЗ, — но учеба меня не увлекла. Я пал духом и проводил время главным образом в курении. Сворачивая сигареты из случайно попавшего в руки табака, я курил до тошноты. Я бродил целыми днями по улицам Киева в компании товарища.

— Не пойти ли нам — предложил он мне однажды — к Брониславе Нижинской, балетмейстеру Киевской Оперы? У нее своя балетная студия. Там, говорят, есть красивые девушки. Там ты увидишь и мою сестру.

Так как делать мне было нечего, я согласился.

Студия меня совершенно пленила. Передо мной, в форме с красной звездой, под музыку Шопена и Шумана танцевали ученицы Нижинской. Не буду вдаваться в подробности — я хочу лишь сохранить эту картину, еще теперь, на склоне моей жизни, стоящую передо мной: уйдя из мира, где царили неистовство и грохот, я нашел здесь порядок и гармонию, настоящую дисциплину, в которой так нуждались мое сердце и моя душа.

Раз, два, три, четыре... Я совсем обезумел, но знал уже, что только здесь я найду надежду на внутренний мир. И на любовь. Так как этот порядок был порыв, ритм, союз тела и души, то есть любовь. Все другие образы и увлечения потухли во мне. На возвратном пути все мысли мои перемешались. Одно было ясно для меня: я войду в студию Нижинской, сестры легендарного Нижинского. На следующий день она мне отказала, сухим, лаконическим тоном, в зачислении меня в студию в качестве ученика. Это было для меня ужасным ударом. Мне посоветовали обратиться к директору городской Оперы и дирижеру оркестра, товарищу Штейману, на которого советская власть смотрела благосклонно и который, поэтому, пользовался влиянием.

— Будьте спокойны, товарищ Лифарь — сказал мне Штейман. — Если она в свою школу вас не примет, вы будете не хуже учиться и здесь. Кстати, это она, Нижинская, руководит балетом моей Оперы и моей студии.

Кого только не было в этой государственной Центральной Киевской студии! Молодые рабочие и сельские парни пришли сюда неизвестно почему... «Девичьи» с Крещатика... Голодные интеллигенты, пришедшие с неясной надеждой, как на огонек... Полный беспорядок, какого не найти нигде на свете!

Во время первого экзамена Нижинская написала против моего имени на листе жюри: горбатый! Это короткое слово долгое время безжалостно вертелось перед моими глазами. Я принес медицинское свидетельство, удостоверяющее, что я не имею недостатков в моем сложении. Оно было выдано мне в моем полку, который выделил меня для занятий по искусству и в университете. Покинув университет, который кишел безграмотными, я подал прошение для артистической карьеры, в которой именно я оказался безграмотным. Горбатый! А то и контрреволюционер?! Так меня прозвали из зависти мои бывшие товарищи по гимназии, те, которые держались в стороне и образовали «кучку», которой принадлежал артистический авторитет и которую я игнорировал.

В школу Нижинской я все же был зачислен и начал работать со страстью. Нижинская же нарочито меня «не замечала».

Перед Нижинской я испытывал страх, но и уважение, даже некое благоговение, как только я признал ее единственной обладательницей сокровища, которым я решил овладеть во что бы то ни стало. Это я понял еще лучше, когда всего через несколько месяцев стали передаваться среди учеников слухи, что Нижинская собирается со всей своей семьей вырваться из-под советского ига, чтобы устроиться где-нибудь вне России, в свободном мире. Она уехала, бросив нас на произвол судьбы. Неужели моей судьбе стать танцором опять угрожает опасность? Но я не сдавался.

В истории танца Бронислава Нижинская является первой женщиной-творцом-хореографом, так как Айседора Дункан касалась принципов эстетики, но не композиции. Как и ее брат, Нижинский, для которого она — вместе с Дягилевым — была с 1909 по 1914 год духовным вождем, методом и пониманием, Бронислава принадлежала к Императорской балетной школе. В 1921 году она покинула Россию и с 1921 по 1925 год возглавляла хореографическую жизнь Русских Балетов Дягилева.



Первым хореотворческим опытом Нижинской была «Свадебка» Стравинского, в 1923 г. В следующем году это были «Лани» Пуленка. Затем, в 1925, помимо Русских Балетов — Этюды на музыку Баха, Вариации Бетховена, Концерто Шопена. Своими исканиями Бронислава оказывает влияние на таких людей как Мясин или Баланчин. Что касается меня лично, то ни Дягилев, ни Фокин, ни Мясин или Баланчин, но именно Бронислава Нижинская оставила на мне художественную «печать», которая закрепила мою веру в танец, в его источник, в его тайну. Нижинская первая в своей методе объединила форму с эмоцией. У нее жест является знаком, символом. Танец побеждает тогда свою абстракцию; он становится гармонией движений, то есть совсем другим, чем традиционная школьная академическая техника. Это новое искусство дает отзвук в душе, которая переносит тело в состояние метафизическое — что есть основа моей эстетики. Бронислава Нижинская первая дала мне испить священный эликсир Красоты там, в родном Киеве, в России.

В 1921 году в Киеве началась эпоха НЭП-а. Торговля воспряла, открылись кафе. Наступило царство мелкой спекуляции. Киев как будто стал оживляться, но этот искусственный возврат к жизни придал ему вид подкрашенного мертвеца. Я старался уйти от такой жизни и находил в танце «далекую обитель труда и нежных страстей».

Я работал один и как бы обезумевший. Надо сказать, что меня побуждала к этому Нюся Воробьева — первая ученица Нижинской и большого актера Давыдова: я жил под страхом в течение пятнадцати месяцев, принуждал себя к самому строгому аскетизму, работая без передышки. Один, перед зеркалом, я соперничал с моим двойником, которого я то ненавидел, то восхищался им. Он был моим учителем, я оставался всегда учеником. Раньше чем я встретил Кокто и подружился с ним, я был уже знаком с темой зеркала (темой, столь дорогой ему: правдивости между артистом и его двойником).

Я сознавал уже свой прогресс. Сперва это было в области техники, без которой, я это точно знал, не было танца, достойного называться этим именем. Но это происходило еще более таинственным образом: ненавидя весь упадок, окружавший меня, мне оставалось лишь уйти в область мечтания, в мистически предчувствуемое искусство танца. В эту эпоху я обрел уже ту форму искусства, которая

стала затем моей, которой я отдавался всеми моими силами; мои друзья — книги по искусству — помогали мне в этом, раскрывали мне свои объятия, увлекали в свой волшебный круг.

Я весь ушел в изучение истории танца. Я изучал ее с увлечением, начиная с поучительных и священных истоков, связанных с первыми, инстинктивными сперва, обрядовыми, а вскоре лирическими движениями человека, и до Русских Балетов Сергея Дягилева, слухи о триумфе которого в Западной Европе дошли до нас, как и о Нижинском, Павловой, Карсавиной — покоривших Европу. Мне казалось, что я первый узнал об этом, понял, что танец есть искусство в плане всего человека и в его отношении к бесконечному и божественному. Эта мысль укрепила мое решение. Но пришел я к этой истине к этой иллюзии, от обмана самого себя, веря в свою непогрешимость, веря в новое искусство, родившееся во мне.

Мое одиночество стало во мне скрытой силой, моя неудовлетворенная чувственность превращалась в творческую мощь. В течение всей моей жизни мне сопутствовали некоторые образы-силы, я приобрел их в течение моих одиноких юношеских лет. Это было для меня уроком жизни.

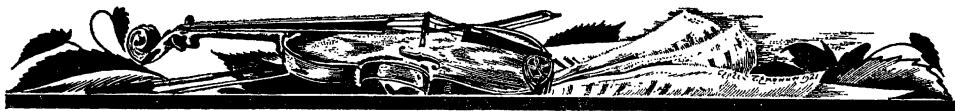
В один прекрасный день вся студия была возбуждена. Нижинская только что прислала телеграмму, которую я сохранил: «С. П. Дягилев просит — чтобы пополнить его труппу — прислать ему в Париж пять лучших танцовщиков учеников Нижинской». Они были выбраны. Пятый не явился. Тогда я принял решение: я поеду вместе с другими. Нюся Воробьева поддержала меня перед товарищами, перед Нижинской в Париже и благословила на этот путь.

Я не буду останавливаться на страданиях, страхе, опасностях при дважды перейденной польской границе под пулями, прицепившись снаружи вагона, с закоченевшими от холода руками до такой степени, что не мог отцепиться — и это меня спасло! Смерть, казалось мне тогда, была желанна, как избавление. Я умолчу о той неудержимой радости, как только мы были «по ту сторону»...

13 января 1923 года я был в Париже перед Сергеем Дягилевым.

О моем побеге я предупредил только мою мать, которую я видел тогда в последний раз. В момент прощания она меня благословила, и я видел в ее глазах полный страха взгляд, который меня до сих пор преследует. Этот взгляд, такой чистый, полный страдания, был так похож на взгляд убитой мною, из отцовского ружья, лани, когда она проходила с водопою совсем рядом со мной. Это был единственный раз, что я лишил кого-то жизни, и я никогда не забуду, как, умирая, она смотрела на меня со слезами на глазах и лизала мне руку.

*Сергей Лифарь*



## ПОЯВЛЕНИЕ РУССКОЙ МУЗЫКИ ВО ФРАНЦИИ В 19-ом ВЕКЕ

Для рядового любителя музыки, появление русской музыки во Франции относится к началу 20-го века, и как бы отождествляется с именем Дягилева. Правда, конечно, что первые дягилевские концерты и спектакли в Париже в 1907 и 1908 гг. положили начало первой и единственной в своем роде серии музыкально-художественных представлений, достигших наивысшего профессионального и эстетического уровня, и сделали из Парижа мировую столицу русского искусства.

Но никакое историческое явление не возникает без приготовления почвы, без предшествующих ему зачатков, в особенности когда речь идет об отношениях между двумя странами. И если всмотреться в музыкальную историю 19-го века и вникнуть в детали франко-русских музыкальных обменов, то становится ясным, что постепенное, сперва отрывочное, затем все более и более последовательное ознакомление французского культурного мира с русской музыкой заняло, фактически, целое столетие. В значительной степени успешному развитию и завершению этого способствовали любознательность и благоприятное расположение французских музыкальных деятелей, а к концу века, начиная с 1890-ых годов, и политическое сближение Франции и России.

Естественно, что появление русской музыки во Франции оказалось последствием обратного явления, т. е. пребывания французских музыкантов в России. Упоминание о выступлениях первых французских оперных певцов в Петербурге относится к 60-ым годам 18-го века, т. е. к началу царствования Екатерины Великой. Иностранцы композиторы в России были в то время, и вплоть до конца века, почти поголовно итальянцы. Но с первых же годов 19-го века, со вступлением на престол Александра I-го, во Франции возникло внезапное и сильное влечение к России, до такой степени, что нередко, в случаях несогласий с организаторами концертов, музыканты угрожали им отъездом в Россию. В 1801-ом году в Петербург приезжает Адриан Буальдье и поступает на службу в качестве оперного композитора при императорском дворе. Сохранился документ, под-

тверждающий отведенное ему годовое жалование, подписанный самим Александром I-ым. За время пребывания в Петербурге, Буальдье написал около десятка опер, преимущественно комических, имевших значительный успех. В конце 1810-го года он однако предпочел вернуться во Францию, не дожидаясь дальнейших военных действий. Впоследствии в его рукописях была обнаружена неоконченная, к сожалению, фортепианная пьеса «Imitation des cloches de Saint Petersbourg» (Подражание Санкт-Петербургским колоколам).

Одновременно с Буальдье, Россию посетили французские скрипачи-композиторы Пьер Роде и Пьер Байо. Первый пробыл несколько лет при дворе, второй дал в Петербурге и в Москве ряд концертов с виолончелистом Ламарром.

Во французских газетах и журналах стали печататься статьи о положении музыки в России. Правда, в них тогда еще говорилось преимущественно об исполнениях французских и вообще западных произведений, и о выступлениях западных артистов. Интереснее, то, что вскоре по возвращении французских музыкантов на родину, во Франции стали появляться первые плоды их пребывания в России. Пьер Байо написал несколько скрипичных произведений на темы русских народных песен. Музыковедение, быстро развивающееся в 19-ом веке, стало интересоваться музыкальным прошлым России. В 1827-1840 гг. в парижских музыкальных журналах *Revue Musicale* (впоследствии назвавшейся *Revue et Gazette Musicale de Paris*), и *La France Musicale* было опубликовано несколько статей об истории русской музыки, о русских народных музыкальных обычаях и инструментах, об особенностях русского музыкального преподавания и исполнения. Статьи конечно «не без греха», лишь весьма приблизительно отражающие действительность, иногда до смешного коверкающие русские имена и названия (напр. Бортнянский превращается в «Бертиенского»). Одна крупная статья «*Quelques mois loin de Paris*» написана композитором Аданом, автором балета «Жизель». Делясь своими впечатлениями о петербургской музыкальной жизни, Адан с нескрываемым восторгом описывает пение Придворной Певческой Капеллы. Но наряду с этим он, к сожалению, проявляет явное непонимание по отношению к Глинке, сознавая, что «Жизнь за Царя» показалась ему скучной. Напомним, что музыкальные впечатления маркиза до Кюстин в его книге *Voyage en Russie* ограничиваются одной фразой: «Я нашел, что русская опера — нудный спектакль, исполненный в красивом зале».

Совсем по-иному отозвался о Глинке Анри Мериме, брат писателя Проспера Мериме, в своих *Souvenirs de Russie* напечатанных в *Revue de Paris*: «Жизнь за Царя» Глинки отличается ценной оригинальностью. По сюжету и по музыке, это правдивый итог всего что Россия выстрадала и излила в песне. В этой опере так хорошо выражены ее ненависть и любовь, ее слезы и радости, ее долгие ночи и светлые зори. Это сначала жалобный стон, а потом гимн искупления, такой гордый и торжественный, что последний крестьянин, перенесенный из своей избы в театр, был бы тронут до глубины души. Это более чем опера, это национальная эпопея, лирическая драма, возвращенная к своим подлинным первоначальным истокам, когда она была не легкомысленным развлечением, и патриотическим и религиозным торжеством».

Из этих все более определенных отзывов можно заключить, что наступало время для Франции непосредственно познакомиться с русской музыкой. И летом 1844 года в Париж приехал Глинка. К тому времени были уже написаны обе его оперы, причем «Руслан и Людмила» одержала лишь относительный успех. Приезд в Россию итальянской оперной труппы, сразу отвлекший внимание публики от русской оперы, и плюс к этому невзгоды в личной жизни побудили Глинку предпринять большое путешествие по Западной Европе, по Франции и по Испании. Разумеется, он намеревался попытаться исполнить свои произведения в Париже, и издать несколько своих романсов, французские переводы которых сделал ему его друг поэт Элим Мещерский, живший в Париже и близкий к французским поэтическим кругам. В одном письме Глинка говорит о предстоящей, но очевидно не состоявшейся встрече с Виктором Гюго.

Прежде чем добиться своего, Глинке пришлось столкнуться с немалыми затруднениями, по мере того как ему открывались реальные социальные стороны парижской артистической жизни. «Как композитор, я не предвижу возможности ни малейшего успеха в Париже», пишет он своей сестре. «Нет средств войти в сношения с публикой; в театрах, в концертных залах, везде настороже артисты, овладевшие каждый своим театром, своей залой».

Одно время Глинка надеялся на Листа, с которым познакомился в Петербурге в 1843 г., и который был искренне к нему расположен. Однако заслуга представить Глинку парижанам выпала на долю не Листу (впоследствии много сделавшему для популяризации

русской музыки на Западе), а Гектору Берлиозу, который с неутомимой энергией вел тройную деятельность композитора, дирижера и музыкального критика. К тому же Берлиоз и Глинка были тоже немного знакомы, встретившись в 1831-ом году в Риме, на одном музыкальном вечере, где было исполнено несколько романсов Глинки.

Как раз Берлиоз собирался организовать в парижском *Cirque des Champs Elysées* ряд концертов, и пообещал Глинке включить в один из них несколько его произведений. Кроме этого, он написал о нем в *Journal des Débats* обширную статью, упоминая и об их итальянской встрече: «Его русские песни поразили меня очаровательными мелодическими оборотами, совсем непохожими на все, что мне приходилось слышать до того». Общие музыкальные качества Глинки он описал таким образом: «Он отличный гармонист, и пишет для инструментов так искусно, и с таким знанием их самых тайных возможностей, что его оркестр — самый новый и оживленный какой только можно услышать». В устах Берлиоза, великого мастера оркестровки, такая оценка приобретает особенное значение.

Бесспорно, Берлиоз, как умный и одаренный музыкант, не мог сразу не оценить по достоинству музыку Глинки. Но этой ли только причиной объясняется его услужливость? Незадолго до концерта, Глинка писал своему шурину Виктору Флэри: «Я должен однако Вам сказать, что г-дин Берлиоз был сначала очень холоден со мной, и что он решил оказать мне эту услугу лишь потому что у него сейчас проекты с Россией».

Глинка был прав. Берлиоз отнюдь не был филантропом, а просто расчетливым и логичным человеком, отлично знавшим, каким образом достичь своих целей. И его расчет оправдался: когда два года спустя он приехал в Россию, приветствовавшая его пресса не забыла напомнить о том, что он сделал для Глинки.

Но какими бы ни были мотивации Берлиоза, 1845 год остается знаменательной датой в истории появления русской музыки во Франции. 16-го марта состоялся первый концерт, на котором были исполнены, среди других произведений, первая ария Антонида из «Жизни за Царя» «В поле чистое гляжу», и Лезгинка из «Руслана и Людмилы». По счастливому стечению обстоятельств, в Париже в то время находилась русская певица Александра Соловьева, которая согла-

силась принять участие в концерте. 28-го марта концерт был повторен, а 10 апреля Глинка сам устроил в зале Герца, с участием оркестра Итальянского Королевского Театра, концерт в пользу нуждающихся французских музыкантов. На этот раз были исполнены «Вальс-Скерцо», Краковяк из 2-го действия «Жизни за Царя» и Марш Черномора из «Руслана». Кроме того, на концерте выступил пианист-композитор Леопольд Мейер, сыгравший несколько своих транскрипций русских песен. Впоследствии Глинка писал в своих «Записках», что Мейер играл «котлетнейшим образом».

Хотя все не обошлось без затруднений — ко второму концерту Соловьева, заболев, выбыла из строя и ее заменил тенор Маррас, спевший итальянскую мелодию Глинки «Il Desiderio» — Глинка все же остался удовлетворен. «Я первый русский композитор, который познакомил парижскую публику со своим именем и своими произведениями, написанными в России и для России» (письмо к матери). «Успех “перелетной птицы” для меня теперь достаточен, тем более что Берлиоз, Герц и некоторые другие читали мои партитуры, и огромная статья Берлиоза обо мне в *Journal des Débats* убедит тебя в том, что мое авторское самолюбие вполне удовлетворено». (Письмо к своему другу драматургу Нестору Кукольникову).

Парижская музыкальная пресса в высшей степени учтиво и доброжелательно отозвалась о Глинке: «Человек редкой наблюдательности, незаурядного образования, постигший всю научную сторону своего искусства, господин Глинка (*Monsieur de Glinka*) оказался тем человеком, который сумел придать театральной музыке особый образ и оригинальную окраску, подлинно отражающие русский гений. В исполненных отрывках (Скерцо, Краковяк, Фантастический Марш) мы должны безоговорочно похвалить грацию и стройность мелодии, постоянно новые и оригинальные гармонические обороты, отличные модуляции, и наконец, некоторые ритмические находки, в частности главную тему скерцо». (Статья Мориса Буржа в *Revue et Gazette Musicale* от 20-го апреля 1845 г.).

Кроме того статья Берлиоза была переведена в «Санкт Петербургских Ведомостях» и в «Московских Ведомостях» под заглавием «Мнение Берлиоза о Глинке». В то же время Глинка узнал, что гастролировавшая в России певица Полина Виардо с успехом участвовала в трио из «Жизни за Царя» «Не томи родимый», вместе с тенором Рубини и известным басом Осипом Петровым.



Нужно указать на одно обстоятельство, которое, возможно, в некоторой степени способствовало успеху Глинки в Париже: в декабре 1844-го года, за три месяца до его собственного концерта, в Париже была впервые исполнена ода-симфония Фелисиена Давида *Le Désert* (Пустыня), навеянная египетскими впечатлениями. Ее необычайная для того времени восточная окраска как бы подготовила слух парижан для восприятия восточных мелодических оборотов Лезгинки и Марша Черномора.

О впечатлении, произведенном Глинкой на французских музыкантов, можно судить по интересу, с которым они следили за его дальнейшими музыкальными проектами. Когда он отбыл из Парижа в Испанию, где собирался приняться за изучение испанского фольклора и собрать материал для «живописных фантазий» в испанском духе, *Revue et Gazette Musicale* сообщила: «Г-дин Глинка, чья элегантная музыка и изысканный стиль заслужили почетное место в мнении знатоков, уехал в Испанию. Говорят, что он намерен изучить музыкальные свойства и проникнуться кастильским и андалузским гением, чтобы вернуться будущей весной в Париж с несколькими инструментальными фантазиями, исполненными подлинного испанского духа».

Глинка сдержал слово, написал сперва «Арагонскую Хоту», а несколько лет спустя «Воспоминание о летней ночи в Мадриде». Но его второе пребывание во Франции в 1852-54 гг. прошло почти незамеченным. Уже сильно подорванное здоровье сократило его активность, и он вел сравнительно уединенный образ жизни, ограничиваясь лишь небольшим кругом друзей. Нужно упомянуть лишь о его встрече с Мейербеером, который был в то время общеевропейским представителем оперного искусства. Мейербеер нашел, что Глинка чрезмерно строг в своих музыкальных суждениях. «Я имею на это полное право, ответил Глинка. Я в первую очередь строг к своим собственным произведениям, которыми редко бываю доволен». Вот уж чего Мейербеер не мог бы сказать о себе!

Относительно Берлиоза, одна фраза в письме Глинки к Н. Кукольнику позволяет лишний раз убедиться, насколько верно было его первое впечатление о французском композиторе: «Берлиоза видел только один раз, я ему уже не нужен, и следовательно приязни конец».

Сам Берлиоз в своих Мемуарах не говорит ни слова о своих концертах с Глинкой. Единственное упоминание о представлении «Жизни за Царя», которое он видел в Москве, при полупустом зале, ограничивается следующими скупыми замечаниями: «В этой опере есть весьма элегантные и оригинальные мелодии, но мне приходилось почти что угадывать их, настолько несовершенным было исполнение».

Имя и музыка Глинки раз и навсегда остались в памяти французских музыкальных деятелей. Но после смерти композитора в 1857 г. произошел довольно комичный инцидент, связанный со статьей крупного франко-бельгийского музыковеда Фрасуа-Жозефа Фетиса. Фетис был типичным представителем тогдашнего музыковедения, проводивший огромную исследовательскую и компилятивную работу, интересовавшийся всякой музыкой, но допускавший в своих трудах массу неточностей и просчетов. Он написал в *Revue et Gazette Musicale* большую статью о Глинке: «*Michel de Glinka et ses compositions dramatiques*», написал ее с лучшими намерениями, но перепутал в ней абсолютно все даты и факты и совершенно искажил в своем анализе смысл и содержание опер. Например, в «Жизни за Царя» он принял поляков ворвавшихся в дом Сусанина за... гостей пришедших на свадьбу Антонида! К счастью нашелся человек давший Фетису, и в русской и во французской прессе, тщательно аргументированный и беспощадный ответ. Это был Александр Серов, композитор и музыкальный критик, друг и поклонник Глинки. Его статья в «Театральном и музыкальном вестнике» 1858 года, перебирая одну за другой бесчисленные ошибки Фетиса, написана в гневно-полемическом тоне. «Если бы какому-нибудь французу из литераторов, пишущему кое-когда о музыке, случилось бы дать отчет об операх китайского композитора на китайские слова, то этот француз, разумеется не знающий ни музыки китайской, ни китайского языка, плохой по музыке и критике вообще, одним словом шарлатански взявшийся не за свое дело (что с французами так часто встречается!), не мог бы больше нагородить вздору чем нагорожено в означенных статьях», писал Серов. В таком же духе была и его французская статья в газете *Le Nord* под заглавием «*M. Fétis et Michel Glinka. Réponse d'un Russe à M. Fétis*».

Возмущение Серова по своей сути вполне справедливо, но все же чрезмерно. Фетис вовсе не был шарлатаном, а просто человеком стремившимся объять больше знаний чем было в его возможностях.

В связи с проникновением русской музыки во Францию, необходимо упомянуть и о постройке в Париже в 1861-ом году Александро-Невского собора, на освящение которого был выписан из Петербурга хор под управлением церковного композитора и регента Григория Львовского. Русская церковная музыка лишь изредка бывала представлена на парижских концертах произведениями Бортнянского, но интерес к ней непрерывно возрастал. Поэтому музыкальная пресса обратила внимание на постройку собора именно как на музыкальное событие. «Это интересное торжество позволило отметить насколько велика разница между музыкой католического и греческого культов (...). В пении православной церкви преобладает минорный лад, что придает песнопениям мягкую и грустную окраску. Это создает захватывающий контраст с богатой и роскошной обстановкой храма», писала *Revue et Gazette Musicale*.

В 1862 г. в Париже состоялся большой концерт русской музыки, сбор с которого должен был пойти в пользу петербуржцев, пострадавших от недавних петербургских пожаров. Организатором концерта был музыкальный деятель и композитор князь Юрий Голицын. (Его отец, Николай Голицын, был в России активным пропагандистом музыки Бетховена, и заказчиком нескольких его последних квартетов). На концерте были исполнены народные песни, церковные песнопения, «Камаринская» Глинки, и произведения самого Голицына: фантазия на две русские темы, написанная по случаю освобождения крестьян, вальс, фантазия кадрили. Отзывы прессы оказались крайне противоречивыми: *La France Musicale* писала что сочинения Голицына «оригинальны, и так искусно написаны, что они заслужили бы особого исследования». Напротив, *L'Art Musical* сухо отметил: «Вместо русских напевов мы, к сожалению, услышали польки, вальсы, кадрили на русские темы. Аранжировки князя Голицына далеки от народных песен, исполняемых русскими крестьянами».

Любопытно, как некоторые слушатели, не так давно получив первое представление о русской музыке, стали проявлять к ней большего требования и пуризма чем сами русские!

Из франко-русских музыкальных встреч нужно отметить, в 1868 г. парижские концерты Антона Рубинштейна с Камилем Сен-Сансом. Они представляют не столько этап укоренения русской му-

зыка во Франции — стиль «русского немца» Рубинштейна не представлял ничего особенно необычайного для западных музыкантов — сколько творческую встречу двух сильных личностей. В своей книге «Портреты и Воспоминания», Сен-Санс описывает парижские дебюты Рубинштейна: «Рубинштейн дебютировал в Париже со своим соль-минорным концертом. В зале не было ни одного платного посетителя. На следующий же день артист был знаменит, и публика ломилась на его второй концерт. На этом концерте присутствовал и я, и с первых же нот я почувствовал себя разнесенным в прах, и мне оставалось лишь следовать за колесницей победителя».

1860-ые годы в русской музыке — начало новой эры, появление завершающего поколения русской школы: под предводительством Балакирева сформировалась и начала себя проявлять Могучая Кучка, окончил свое музыкальное образование Чайковский. В 1862 г. были учреждены Бесплатная Музыкальная Школа и Петербургская Консерватория, в 1866 — Московская Консерватория. На Западе регулярно следили за новыми именами и за социальным развитием русской музыкальной жизни. Ее крупные и мелкие события отмечались в хрониках западных музыкальных журналов. Российская художественная реальность постепенно выходила из тумана, который еще не так давно облекал ее для западных глаз.

В 1874 г. в Библиотеку Парижской Консерватории был прислан целый фонд нот из России: почти все творчество Глинки, «Садко» и «Псковитянка» Римского-Корсакова, «Опричник» Чайковского, и главное, клавир «Бориса Годунова». Юный Клод Дебюсси, тогда учившийся в Консерватории, таким образом познакомился с оперой Мусоргского еще до своего отъезда в Россию<sup>(1)</sup>, куда был приглашен в 1880 г. Надеждой фон Мекк в качестве домашнего пианиста.

Первым композитором нового русского поколения, посетившим Францию, был Чайковский. Его первые, чисто туристические пребывания во Франции относятся к началу 60-ых годов, но впервые его музыка прозвучала в Париже лишь в 1876 г. Исполненная тогда увертюра «Ромео и Джулетты» успеха не имела, равно как и симфоническая поэма «Буря», в 1879 г. Зато значительно больше интереса вызвала его 4-ая симфония, исполненная в театре Шатле в

(1) См. статью André Schaeffner «Debussy et la musique russe» («Musique Russe», tome I, P.U.F., Paris, 1953).

1880 г. Хотя симфония показалась по характеру ближе к дескриптивным поэмам, чем к симфонии в классическом понятии слова, произведенное впечатление было сильно, и рецензент журнала «Менестрель» сказал о Чайковском «Il y a en lui le souffle de la grandeur» («в нем есть дух величия»).

Жизнь Чайковского вообще неразрывно связана с западными странами, Францией, Италией, Швейцарией. Начиная с 1880-ых годов у него устанавливаются постоянные отношения с французскими музыкальными кругами. Он поддерживает дружеские связи с самыми выдающимися представителями французской музыки: Гуно, Сен-Сансом, Делибом, Форэ, с дирижером Колонном, с пианистами Димером и Мармонтелем. В 1885 г. Чайковский принят во французское Общество Композиторов. Парижский издатель Феликс Макар купил у Юргенсона, издателя Чайковского в России, право, переиздавать его произведения во Франции. В 1891 г. Чайковский сам дирижировал своими произведениями в театре Шатле, а в 1892 был избран членом корреспондентом Института Изыщных Искусств<sup>(2)</sup>.

Но вернемся пока назад и остановимся на 1878 году. В сентябре этого года при парижской Всемирной Выставке был устроен ряд концертов русской музыки, организация которых была поручена директору Петербургской Консерватории Карлу Давыдову. Дирижировать должен был Римский-Корсаков, но в последнюю минуту ему предпочли более опытного Николая Рубинштейна, к тому же одновременно дирижера и пианиста. Состоялось четыре концерта, которые охватили все жанры и представили все выдающиеся имена в русской музыке с начала 19-го века: песнопения Бортнянского, арии, хоры и симфонические отрывки из обеих опер Глинки, его же «Арагонская Хота» и «Камаринская», несколько романсов Даргомыжского и два хора из «Русалки», фортепианные пьесы, симфоническая картина «Иван Грозный» и отрывки из «Демона» Рубинштейна, Серенада и Вальс-Скерцо для скрипки, и фортепианный концерт (1-ая часть) Чайковского, и «Садко» Римского-Корсакова. О последнем, журнал *L'Art Musical* написал довольно забавно: «Une œuvre de Rimsky et de Korsakov».

Уже по отзывам на концерт Голицына в 1862 г. можно было

(2) Отношения Чайковского с Францией были исчерпывающе исследованы музыковедом Владимиром Федоровым в статье «Čajkovskij et la France» (*Revue de Musicologie*, N° LIV, 1968).

убедиться, что по сравнению с временами Глинки, отношения французских критиков к русской музыке изменились. Интерес ничуть не уменьшился, но восприятие стало более осторожным и требовательным. Это сказалось не только по отношению к новым, впервые услышанным произведениям, но даже по отношению к Глинке, которого так превозносили тридцать лет назад. Станным образом в одном из отзывов журнала «Менестрель» было сказано, что музыка Глинки кажется менее национально-русской чем фортепианный концерт Чайковского; довольно сдержанный отзыв получили «Садко» и «Демон», так же как и хоры из «Русалки». Но строгость критиков в данном случае оказалась в противоречии с безудержным восторгом публики (последний концерт, не предвиденный по программе, состоялся по ее требованию). Вообще промахи критиков 19-го века вошли в историю — достаточно вспомнить хотя бы инциденты с Вагнером. Однако по отношению к русской музыке, критические отзывы, как это ни парадоксально, нужно считать положительным признаком. Вопрос не только в справедливости или несправедливости мнений. Важно то, как стали чувствовать себя критики по отношению к русской музыке. В те годы Россия завоевывала на европейской музыкальной сцене место равное другим державам: у нее была своя национальная опера, своя церковная музыка, совмещающая сохранившиеся традиции с приобретенным ремеслом, свой симфонический и фортепианный репертуар, свои выдающиеся музыканты исполнители. Русская музыка перестала быть диковинкой для западных музыкантов, слеовательно они уже не боялись смело, пусть даже излишне самоуверенно ее критиковать.

В 1878-80 гг. в *Revue et Gazette Musicale* был напечатан ряд статей Цезаря Кюи под общим заглавием «*La musique en Russie*», охватывая историю русской музыки по жанрам и формам: народная песня, опера и ее представители, инструментальная музыка, мелодия, а также социальный обзор музыкальной жизни: театры, концерты, консерватории, музыкальная критика. В заключении была прибавлена статья французского музыковеда Шарля Баннелье о самом Цезаре Кюи. В 1880 г. все эти статьи были собраны и опубликованы издательством *Fischbacher*, составив таким образом первую на французском языке книгу о русской музыке.

В Бельгии (Льеж, Антверпен, Брюссель) был организован в 1885-86 гг. ряд русских концертов по инициативе графини Мерси-Аржанто. Имя этой известной меценатки и одаренной пианистки неразрывно связано с русской музыкой. Графиня Мерси-Аржанто не-

сколько раз бывала в России, общалась и переписывалась с Цезарем Кюи, Бородиным, сестрой Глинки Людмилой Шестаковой. В 1888 году она опубликовала монографию о Кюи (впрочем чрезмерно его превознося), и в том же году была избрана почетным членом Русского Музыкального Общества.

Преждевременная смерть Бородина в 1887 г. была отмечена двумя подробными статьями Кюи в «Менестреле». Бородин не дождался всего лишь двух лет до нового, и на этот раз завершающего этапа проникновения русской музыки во Францию. По случаю очередной Всемирной Выставки в Париже в 1889 г., издатель Беляев устроил два больших русских концерта, которые прошли под управлением Римского-Корсакова, с участием пианиста Лаврова. Из новых, еще неизвестных во Франции произведений были исполнены «Антар», «Испанское каприччио» и фортепианный концерт Римского-Корсакова, «Половецкие пляски» Бородина, «Ночь на Лысой Горе» Мусоргского (в оркестровке Римского-Корсакова), 2-ая симфония и «Стенька Разин» Глазунова.

На этот раз рецензии были единогласны. «Никто теперь не посмеет отрицать, что существует русская музыкальная школа», писал L'Art Musical. «Наши дирижеры должны как можно больше из нее черпать для обновления программ, которые давно уже остаются все одними и теми же. Эта школа до сих пор лишь немного известна вне своей страны. Пусть же Франция примет ее, как Россия первая приняла современную французскую школу, отдав должное гению ее основателя Берлиоза».

Эти справедливые слова были услышаны. Начиная с 1890-ых годов русская музыка окончательно входит в программный обиход французских концертов. Заслуга в этом в значительной степени принадлежит инициативе самых видных в то время французских дирижеров: Эдуарда Колонна, Шарля Ламурё, Камиля Шевильера. Но много способствовало этому и начавшееся тогда франко-русское политическое сближение, отмеченное несколькими событиями: в 1893-ем году, чествование русских моряков в Париже; в заключение торжественного вечера в Оперном театре, был исполнен гимн «Боже царя храни». В 1896 г. визит Николая II-го во Францию. В 1897, поездка в Россию французского президента Феликса Фора.

В 1890-ых годах Франция, в частности, ближе знакомится с творчеством Мусоргского. В 1894 и 1896 гг., русский дирижер Алек-

сандр Виноградский исполняет на парижских концертах несколько симфонических отрывков из «Бориса Годунова» и из «Хованщины». В 1896 г. певица Мария Оленина-д'Альгейм дает несколько концертов мелодий и оперных арий Мусоргского, а ее муж Пьер д'Альгейм выпускает о нем первую книгу на французском языке.

В это время русская музыка начинает оказывать непосредственное влияние на эстетику французской школы. В последнем десятилетии 19-го века начинает проявлять себя новое поколение композиторов, поставивших французскую музыку на путь модернизма. Отказавшись от преобладающего тогда немецкого влияния, переданного Цезарем Франком и его последователями, они напротив стали искать сближения с новыми для них образами музыкального мышления, с новыми эстетическими критериями, и в первую очередь с экзотизмом. Именно это они и нашли в русской школе (одновременно как и в появляющейся тогда испанской). Нельзя не заметить в произведениях Дебюсси, Дюка́, Равеля, явного отражения оркестровой окраски Римского-Корсакова и Бородина, пианистических приемов Балакирева, своеобразного гармонического и мелодического символизма Мусоргского и его речитативной речи (разумеется, соответствующе переосмысленной для применения к французскому языку), не говоря уж о пользовании оборотами восточной тематики. И когда в 1907-08 гг., положивших начало Дягилевской эры, парижане услышали пение Шаляпина, игру Рахманинова, и увидели на сцене «Бориса Годунова» и «Снегурочку», то они справедливо могли сказать, что им было представлено лучшее, что русская музыка дала за последнюю четверть века.

Еще в 1890-ых годах композитор Эрнест Шоссон писал своему другу Дебюсси: «Черпайте из русской музыки все, что сможете». И Дебюсси в своей опере «Пеллеас и Мелизанда» щедро отдал дань Мусоргскому, влияние которого сказывается во множестве тематических и вокальных приемов. И когда в 1908 г. один из его друзей, музыковед Жан-Обри, собирался идти на представления «Бориса», Дебюсси сказал ему: «В нем вы услышите всего моего «Пеллеаса». Как часто бывает шутливое по форме замечание глубоко правдиво по существу. И оно будет, пожалуй, лучшим подтверждением того, что медленное, постепенное, но неотразимое укоренение русской музыки во Франции не только достигло, на грани 19-го и 20-го веков всеобщего признания, но и оказалось, в итоге, необходимым для возникновения и развития новой эпохи в западной музыке.

*Андрей Лышке*



## САМОПОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

В самом начале моей художественной деятельности в Париже, в 1932-1933 гг., не находя интереса в произведениях, выставленных в Салонах и в галереях, я выбрал как базу для творчества изучение мастеров Возрождения, для того, чтобы приобрести необходимую технику для создания метафизических композиций, так как писать фотореалистические картины не отвечало моей жажде поэтического воображения.

Я был усыновлён художником С. В. Чехониным, с которым мы вместе внимательно рассматривали картины в Лувре и в других музеях. Этот замечательный человек мне объяснял технику мастеров и дал мне чрезвычайно полезные советы для равновесия иногда странных моих композиций и никогда не старался влиять на мое воображение, говоря, что любые и даже невероятные идеи в живописи могут быть приемлемы, если они технически хорошо исполнены. На мой вопрос, что «хорошо» в искусстве и что «плохо», Чехонин ответил: «Не криви душой, сам знаешь разницу».

Чтобы избежать изображения банальной реальности, которая подвержена общему движению и переменам, мне всегда хотелось изображать эту метаморфозу, не отбрасывая существующей реальности, но только представляя ее «иным» образом, осветив ее «изнутри» и следуя известному изречению, что «скрытая гармония сильнее явной». (Многие современные художники, уничтожив реальность, попали в ловушку абстрактного искусства, которое, в конце концов, стерильно и лишено человеческого разума и живой мысли). После четырех личных выставок, от 1939 и до 1955 г., была пятая в 1957 году, галерея Andrée Weil, для которой, как и всегда в моих попытках соединить фантазию и реальность, было дано мною название «Фантазм-Реальность», но эта двойственность еще не отвечала целиком моим идеям. Для шестой выставки, в той же галерее, в 1959 году, я, наконец, нашел, после многих размышлений, название «Фантастическая Реальность», где эти два противоположные понятия были соединены в одну идею, которая отразилась в представленных картинах. Это же название, «Фантастическая Реальность», появилась через год у писателей, художников и еще используется и до сих пор.

В июне 1969 года была седьмая выставка (в той же галерее), под названием «Космический Романтизм», с предисловием Вальдемара Жоржа. На эту выставку пришел художник Ю. Анненков и написал критику в «Русской Мысли», приведенную ниже. Мне, как художнику, пояснять свое творчество трудно, так как нужно избегать самохвальства и саморекламы, поэтому я считаю полезным воспроизвести тексты компетентных критиков, проявивших внимание и интерес к моему искусству. Их было три: первый — критик и эссеист Вальдемар Жорж, второй — д-р Рэймонд Пайпер, профессор философии в Сиракузском Университете, (Нью-Йорк, США). Он в продолжение десятка лет работал над книгой, изучив современное метафизическое искусство, собрав 250 репродукций картин почти из всех стран мира. Он назвал свой труд «Cosmic Art» и посвятил мне лично одну страницу с репродукцией моей композиции «Смерть и воскресение», изображающей медленно сгорающую человеческую оболочку: но в декабре 1962 года он внезапно умер и его работа не издана еще и до сих пор. Третий, кроме разных журналистов, был Ю. Анненков. Возьмем сперва выдержки из текста Вальдемара Жоржа, написавшем мою монографию, изданную в 1947 году:

«Не является ли Пьер Ино прямым наследником создателей метафизического искусства, как Козимо Тура и Косса? Не веют ли на его композициях мысли Леонардо и Дюрера? Вспоминает ли он страницы известного французского труда 16-го века «Время и Алхимия»? Не спиритуальный ли он последователь Каспара-Давида Фридриха, немецкого романтика? Я думаю, тщетно пытаться проникнуть в генеалогию этого художника, чье искусство — очаг прозрений. Его композиции являются организмом, независимым от недвижимых законов, эти идеи есть начало размышлений. Пьер Ино объявляет, что предмет искусства — не имитация физических явлений и даже когда в его картинах появляются острые горы, готические замки, планетные поверхности или небо, усеянное звездами, то видно, что они не из этого мира, они ниоткуда и не подвержены течению времени; эти пейзажи лунного театра иногда превращаются в гигантское шахматное поле, по которому скачет апокалиптический черный конь, неся в зубах короля-марионетку. Эти композиции подтверждают бесконечность пространства, которое есть лейтмотив этого художника.

Различные элементы, внесенные в его творчество, взяты из зоологии, ботаники, анатомии, химии и механики, также из оккульт-

тных наук и астрологии, их сумма отражает видение мира. Двойственность, противоречия, отсутствие логики, это все представляет собою смелые попытки, иногда безнадежные, проникнуть в глубокую реальность сущности. Они являются атрибутами этого искусства. Этот создатель иллюзий, вдохновенный жонглер, разрушающий иногда установленные правила, представляет собой, однако, традиционного мастера, почитающего технику и ремесло художника. Поверхность его композиций эмалевидна, техника иногда сконцентрирована до степени исчезновения следов кости и тогда фактура и пигменты приобретают новое духовное значение. Сверхъестественная шекспировская атмосфера «Сна в летнюю ночь» отразилась в некоторых картинах, где деревья превращаются в музыкальные инструменты, животный и растительно-ботанический мир не разделены, артист произвел и синтез. Но его юмор иногда печален, в пейзаже чистой белизны призрак-эктоплазма играет еще костлявой рукой на арфе из обледенелых ветвей...

Предвидит ли этот мастер, отмеченный современным беспокойством, появление нового романтизма? Но парадоксально — он ищет и создает идеал женской красоты. В женских фигурах, появляющихся в его композициях, видно влияние средневековья, готических северных мадонн и Реймского ангела. Но также они нам напоминают задумчивых нимф флорентийских фонтанов Бернини, их профили приближаются к античным медалям. Их имена нам неизвестны, но они могли бы быть похожи на героинь Метерлинка и Эдгара По. В заключение можно сказать, что эта форма искусства, соединяющая фикцию и реальность, есть проникновение в необъяснимое...»

---

Вот перевод текста Рэймонда Пайпера, написанного им для его книги:

«Пьер Ино является провидцем, выражающим свои идеи видениями сна, в которых скрыта метафизическая правда. Он подчеркивает состояние современного человека: бессознательность, материализм, страдание и непонимание своего существования и говорит, что большинство теперешних художников отражают безразличие и отсутствие гуманизма и идейности. Этот артист является художником космической метаморфозы, все движется и необъяснимая сила, названная Богом, дает энергию этому движению.

Пьер Ино отрезает свои композиции от земного влияния и снова их воспроизводит в бесконечном пространстве мысли, его творчество — одновременно прошлое, настоящее и будущее, их время существует «всегда». Невозможность раскрыть тайну существования влияет на его творчество, часто носящее в себе пессимизм, но он утверждает, что Искусство является первым шагом к познанию мира. Произведение искусства, достойное этого названия, содержит в большинстве случаев вдохновение, которое выше логической мысли; парапсихологи доказали, что существует духовное состояние, превышающее обыкновенные попытки творчества. Пьер Ино, следуя этому вдохновению, выбирает соответствующие темы, ибо художник подвержен ответственности развивать высокие качества в самом себе, находить и выявлять красоту в своих произведениях и прибавлять этим еще новую спицу в большое колесо метафизических познаний и открывать новую радость в жизни».

---

Художник Ю. Анненков:

«Пьер Ино — приемный сын русского графика и книжного иллюстратора огромного таланта, имя которого всем русским должно быть известно. Талант Пьера Ино тоже неоспорим, а живописная техника изумительна: она, во всяком случае, стоит на уровне техники самых лучших мастеров фантастики, или (если не страшно это сказать) техники Альбрехта Дюрера (1471-1528). Тончайшая наука живописи, безукоризненное исполнение фантазмагорических видений. Картины Ино — это окно, открытое в царство сна, в мир воображений. Видимыми образами он создает невидимое. Его фантазия неудержима, она в неизмеримых пространствах. Недаром его картины носят такие названия: «Страшный сон», «Женщина выливающая эссенцию жизни», «Переселение душ» и т. д. Все эти темы выражены в живописных формах. Но говорить о картинах Ино недостаточно. Их надо видеть».

---

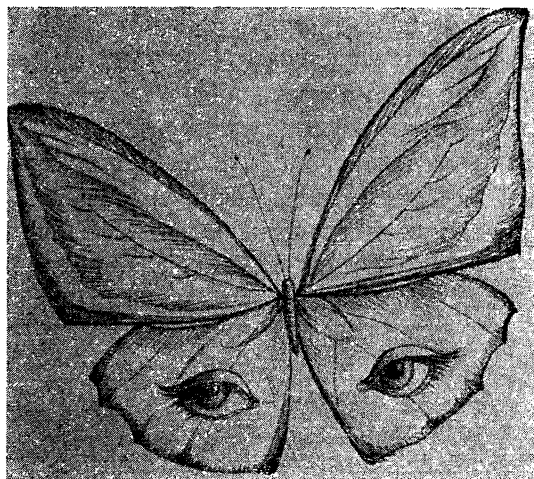
Считаю нужным отметить, что разные критики с большой легкостью привешивали мне ярлык сюрреализма, забывая, что сюрреализм — это очень смутное изобретение, не признающее музыки, вдохновения и разумного выбора; изображение кошмарных снов не является искусством. Добавлю, что не эта темная доктрина, а искрен-

ность русских поэтов, как Пушкин, Есенин и Маяковский, очеловечивавшие неодушевленное, сильно повлияла на мое творчество.

Современное искусство отразило, как в зеркале, все больше и больше проникающие в нашу цивилизацию нигилизм и варварство и, отбросив традиционные основы в живописи, в погоне за деньгами, организовало систему быстрого и серийного производства. Современная живопись не всем нравится, но многие не хотят в этом признаться, боясь прослыть за врагов прогресса. Торговцы картинами, пользуясь могущественным оружием, называемым Рекламой, составили себе громадные состояния, продавая «вздутые» произведения неискушенной и некультурной публике. Современное искусство больше не зависит от эстетических правил и подвержено только рекламе и спекуляции, что породило сверхпроизводство, саморазрушение и хаос.

Возможно, и надо надеяться, что этот хаос будет служить удобрением для будущих цветов творчества.

*П. Ино*



## О ШАРШУНЕ

Вы спрашиваете меня что я думаю о Сергее Шаршуне. Вопрос этот уводит меня: а) к особенностям его творчества и б) к общим проблемам той области искусства, которой он принадлежит.

Самым существенным качеством любого художественного творчества и любого стиля является, по моему мнению историческая обобщенность или символизация изображаемого. Исключая мертвенно-условный язык известного типа натурализма и грубый материализм советского «социалистического реализма», любое произведение искусства, в котором полновластна свобода вымысла и в котором жив субъективный идеализм, представляет собой плод символизации. К сожалению, критики часто путают ее с аллегоризацией. В аллегории изображаемый объект приводит нас к другому ОБЪЕКТУ (такова, например, живопись Гюстава Моро и поэзия Валерия Брюсова); в символизированном же искусстве объект становится СУБЪЕКТОМ, философской идеей — таково творчество М. К. Чюрлениса (одного из мастеров Шаршуна), Одилона Рэдона и Пауля Клее и такова поэзия Блока, Вячеслава Иванова и Маллармэ.

С самого начала Шаршун был символизирующим художником, т. е. подлинным символистом, и с самого начала его пантеизм и музыка его мысли не исходили из какой-либо интеллектуализации изображаемого и искусственной наготы формы, но, напротив, были исполнены лиризма и непосредственности. Шаршун примыкал к дадаистам, но его дадаизм не утверждал установку на заявляющий протест иррационализм или очевидный антиэстетизм. Будучи изначально и природно одаренным художником, он оставался стилистически далеким от производства псевдотехнических, пре-медитированных чертежей-импровизаций или бессмысленных сочетаний случайных предметов, линий и красок. С его врожденным романтическим талантом Шаршун не мог стать надуманным маньеристом, он просто тяготел, самым естественным образом, к абстрактному и фантастическому, к напевности волнообразных линейных и цветовых созвучий, наивности вырази-

тельного рисунка, символической таинственности мотивов и знаков. Творческий его процесс живо напоминает мне слова немецкого критика Юлиуса Майер-Грэффе, который как-то, в одной из своих книг, сказал, что художник должен теоретически знать все, но в миг творения все забыть. Эта мудрость была Шаршуну дана и он утверждал ее с большой эстетической и человеческой убедительностью.

Несмотря на то, что Шаршун сплавил в своем произвольном творчестве наивность с духовностью, его стиль противоположен не только интеллектуальному дадаизму, но и классицизму и риторическому искусству вообще. Для него преимущество искусства именно в том, что оно ничего не показывает и не доказывает и тем не менее вводит в наше сознание нечто неповторимое и неотвратимое. Он всегда верил в роль внушения, верил в подсознательную, вторую нашу жизнь и своим внушением и своей силой он объяснял нам значение сверхъестественной и неизменно ритмической своей речи. Образ и художественное видение Шаршуна всегда заключают в его картинах идейно-эмоциональное значение. Это «мышление образом» и «познание в образе» скрыто во ВНУТРЕННЕМ ПОДРАЖАНИИ; вызвать его и было задачей, которую ставил перед собой Шаршун. В его надреальном искусстве поэтому не столько важно непосредственное восприятие, сколько воспроизводящие и ассоциативные силы совершающегося процесса символизации *par excellence*.

*А. Раннит*

Yale University New Haven, Connecticut 06520

Ranit 3

RUSSIAN AND EAST EUROPEAN STUDIES  
27 Hillhouse Avenue

его стиль противоположен не только интеллектуальному абстракционизму, но и классицизму и риторическому искусству Водюге. Для него преимущество искусства именно в том, что оно ничего не показывает и не доказывает и тем не менее вводит в наше сознание нечто неповторимое и неотвратимое. Он всегда берет в роль внешнюю, берет в подсознательную, вторую жизнь нашу и своим внутренним и своей силой он объяснил нам знание/сверхъестественной и неизменно ритмической своей речи.

Сраз и художественные видения Мариуша всегда заключают в его картинках идейно-эмоциональное значение. Это "мысленные образы" и познание в образе" скрыто во внутренней подражании; вызвать его и было задачей, которую ставил перед собой Мариуш. В его наглядном искусстве поэтому не столько важно непосредственное восприятие, сколько воспроизведение и ассоциативные силы совершающегося процесса символизации рая eccellense.

Спасибо Вам за всё, что Вы сделали и что делаете для распространения таланта чистого творчества Мариуша.

Vam Helen's Ranit



## ДВА ХУДОЖНИКА «ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ»

Анна Старицкая \*)

Откуда у Старицкой эти пронзительные живописные аккорды, эти обрывки материи, эти резные полосы, ирреальный натиск которых погружает нас в доисторические времена вселенной?

Откуда эти взрывы красочного вещества, это струение стихий природы, это призрачное вторжение величия форм, которые ритуально переосмысливают материю, придавая ей подлинную сущность духовного движения?

Несомненно — от острого чувства всего живописного, от постижения первичного бытия искусства, того искусства, которое не является миметическим, но абстрактным в философском смысле (а не в условном смысле критического историзма), то есть того искусства, цель которого состоит в поисках обнаженной подлинности вещей, лежащих за пределами иллюзии обманчиво воспринимаемых форм. Эта обнаженная подлинность не является у Старицкой опрощением или аскетизмом. Она состоит из земли, из солнца, из воды, из воздуха.

Перекомponируя в живописном разрезе теллурическое пространство нашего материального мира, оркестрируя неведомые пейзажи, Старицкая строит, кует, подвергает тщательной обработке первобытные темпы мира, не заботясь о культурных наслоениях (о непрерывном ряде эфемерных движений), которые затемняют его подлинный охват.

В произведениях Старицкой фактура играет первостепенную роль. Являясь наследницей всех исканий и новых достижений, которые были совершены в области искусства «Русской Школой» первой четверти 20-го века, — она органически принадлежит к тому всеобщему течению, которое после второй мировой войны переосмыслило роль и функцию живописного искусства, и является одним из его прямых выразителей. Из этих двух источников вытекает

---

\*) 1908-1981 г.

у Старицкой внимание к живописному как таковому, независимо от употребляемого материала. Западный человек с трудом допускает, что станковая живопись — это лишь одна возможность между другими для выявления живописного. «Картина», «холст», в таком виде, в каком мы их знаем и в таком виде, в каком они установлены в веках исторически датированы. Живописное же существовало до них и будет существовать после них. Старицкая не занимается преимущественно станковой живописью. Это не значит, что она придает мало значения этой форме. Напротив, ее живопись вполне выявляет всю вибрацию земных ритмов. Но живописное выявление также и в ее «коллажах», в невиданных формах, в оформлении книг, для которых Старицкая находит, в каждом случае, самобытные формулы.

Можно сказать, что после Курта Швиттера нет в искусстве коллажа мастера более последовательного, более строгого, более чувствительного к сырому материалу, чем Старицкая. С ней мы погружаемся в геологические слои земли. За банальными явлениями она обнажает своими заклинаниями и колдовством остова мира, она роет, бороздит, копает, буравит материю. Таким образом, она открывает, раскрывает, перекрывает хаотичные нагромождения, — пласты, закрытые, забытые осадки, отстраненные заботой цивилизации во имя удобств. Старицкая заставляет нас принять участие в диких, первобытных обрядах, уводит нас от пошлости видимости, увлекает нас в пляски и ритмы, память о которых мы потеряли...

Серия коллажей, посвященных колдунам, не является условной демонологией, это настоящее измерение, подлинное обнажение нашего бытия, это фантастический пейзаж, в котором выливаются неопределенные контуры человеческого тела, расширяясь, вливаясь в пласты земли, следуя их многообразной дисгармонии, но никогда полностью не сливаясь с ними.

Творчество Старицкой соединяет инстинктивный лирический пафос с твердостью письма и почерка, придающего ее живописным знакам богатую многогранность смыслов. Это «информальное» искусство, согласно условной классификации, но, прежде всего, искусство в поисках теллурической, духовной, психической генеалогии. Надо особо упомянуть о месте, занимаемом в творчестве Старицкой поэтическим словесным искусством: она создает поэмы-гуаши, поэмы-коллажи, поэмы-гравюры и поэмы-объекты. Фрагменты текстов очень часто употреблены ею в живописной композиции. При этом, худож-

ница прибегает ко всевозможным сочетаниям: то чертит буквы кистью или тушью, то использует типографические литеры разного формата, распределяя их в вольной композиции. Часто встречаются стихи французских поэтов, но есть и композиции, где основным элементом является русская каллиграфия стихов. Например, одно произведение состоит из стихов Багрицкого:

Сад ерзал костями пустыми,  
Сад в ночь поднимал допотопный костяк

или другое соединяет графический элемент, состоящий из отрывка стихотворения Марины Цветаевой, с живописью:

Но вот — как черт из черных чащ —  
Плащ — чернокнижник, вихрь-плащ,  
Плащ — вороном над стаей пестрой  
Великосветских мотыльков,  
Плащ цвета времени и снов —  
Плащ Кавалера Калиостро.

Таким же образом, сделана серия «заговоров» из книг, собранных в олонецких краях в 1912 г., где отдельные листы созданы наподобие пергаментных рукописей. На тему заговоров Старицкая оформила и книгу *Заговор Оборотня* (1979, 5 экземпляров из бязи и 10 экземпляров из хлопчатобумажного материала). В этой типографической-графической-живописной игре сам поэтический текст становится многоголосным, полифоническим. Письмо, голос стиха и красочный штрих составляют одно целое, где каждый элемент вкладывается один в другой как куклы-матрешки.

Искусство книги это одна из основных особенностей творчества художницы. Продолжая русскую традицию 20-го века оформления книг художником («Мир Искусства», футуристы, конструктивисты), она создала большое количество книг, в которых все до мельчайших подробностей задумано и исполнено ею самой: подбор бумаги (интересует ее, главным образом, бумага, сфабрикованная из тряпок); или же ткани, дерево, металл вместо листов; формат; обложка; литографирование. Художница делается, в полном смысле, конструктором художественного объекта.

Она исполнила несколько книг на русскую тематику. Кроме *Заговора Оборотня*, изданы по-русски: *Слово о гибели руския зем-*

ли (1967, ксилография и линография, 25 экземпляров), начало поэмы 13-го века, найденной в рукописи 15-го века Псковского Печерского Монастыря; *Книга Знахаря* (1976, 1 экземпляр); *Отпуск* (книга в виде коробки, 1971, 2 экземпляра); и, в французском переводе, *Сказание об индийском царстве* (1973, 15 экземпляров); Бригадный Ильязда (в переводе известного французского поэта Гийевика, 1980). Нельзя перечислить все те книги-объекты, оформленные Старицкой в сотрудничестве с французскими поэтами и писателями (Gaston Puel, Pierre Albert-Birot, Albert Dasnoy, Guillevic, Jean Follain, Michel Seuphor, Michel Butor). С Мишелем Бютором Старицкая продолжает очень плодотворную работу, найдя в этом писателе, поэте и теоретике, идеального соучастника в диалоге живописи и поэзии. Не случайно поэма Мишеля Бютора *Une chanson pour Don Juan* (оформленная в виде книги Старицкой в 1973) посвящена художнице. Были исполнены на тексты Бютора: *Imprécations contre la fourmi d'Argentine* (1973), *Avertissement aux locataires indésirables* (1975), *Allumettes pour un bûcher de la cour de la vieille Sorbonne* (1975) и в 1980 г., *Musique pour un Don Juan aveugle sourd*, четыре книги, представляя собою подобие коробки с граммофонными пластинками, в которую, кроме живописной, каллиграфической, типографической, литографической работы художницы, вставлены автографы самого Бютора, 32 строфы, соответствующие 32 сонатам Бетховена.

Обозревая многостороннее творчество Старицкой, можно сказать, что мы находимся перед одним из самых целеустремленных, строгих и самобытных выражений искусства второй половины 20-го века.

### Мистический свет Ланского

Граф Андрей Михайлович Ланской, без сомнения, один из самых даровитых и плодотворных беспредметных художников Ecole de Paris. Он родился в Москве в 1902-м году и ему было 15 лет, когда грянула Октябрьская революция. Из-за условий того времени он не получил ни художественного, ни общего образования, проведя только год в Пажеском корпусе и около года в частной гимназии. Первые шаги Ланского в искусстве начались во Франции, куда он приехал в 1921-м году. В России же первыми опытами были карикатуры, изображающие людей из семейного окружения (отца, репетитора, гостей, сидящих за столом и т. п.). Сам художник видит в этих первых попытках общую черту, характерную в целом для

всего его творчества: «Думаю, что потребность выражаться карикатурой, это потребность *преувеличения* (exagération), которая перешла после в *accélération* (т. е. ускорение).

Но когда в 1925 году Луи Воксэль по поводу моей выставки написал «Каким он мог быть карикатуристом если бы захотел» я был очень удивлен, потому что думал, что пишу людей такими, как они есть. Кстати сказать, у многих теперешних художников этот элемент существует. Пикассо один раз сказал о себе: «Когда я рисую с натуры, это сразу же карикатура». (Письмо к И. Г. Маркадэ от 8. III. 1972).

Детские впечатления, осознание которых заострилось разлукой с Россией, сознание принадлежности к русским культурным и религиозным традициям, все это делает Ланского глубоко русским гением Парижской Школы. Он, пожалуй, единственный среди плеяды русских мастеров, который разорвал внутренний мир до размеров вселенной, единственный, который отказался его замкнуть в узкие рамки, для того, чтобы освободить во всей их сложности мощные энергичные силы, которые бьются внутри человека, брошенного в космическую духовную борьбу. Ланской в каждом из своих творений воспроизводит образ новой созданной природы, состоящей из плоти и крови, Эвклидова мира, который мы воспринимаем нашими пятью чувствами, но перестроенной согласно ритмике, пластике и взаимоотношениям, присущим одной живописи. Никогда понятие «творение» не имело столь полного смысла, как у Ланского, заметившего: «Как Бог создал человека по своему образу и подобию, так и художник отражает в картине образ и подобие своего внутреннего мира». Никогда «живопись как таковая» не утверждалась столь величественно: «Не то, что входит в глаз художника обогащает картину, а то, что выходит из-под его кисти». Этот афоризм Ланского позволяет нам понять, почему термины «фигуративное искусство» и «абстрактное искусство» кажутся ему не адекватными и неоправдывающимися. Нет противоречия между так называемыми фигуративной и абстрактной живописью. Во всех случаях важно лишь то, что выходит из-под кисти художника, т. е. живопись как таковая. На вопрос, как он предполагает назвать «абстрактное» искусство, Ланской ответил: «О нахождении термина — позже. Но, я думаю, он должен прийти извне и случайно как определение кубизма» (письмо к И. Р. Маркадэ от 8. III. 1972).

Между прочим, до того, как прийти к пышным своим ритми-

ческим и световым симфониям в 1944-м году, Ланской лет 20 (от 1921 по 1942) пишет с натуры предметные холсты. Его натюрморты и пейзажи уже излучают «молчаливую жизнь» предметов и людей, стараются проникнуть — за миром явлений — во внутренние связи, охватывающие мир в свою сеть. Не было, стало быть, разрыва, когда Ланской решился в 1944-м году черпать свое вдохновение у самого истока видимого. Во время *Bildungsjahre*, которые постепенно приведут его к поэтической живописи, прославившей Ланского, он приобретает качества «виртуоза точного тона и изысканных цветовых взаимоотношений» (по выражению критика Maximilian Gauthier), насыщенность красок, которой он мог научиться у мастера «Голубой Розы» Сергея Судейкина, парижскую мастерскую которого он посещает по своему приезду из России в 1921-м году; полную свободу рисунка, характерную для его соотечественника Ларионова, которого он ставит очень высоко. Ланской даже пишет: «Когда в 25-х годах я стал писать свадьбы и торжество обеда, я думал, что я это делаю в подражание Ларионову» (письмо к И. Р. Маркадэ от 8. III. 1972). Фигуративные полотна Ланского, кроме гармоничности красок, указывают на талант рисовальщика. Как бы странно на первый взгляд это ни показалось, в беспредметном творчестве Ланского — место рисунка играет важную роль. Часто до того, как приступить к холсту, Ланской делает наброски; он беспрестанно рисует и в его композициях виден след тщательного первоначального рисунка. (Была в 1956-м году выставка рисунков Ланского). В фигуративном периоде не было уклона от первого замысла, не было, после выделенного сюжета, этой дальнейшей борьбы форм и красок, которая превращает мир в хаотичную гармонию беспредельного. Несмотря на достоинства произведений этого периода, богатая натура Ланского чувствовала себя тесно в мире явлений. «Русское» начало было присуще и картинам 20-х и 30-х годов. В его портретах, пейзажах, натюрмортах [*La Noce* (1924); *Paysage de Clamart* (1928); *Nature morte aux fleurs* (1925); *Intérieur Vert* (1928); *Paysage de Poigny* (1936)], уже чувствуется единство изображаемого вокруг доминирующей краски и если цвет не достиг позднейшего пароксизма, в них самое главное уже «сила и гармония красок» (J. Grenier). Ланского открыл в 1915-м году необычайно чуткий критик Вильгельм Уде (Wilhelm Uhde). Это начало его известности. С 1937-го по 1943-й год живопись Ланского находится в переходной стадии. Предметы, фигуры становятся более геометрическими, не как у кубистов т. к. широкие мазки начинают свергать все видимое и искать за ним гармоничный хаос невидимого [*Le Penseur* (1940), *Trois personnages bleus* (1940), и т. п.].

То, что брызнуло в искусстве Ланского, когда он отказался от раскрытия мира явлений в пользу внутреннего мира — от света вселенной — был СВЕТ. Здесь, без сомнения, первенствующий и органический элемент творчества Ланского, вокруг которого все организуется: рисунок, композиция, ритм, цвет, пластичность. Это не свет в том смысле, в котором его понимали караваджисты. Согласно верному различию самого художника, такой свет лишь «освещение» и тем самым «принадлежит скорее театру». Это тоже не единственный дневной свет, все оттенки и вибрации которого старались уловить импрессионисты в своем преображении предметов. Это мистический свет, исходящий из недр изначального хаоса, прошедший через призму духовности. Это и есть тот свет, который озаряет витражи средневековых соборов. Как в церковных витражах, в картинах Ланского есть всегда доминирующий свет: синий, фиолетовый, индиговый, красный, черный, белый, зеленый, всегда чистый, яркий, певучий, как в иконописи. Его палитра блещет оргией красок, вибрирующих наподобие русской старинной народной песни, выражающей гаммы мельчайших чувств, которые сопровождают главные события человеческого существования (радости, скорби, любви, тоски, смерти, празднеств, обрядов, молебствий и т. п.). Художник следует за этими исконными преданиями и его многоцветные холсты являются грандиозным эпосом русского завоевателя.

В Ланском есть что-то от варвара. Чувствуется, что он бросает рывками краски на полотно с дионисийской яростью. Кисть кажется слабым инструментом, чтобы перевести на холст стихийные и вулканические силы в раскаленном извержении. Такая поэтика родственна американскому action painting. В этом отношении Ланской близок к «похитителю огня», Рембо, который «видит безобразное и передает безобразное». Однако, это «безобразное» лишь кажущееся, на ступени нашего поверхностного видения мира. В хаосе Ланского своя структура, — структура живописная. Метод художника больше всего приближается к поэтическому методу Велимира Хлебникова, у которого словесная инструментовка создает, исходя из «слова как такового», первобытный мир, передает первый младенческий восторг и жизненную струю человека, не извращенного цивилизацией. Ланской очень высоко ставит поэтическое наследие Хлебникова, находя в нем отголосок своих личных чаяний. Можно сказать, что мечта Хлебникова о «кривых Лобачевского», которые должны были украсить города, вполне осуществились в мифологии красок и линий

Ланского. Не сродни ли Ланского «кривые, подражающие падучей звезде» этим строкам Хлебникова:

«Походы мрачные пехот,  
Коньем убийство короля  
Послушны числам как заход,  
Дождь звезд и синие поля»

(Гибель Атлантиды)

Не только дикарское вдохновение Хлебникова, у истоков цивилизаций, пленяет Ланского, но и хлебниковский «смех», и ритмическая деформация стиха, и «словоновшества» и, главное, «самовитое слово», когда слово — у поэта — и краска-линия — у живописца — уже не являются названием предмета, а эквивалентом сущности, имеющей свою полную самостоятельность, развивающееся существование. Живописные конструктивные элементы присущи хлебниковскому творчеству. Надо было слышать Ланского, читающего:

«И черный рак на белом блюде  
Поймал колосья синей ржи» (1920)!..

Взаимоотношения художника и произведения носят характер борьбы. Эта борьба похожа на ту, о которой писал Ван-Гог, она заканчивается победой новой гармонии, нового порядка. Произведения Ланского захватывают воображение, выводят его за пределы нашего времени и нашего пространства. Не случайно, конечно, художник написал *Hommage à Uccello*, т. к. у этого художника Возрождения импозантная мощь всадников, перед боем, выражена в потенциальной динамике, тогда как у русского живописца копьей противников уже скрестились и в его беспредметном мире бой в полном разгаре. Буйная сила ярких красок, непрерывное состязание непрестанно разрастается благодаря контрастам и тому, что художник называет «l'accélération». В творчестве Учелло, как и у Ван-Гога, и у Босха можно найти отчасти западные «ростки» Ланского, его родословную. Но самый характерный элемент всех произведений Ланского — это страстно-любтивное отношение к материалу.

Ланской расширил поле своей деятельности, создав целую серию пестрых гобеленов и иллюстрируя книги. В «Cortège» (1959) с текстом Pierre Lecuire'a, художник усовершенствовал технику наклейки-аппликации (коллаж). Для «Dédale» (1960) того же автора



он сделал гравюры тушью, применив все свое мастерство рисовальщика. Но в книге «Бытия» (La Genèse), (1966), он добился единства текста и иллюстрации, расписывая сам библейский текст разноцветными красками. Его шедевр в этой манере — текст-иллюстрация к «Запискам сумасшедшего» Гоголя (1958-1968), который до сих пор не издан, но коллажи которого были несколько раз выставлены. Здесь сказывается русская традиция церковно-славянского часослова и футуристических экспериментов 10-х годов (Ларионов, Гончарова, Малевич, Ольга Розанова, Филонов...). Единство между текстом, написанным рукой, и формами, окружающими его, создают новую «вещь», новый предмет, — чисто живописный.

В творчество Ланского надо войти, как входят в лес или в готический собор: взгляд бродит по скрещивающимся линиям, по вертикальным, горизонтальным, кривым, округленным, теряется в игре тени и света, охвачен объемом, лабиринтом глубин и перемешанных перспектив. Он не ищет смысла этого Божьего творения, так как смысл заключен в ритмической организации пространства. Для Ланского мир познаваемый изначально один и тот же. Его живопись не отрицание этого мира и его предметов: она только подходит к действительности с другого угла зрения. Нет в Ланском демиургической претензии творца-наследника индивидуалистического 19-го века — заместить Бога. Художник не соперник Бога. Он со-творец, вечный искатель новой красоты в неисчерпаемом сотворенном мире.

*Ж. Маркадэ*

---

СТАРИЦКАЯ Анна Георгиевна, родилась в Полтаве в 1908 г. Работала в художественных ателье в Москве. За границей с 1924 года. Училась в Академии искусств в Софии (Болгария), затем в Бельгии (1932-1946 г.г.). Во Франции — с 1946 г. Участвовала в выставках, общих и персональных. В 1952-53 г.г. вошла в круг парижских авангардистов. С 1960 г. обратилась к фантастическим сюжетам. Сотрудничала со многими современными поэтами и создала библиографические издания «Книга-Предмет». Скончалась в Париже в феврале 1981 г. (Ред.).

**БЕЗДОННАЯ ГЛУБИНА ЖИВОПИСИ Н. ДЕ СТААЛЯ****(Петербург 1914 — Антиб 1955)**

Николай Владимирович Стааль фон Гольштеин, как ледяной айсберг, завораживает красотой застывших кристаллами форм своей живописи, певучестью ритма композиций, выдержанностью стиля, прозрачностью света. Если о творчестве многих художников можно сказать, что не будь их живописи, искусство в его целом от этого нисколько бы не пострадало, то, говоря о Н. Стаале, можно утверждать с уверенностью, что его поэтика открыла новые, неизведанные возможности, обогатив мировое искусство 20-го века. Есть гении, завершающие цикл эстетических исканий своих предшественников, таков был Вермеер, таким был и Моцарт. В России — Пушкин. К ним должно причислить и Стааля. Последний аккорд его неоконченной симфонии был оборван неожиданной смертью художника и его огромная картина «Оркестр» осталась только набросанной. Теперь она украшает холл музея Современного искусства в Париже.

Человек необычайной целеустремленности и непрерывного творческого напряжения, Стааль неуклонно шел по избранному им пути, несмотря на трудности, лишения и жертвы.

Благодаря вышедшей в Париже, в 1968-ом году, книге о Н. Стаале <sup>(1)</sup> мы можем установить по его письмам ценнейшие подробности его сложной, насыщенной творческим горением жизни. Так в апреле 1937-го года он пишет, усыновившему его после смерти родителей, Emmanuel'ю Frisero: «Я знаю, что моя жизнь будет непрерывным странствованием по взбаламученному морю. Это требует постройки крепкого корабля, но он еще, Папа, не построен. Я еще не пустился в плавание. Медленно, часть за частью, я строю. Мне понадобилось шесть месяцев пробыть в Африке, чтобы отдать себе отчет, в чем именно заключается живопись» <sup>(2)</sup>. В июле того же 1937-го года он пытается объяснить своему приемному отцу стоящие перед ним задачи: — «Быть художником это не рассчитывать, а жить как дерево, не ускоряя брожения сока, ждать наступления

<sup>(1)</sup> *Nicolas de Staël. Présenté par André Chastel, éd, Le Temps. Paris 1968,*

<sup>(2)</sup> *Idem, стр. 50.*

лета, но для этого необходимо терпение и еще раз терпение. (...) Знаю, что другие художники стараются прежде всего угождать своим заказчикам, и знаю также, что я на это неспособен. (...) Только по внутренней, сокровенной необходимости нужно рисовать и только так я буду поступать, если смогу, для достижения хорошего рисунка, хорошей живописи» (3). Искусство захватило все его естество и он неуклонно и мучительно продвигался к художественному отображению своего внутреннего мира. Ему сознательно пришлось сделать окончательный выбор, отказавшись от привычных условий жизни, порвать семейные связи для обретения полной свободы. В своем письме от 31-го августа 1937-го года, он объявляет о созревшем решении: «Будьте уверены, это уже последнее письмо, которое я Вам пишу до отправки своего рисунка. Знаю, что Вы не уверены в моих силах, и, быть может, будете уверены еще меньше, увидя мою работу и ту, которая за ней последует. Я же никогда не сомневался в своей способности создать очень хорошие вещи и это исполню. Пишу Вам так, как думаю. Я Вам пишу, что я работаю. Вы мне не верите. Вы мне не верите и, может быть, в Ваших глазах работать — означает совсем иное. Мне так трудно писать Вам об этом, Вы, Папа, так добры, что внутреннее я исполняю это, на подобие человека, писавшего святому Игнатию, стоя на коленях. Мне нечего Вам добавить, нечего» (4). Эта размолвка на долгие годы обрекла художника на крайнюю нужду. Даже после его большой выставки в галерее Jeanne Bucher (в феврале 1945-го года) недостаток средств был настолько велик, что Стаалу в буквальном смысле слова приходилось преодолевать голод и холод. 18-го апреля 1945-го года он отправляет со своим пасынком Антеком известному коллекционеру и любителю современного искусства Жану Адриану записку, служащую доказательством денежных затруднений, которые отравляли существование огромного большинства русских мастеров... «Jean, завтра выключают воду и газ. Все свалилось одновременно, а у меня нет почти ни копейки. Дайте Антеку две тысячи франков до понедельника. Простите и спасибо. Николай» (5). Уже Дон-Кихот страдал от унижения из-за крайних лишений, заставивших его с горечью «подвергнуть свою честь диете»...

Но Стааль не покорился, не подчинился внешним обстоятель-

---

(3) *Nicolas de Staël. Présenté par André Chastel, éd. Le Temps. Paris 1968, стр. 52.*

(4) *Idem, стр. 54.*

(5) *Idem, стр. 72.*

ствам, не сдал своих позиций, он продолжал упорно работать, пока, наконец, в 1948-ом году борьба за существование заметно уменьшилась. Однако, годы крайней бедности не прошли для него бесследно, наложив отпечаток от сознания своей ущербности, опасения возможного срыва, сомнения в правильности эстетического решения уже законченной картины. Слушая критические замечания владельцев его произведений, он содрогался, сознавая, что они отдают предпочтение вещам наименее значительным, смелым и оригинальным, не постигая главного. 29-го января 1950-го года он прямо пишет по этому поводу Феодору Шемпу: «Никто не видит, почти что не хочет, никто по-настоящему не умеет даже смотреть картины» <sup>(6)</sup>.

Чувство обособленности возрастало, вечные сомнения не давали покоя, чем объясняется жалоба Стаала в письме к тому же Ф. Шемпу (от 8-го января 1953-го года), за два года до кончины, когда имя Стаала уже гремело во всем мире: «Вы знаете, что я никогда не уверен в своих картинах, никогда» <sup>(7)</sup>. Эти колебания были настолько остры, что во многих случаях он переделывал законченные картины, по совету Жана Борэ, богатого промышленника и страстного любителя живописи, с которым его познакомил Андрей Михайлович Ланской, с которым они были в тесной дружбе и влияние живописи Ланского чувствуется в картинах Стаала первого парижского периода. Ланской высоко ценил Стаала как художника и всячески способствовал его художественным начинаниям. При своей легендарной отзывчивости, Ланской всячески старался привлечь внимание владельцев галерей и крупных коллекционеров к живописи своего друга. В свою очередь, Стааль охотно поддерживал сердечные, приятельские отношения: он ежедневно звонил по телефону Ланскому, сообщая свежие монпарнасские новости.

Общение с Ланским служило связью с Россией, не иссякавшей в его душе никогда, хотя вся жизнь Стаала и протекала среди иностранцев (он вращался в кругу французских художников: близко знал Брака, бывал у Роберта и Сони Делонэ, в кафе на Монпарнасе встречался со всем артистическим Парижем), но эмоционально любил православие и хотя дважды был женат на французенках и в семейном быту русский элемент отсутствовал, однако, свою дочь от

---

<sup>(6)</sup> *Nicolas de Staël. Présenté par André Chastel, éd. Le Temps. Paris 1968, стр. 112.*

<sup>(7)</sup> *Idem, стр. 244.*

первого брака он брал с собой по большим праздникам в русскую церковь; он увлекался и поэзией Маяковского, называя последнего «наш поэт», любил музыку Игоря Стравинского, смотрел все советские кинокартины.

Когда в 1953 году им был, наконец, подписан выгодный контракт с нью-йоркским торговцем Л. Розенбергом, в порыве радости он сообщает Ланскому: «Я миллионер!», отлично сознавая в глубине души истинное положение дел: — «Dubourg мне пишет, что все зашевелилось, моя живопись начинает превращаться в крупное денежное предприятие, какая мерзость, но что поделаешь...»<sup>(8)</sup>. Миллионером Стааль, конечно, не стал, а стали те торговцы, которые нажили на поте и крови художника колоссальные деньги...

Высказывания Стааля о собственной живописи могут быть суммированы несколькими фразами в его письме к Jacques'у Dubourg'у, в декабре 1954-го года, когда слава художника уже получила мировое признание, когда в Париже, Лондоне, Нью-Йорке устраивались выставки его картин, когда музеями приобретались его полотна, когда коллекционеры скупали его произведения: «Я стараюсь достичь непрерывного обновления и это не так-то легко. Я знаю, что моя живопись под видимым неистовством и постоянной игрой силовых линий, — остается хрупкой живописью в смысле хорошей, sublime. Она хрупка как любовь. Полагаю, насколько я могу себя контролировать, что я как художник всегда стараюсь добиться, в той или иной степени, решающего воплощения моих возможностей и, когда я бросаюсь стремглав к полотну большого размера и, если оно мне удастся, я с ужасом всегда ощущаю, вроде головокружения, — слишком большую долю случайности, везения в силе выражения, которая все же сохраняет характер везения, известную долю виртуозности навыворот — и это меня всегда приводит в состояние полного отчаяния, я не могу этого выдержать и даже, когда я начинаю делать набросок на полотне в три метра, делая по несколько мазков в день, — мои размышления о нем всегда кончаются головокружением»<sup>(9)</sup>.

Это непрерывное обновление форм вполне соответствует осуществленным Стаалем изменениям его живописной манеры. Первые

<sup>(8)</sup> *Nicolas de Staël. Présenté par André Chastel, éd. Le Temps, Paris 1968, стр. 232.*

<sup>(9)</sup> *Idem, стр. 366.*

свои работы он, вообще, почти все уничтожил. В начале же сороковых годов, сделав несколько портретов своей первой жены, он отказался от воспроизведения одного только предмета, считая, что его стесняет вынужденная необходимость сосредоточиваться на одной вещи, имея перед собой множество других, соприкасающихся между собой. Стремясь к полной свободе выражения, он к концу 1944-го года переходит к беспредметной живописи и уже в следующем 1945-ом году, в галерее Jeanne Bucher состоялась первая знаменательная выставка его картин самостоятельного периода беспредметных композиций, отличавшихся порывистым движением ритма и своеобразностью форм. Блеклые коричневые и серые тона краски оттенены в них, по контрасту, яркоалым горячим пятном. Только с 1947-го вся гамма палитры заметно светлеет и у Стаала появляются отсутствующие прежде искания света и пространства. В 1949-ом году наступает новый период упрощенных геометрических форм, неправильных и различных размеров, произвольно входящих одна в другую. Густой голубой свет, ставший впоследствии доминирующим тоном (как в «Пароходах» 1955 г.), найден Стаалем уже в 1950-ом году (см. «Композиции в сером и голубом»). Однако, до 1951-го года он старается выработать собственную грамматику и синтаксис условных эстетических правил, руководствуясь тем принципом, что все картины, будь то предметные или беспредметные, имеют свой определенный сюжет. Теперь его полотна постепенно начинают приобретать вид разноцветной мозаики, резко выделяющейся на темном фоне. Краски густым слоем накладываются мастихином, создавая впечатление глубинности и иллюзорности: к циклу мозаичных работ следует отнести букеты цветов, крыши Парижа, оркестр джаз-банда и знаменитых футболистов, о которых он с упоением пишет 10-го апреля 1952-го года поэту Ренэ Шару, после присутствия на ночном матче, состоявшемся на спортивном стадионе в Parc des Princes: «Между небом и землей взлетают на красной или синей траве тонны мускулов в полном самозабвении, с показом всего что требуется, со всей невероятностью. Какой восторг! Ренэ, какой восторг! И вот я приступил ко всей команде Франции и Швеции и она начинает малопомалу приходить в движение; найти бы помещение размеров с улицу Гогэ (Gauguet), тогда я пущу в ход двести маленьких картин, чтобы цвет звенел, как афиши на шоссе, при выезде из Парижа<sup>(10)</sup>.

<sup>(10)</sup> *Nicolas de Staël. Présenté par André Chastel, éd. Le Temps. Paris 1968, стр. 188.*

Изображая человеческие фигуры, он употребляет упрощенную форму прямоугольника ярких цветов: красного, синего, зеленого. Он сознательно стремится зафиксировать не реальность видимого, а впечатление, оставшееся от каждого запечатлевшегося движения: «Никогда не рисуют того, что видят или полагают, что видят; рисуют в тысячах вибрациях воспринятый удар, для восприятия подобного, отличного» (11).

С конца 1952-го года Стааль вводит линейную перспективу, направленную к идейному центру картины, построенной согласно принципу сопоставления нескольких взаимно дополняющих одна другую плоскостей. В этой манере созданы им, во второй половине 1952 года, морские пейзажи, поэтически воспроизводящие соотношение пространств неба и земли («*La route d'Uzès*», 1953). К этому циклу относятся морские пейзажи, цвет которых служит для передачи не только света и пространства, но и созданных Стаалем художественных форм.

С Лазурного Берега он пишет Denis Sutton'у: «Нет ничего нового, кроме солнца, которое здесь ослепительно яркое. От накала синевы море становится красным и движется по циклу знакомой Вам насыщенности цвета радуги» (12).

С осени 1954-го года и до самой своей кончины Стааль снова стал писать с натуры, наиболее совершенные по смелости композиции, оригинальности форм и красоты красочной гаммы — картины. К этому периоду относятся пейзажи Агригента, натюрморты, ню и пейзажи юга Франции, из которых «*Le port d'Antibes*» (1955) по праву может считаться шедевром живописи 20-го века.

Десять последних лет своей жизни, от 1945-го по 1955-ый год, Стааль жил, лихорадочно работая, не щадя сил, напрягаясь без передышки, до потери нервного равновесия и нормального сна. Спал он только, принимая большие дозы снотворного, беспрестанно гото-

(11) R. V. Gindertael. *Nicolas de Staël*, éd. Fernand Hazan. Paris 1960. (Предисловие).

(12) *Nicolas de Staël. Présenté par André Chastel*, éd. Le Temps. Paris 1968, стр. 232.

вась к выставкам своих картин в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Весной 1955-го года он еще предполагал одновременно выставиться в Париже и Антибе.

Хотя и принято считать, что Стааль покончил жизнь самоубийством, о чем он (как и Маяковский) постоянно говорил, но не исключена и другая гипотеза: под действием сильного снотворного, в одурманенном состоянии он мог, как это часто случается, выйти в отверстие окна, приняв его в полусне за открытую дверь и разбился насмерть...

Как бы дико и парадоксально, на первый взгляд, ни показалось, однако, невольно напрашивается сравнение между преждевременно оборвавшейся жизнью Н. Стааля и не менее трагично погибшим Вл. Маяковским. Пусть Стааль, несмотря на все невзгоды, выпавшие на его долю, остался аристократом, вплоть до надменной повадки знатного патриция; пусть, благодаря воспитанию, полученному в иезуитском пансионе, в Бельгии, высшему образованию, пройденному им в Académie des Beaux-Arts в Брюсселе, и был пропитан до мозга костей западной культурой (досконально ознакомившись во время своих многочисленных путешествий с лучшими образцами мирового искусства в музеях Англии, Голландии, Италии, Франции), любя поэзию René Char'a (книгу которого он иллюстрировал), увлекающаяся современной музыкой, работая даже под звуки классических симфоний, — он и мог чувствовать себя европейцем, — чего, конечно, нельзя сказать о Маяковском, — и все же сходство, даже чисто внешнее, между этими двумя исполинами неоспоримо. Оба огромного роста, с пристально смотрящими глазами, оба обладавшие мощным тембром голоса. О раскатах бархатного баритона Маяковского свидетельствуют многие его современники, слышавшие выступления Маяковского на публичных диспутах. О голосе же Стааля пишет художник Гектор Старби: «Художники, которых мне приходилось знать, — почти все были сравнительно небольшого роста, — тогда как этот был гигантом; у них был голос приглушенный или высокий, но никогда он не был столь низким, как у Николая Стааля, тембр которого заполнял комнату, заставлял дрожать стены и доходил до басов, терявшихся где-то в неведомом регистре инфра-звуков»<sup>(13)</sup>. Яростные вспышки негодования и бурного гнева были присущи им

<sup>(13)</sup> *Nicolas de Staël. Présenté par André Chastel, éd. Le Temps. Paris 1968, стр. 110.*



обоим, рядом с нежностью чувств, верностью в дружбе, беспредельной деликатностью. Стоит привести выдержку из письма Стааля к Ренэ Шару, чтобы убедиться в мягкости и чуткости обращения с близким ему по духу человеком: «И думать не моги, старина, что ты мне чем-то там обязан; между нами существует нечто воистину чудесное: мы можем отдать один другому возможное и невозможное без всяких ограничений, потому что нет края нашим возможностям, кроме разве смутных предчувствий и то...» (14).

Роднит их также чувство гложущей тоски, одиночества, как и борьба за утверждение своего творческого «я», которую они вели до изнуждения, приведшей их к трагической развязке...

Разве к Стаалу нельзя применить жгучих строк Маяковского из пролога к его трагедии «Владимир Маяковский»:

«Владимир Маяковский»:  
почему я,  
спокойный,  
насмешек грозою  
душу на блюде несу  
к обеду будущих лет»...

В. Маркадэ

---

(14) *Nicolas de Staël. Présenté par André Chastel, éd. Le Temps. Paris 1968, стр. 302.*

## МАЛЕВСКИЙ

(Петербург 1905 — Париж 1973)

Чисто профессиональная деятельность этого художника-одиночки длилась всего десять лет. Рисовал он с детства, будучи студентом Сорбонны посещал Гранд Шомьер на Монпарнасе, дарил или продавал своим знакомым свои полотна, но только по совету одного посетившего его друга из галереи Knoedler в Нью-Йорке, в начале 50-х годов начал предлагать их торговцам. Почти сразу же его «маленькие форматы» привлекли внимание Мориса Берара, коллекционера и председателя «Общества друзей Музея Современного искусства» и с 1958 по 1963 г. состоялось семь персональных выставок его картин. Продавались они также на аукционах в Париже в *Galérie Charpentier* и *Palais Galièra*. Перед поездкой Малевского в США в 1961 году (по вызову галереи), в английской секции французского радиовещания (ОРТФ), в начале передачи интервью с Малевским, он был так представлен слушателям:

Малевский, польско-русского происхождения, принадлежит к группе славянских художников, которые молодыми обосновались в Париже после революции: Николай де Стааль, Ланской, Терешкович, Поляков и др. После того, как он 25 лет писал для себя, Малевский решил в 1955 году показать свои картины. Он быстро прошел сначала через академический период и почти так же быстро через абстрактный и нашел свое теперешнее выражение преобращенной реальности, где фигурация находится на границе абстракции. Он придает большое значение рисунку и употребляет очень широкую гамму красок.

## ВЫСТАВКИ

- 1958 *Gal. du Vieux Colombier, Paris*
- 1959 *Gal. Rubens, Bruxelles*
- 1961 *Gal. Strebél, Paris*
- 1961 *Gal. Norval, New York*
- 1963 *Gal. André Maurice, Paris.*

В Париже состоялись еще две частные выставки:

1961 «Атлантика» (на квартире писателя Катенева) — 12 полотен, по зарисовкам, сделанным во время его путешествия в США в этом же году. Океан, море во всем своем разнообразии. Все картины, кроме двух были проданы.

1964. На террасе Мартини.

#### КАРТИНЫ ЕГО ПРОДАВАЛИСЬ ТАКЖЕ:

*Gal. International, New York*

*Gal. d'Art du Faubourg (Urban), Paris*

*Gal. Tedesco, av. Friedland, Paris*

*Gal. Max Bollag, Zurich*

*Gal. Art Moderne, Genève.*

В 1960 году у Малевского был инфаркт. Все ухудшающееся состояние его здоровья затрудняло его отношения с торговцами — все, связанное с эксплуатацией искусства, так распространенной в наше время, было ему невыносимо. Он продолжал искать новые формы, новые цветовые выражения — а торговцы стремились его «закрепостить» в тех красках и стиле, которые уже понравились их покупателям.

Жан-Луи Бори в Arts в мае 1961 года напоминал, что когда-то Модильяни не мог продать свою картину за 120 франков — а теперь лучшие картины современных художников скрыты в банковских сейфах, потому что они «золото»...

«Золото», да. И продаются, как золото, следуя капризу рынка. Бюффе, Матье, Малевский подвержены, как золото, ветрам спекуляции, биржевому курсу, как нефть или прииски, с падением и повышением цены, с инфляцией и крахом... тогда как «живопись это любовь, это религия и вопрос веры».

В лице Гаса, директора галереи «Андре Морис», в которой состоялась его последняя большая выставка (40 картин большого формата), в 1963 году Малевский наконец встретил торговца, который не только любил его творчество, но и уважал его как человека. Только с Гасом завязались у него дружеские отношения и Гас предложил

ему контракт. Но через несколько недель после выставки умер сперва владелец галереи, а затем и Гас, и Малевский, «отрекся от живописи» \*) и ничто не могло изменить его решения, даже письмо «открывшего» его Мориса Берара. В 1963 г. художник поблагодарил его за поддержку и Берар ему ответил:

«Вам не надо благодарить меня за мою скромную помощь. Я сделал это потому, что я верю в Ваш талант и надеюсь, что Вы займете важное место в современном искусстве.»

Из более 500 картин, написанных Малевским, 442 были проданы и находятся в частных коллекциях во Франции, Бельгии, Англии, Америки, Аргентины, Мексики.

После его смерти один швейцарский торговец купил 35 toiles d'atelier, т. е. оконченные и неоконченные полотна, эскизы, наброски. желанию.

27 картин разных периодов, несколько гуашей и множество рисунков имеются в личной коллекции его вдовы.

Андрей Григорьев

---

#### ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЗЫВОВ КРИТИКИ

*Малевский, после длительного периода абстракции, ее перевернул. Ему хочется удовлетворить зрачок, а не мозг. Он создал целый мир холмов, обрывов, городов, увиденных с птичьего полета и преображенных светом...*

Эрве Базен. Академик Гонкура 1958

---

*Редко бывает, чтобы абстрактный художник перешел к фигурации. Это случай Малевского, художника-одиночки, который, после длительного периода медитации и пиктуральной экспрессии, показывает нам чистейшие пейзажи Франции и Израиля, совершенно оригинальные по композиции и колориту, залитые солнечным светом, прозрачным и всепроникающим... Города и деревни легенд, холмы, летящие к высоким горизонтам, и маринны, где все только: небо, земля и вода...*

«Gazette des Arts», 1958

---

\*) Выставка в 1964 г. на террасе Мартини была сделана вопреки его желанию.

Малевский написал гористые пейзажи и деревни Франции и Израиля в легких и прозрачных красочных мазках... Он очарован узловатыми сухими деревьями, обвеваемыми ветрами на каменистых вершинах...

Ивонн Хаген. «Нью-Йорк Геральд Трибюн»

---

Феерические игры света в творчестве Малевского...

«Gazette des Arts», 1961

---

Прирожденное чувство пространства, чтобы не сказать просторов, лиризм и поэзия композиции опираются у Малевского на особую технику письма, присущую Клее и Кокошке, которая заключается в наложении красок контрастными цветными квадратами, позволяющими художнику добиться самых разнообразных сочетаний тонов, вечно новой игры оттенков, счастливо избегая ненужной фотографической точности натурализма...

...Выражая свои ощущения, он преобразует природу, но не уродует Божий мир, стремясь лишь отразить «душевные стороны жизни»...

В. Васютинская-Маркадэ. «Возрождение», 1961

---

Прошлую свою выставку Малевский с большой виртуозностью посвятил исключительно волнам океана. На этот раз 40 его картин, наоборот, очень разнообразны по сюжетам. Его цветы и фрукты написаны с сухой точностью, в празднике красок. Пейзажи Андорры, Лангедока, Испании, Прованса позволяют ему показать его дар колориста. Нам особенно понравился Замок в Бургундии, в темно-зеленых красках, рождающих впечатление таинственности. Эти крепкие бургундские зеленые контрастируют с нежно-зелеными провансальскими, бесконечно увеличивая перспективу... Чтобы передать атмосферу местностей, утомленных жарой, Малевский употребляет с большим мастерством все оттенки желтых.

«La Revue des Deux Mondes» 1963

---

Решительно фигуративный в выборе своих сюжетов — фрукты, цветы — Малевский скрывает в самой своей фактуре то, что таится в его искусстве фантастического, страстного и глубоко мрачного... Нам понравились его маленькие форматы юга, где художник свободно отдается своей любви к свету, свету красочному, легкому, рассеивающемуся. Кисть идет живыми, контрастными мазками, наполненными стихийной непосредственностью...

Его «танцоры», в экспрессивной легкости своего порыва показывают, что Малевский может передать и движение, но их бледность, мрачно-зеленые и черно-гробовые краски придают всей картине нечто злое, что мы не быстро забудем.

Duloup « La Nation française », 1963

---

Всегда восхищенная свежесть воображения создает из каждой композиции Малевского утонченную и таинственную поэму. Его личный почерк определяет мир, стоящий на грани реальности.

« La Semaine de Paris », 1964

---

Его новая манера, более утонченная и более агрессивная в одно и то же время, со скрипящими фиолетовыми, матово-белыми, большими зелеными... (крабами).

« La Nation française », 1964

---

Выставка артиста, который без конца обновляется...

« La Revue des Deux Mondes », 1964

**НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА И МИХАИЛ ЛАРИОНОВ**

Меня познакомил с Гончаровой и Ларионовым их приятель, журналист С. — Чтобы их встретить — сказал он — надо направиться в «Пети Сен-Бенуа». Это с давних пор их ресторан. Они там бывают ежедневно, часто два раза в день. Приходят первыми, уходят, когда гарсоны начинают убирать. Это место дружеских и деловых свиданий с элитой артистического мира, с прессой, с импресарио. Тут бывали Андре Жид, Сартр, Леон Блюм, Пикассо, Шагал, Кандинский, Дягилев и все звезды балета...

В те далекие годы, 1928, Ларионов работал над второй постановкой «Ренара» и весь был поглощен ею. Находился в лихорадочном, назлектризованном состоянии, говорил без умолку, иногда шепелявя, как-то заикаясь, торопясь развить для слушателя свои идеи. Когда приходилось объясняться по-французски, то прибегал к жестам, к мимике.

Меня поразил контраст: Михаил Федорович громко смеялся, шутил, прерывая других, заказывал необыкновенные блюда, его меню было, как и он сам, особое. Наталья Сергеевна была приветлива, но сдержана. Расспрашивая меня о моих занятиях, она время от времени останавливала мужа: «Миша, тише!»

М. Ф. был высокого роста, скорее грузный, чем полный, но очень подвижной. Его небольшие голубые глаза пронзительно смотрели на вас; иногда они светились лаской и добродушием. Хорошо сказал Фредерик Поттшер, работавший в журнала «Комедия»: «Ларионов — полярный медведь, с нежностью незабудки».

Н. С. статная, моложавая. «Без сносу девушка» — говорила она и заразительно смеялась. Одевалась просто, предпочитала темные тона, которые оттенял цветной воротничок, шарфик или брошка. Волосы гладко зачесаны, часто с повязкой или платочком. Она не бывала ни у парикмахера, ни у модистки. Держалась она с большим достоинством. Мадам Варе, хозяйка ресторана, с восхищением говорила: «Как хороша мадам Гончарова, сразу видно — гранд-дам и гранд-артист!»

Очень скоро я примкнула к группе ее учеников. Каждую неделю мы собирались в огромном ателье № 13 на улице Висконти (это ателье Гончаровой было описано Мариной Цветаевой). Иногда шли вместе на выставки. — «Видите ли, видите ли — повторяла она — главное, это уметь видеть!»

«Видимость» всего мира была ее стихией. Летом писала на берегу Сены. Как сейчас вижу ее, сидящей на опрокинутой лодке, ее карие, внимательные глаза устремлены на беспрерывно меняющиеся оттенки воды, на отражения облаков. Часто завтракали вместе, потом начинались бесконечные беседы в кафе «Флора». — «Все проходит — говорила она — любовь, дружба, только труд остается». Терпение у Н. С. было безмерно, как и ее трудоспособность.

Никогда не говорила Н. С. о себе, была замкнутым, даже секретным человеком. Не показывала нам своих картин, чтобы не было подражания, всячески стараясь, чтобы проявилась наша индивидуальность. Когда рассказывала что-нибудь, не относящееся к урокам, а к ней самой, и я вынимала карандаш, чтобы записать, Н. С. хмурилась: «Оставьте, оставьте, я этого не хочу!» Гончарова не хотела «увековечивать» себя; подобно средневековым мастерам, творила ради творчества. Вот ее слова: «Картина продана в Лондон. Подпись стерлась. Кто художник? Неизвестно. Да и не важно это — есть картина! (Художника знаю только я)». Как не похоже на теперешнее: продается подпись и не важна картина.

Только после их смерти узнала я про московский период их жизни.

Сверстники, оба родились в 1881 году, Ларионов на юге в Тирасполе, Гончарова — в средней полосе России. Детство «Наташи» прошло в «дворянском гнезде», в имении «Ладыжино» у бабушки, культурной, любящей искусства. Детские годы «Миши» — тоже у бабушки, в провинции, где отец его был военным врачом. Девочка была спокойная, прилежная, это спокойствие и выдержанность сохранил она на всю жизнь. Напротив, «Миша» — проказник, выдумщик — не поддавался никакой дисциплине.

У обоих была тяга к карандашам и краскам. Когда встрети-



лись они в Училище Живописи, Ваяния и Зодчества, 20-летний Ларионов был поражен приветливой, ясной, спокойной Наташей, а в ответ заинтересовал он ее своим умом, своими проектами, своей неутомимой энергией. Позже Н. С. скажет: «После нашей встречи мы, так сказать, больше и не расставались».

Влияние Ларионова сказалось тотчас же: Наташа оставляет скульптуру, чтобы заняться живописью. Удивительно то, что эти два художника сохраняют на всю жизнь каждый свою творческую индивидуальность. (Пример другой пары: Соня Делонэ приблизилась к теме Робера). В живописи Гончаровой можно видеть скульптурность, даже монументальность («Евангелисты»), есть тут и влияние ее отца, архитектора. Живопись Ларионова более лирична, впоследствии Анненков скажет о ее «музыкальности».

Была ли Гончарова «первой и блестящей ученицей Ларионова», как напишет Камилла Грей? Едва ли можно это утверждать — но что совершенно очевидно для тех, кто их ближе знал, это, что Ларионов, в течение всей ее жизни, оставался ее «художественным советником». До конца авторитет М. Ф., с его блестящей эрудицией и необыкновенной памятью, был непоколебим.

Место Ларионова и Гончаровой среди множества художников беспредметного, «абстрактного» искусства совсем особое. Начиная с 1909 по 1913 год Ларионов создал первое в мире течение «Лучизм». Кратко можно определить «лучистую» картину, как плоскость, на которую перенесены лучи, исходящие от предметов. Эти лучи-линии, пересекающиеся в разных направлениях и в разных ритмах, создают новую гармонию, причем предметы частично или совершенно исчезают. В июне 1912 года Ларионов опубликовал свою теорию в издательстве Мюнстер в Москве. В 1913 году вышел Манифест Лучизма, подписанный 12 художниками — «лучистами».

Абстракцию в живописи в те же годы искали Купка, Делонэ и Сюрваж во Франции, Кандинский в Мюнхене, но каждый в одиночку.

По словам Мишель Сефора, Ларионов и Гончарова — два имени, которые история не может разделить — являются пионерами

беспредметности. Оба, как сказочные богатыри, сражались с сухостью академизма, противопоставляя ей народный эпос — «примитивизм» и «вещевую лучистость», как бы ожившую повседневность в трансцендентном ее преломлении.

Варсонафий Паркин, критик и апологет всех новшеств, внесенных Ларионовым в русское искусство, пишет: «Гончарова дает следующие даты — 1901-1906 — Импрессионизм. 1906-1911 Синтез, Кубизм, Примитивизм. 1911-1913 — Футуризм, Лучизм».

Если Ларионов создатель «Лучизма», то Гончарова — его утвердительница. На выставках ее полотна занимают целые стены...

В ларионовско-гончаровскую группу входят все новые артисты и, научившись, покидают их. Удивительно то, что «ученики используют приобретенное, становятся более известными и имеют у публики успех. Ларионов ищет все новых путей, а не успеха; Гончарова служит искусству: слава не интересует ее». Только после ее смерти узнала я о блестящей выставке 800 картин в 1913 г. в Москве, о том, как встретил громом аплодисментов Париж ее «Золотого Петушка»!

Одна из главных черт характера, присущая обоим, была незаинтересованность — материальная выгода как бы не существовала, оба жили в «другом плане», «бессеребряном». Уроки давались даром, гостеприимство было широкое.

Надо сказать, что Ларионов, очень ценивший талант Н. С., ставил ее на первое место, любил говорить о ней, о ее художественных успехах, совершенно замалчивая свои собственные. Он не только был скромен, он недооценивал себя. В работе у него не было усидчивости и железной воли, как у Н. С., но он никогда не расставался с карандашом, рисовал на ходу, в ресторане на меню, на бумажной скатерти, щедро раздавая свои, подчас, шедевры. Гончарова работала не разгибая спины, работала и по ночам. После смерти Дягилева М. Ф. был как бы ее «импресарио», он искал для ее работу, главным образом для балета. Он все время выходил, был с людьми, Н. С. была «затворницей». Они редко кого допускали в свою квартиру, это была «привилегия». Когда я впервые пришла к ним,

то изумилась: некуда было поставить ногу. На полу в коридоре лежали пакеты, картоны, рисунки, повернутые к стене картины. Стопки книг занимали всю большую комнату, где спал М. Ф. и стоял на столике телефон. Н. С. жила в маленькой комнате, тоже заставленной рамами и картинами. Потом я узнала, что эта «загруженность» была для обоих «жизненной необходимостью». Еще в Москве, в родительском доме, в Трехпрудном переулке, две комнаты были так же «загружены». М. Ф. был страстный коллекционер — он собирал книги, иконы, лубки, картины, газетные вырезки, редкие безделушки, словом все, что, так или иначе, могло возбудить его творческую деятельность.

В 1913 году приехал в Москву Илья Зданевич (Эли Эганбюри), написавший их первую монографию. Так как места для кровати не было — сняли дверь и на ней устроили постель. Гостей принимали на кухне. В Париже она была крошечной. Сидели на табуретках вокруг стола, уставленного множеством маленьких блюд: гречневая каша, рис, чернослив, сардинки, селедка, компот, печеные яблоки, апельсины, творог, печенья, сыр, вино, чай, кофе... Заведывал угощением М. Ф. (о нем говорилось, что он ест колбасу с вареньем и запивает рыбу гренадином). Отказываться было невозможно, оба любили угощать. Прожили они в этой квартире полвека, без всякого комфорта, с тем же заведенным ритуалом. После войны средства все уменьшались и они уже не бывали в ресторанах, а принимали у себя. Всегда гости уходили от них обогащенными, растроганными тем богатством духовным, которым жили эти необыкновенные, ни на кого не похожие художники.

И в Москве, и в Париже М. Ф. находил время приводить покупателей к начинающим артистам и, если покупка состоялась, то радовался, как ребенок, получивший подарок. А, случалось, и сам покупал картины у своих учеников (так купил он у меня несколько головок).

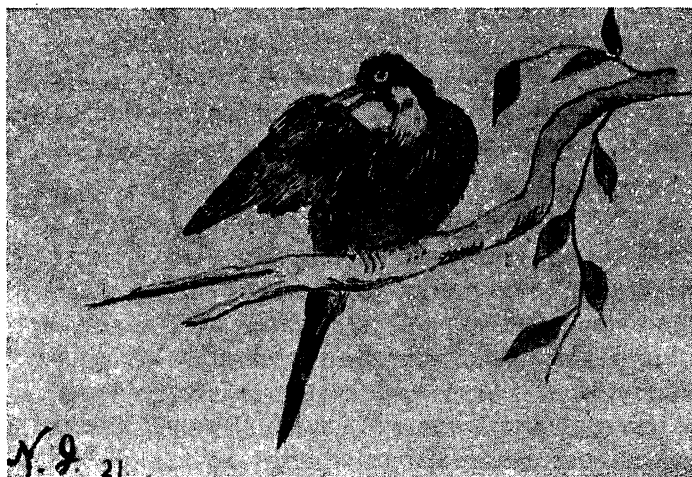
Редкая черта в артистическом мире: ни малейшей зависти они ни к кому не испытывали; щедро одаривали картинами и богатых и бедных.

Когда у Н. С. была работа, а значит и деньги, друзья уговаривали их купить квартиру, но собственность страшила их. В конце

концов приобрели они место на кладбище «Иври Паризиен» для вечного упокоения, другой собственности, кроме этого памятника из серого камня, у них никогда не было.

Там и покоятся те, кто, по словам историка искусства, Мишель Сефора: «Руководили и вели к новому художественному пути русское искусство. Их творчество имело огромное значение. Их кисти написали тогда главнейшую главу искусства нашего века».

*Татьяна Логинова*



**С. В. ЧЕХОНИН — МАСТЕР РУССКОЙ ГРАФИКИ****(1878 — 1936)**

В историю русского искусства С. Чехонин вошел как замечательный художник книжной графики, портретной миниатюры и росписи по фарфору.

Он родился в 1878 г. в селе Лыкошине Новгородской губернии, недалеко от станции Валдайка Николаевской железной дороги. Еще в детстве, на станции Чудово, через семью Глеба Успенского, проживавшую там, Чехонин познакомился с И. Е. Репиным, Н. А. Ярошенко, Н. Н. Дубовским, архитектором И. В. Жолтовским — это послужило толчком к увлечению искусством и впоследствии дало ему возможность войти в художественные круги Петербурга.

В 1896 г. он поступил в школу Императорского Общества поощрения художеств, где занимался живописью у проф. Я. Б. Ционглинского и Е. А. Сабанеева, а керамикой у В. Шрейбера.

С 1897 по 1900 г.г. перешел в Тенишевскую мастерскую, где учился под руководством И. Е. Репина.

В 1904 г. он поступает в Абрамцевскую мастерскую С. И. Мамонтова. Здесь, совместно с М. А. Врубелем и А. Я. Головиным, под руководством известного керамиста П. К. Ваулина, он выполняет керамические работы по облицовке гостиницы «Метрополь» в Москве и ряд майоликовых панно для зданий в Петербурге. Его стенные орнаментальные композиции во вкусе 18-го и начала 19-го века, цветные уборы, имитации барельефов и т. д. отличались глубоким пониманием стиля.

Позже Чехонин отдался изучению эмали, фарфора, миниатюры. В каждой этой сфере достигал бесподобного технического совершенства. Остроте его глаза, тонкости его штриха, виртуозности могли бы позавидовать и самые изумительные из мастеров былых времен.

Графиком Чехонин — если не считать его многочисленных ри-

сунков политической сатиры, появившихся в сатирических журналах 1904-1906 гг («Зритель», «Маски», «Адская почта»...) — становится в 1907 году, и в этой области им также создан целый ряд графических заставок (для «Шиповника» напр.), поразительных по своей виртуозности рисунков к обложкам книг Л. Шестова, Д. Айзмана, А. Измайлова, А. Аверченко, А. Ремизова, Д. Цензора, С. Рафаловича, Г. Лукомского.

Начиная с 1910 г. он становится участником группы «Мир искусства».

В 1912 г. Чехонин получает первую премию на конкурсе новых шрифтов для издательства Лемана.

Чехонин доводит искусство книжной графики до совершенства. Чехонинская графика выделяется экспрессивностью — сочетая в одном рисунке различные комбинации штрихов и пятен, он добивается необыкновенного богатства фактуры. Любимый мотив художника — стилизованные букеты, венки полевых цветов и цветочные гирлянды. Он, как стилист классического направления, создает из этих любимых компонентов сильные и всегда оригинальные композиции.

В 1913 г., после второй Всероссийской кустарной выставки, он был приглашен специалистом-консультантом по художественным промыслам в министерство земледелия и руководил школой росписи по финифти в Ростове-Ярославском (1913-1917).

После революции, чехонинское творчество достигает наибольшей интенсивности. Он, как и Ю. Анненков, необычайно плодотворно работает как художник книги, создает новые обложки для книг А. Луначарского, К. Бальмонта, К. Чуковского, Г. Гауптмана, Джона Рида, иллюстрации книг, афиши, выставочные плакаты, банковые билеты, новые формы алфавита, государственные печати, портреты-миниатюры, часто на пергаменте, Данте, Л. Толстого, Горького, Ларисы Рейснер, К. Чуковского, физиолога Павлова, музыканта Глазунова, Г. Нарбута, П. Нерадовского и других знаменитостей.

В эту эпоху, когда создавалось абстрактное и конструктивное искусство, Чехонин не остался в стороне и создал абстрактные графические композиции с необычайным техническим совершенством и виртуозностью.

В 1918 г., с организацией отдела изобразительных искусств при Народном комиссариате просвещения, Чехонин стал одним из ведущих сотрудников отдела и художественным руководителем Государственного фарфорового завода. Благодаря ему, туда были приглашены виднейшие живописцы и графики того времени. По его инициативе, в бывшем училище Штиглица был организован живописный цех Государственного фарфорового завода и специальная школа по росписи фарфора для художников. Сам Чехонин в эти годы сделал большое количество композиций и эскизов для завода. В 1923 году вышла его монография со статьями А. Эфроса и Н. Пунина.

В начале 1928 г., пятидесятилетний художник, столь много работавший за послереволюционное десятилетие, не выдержав новых жизненных условий, уехал за границу. Этот видный художник русской революции, этот «младший мирискусник», как многие другие до него, понял, что для его многогранного таланта поле действия становилось все более и более ограниченным, и это его побудило уехать в Париж.

Обосновавшись во Франции, где он прожил восемь лет, Чехонин посвятил свое время декоративным композициям, работал для Национальной мануфактуры в Севре, для журнала «Vogue», для театра «Летучая мышь» Н. Балиева (1929), для русских балетов Немчиновой (1929-1931). Работал также в области эмалей и ювелирных изделий. Его театральные костюмы были в «декоративно-супрематическом стиле».

Парижский период его жизни оказался особенно насыщенным и творчески значительным. Чехонин не утратил свой талант, продолжая творить в «отрыве от родины», вопреки «тамошним» утверждениям, что русский художник не может жить и творить вне России. В 1928 и 1929 гг в Париже были его персональные выставки и он участвовал также в групповых выставках русских художников «парижан».

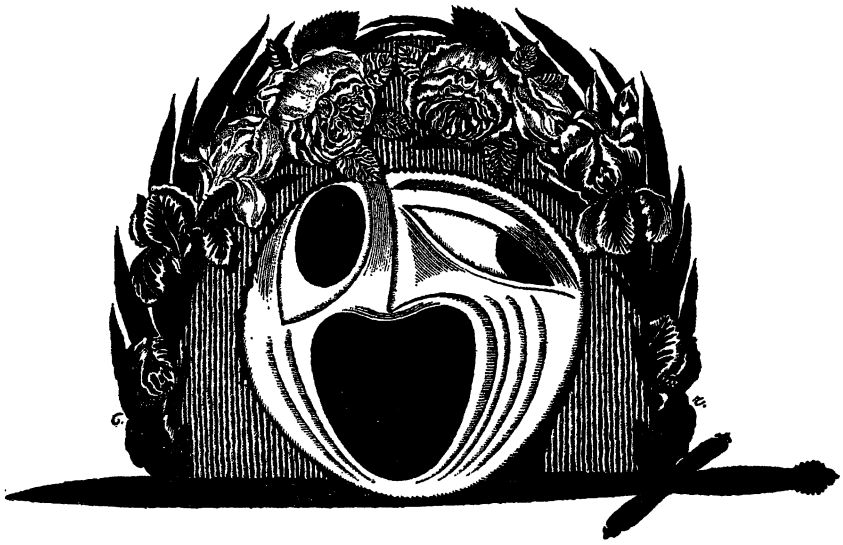
В последнее время он увлекся изобретенным им новым способом многоцветной печати на материи. Усовершенствованная для этого способа машина, построенная по его чертежам швейцарской фирмой Schusterinsel находилась в городе Вейль на Рейне, недалеко от Базеля. Во время индустриальных опытов Чехонин внезапно заболел и умер от инфаркта в городе Лоррах, 23 февраля 1936 года.

Его жизненный путь не был долог, но зато его творческий путь оказался насыщенным, богатым и предельно разнообразным. Диапазон его дарований был чрезвычайно обширен. Всегда в поисках создания новых невиданных форм, он выдвинулся на первое место в разнообразных областях искусства. Будучи отличным театральным декоратором, портретистом, лучшим из русских художников по фарфору, он был и остается прежде всего — одним из лучших русских графиков. Уже в 1922 г. («Жар Птица» № 8) С. Маковский писал в статье «Русская графика нового века»: «Чехонин, поистине непревзойденный ку-десник: в тончайшей технической мелочливости Чехонина (хоть в лу-пу рассматривай его цветочки и веночки!), никогда не иссякает трепет живой линии, живой светотени, живого пятна, — чего не скажешь о многих наших графиках... Ни один, пожалуй, не обладает этой чехо-нинской непосредственностью графического вдохновения». Изящный, изысканнейший, всегда ювелирно-четкий рисунок Чехонина настолько оригинален, носит такой яркий характер индивидуальности, что узнается безошибочно, с первого взгляда. Недаром графику Чехонина иногда называли «магическим начертанием», а его самого — «чаро-деем».

*Р. Герра*







# ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ



## ЛЕОНТЬЕВ И РОЗАНОВ

## ЖИВЫ ЛИ ОНИ ЕЩЕ?

## I

Уже многие годы я постоянно перечитываю К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова, и немало о них написал (книгу, очерк и несколько статей) \*) Казалось бы, у меня давно уже сложилось определенное мнение об этих писателях и мыслителях. Но, к счастью, это не так. Ни того, ни другого я полностью не исчерпал, что меня радует; оба они по-новому комментируются в известных кругах русской молодежи. Этот живой интерес к ним подогревает и мое увлечение Леонтьевым и Розановым.

У обоих репутация реакционеров. Но, вместе с тем, их можно назвать чуть ли не самыми свободомыслящими русскими писателями. Читая вершителей дум радикальной интеллигенции — Чернышевского, Михайловского или Плеханова, уже заранее знаешь к чему они клонят. Нет у них неожиданных и освежающих поворотов мысли. Правда, у Леонтьева и Розанова находим повторяющиеся идеи, но не твердо установленные догматы. Их воззрения постоянно обновлялись антитезами.

Известно: Леонтьев, омраченный предчувствием революционной катастрофы (Россия из своих недр родит Антихриста...) предлагал России *подморозить* и, поэтому, защищал политику К. П. Победоносцева, которого однако, недолюбливал и называл «невинной старой девушкой»... Он ценил, но не жаловал М. Н. Каткова — консервативного идеолога, и повторял данное ему Герценом прозвище — это «московский публичный мужчина». Менее известно: Леонтьев хотел и *разогреть* Россию в своем проекте установления социалистической монархии.

Последние годы жизни Леонтьев провел в своем «консульском» домике, около Оптиной пустыни, и духовно подчинил себя

---

\*) Юрий Иваск. Константин Леонтьев. *Жизнь и творчество*. Изд-во Ланг, Берн (1974), 430 стр.

Ю. П. Иваск. Вступительная статья к книге: В. В. Розанов. *Избранное*. Изд-во имени Чехова (1956), стр. 7-59.

старцу Амвросию, но иногда роптал: старец мудр, свят, но оптинские молитвы не спасут Россию от гибели. Следовало бы создать новые могущественные духовные ордена, чем-то похожие на католические, но — на православный лад. Он писал: наши миссионеры легко одерживают победу над шаманствующим язычеством в Сибири. Куда нужнее, но и труднее, возвращать к вере крещения интеллигентов-атеистов. Были у Леонтьева ученики, преимущественно — московские лицеисты, но настоящего отклика он у них не находил.

Леонтьев понимал: если в России будет революция, то главную ответственность за нее понесет Православная Церковь или же точнее: православное духовенство. Защищая т. н. реакцию в мирное и экономически совсем не «отсталое» царствование Александра III-го, Леонтьев был антиреволюционером с революционным темпераментом, но его призывы к борьбе оставались гласом вопиющего в пустыне. Он сродни католическим контрреформаторам XVI-го в. — Игнатию Лойоле или Карло Борromeо. Но католическое барокко одерживало победы, а Леонтьева постигла полная неудача. Не было в предреволюционной России борцов подобных апостолу Азии иезуиту Франциску Ксаверию или апостолу Рима Филиппу Нерийскому с его ораториями. Какое-то новое братство намечалось у Достоевского — в юношеском союзе Алеши Карамазова и преданных ему мальчиков. Но Леонтьев не любил и даже ненавидел творца *Бесов* и *Братьев Карамазовых*. В Достоевском он видел «розового» христианина-утописта, который не в силах изменить историю. Можно и самого Леонтьева назвать мечтателем с его проектами социалистической монархии и православных орденов. Но был у него ясный волевой упор — тот исторический волюнтаризм, который отсутствовал у Достоевского, но очень даже присутствовал у дисциплинированных энтузиастов-иезуитов XVI-го века.

(Иногда упрекают Православие за малую историческую активность и в Византии, и в России. На самом деле всё это куда сложнее. В столетней борьбе базилиевсов-иконоборцев победила Церковь, а на Руси митрополит-мученик Филипп обличал Ивана Грозного. Можно было бы внести и много других поправок к штампованному понятию цезарепапизма. Но, несомненно, католичество было более автономно и активно в историческом плане, но и высоко-духовно. Наряду с недостойными папами и жестокими инквизиторами оно дало евангельского Франциска Ассизского, а в прошлом столетии кротких святых — Бернадетту Лурдскую и Маленькую Терезу. Несомненно и то,

что Православие в корне изменило и просветило русскую жизнь, просияло святыми, но в нашем веке не смогло одолеть бесов революции, восторжествовавших в октябре 17-го года. Эти бесы были импортированы с Запада, где с ними пока что справлялись, но они до сих пор угрожают своей родине да и всему миру. Но вера не угасла в советском аду. Православие оживает в новых проповедниках и, надеемся, победит бесовщину. При этом, русскому возрождению могли бы помочь и крепкие духовные ордена, непохожие на современный расслабленный орден Игнатия Лойолы...).

Напомню о пессимизме Леонтьева. Пессимистичен утверждаемый им и противоречащий фактам «закон» исторического развития и вторичного смесительного упрощения — вырождения, которое уже наблюдается в Западной Европе да и в России. Так, Леонтьев основывает историю на биологии и оказывается сродни презираемым им нигилистам 50-х и 60-х г.г. Исходя из этой гипотезы, возводимой им в непреложный исторический закон, он приходил к выводу: европейское человечество отцвело, поблекло и в недалеком будущем вымрет или погибнет. Он люто ненавидел новых действующих лиц в современном ему мире — как и буржуа в черных фраках, так и пролетариев в грязных блузах. Это не только ненависть красолоба и жизнелюба: его удручала анемичность, самодовольная пошлость либералов-прогрессистов и убогий фанатизм революционеров, призывающих рабочих к революции, когда на самом деле полунищие блузники очень даже буржуазны по своей психологии. Это меткое замечание подтверждается в нашем веке на демократическом Западе, где пролетариат уже переродился в мелкую и даже среднюю буржуазию со своими домами, машинами, холодильниками. Так, доморощенный исторический материализм Леонтьева привел его не к Фурье, Прудону или Марксу, а скорее к Жозефу де Местру, Карлейлю или Ницше (хотя он их не читал). Вместе с ними и многими другими, включая восхищавшего его либерала Д. С. Милля, он включился в великую контрреволюцию XIX-го века, которая защищала качество от количества, даровитое большинство от бездарного меньшинства, яркую личность от серой массы, дух от материи, природу от техники, истину от рекламы и пропаганды, творческую свободу от плутократии и бюрократии, искусство от прессы. Здесь он иногда даже совпадал с Герценом, который разочаровался в западном либерализме и радикализме.

К Леонтьеву придрался Вл. Соловьев: если Запад и заодно

Россия — вымрут или будут уничтожены красными революционерами или желтыми азиатцами, то всякая борьба с ними обречена на полную неудачу, и упрекнул Леонтьева в непоследовательности. Но наперекор своему фатализму он оставался пламенным борцом.

В религии Леонтьев, прежде всего, искал спасения души и этот его «трансцендентальный эгоизм» тоже как будто выводил его из истории. Если спасать душу, то незачем заботиться о спасении мира, лежащего во зле: ведь никакого рая на земле не будет, ни социалистического, ни христианского (в утопии Достоевского) или в царстве дураков толстовцев-непротивленцев. Но природный витализм Леонтьева помогал ему преодолевать фатализм, пессимизм. Здесь нет противоречия — здесь есть некоторая внутренняя и очень драматическая диалектика. Он на самом деле заботился о спасении души, мрачно смотрел на будущее человечества, но и страстно призывал к борьбе. — Еще поборемся... кричал он в предсмертном бреду. С кем — мы не знаем. С дьяволом? А может быть с политическими противниками. Даже в агонии не мог смириться этот гордый человек.

Главный орган познания Леонтьева — его жадные пожирающие глаза. Любил он *делать букеты* из всего красочного, яркого — будь то разноцветные купола московского Кремля или красные рубашки и сарафаны на деревенских гулянках. Но куда более привлекал его балканский юг: восточные базары, зеленые тюрбаны турок, красочные наряды критян. Контраст к этим живым букетам: черные рясы и клобуки греческих монахов. Сам он иногда пестродиковинно одевался и становился ярким цветом в собранном им балканском радужном букете. Это не только эстетика — есть здесь радость жизни, есть праздничность.

Кажется, ни один из русских писателей, за исключением столь же жадноглазого Державина, не умел так красочно праздновать жизнь и, при этом на мрачном фоне смерти и монашества. Смерть в поэзии Державина усиливала его аппетит к щуке с голубым пером, а у Леонтьева *memento mori* удваивало-утраивало его любовь к праздничным зрелищам и краскам. Уже после тайного пострига в Троице-Сергиевой Лавре, где он поселился в монастырской гостинице, Леонтьев заказал своему молодому другу Александрову голубую марлю для занавесок. Тот нашел эту материю в московской лавке гробовщика... Вскоре Константин Николаевич скончался.

Читатели-интеллигенты искали у любимых писателей ответа на вопросы «в чём смысл жизни?», «что делать?» — искали поучений, заветов. Своего продуманного учения у Леонтьева не было (или же оно второстепенно), но мы слышим его призыв к творческой жизни, к борьбе в миру: будь ярок, красуйся на резвых конях, шуми на базарах Адрианополя или Янины, но и помалкивай в афонской келье: постись, молись, склоняя гордую голову перед Богом, но не перед людьми. Наконец, вместе с братьями-рыцарями одолевай бесов революции.

Розанов говорил: Леонтьев любил «алкивиадствовать»: и, действительно, тот древнегреческий авантюрист, даже хулиган, осквернивший статуи богов в Афинах, был одним из его героев, хотя у него самого и были черты Нарцисса — но не самодовольного, а очень к себе требовательного. Казалось бы: яркое алкивиадство и аскетическое иночество несовместимы, т. е. бурная радость жизни и подавляющий страх Божий. Что и говорить — не был Леонтьев добродетелем, но и не было лукавства в его метаниях. Он мучительно-творчески изживал все свои противоречия.

Верил ли Леонтьев в Бога? Отец Георгий Флоровский и столь ему противоположный митрополит Антоний (Храповицкий) даже не считали его христианином. Но нельзя не доверять свидетельству Леонтьева о его жаркой молитве, обращенной к Богородице и чудесном исцелении в Салониках. Выздоровев, он немедленно поехал на Афон, чтоб выполнить данный им обет и постричься. Но афонские иноки и позднее — оптинские, говорили ему — вы не созрели для монашества, и были правы. После чуда в Салониках Леонтьев еще лет двадцать «алкивиадствовал» и писал политические статьи, яркие повести и лишь незадолго до пострига сказал В. В. Розанову: ради христианства он готов отречься от своей эстетики, но все же не угомонился — молился, но и заказывал те голубые занавески и с кем-то боролся даже на смертном ложе.

Хорош ли или плох Леонтьев, но был он страстно-искренен, защищал не только красоту, но и живую жизнь от самодовольных либералов-прогрессистов, от оголтелых революционеров-фанатиков, и был у него свой увлекательный жизненный стиль — не очень русский, а скорее западно-рыцарский или шляхетско-польский. Леонтьев-консул постоянно боролся с «польскими интригами» на Балка-



нах, но, при этом, ему очень даже импонировал польский гонор своих противников.

Леонтьев мог бы творчески развернуться в нашем Осмнадцатом веке, где-то около великолепного князя Тавриды (Потемкина). Пристало ему жить в эпоху русского воинственного барокко, совмещавшегося с гедонизмом рококо. В юности мог бы быть петиметром, распеваям эротические песенки Сумарокова, но отзывался бы он и на трубу и лиру Державина. Можно было бы увидеть его и на приступах к Измаилу, а также и на дипломатической службе — в Версале Людовика XV-го или в салонах «Помпадурши». Однако, это всё далекое прошлое да еще в сослагательном наклонении: если бы да кабы... Но его меткая и едкая критика прогресса и социализма, а также и намеченный им проект православных орденов существенны и в настоящем. Значит: Леонтьев еще жив: возбуждает мысль и может увлекать.

Кое-кого может оттолкнуть стиль этого пирующего Красавца русской литературы. (Ведь в советском аду нужны другие борцы — суровостойкие, как аскетический Игорь Огурцов и новые исповедники, как отец Дмитрий Дудко...). Но, может быть, в не очень близком будущем появится в России новый человек с высоко поднятой головой, гордец среди людей и смиренник перед Богом, родственник Леонтьеву.

Иногда веет холодком от красующегося, но и верующего Леонтьева. Очень уж он блестящ в своих сталью поблескивающих афоризмах, парадоксах. Но радуется его праздничность — не узко-аристократическая, а широко-демократическая, даже площадная, в обществе рыночных торговков, уличных мальчишек или албанских, греческих, болгарских бесшабашных делибашей. А после покаянных воздыханий на Афоне — радость велья: Пасхальная заутреня в Пантелеймоновском монастыре — с вертящимся сияющим хорусом свечей в темном купольном своде.

При некоторой своей нерусскости был Леонтьев и очень русским. Он писал с Афона: «Я верю, что в России будет пламенный поворот к православию, прочный и надолго. Я верю этому потому, что у русских душа болит» (24 июля 1887 г.). И у него, гордеца, тоже очень по-русски болела душа.

Молодые русские читатели уже с Леонтьевым аукаются и зачитывают его труднодоставаемые книги до дыр. Пусть их немного, но недавно их вовсе не было.

Поучительна стальная контрреволюционная, но и очень дерзновенна аргументация Леонтьева. Восхищает и вдохновляет красочная, праздничная леонтьевщина. Привлекает и он сам — великолепный «дикий-барин» Константин Николаевич и неукротенный тайный монах отец Климент. Слышим мы его предсмертный крик: — Ещё поборемся! И нам понятна скрываемая им боль за Россию.

## II

Аналогия с Леонтьевым несколько сузит, но не обеднит Розанова. Оба они не встречались, а только переписывались в последнем году жизни Константина Николаевича: в 1891-м. Между ними мало сходства, но кое-что их сближало: самобытность, свободомыслие, творческое восприятие жизни.

Розанов куда шире и удачливее Леонтьева. Ему посчастливилось как-то обнять мир в теплых фамильярных объятиях. Если Леонтьеву удалось лишь наметить свой стиль в великолепных монологах, афоризмах, то Розанов (правда, довольно поздно) стал великим мастером особенного, по-аввакумовски вякающего живого русского языка, иногда грамматически небрежного и уснащенного забавными уменьшительными (*энергичишка* или *сутенька* — производное от слова *суть*). Леонтьев сетовал: его даже не достаивают спора, ругани и — замалчивают. А символисты, которых Розанов не жаловал, провозгласили его гением (Мережковский, Белый).

Розанов сотрудничал в консервативном *Новом Времени* А. С. Суворина, но в 1905-6 г.г. приветствовал революционеров — «невинных, чистых, юных...» (*Когда начальство ушло*). Он пытался как-то согласоваться с Февральской революцией, но Октябрьскую — отверг, проклял (в *Апокалипсисе нашего времени*).

Розанов написал множество политических статей, но «общественным животным» (Аристотеля) никогда не был. Он твердил: «частная жизнь» в семейном или дружеском кругу «выше всего».

Леонтьева возмущала пошлость прогрессистов, наглость революционеров. Розанов (за некоторыми исключениями) их тоже недолюбливал. Более всего его удручало безбожие, а также вялость православного духовенства и измена либеральных евреев ортодоксальному иудаизму. А-теистов он называл а-сексуалистами — импотентами...

В противоположность «шляхтичу» Лентьеву, Розанов — наряду с Аввакумом — один из самых русейших наших писателей. Но в своей русскости он не замыкался. Он дружил со славянофилом Н. Н. Страховым, но славянофильские писания наводили на него скуку или раздражали. Был он скорее западником — прославлял Петербургскую империю. Часто издевался над нигилистами, но и признавался: многие интеллигенты, пусть и безбожники, иногда работают «как ангелы небесные» и приносят России великую пользу — строят дороги, лечат, учат в земстве.

В религии Розанов метался между Ветхим Заветом и Новым Заветом, но и иудейство, и христианство, истолковывал очень по-своему, произвольно. Для него Иегова — родовой Бог сексуально одаренного избранного народа — Израиля. «В секунду обрезания», писал он «на младенца мужского пола сходит Ангел Иеговы и остается с ним до самой смерти». Так, в точке пола земная природа общается к природе божественной. Прославление иудейской, укорененной в поле, религии, приводило Розанова к отрицанию христианства. Христианская любовь, писал он, слишком небесная, бесполовая. Евангелие ни мужское, ни женское, а ангельское. Оно начинается с бессеменного зачатия и кончается царством бессеменных святых (монахов). В христианском мире погасает горячее солнце Ветхого Завета и языческого Востока (Вавилона, Египта). Розанову хотелось биологически и религиозно обновить мир. Пусть господствуют благочестивые многолетние патриархи, но найдется место и для священных проституток, для «людей лунного света» (гомосексуалистов), давших стольких гениев (Платона или Леонардо). При этом, сам Василь-Васильич на эпического патриарха нисколько не походил. Обзавелся семьей, но оставался крайним индивидуалистом, был нервно-суетлив. Его обоготворение беременного живота или влечение к «маленьким вещам» (фаллам) отзывается истерикой, патологией. Если скучливому бесу Ивана Карамазова хотелось воплотиться в семипудовую купчиху, то психопату Розанову мечталось стать каким-то новым Авраамом-Исааком-Иаковом, на которых буд-

то бы похожи ортодоксальные евреи с пейсами и бытовые длинно-бородые батюшки. В своих мучительно изживаемых антиномиях Розанов был иногда прав. Он понимал (как немногие) — не только «священный пол», но и живая жизнь выпадает из современного ему христианского мира. Материализм, атеизм, радикализм везде торжествует и заражает лучших среди молодежи.

Нужно ли принимать всерьез пансексуализм Розанова, его путаную метафизику, укорененную в эросе? Но серьёзна его страстная апология всей жизни и даже жисти, беспощадно уничтожаемой смертью. В смерти (как и Леонтьев) Розанов видел великое зло, обесмысливающее жизнь. Но, опять-таки, как и у Леонтьева, его жизнелюбие побеждало его смертобоязнь.

Если Леонтьев, прежде всего, *видел*, то для Розанова его главные органы познания: *осязание, обоняние, вкус*.

Осязательны для него половые органы — священные дарохранительницы человеческого, но, вместе с тем, и божественного семени. Осязательна и литература: «она просто мои штаны». Нравилось ему обонять и кадильный дым, и кухонный чад. Он уверял: «звенящие лучи солнца пахнут». Он спел гимн малосольному огурцу с прилипшими к нему усиками укропа; и как хорошо закусывать им после купанья!

Жизнелюбие Леонтьева — героическое, романтическое. У Розанова — обывательское, реалистическое, а его любовь к миру охватывала всю тварь, включая тараканов, копошащихся в ванне.

Розанову страстно хотелось перенести землю на небо, в Царство Божие, где можно будет есть-пить, даже курить Жуков табак. Кое-кто назовет такие желания жалкими, а на самом деле почти всем нам хочется того же самого: знакомо-земного в вечной жизни. Неужели всё тварное, живое — даже и тараканы, тоже для чего-то созданные Богом — только какой-то навоз для всходов духа или же темная передняя, из которой далеко не все будут впущены в сверкающую гостиную Бога? Нет, наша земная жизнь Господом не проклята. Здесь, уже от себя, в воображаемом диалоге с постоянным моим собеседником Василь-Васильичем, я напомнил бы ему слова апостола Павла (в 8-ой главе *Послания к римлянам*): «Ибо тварь с

надеждою ожидает откровения сынов Божиих (19), потому что тварь покорила суете не добровольно, а по воле покорившего её, в надежде (20), что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих (21)». Это значит: Христос спас нас, а нам — не надлежит ли спасти лежащий во зле мир? Священное для Розанова Древо Жизни растет и в новозаветном мире. Но, омраченный христорборчеством, Розанов многое просмотрел в Новом Завете. Он уверял: беременность будто бы не благословляется в Евангелии, но умолчал о встрече беременных Марии и Елизаветы (Лука, I).

Розанов не знал дерзновенного учения Афанасия Великого о теосисе — обожении мира или — *апокатастасис* — преображенное «воостановление» земли на небесах. Но, увы, тварное и космическое христианство не раскрылось и христианам...

Розанов не верил в Воскресение Христово и воскресение из мертвых, и видел только «темный лик» Христа, а не светлый, пасхальный. Ему казалось: «В грусти человек — естественный христианин. В счастье — естественный язычник» (надо полагать по мысли Розанова — и иудей). Но забыл он здесь о свадебном пире в Кане Галилейской...

Розанов упрямо не хотел замечать: Новый Завет вышел из Ветхого Завета и Христос, не отменяя заповедей-законов Моисея, осенил мир благодатью и призвал ветхозаветного человека-раба стать свободным сыном Божиим в хозяйстве Творца. Но Розанов видел лишь дурных христиан в миру или отрешенных от мира монахов. Сколько раз хотелось ему (подобно императору Юлиану) воскликнуть: — Ты победил, Галилеянин! Но недоумения, сомнения не оставляли его до конца. Умиравшего Розанова исповедали, причащали, соборовали, но мы не знаем — обратился ли он ко Христу в свой последний смертный час.

Христорборчество Ницше кажется поверхностным, наивным по сравнению с розановским походом на Христа. Ведь Ницше был вне религии, а Розанов дерзал в религии и знал — на Кого он ополчился. А заслуга Розанова в том, что он задал христианам вопросы, на которые они не сумели ответить ему должным образом. Это вопросы о *постороннем смысле христианства* — о гуманизме и космизме Христа: Богочеловека.

Анти-христианство Розанова основано на роковом недоразумении, но не забудем: оно было вызвано несомненными ошибками исторического христианства. Это большая тема, которую я только намечаю в этом коротком очерке.

Напомню, даже кощунствующий Розанов хорошо знал: отвергаемый им, но и влекущий к себе Христос, живет, раскрывается и в вечной, и в исторической Церкви, как православной, так и католической. Если закроют все храмы — Христа могут позабыть... То же самое говорил и Леонтьев, но его богословствование было узким, робким по сравнению с розановским.

Андрей Белый, подчеркивая «плотскость» или «земляность» Василь-Васильича, в шутку назвал его: «Ппло!» Но, как верно угадала более проникательная Зинаида Гиппиус — очень бытовой, болтливый Розанов — в самом своем сокровенно — в *Уединенном*, был и задумчивым странником.

Были у Розанова черты обывательские и он любил выставлять свою мещанственность. Нравилось ему и юродствовать, и иногда он лукавил, лицемерил. Владимир Соловьев, не без основания, называл его Иудушкой Головлевым. Чем-то походил он на старо-московского подъячего или юродивого, а также на «добровольных шутов» Достоевского (напр., на Лебедева в *Идиоте*). Но и в низинах жизни-жисти Розанов не только суетился, но и мог возноситься к небу. Рассказывая об исповеди у вполне бытового, но и горячо верующего священника Ивана Павлыныча, он вспоминает как поведал ему о своих экивоках и сомнениях в годы Религиозно-Философских собраний (в начале 900-х г.г.). Добрый «поп», дотронувшись до его лба, сказал ему: «Да что мы можем знать с нашей черепушкой» (умом). Иван Павлыныч исповедовал кратко — думал о ждущих прихожанах и о своих церковных доходах... Далее Розанов комментирует: «Так "быт" мешался с небесными глаголами — и не забывай о быте, слушая о глаголе, а, смотря на быт, вспомни и глаголы». Это эмоциональное бытовое и очень органическое исповедничество Розанова утверждалось им не в иудейской синагоге, и уж конечно, не в языческой храмине, а в обыкновенном православном храме. Он иногда скандалил, но не вне, а внутри Церкви... Здесь Розанову раскрылось *среднее христианство* пекущейся о земном, но и горячо веровавшей Марфы... И Христос укорил её не за печения-соления, а за её зависть к Марии. *Средними*, тайными христианами были и Никодим, и Иосиф Аримафейский.

Вне религии Розанову было просто скучно, неинтересно жить, думать, и как-то он сказал: «Бог — мое настроение...». Есть здесь легкомыслие, есть безответственный импрессионизм. Но его вера поверхностной не была — если и не горячей (как у Достоевского), то и не прохладной (как у Леонтьева), а — теплой, очень теплой (за что его осудил бы апостол Павел). Он был еще вдохновенно-благодарный верующий человек: «Господи — я жил. Это хорошо, спасибо Тебе» (*Мимолетное*).

«Бог охоч к миру, и мир охоч к Богу», писал он, и эту взаимную охоту, это взаимовлечение, Розанов на самом деле, и уже безо всякого юродства, всем своим существом — кровно ощущал.

В недавно изданном сборнике *Мимолетное* Розанов спел свой самый высокий гимн Богу. Записи эти отрывочные, незаконченные, но существенные для понимания Розанова: «... почему же думать о Тебе радостнее всего на свете, самого бессмертия, самого загробного существования радостнее... Есть Он? (Бог. Ю. И.). Нет ли? Но если сказали “так-таки решительно нет”, я хотел бы сейчас умереть. Какая странность... Танцевать ли? А ведь с Богом все затанцуем. Если Бог — то как не танцевать. Не удержишься» (июль 1913 г.). Здесь слышатся сомнения не только Розанова, но и почти каждого современника, а также и многих христиан, но все недоумения преодолеваются великою радостью нового Давида Псалмопевца, скакавшего у ковчега Господня. Здесь Розанов даже забывает о своем животном страхе смерти и не заботится о личном бессмертии.

Бог приоткрылся Благоразумному разбойнику в страдании (как и Достоевскому), но является Он и в радостном упоении Царя Давида и обывателя Розанова. Отсюда — заповедь Василь-Васильича: «Кто не любит человека в радости — не любит и самого человека» и добавим — также и Бога. Педанты скажут: разные бывают радости, напр., похотливые или садистические... Но Розанов имел в виду не злые наслаждения. Радостное он чаще всего находил в быту и изредка — в своих молитвах и высоких прозрениях.

Нужен ли кому-нибудь Розанов в порабощенной, но, может быть, в уже незаметно возрождающейся России? Добавим к выше сказанному: ей нужны более крепкие и стойкие борцы, чем Леонтьев, а также и Розанов.

Розанов не пророк, не учитель. Он — собеседник-друг. При-

влекает его творческое свободомыслие (не по шаблонам...). Привлекает его теплота, интимность: умел он «унеживать» в ласковых фамильярных объятиях — иногда очень уж навязчивых... Вместе с тем, Василь-Васильич на самом деле понимал горести и радости каждого человека «со вздохом» или с «музыкой в душе»...

Вызывающе-богохульное анти-христианство Розанова многих оттолкнет. Но прекрасно увиденное им в Ветхом Завете и Богом благословенное Древо Жизни, и нельзя его винить за то, что, как и многие христиане, он не заметил цветения этого Древа в христианском мире.

Розанов писал просто, но иногда противоречиво и его куда труднее понять, чем ясно-логического Леонтьева, и моя короткая характеристика — его не исчерпывает.

Вот они стоят рядом на книжных полках и в душах-думах новых своих, читателей в России: рыцарственный Леонтьев и мещанствующий Розанов.

У Леонтьева: блеск, холодок, красочная праздничность. У Розанова: тепло, мерцание, серая будничность, но со скромными праздничными радостями в быту и с окнами в небо, которое редко приоткрывалось Леонтьеву.

Леонтьев усиливал в себе страх Божий, а Розанов уповал на милосердие Божие.

Оба нисколько не идеальны, но — живые собеседники в настоящем и *слагатели* нового образа жизни в будущем.

Леонтьев (повторим) мог бы вдохновить русского человека с высоко поднятой головой, гордого, но и богобоязненного, как его герои — оба Ладнева и Благов. Не создадут ли их потомки новое христианское рыцарское братство?

Розанов скорбел: «мало солнышка в русской истории», мало порядка, ладу, и в эпилоге своего *Апокалипсиса* дал этот завет русскому человеку: «И помни: жизнь есть дом. А дом должен быть тепел, удобен и кругл, и Бог тебя не оставит. Он не забудет птички,



которая вьет гнездо». Может быть, эту чаемую Розановым Россию, уже чают и русские люди, удушаемые на родине безбожной и бесчеловечной властью?

Так ли? Твердой уверенности нет.

Леонтьев мрачно вещал: старушке России пора умирать, вместе с еще более дряхлой Западной Европой! Но и призывал к борьбе со злом — с безответственными буржуазными прогрессистами и коммунистическими поработителями в предсказанном им тоталитарном государстве рабов. Розанов, оплакивая Россию в 1918 г. и предвосхищая Черчилля, сказал в том же *Апокалипсисе*: над Россией опустился железный занавес. Но, в противоположность холодному и в страстях Леонтьеву, теплый и жизнелюбивый Розанов пессимистом не был. Он верил или ему верилось: русские построят свой теплый, удобный, круглый дом. А Леонтьеву нужны были великолепно разыгрываемые исторические зрелища с рыцарями или же, с отчаяния, он готов был загнать себя в темную монастырскую келью.

Был бы счастлив, если бы далекие запроволочные друзья, для которых Леонтьев и Розанов *всё ещё живы*, отозвались на мои домыслы в этом очерке.

Р. S. Антисемитизм Розанова... давно уже пора покончить с этой клеветнической сказкой! Да, он обзывал евреев «жидами», говорил об их пронырливости, обвинял Бейлиса (увы, по-юродски оправдывая ритуальные убийства...), но и сколько раз вешал собак на жадных «попов» и бестолковых русских! Е. Терновский верно заметил: «Розанов влюбленно проклинал евреев», как, впрочем, и своих соотечественников. Те и другие его *часто* отталкивали, но *чаще* привлекали, и в *Апокалипсисе* он воскликнул: «Да будет благословен еврей. Да будет благословен и русский!» Леонтьев предполагал: Антихрист, который родится в России, будет евреем, ибо им был и Христос — иудей по человеческой своей природе. Но антисемитских суждений не высказывал. Расизму он был чужд и в любой нации находил героев по своему вкусу — даже в мало кому известной Албании.

Юрий Иваск

## СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И АЙСЕДОРА ДУНКАН

Взаимоотношения русского поэта Сергея Есенина (1895-1925) и американской танцовщицы Айседоры Дункан (1877-1927) — чрезвычайно сложные, неровные, порой загадочные. После первой встречи в Москве осенью 1921 года, Есенин и Айседора жили вместе в особняке Дункан на Пречистенке. В начале мая 1922 г. был зарегистрирован их брак, а через несколько дней молодожены отправились в свадебное путешествие по Европе и Америке. Пятнадцать бурных месяцев спустя, поэт и танцовщица вернулись в Москву в августе 1923 г. Вскоре их пути разошлись, хотя официально их брак никогда не был расторгнут. Есенин умер в декабре 1925 г., Айседора — в сентябре 1927 г.

Свою книгу *Айседора и Есенин* (1980, на английском языке) я посвятил подробному анализу совместной жизни и взаимоотношений Сергея Есенина и Айседоры Дункан<sup>(1)</sup>.

Не желая повторить уже опубликованное, я собрал для *Русского Альманаха* противоречивые, малоизвестные и неопубликованные материалы, относящиеся к Есенину и Айседоре, и к пребыванию Айседоры в России. Надеюсь, что читателям будет интересно ознакомиться с этими редкими текстами на русском языке.

\* \* \*

24 июля 1921 г. Айседора приехала в Москву. Через месяц появилась в газете *Известия* (24 августа 1921 г.) статья наркома просвещения, А. В. Луначарского, озаглавленная «Наша гостья» (статья потом перепечаталась в книге Луначарского, *Театр и революция*, Москва, 1924):

---

(1) См. Gordon McVay, *Isadora and Eсенин*, Ardis, U.S.A., and Macmillan, London, 1980, 335 страниц, 100 фотографий. См. первые рецензии на эту книгу, напр., в газетах и еженедельниках: *The Tablet*, Лондон, 28 июня 1980, стр. 629-630; *Los Angeles Times: The Book Review*, 29 июня 1980, стр. 9; *The Guardian*, Лондон, 10 июля 1980, стр. 8; *The Sunday Times*, Лондон, 10 августа 1980, стр. 31; *Русская Мысль*, Париж, 14 августа 1980, стр. 11; *New Statesman*, Лондон, 12 сентября 1980, стр. 18-19.

«...Мечты Дункан идут далеко. Она думает о большой государственной школе в 500 или 1 000 учеников, но пока она согласна начать с небольшим количеством детей, которые будут получать образование через наших учителей, но в физическом и эстетическом отношении развиваться под ее руководством...

Мы уже имеем хорошее здание для школы и сможем в самые ближайшие дни приступить к основательной ее организации...

Сама же Дункан, пока что, проникнута весьма воинственным коммунизмом, который иной раз вызывает невольную, конечно, чрезвычайно добрую и даже, если хотите, умиленную улыбку...

Дункан называли царицей жеста, но из всех ее жестов, этот последний, поездка в революционную Россию, вопреки навеянным на нее страхам, — самый красивый и заслуживает наиболее громких аплодисментов.»

Друг Есенина, имажинист Анатолий Мариенгоф пишет, будто Луначарский обещал Айседоре «храм» («Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», 1953-1955, в Рукописном Отделе Государственной Библиотеки им. Ленина, Москва):

«Она приехала в Советскую Россию только потому, что ей был обещан... Храм Христа Спасителя. Обычные театральные помещения больше не вдохновляли Дункан... Пресыщенная зрителем (к слову: ставшим на Западе менее восторженным), она жаждала — прихожан...

Соблазненная Храмом Христа Спасителя, Айседора Дункан не то что приехала к нам, а на крыльях, как говорится, прилетела.

И... очень рассердилась: очаровательный нарком надул ее. Вероятно, потому, что слишком смело, без согласования с политбюро, раздавал храмы танцовщицам.

Я потом весело сочувствовал Айседоре:

— Ах, бедняжка, бедняжка, в Большом Театре приходится тебе танцевать!»

Мариенгоф вспоминает первую встречу поэта и танцовщицы (Москва, осенью 1921 г., в студии художника Георгия Якулова):

«В первом часу ночи приехала Дункан...

Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног.

Она окунула руку в его кудри и сказала:

— Solotaia golova!

Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два.

Потом поцеловала его в губы.

И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:

— Anguel!

Поцеловала еще раз и сказала:

— Tschort!

В четвертом часу утра Изадора Дункан и Есенин уехали...»<sup>(2)</sup>

Вдова Мариенгофа, актриса Анна Никритина, пишет (в машинописи своих воспоминаний):

«Сразу же, с первого взгляда, Изадора влюбилась в Есенина... весь вечер они не расставались и... уехали оттуда мы уже вдвоем с Мариенгофом, а Есенин уехал с Дункан. Это как удар молнии, удар судьбы... Его все в ней полонило — и страсть, и откровенность, и ее слава. Всемирно известная Изадора Дункан влюбилась в него. В ее славе тоже было что-то дополнительно возбуждающее...»

Мариенгоф утверждает:

«Есенин влюбился не в Айседору Дункан, а в ее славу, в ее

---

(2) Анатолий Мариенгоф, *Роман без вранья*, издание второе, Ленинград, 1928, стр. 124-125. Это издание полностью перепечатано, с новыми приложениями, 20 редкими и неопубликованными фотографиями, и вступительной статьей Г. Маквея (издатель Willem A. Meeuws, Wightwick, Boars Hill, Oxford, England, 1979).

мировую славу. Он и женился на ее славе, а не на ней — не на пожилой, несколько отяжелевшей, но еще красивой женщине с крашеными волосами... Айседора была женщина с умом тонким: изящным, острым и смелым...

В эту пятидесятилетнюю женщину Есенин никогда не был влюблен...» («Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги»).

«Она как собака целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще чем любовь горела ненависть к ней» (*Роман без вранья*, стр. 127).

Не все мемуаристы разделяют точку зрения Мариенгофа. Поэт Сергей Городецкий заявляет:

«По всем моим позднейшим впечатлениям это была глубокая взаимная любовь. Конечно, Есенин был влюблен столько же в Исадору, сколько в ее славу, но влюблен был не меньше, чем вообще он мог влюбляться. Вообще же этот сектор был у него из маловажных. Женщины не играли в его жизни такой роли, как, например, у Блока...» (*Новый мир*, Москва, 1926, № 2, стр. 142).

Друг Есенина, Иван Старцев, пишет:

«Между ними существовала взаимная нежность и привязанность. Изадора иначе не называла Есенина, как мой "дарлинг", "ангел"...

Есенин свои чувства к Айседоре выражал различно: то казался до-нельзя влюбленным, не оставляя ее ни на минуту при людях, то наедине он подчас обращался с ней тиранически грубо, вплоть до побоев и обзыванья самыми площадными словами. В такие моменты Изадора бывала особенно терпелива и нежна с ним, стараясь всяческими способами его успокоить» (в сборнике *Сергей Александрович Есенин*, Москва-Ленинград, 1926, стр. 83).

М. Бабенчиков считает (там же, стр. 43):

«По-своему Дункан понимала поэта и своеобразно пыталась облегчать заметно росшее в нем состояние отчаяния...

Думается, встреча Есенина с Дункан не была пустым романом, а судя по многому, она оставила глубокий след в жизни поэта».

Художник Юрий Анненков вспоминает:

«Захваченная коммунистической идеологией Айседора Дункан приехала, в 1921-м году, в Москву. Малинововолосая, беспутная и печальная, чистая в мыслях, великодушная сердцем, осмеянная и загрязненная кутилами всех частей света и прозванная "Дунькой" в Москве, она открыла школу пластики для пролетарских детей в отведенном ей на Пречистенке бесхозьяном особняке балерины Балашовой, покинувшей Россию...

С Есениным, Мариенгофом, Шершеневичем и Кусиковым, я часто проводил оргийные ночи в особняке Дункан, ставшем штаб-квартирой имажинизма... Дункан пленилась Есениным, что совершенно естественно... Роман был ураганный и столь же короткий, как и коммунистический идеализм Дункан...» (*Дневник моих встреч. Цикл трагедий*, Нью-Йорк, 1966, том I, стр. 168-169).

7 ноября 1921 г. Айседора выступила в Большом театре; 3 декабря 1921 г. открылась школа Айседоры Дункан на Пречистенке, 20.

Некоторые мемуаристы упоминают попытки Есенина убежать от Айседоры. Например, Иван Старцев пишет (в сборнике *Сергей Александрович Есенин*, Москва-Ленинград, 1926, стр. 84-85):

«В сочельник перед Рождеством мы отправились с Есениным навестить Коненкова. Радушный хозяин, располагающая мастерская и вино "пленили" нас на трое суток. На четвертый день мы... поехали к себе на квартиру, — там меня ожидало письмо от Дункан на английском языке с приложенным тут же переводом Шнейдера... Она не спит третью ночь и не находит себе места, предчувствуя недоброе... Письмо заканчивалось буквально следующими словами: "Не думайте, что во мне говорит влюбленная девчонка, нет — это преданность и материнская заботливость"».

31 декабря 1921 г. состоялся вечер Дункан в Театре Музыкальной Драмы (бывш. Зимина). В машинописи своих воспоминаний А. Б. Никритина описывает события после этого выступления:

«Ему от Дункан некуда было деться. Она везде его настигала, повторяя, со всей откровенностью, даже с бесстыдством.

Она ничего не стеснялась, и в этом была ее сила, ее право. Я

помню, Новый год встречали у Изадоры... Есенин убегает к Якулову и вызывает нас туда по телефону. Мы приезжаем, Дункан приезжает вслед за нами. Через другой ход мы сбежали домой — она приезжает за нами домой. Звонки! Звонки! Соседи ей говорят, что нас нет. Прислушиваемся — тихо, ушла.

Мне было ужасно жалко ее тогда, Изадора ведь была намного старше нас. Женщина она была замечательная, умная, образованная. И... в конце концов победила Есенина. Примерно месяца через два он совсем переехал на Пречистенку к Дункан...»

Однажды Мариенгоф и Никритина встретили Есенина и Дункан. Никритина вспоминает (в сборнике *Есенин и современность*, Москва, 1975, стр. 382-383):

«Нас пригласили обязательно, непременно прийти вечером. Пришли. Кроме нас, никого не было. Но было торжественно. У каждого прибора стояла бутылка рейнвейна. Они стояли, как свечи. Изадора подняла первый бокал за Есенина и Мариенгофа, за их дружбу. Она понимала, как трудно Есенину. Она ведь была очень чуткой женщиной. А потом сказала мне: "Я энд ты чепуха, Эсенин энд Мариенгоф это все, это дружба". Я-то, конечно, была чепуха. Вскоре они уехали за границу»<sup>(3)</sup>.

«Дункан — замечательная женщина, умная! Она прекрасно понимала, что она для Сережи страсть, сильное увлечение, не больше, что жизнь его в другом. Когда они приходили к нам и она садилась на поломанную кровать — говорила: вот здесь настоящее, вот здесь любовь. Все хотела подарить мне фату, и уговаривала: "для женщины важно быть последней, а не первой". Очевидно чувствовала, что я эта последняя. И вместе с тем думала, что главное и самое важное для них [Есенина и Мариенгофа] это их искусство, а не женщины» (письмо А. Б. Никритиной к автору этой статьи, Ленинград, 1 декабря 1976).

В начале мая 1922 г. был зарегистрирован брак Есенина и Айседоры. Мариенгоф пишет (в журнале *Октябрь*, Москва, 1965, № 11, стр. 82-83):

<sup>(3)</sup> См. комментарий к этим строкам в письме Семена Карлинского, в газете *Новое Русское Слово*, Нью-Йорк, 30 сентября 1976, стр. 4.

«Перед отъездом за границу Дункан с Есениным расписались в загсе.

— Свадьба! Свадьба! — веселилась она. — Принимаем поздравления и подарки! Первый раз в жизни у Изадоры законный муж!

— А Зингер? — спросил я...

— Зингер? Нет.

— А...

— Нет, нет! Сережа — первый законный муж Изадоры. Теперь я — русская толстая жена!»

Мариенгоф добавляет («Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги»):

«Он [Есенин] боялся остаться с ней — со своей женой — наедине, хоть на полчаса...

А целовать эту пятидесятилетнюю женщину ему было полегче с пьяных глаз.

Поэтому Есенин, в Балашовском особняке, и ел и пил и песни играл и читал стихи — со злостью.

А под невесомое одеяло из гагачьего пуха, в широкую супружескую кровать карельской березы, ложился он во хмелю...»

Через несколько дней — 10 мая 1922 г. — молодожены покинули Россию. Илья Эренбург встречался с Есениным и Айседорой в Берлине:

«Есенин прожил в Берлине несколько месяцев, томился и конечно же буянил. Его неизменно сопровождал имажинист Кушиков... Они пили и пели. Напрасно Айседора Дункан пыталась унять Есенина; одна сцена следовала за другой... Есенин в отчаянии бил посуду» (*Люди, годы, жизнь*, Москва, 1963, кн. 3-4, стр. 39).

«[Дункан] обладала не только большим талантом, но и чело-вечностью, нежностью, тактом; но он был бродячим цыганом; пуще всего его пугала сердечная оседлость» (*Люди, годы, жизнь*, Москва, 1961, кн. 1-2, стр. 588).



А. М. Горький описывает встречу с Есениным и Айседорой в Берлине (май 1922 г.):

«...А второй раз видел я его в Берлине у А. Н. Толстого, была с ним старая, пьяная Айседора Дункан, он великолепно прочитал монолог Хлопуши, а потом ударил Дункан ногою в ее интернациональный зад и сказал ей: "Стерва". Я человек сентиментальный, я бесстыдно заплакал при виде столь убийственного соединения подлинной русской поэзии с препрославленной европейской пошлостью. И вновь явилась та же урюмая мысль: где и как жить ему, Есенину? Вы сообразите безумнейшую кривизну пути от Клюева к Дункан! Был в тот вечер Есенин судорожно, истерически пьян, но на ногах держался крепко... Да и пьян-то он был, кажется, не от вина, а от неизбывной тоски человека, который пришел в мир наш, сильно опоздав, или — преждевременно...» (из письма А. М. Горького к И. А. Груздеву, Неаполь, 9 января 1926, в книге: *Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым*, Москва, 1966, Архив А. М. Горького, том XI, стр. 30).

Выпив водки, Айседора танцевала в квартире Алексея Толстого в Берлине. Вспоминает жена А. Н. Толстого, Наталия Крандиевская-Толстая [Толстая-Крандиевская]:

«...Айседора пожелала танцевать. Она сбросила добрую половину своих шарфов, оставила два на груди, один на животе, красный накрутила на голую руку, как флаг, и, высоко вскидывая колени, запрокинув голову, побежала по комнате, в круг. Ударяя руками в воображаемый бубен, она кружилась по комнате, отяжелевшая, хмельная Менада! Зрители жались по стенкам. Есенин опустил голову, словно был в чем-то виноват. Мне было тяжело. Я вспоминала ее вдохновенную пляску в Петербурге пятнадцать лет тому назад. Божественная Айседора! За что так мстило время этой гениальной и нелепой женщине?...» (в сборнике *Прибой*, Ленинград, январь 1959, стр. 97).

Н. В. Крандиевская-Толстая продолжает (*Воспоминания*, Ленинград, 1977, стр. 199):

«Компания наша разделилась по машинам. Голова Айседоры лежала на плече у Есенина, пока шофер мчал нас по широкому Курфюрстендаму.

— Mais dis-moi souka, dis-moi ster-r-rwa... [Скажи мне сука, скажи мне стерва] — лепетала Айседора, ребячась, протягивая губы для поцелуя (4).

— Любит, чтобы ругал ее по-русски, — не то объяснял, не то оправдывался Есенин, — нравится ей. И когда бью — нравится. Чудачка!

— А вы бьете? — спросила я.

— Она сама дерется, — засмеялся он уклончиво».

«...Отношение Дункан ко всему русскому было подозрительно восторженным. Порой казалось: эта пресыщенная, утомленная слабой женщиной не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина, как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру?»

Ей было лет 45. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства» (Н. В. Толстая-Крандиевская, в сборнике *Воспоминания о Сергее Есенине*, Москва, 1965, стр. 331).

Из заграничных писем Сергея Есенина (1922 г.):

«Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся, но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер... Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик. Спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы...» (из письма С. Есенина к И. И. Шнейдеру, Висбаден, 21 июня 1922).

«Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот (5). Человека я пока

(4) Мариенгоф пишет: «Его обычная фраза — "Пей со мной, паршивая сука, пей со мной!" — так и вошла неизменной в знаменитое стихотворение» («Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги»). См. стихотворение Есенина, «Сыпь, гармоника. Скука... Скука...», написанное, быть может, в феврале 1923 г.

(5) Илья Эренбург возражает: «Он [Есенин] промчался по Европе, по Америке и ничего не заметил... Конечно, на Западе тогда был не только фокстрот, но и кровавые демонстрации, и голод, и Пикассо, и Ромен Роллан, и Чаплин, и много другого...» (*Люди, годы, жизнь*, Москва, 1961, кн. 1-2, стр. 583).

еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать — самое высшее мюзик-холл...

Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа...» (из письма С. Есенина к А. М. Сахарову, Дюссельдорф, 1 июля 1922).

«Милый мой, самый близкий, родной и хороший, так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию...

Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший рынок распространения наших идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу: Боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет еще такой страны и быть не может...» (из письма С. Есенина к А. Б. Мариенгофу, Остенде, 9 июля 1922).

«Знаете ли Вы, милостивый государь, Европу?...

Во-первых, Боже мой, такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется. Сердце бьется, бьется самой отчаяннейшей ненавистью...» (из письма С. Есенина к А. Б. Мариенгофу, Париж, не позднее сентября 1922).

В первом черновике *Романа без вранья* (1926, Институт Русской Литературы, Ленинград, Р. I., оп. 7, № 54, стр. 86). Мариенгоф приводит частушку, сочиненную Есениным:

«У Европы рожа чиста  
Не целуюсь с ею!  
Подавай имажинисту  
Милую Расею...!»

Александр Кусиков пишет (*Парижский вестник*, 1926, № 207):

«В 1922 году мы встретились с ним за-границей. Но запад и заокеанские страны ему не понравились. Вернее, он сам не хотел, чтобы все это, виденное им впервые, понравилось ему. Безграничная, порой слепая, есенинская любовь к России, как бы запрещала ему влюбляться. "А, знаешь, здесь, пожалуй, все лучше, больше, грандиознее. Впрочем, нет! — давит. Деревья подстриженные, и птахе зарыться некуда; улицы, только и знай, что моют, и плюнуть некуда"...

Любовь к России все заметнее и заметнее претворялась в заблуждение. В болезнь страшную, в болезнь почти безнадежную...»

1 октября 1922 г. Есенин и Айседора приехали в Нью-Йорк. Четырехмесячное турне по Америке обернулось катастрофой. 12 ноября Есенин написал Мариенгофу из Нью-Йорка:

«Милый мой Толя! Как рад я, что ты не со мной здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься...»

Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва...»

В первом черновике *Романа без вранья* Мариенгоф приводит есенинскую частушку:

«В мать тебя, из матери в мать,  
Стальная Америка!  
Хоть бы песню услышать  
Да с родного берега.»

Мариенгоф размышляет (В рукописи *Романа без вранья*, 1948, Институт Русской Литературы, Ленинград, Р. I., оп. 7, N. 54):

«Есенин был невероятно горд и честолюбив; он считал себя первым поэтом России. Но у него не было европейского имени, мировой славы. А у Изадоры Дункан она была. Во время их поездки по Европе и Америке он почувствовал себя "молодым мужем знаменитой Дункан". Надо сказать, что ничтожные журналисты, особенно заокеанские, не очень-то и щадили его.

А тут еще болезненная есенинская мнительность! Он видел этого "молодого мужа" чуть ли не в каждом взгляде и слышал в каждом слове. А слова-то были английские, французские, немецкие — темные, загадочные, враждебные. Языков он не знал.

И поездка превратилась для него в сплошную пытку, муку, оскорбление. Он сломался. Отсюда многое.

Вина Изадоры Дункан, как сказали бы мы сейчас, была объективной».

3 февраля 1923 г. на пароходе «Джордж Вашингтон» Есенин и Айседора выехали из Америки в Европу.

7 февраля, в Атлантическом океане, Есенин написал письмо имажинисту Александру Кусикову, проживающему в то время в Берлине:

«...Об Америке расскажу после. Дрянь ужаснейшая...

Сандро, Сандро! тоска смертная, невыносимая, чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню что там ждет меня так и возвращаться не хочется... Тошно мне законному сыну российскому в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих, а еще тошней переносить подхалимство своей же братии к ним...

...Я перестаю понимать к какой революции я принадлежал. Вижу только одно что ни к февральской ни к октябрьской. Повидимому в нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь...»<sup>(6)</sup>

Роман Гуль вспоминает Есенина в Берлине в 1923 году:

«Лицо было страшно от лиловой напудренности... Он вскидывал головой, чему-то улыбался и синими глазами смотрел в пьяное пространство... Среди цветов и бутылок Есенин, облокотившись на стол, стал читать стихи. За столом замолчали, наклонившись к нему. Читал он тихо. Только для сидевших. Он даже не читал. А вполголоса напевал...

Когда Есенин кончил читать, он полуулыбнулся, взял стакан и выпил залпом, как воду. Этого не расскажешь. Во всем: как взял, как пил и как поставил — было в Есенине обреченное, "предпоследнее"» (*Жизнь на фукса*, Москва-Ленинград, 1927, стр. 220-222; см. также: Р. Гуль, «Я унес Россию», *Новый журнал*, Нью-Йорк, 1979, кн. 136, особенно стр. 91-102).

Из письма Есенина к Мариенгофу (Париж, весна 1923 г.):

«Господи! даже повеситься можно от такого одиночества...»

<sup>(6)</sup> Письмо впервые опубликовано в журнале *The Slavonic and East European Review*, Лондон, июль 1968, том 46, № 107, стр. 478-480. Перепечатано, с комментарием Романа Гуля, в *Новом журнале*, Нью-Йорк, 1969, кн. 95, стр. 227-230. Письмо впервые воспроизведено (с оригинала) в книге *Isadora and Esenin* (см. примечание 1). Письмо не опубликовано в Советском Союзе. В книге: С. А. Есенин, *Собрание сочинений в шести томах*, Москва, 1980, том 6, письма, на стр. 422 лишь ссылка на первую (лондонскую) публикацию.

На книге своих стихов: Serge Essenine, *La confession d'un voyou* (Париж, 1922, перевод Ф. Элленса и М. Милославской), Есенин сделал следующую надпись Louise Lara, актрисе театра Comédie Française :

«М Lara  
В знак приязни  
S. Essenine

1923 1 июль  
Париж»

(экспонат 325 в выставке *Paris-Moscou*, Centre Pompidou, Париж, 1979).

В начале августа 1923 г. Айседора и Есенин вернулись в Москву. В *Романе без вранья* (Ленинград, 1928, стр. 144), Мариенгоф приводит слова Есенина:

«Я русский... а она... не... могу... знаешь, когда границу переехал — плакал... землю целовал... как рязанская баба...»

Мариенгоф же пишет:

«Есенин уехал с Пречистенки — надломленным. А из своего рокового свадебного путешествия по Европам и двум Америкам (будь оно проклято, это свадебное путешествие!) он в 1923 году вернулся в Москву — сломанным...» («Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги»).

Л. М. Клейнборт описывает встречу с Есениным (Москва, 1923 г.):

«Что-то чужое было и в лице, припудренном, как у актера, в волосах, завитых у парикмахера. И лишь когда я подошел к нему, печальная тревога сдавила мне сердце. Он был испит. Волосы редели. Во всей осанке было что-то большое...» («Встречи. Сергей Есенин», 1926, Государственный Литературный Музей, Москва, Н-в II, стр. 23-24).

К середине августа 1923 г. Айседора выехала (без Есенина) в Кисловодск, а затем отправилась в небольшое турне. Фактически, совместная жизнь Айседоры и Есенина уже кончилась, хотя из раз-

ных городов Айседора послала телеграммы Есенину в Москву (Государственный Литературный Музей, Москва, 37/1, 37/3, 37/2):

«Москва Пречистенка 20; Есенину  
[из] Кисловодска...  
Дарлинг очен грустно без тебя надеюс скоро  
приедеш сюда навеки люблю ИЗАДОРА»  
(22 августа 1923).

«Петровка Богословский 3. Мариенголу (sic) Есенину  
[из] Баку...  
Вьесжаем понедельник Тифлис приезжай туда  
телеграфируи выезде Ориант на веки люблю Изадора»  
(15 сентября 1923).

«Москву Петровка Богословский  
Переулок 3 кв Мариенгоф Есенину  
[из] Тифлиса...  
Приветствую в етот счастьееишии день желаю чтобы  
он много раз повторился люблю Изадора»  
(26 сентября 1923).

Известно одно письмо Есенина к Айседоре (конец августа 1923 г.):

«Дорогая Изадора! Я очень занят книжными делами, приехать не могу. Часто вспоминаю тебя со всей моей благодарностью тебе. С Пречистенки я съехал сперва к Колобову, сейчас переезжаю на другую квартиру, которую покупаем вместе с Мариенгофом... Желаю успеха и здоровья, и поменьше пить... Любящий С. Есенин... Москва.»

Друг Есенина, Галина Бениславская, приводит слова Есенина (осенью 1923 г.), выражающие его отношение к Айседоре:

«Была страсть и большая страсть. Целый год это продолжалось. А потом все прошло и ничего не осталось, ничего нет. Когда страсть была, ничего не видел, а теперь... Боже мой, какой же я был слепой?! Где были мои глаза?.. К Дункан уже ничего нет, и не может быть...» (цит. по книге: В. Белоусов, *Сергей Есенин. Литературная хроника*, Москва, 1970, часть 2, стр. 91).

Из Ялты Айседора отправила Есенину телеграмму (11 октября 1923):

«М[о]скв[у] Есенину Петровка Богословский Дом Бахрушина  
[из] Ялты...

Я получила телеграмму должно быть твоей прислуги  
Бениславской пишет чтобы письма телеграммы на  
Богословский больше не посылать разве переменить адрес  
прошу объяснить телеграммой очень люблю Изадора»

(фотокопия в Институте Мировой Литературы, Москва, фонд 32,  
опись 5, № 15).

В октябре 1923 г. Есенин написал черновик ответной телеграммы Айседоре:

«Я говорил еще в Париже  
что в России я уйду  
[Ты меня озлобила]  
[Люблю тебя но] жить с тобой  
небуду [я женился]  
сейчас я женат и счастлив  
тебе желаю того-же

Есенин»

Окончательный текст телеграммы, отправленной Айседоре в Ялту:

«Ялта Гостиница Россия Айседоре Дункан  
Я люблю другую женат и счастлив Есенин

Богословский пер. 3., кв. 46. Сергею Александровичу  
Есенину»

(фотокопии в Институте Мировой Литературы, Москва, фонд 32,  
опись 5, № 10).

Владимир Чернявский описывает встречу с Есениным в Ленинграде, весной 1924 года («Три эпохи встреч», 1926, Государственный Литературный Музей, Москва, Н-в 10/1-2, стр. 40-41):



«...Про запад рассказывал он и беспорядочно и сбивчиво, точно радуясь тому, что он не принял Европы и она не приняла его. Но проскальзывала тут и некоторая уязвленность... Но взволновала его, кажется, больше всего Америка. К ней была в нем ненавидящая зависть... Он не скрывал, что возвращение его на родину было бегством от запада и от любви...

...Его еще очень трогала эта любовь [Айседоры к нему] и особенно ее чувствительный корень — поразившее Дункан сходство его с ее маленьким погибшим сыном (?). [Есенин говорил:] "Ты не говори, она не старая, она красивая, прекрасная женщина. Но вся седая — вот как снег. Знаешь, она настоящая русская женщина, более русская чем все там. У нее душа наша, она меня понимала"...

Но безграничные безумства Дункан, ... ревнивой, и требовательной, не отпускавшей от себя Сергея ни на минуту, — утомили его, он бежал от нее...»

Последние выступления Айседоры и детей ее московской школы состоялись в Камерном театре и в Большом театре в сентябре 1924 г. В конце сентября Айседора вылетела в Германию, и больше не возвратилась в Россию.

Иван Евдокимов вспоминает встречу с Есениным в Москве, 23 декабря 1925 года, незадолго до отъезда Есенина в Ленинград:

«Есенин... сказал:

— Тебе нравится мой шарф?... Это подарок Изадоры... Дункан. Она мне подарила.

Поэт скопил на меня глаза...

— Эх, как эта старуха любила меня! — горько сказал Есенин. — Она мне и подарила шарф. Я вот ей напишу... позову... и она прискачет ко мне откуда угодно...» (в сборнике *Сергей Александрович Есенин*, Москва-Ленинград, 1926, стр. 228).

28 декабря 1925 г. Есенин повесился в Ленинграде; 31 декабря хоронили его в Москве:

---

(?) Двое детей Айседоры потонули в Париже в 1913 году.

«С некоторым запозданием директором Камерного театра А. Я. Таировым была получена следующая телеграмма из Ниццы, от бывшей жены покойного — А. Дункан:

”Прошу вас передать родным и друзьям Есенина мое великое горе и сочувствие — Дункан.”» (в книге *Памятка о Сергее Есенине*, Москва, 1926, стр. 49).

14 сентября 1927 г. Айседора погибла в автомобиле в Ницце. После смерти Айседоры А. В. Луначарский опубликовал свои воспоминания о ней (в сборнике *Гул земли*, Ленинград, 1928, стр. 37-40):

«...Она приехала в Москву, в голодную, холодную Москву самых тяжелых годов нашей революции и приступила здесь к работе...

Она очень хорошо мирилась с запущенностью и бедностью нашей тогдашней жизни. Она сразу поняла источники этого и старалась быть как можно меньше требовательной по отношению к правительству. Я боялся, что она будет обескуражена, что у нее руки опустятся. Помощь, которую мы ей давали, была чрезвычайно незначительна. Личную свою жизнь она вела исключительно на привезенные доллары и никогда ни одной копейки от партии и правительства в этом отношении не получала. Это, конечно, не помешало нашей подлейшей, реакционной обывательщине называть ее ”Дунька-коммунистка” и шипеть о том, что стареющая танцовщица продалась за сходную цену большевикам. Можно ответить только самым глубоким презрением по адресу подобных мелких негодяев...

К сожалению, по мере того, как мы богатели, оценка деятельности Айседоры Дункан не повышалась, а скорей понижалась. Перед нами вставали серьезные задачи в области социальной педагогики, — задачи все осложняющиеся. Словом то, что казалось чуть ли не обязательным в период голодного и холодного революционного энтузиазма, стало казаться нерасчетливым, когда перешли на режим экономии, на плановость и т. д. Тут еще подошел горький роман Айседоры с Есениным...

...В те же времена, когда Айседора Дункан протягивала нам все свои силы, всю свою жизнь и пыталась собирать тысячи рабочих детишек для того, чтобы учить их свободе движений, грации и выражению высоких человеческих чувств, мы могли только платонически благодарить ее, оказывать ей грошовую помощь и в конце концов, горестно пожав плечами, сказать ей, что наше время слишком сурово для подобных задач.

Это не мешает тому, что мы вспоминаем о трагически погибшей артистке и большом человеке с чувством живой благодарности и немеркнувшей симпатии».

## ЗАМЕТКИ ОБ АЛЕКСЕЕ РЕМИЗОВЕ

(Читая «Взвихренную Русь»)

Слово, как оно не столько даже говорится, сколько выпевается: недаром Алексей Михайлович Ремизов (1877-1957) был чудодеем чтецом, а когда-то и певцом. Недаром в своей закатной, неизданной автобиографической повести «Иверень» жалобился: «И с моим пропадом мое слово, моя музыка, весенний воздух, — куда вы уйдете?» И при этом этот воздух, эта музыка, это напевное слово рисовались Ремизову одновременно и в зрительных образах, часто сновиденных, дремных, но графически и красочно отчетливых:

«— Вас зовут Алексеем.

Голос мне показался знакомым, и я очнулся.

Я хотел ответить, но почувствовал, что даже “А” не выговаривается, я только следил за начертанием своего имени: “Алексей”. И вдруг “А” отделилось — и выходит аист: спотыкаясь, аист идет и прямо в глаза мои» (Там же).

И Ремизов не только живописал и выпевал свою словесную вязь, свою житейскую боль и горечь, но и талантливо и причудливо рисовал — был замечательным художником линии и краски (его весьма ценил, к слову сказать, Пабло Пикассо), был и исключительным каллиграфом — писал любым уставом и полууставом, любил заставки, заглавные киноварные буквы зачал, росчерки и круженья букв и около букв.

Но был ли он только высоким по совершенству мастером, чистым эстетом, до бешенства раздражающим некоторых (Бунин, к примеру, не мог о нем спокойно говорить)? Был ли он только лишь писателем для писателей, некой лабораторией русского художественного слова и образа, русской фразы, гневливо отталкивающимся от «немчуры», лишавшей русский язык и русскую грамматику их красочности и своеобразной стати (вспомним его проклятья Гроту, Гречу и другим)?

Да ведь не было в Ремизове, — при всей его приверженности

к языку и почерку, образности и четкости подъячих времен тишайшего царя и тезки Алексея Михайловича, — ни квасного русопятства, ни отталкивания от **чужого**. Да и не были ему чужими ни затейливый узорчатый Восток («Тибетские сказки. Заяшны», Чита, 1921; «Е. Тибетский сказ», Берлин, 1922; «Чакхчыз-Таасу. Сибирский сказ», Берлин, 1922; «Лалазар. Кавказские сказки», Берлин, 1922), ни библейская и агиографическая византийская условно-безусловная реальность («Лимонарь. Апокрифы», СПб, 1907; «Николины притчи. Сказания», Петроград, 1917; «Никола Милостивый», Москва, 1918; «Трагедия о Иуде. Представление», Петербург, 1919; «Пляс Иродиады. Вертеп», Берлин, 1922; «Звенигород Окликанный. Николины притчи», Париж — Нью-Йорк, 1924; еще две книги «московских любимых легенд о Николе» — «Три серпа», Париж, 1930; «Образ Николы Чудотворца», Париж, 1931; «Звезда Надзвездная», Париж, 1932; «Повесть о двух зверях. Стефанит-Ихнелат», Париж, 1950), ни рыцарственная строгая кельто-романская графика и архитектоника раннего Средневековья («Мелюзина», Париж, 1952; «Тристан и Исольда», Париж, 1957 — вместе с «Бовой Королевичем»). Да и состав последней, вышедшей еще при жизни автора, книги — «Круг Счастья» (Париж, 1957): в ней якутский сказ «Тябень», да библейские «Царь Соломон», «Царь Соломон и красный царь Пор» и «Соломон и Китоврас»... Все, конечно, обруселое, но уж таков Алексей Ремизов: еще больше, чем обруселое, — обремизовленное...

Уход от жизни? Как и его вечные творческие претворения сновидений, как и его «Обезьянья Великая и Вольная Палата», *cap-selarius*'ом которой назначил себя ее творец, об'явивший в манифесте «самодержавного повелителя лесов и всея природы Асыки Первого» «всем хвостатым и бесхвостым, в шерсти и плешивым приверженцам нашим, что здесь, в лесах и пустынях нет места гнусному человеческому лицемерию, что здесь вес и мера настоящие и их нельзя подделывать и ложь всегда будет ложью, а лицемерие всегда будет лицемерием, чем бы оно ни прикрывалось»? («Ахру. Повесть петербургская», Берлин, 1922). Такой же уход от реальности, как развешанные на бечевках по всей квартире полуабстрактные чертики и всяческая нежить, а то и просто какие-то хвостики?

Но ведь и раньше, в десятые годы, сказы «Посолони» (Москва, 1907), сказки «Докука и балагурье» (СПб, 1910), сказки «Укрепа» (Петроград, 1916), «Снежок» (Петроград, 1918), «Сибирский пряник» (Петербург, 1919) и, дальше, сказки и представления сценические «Бесовское действо» (Петербург, 1919), «Царь Максимилиан» (2 изд.,

Петербург, 1919), «Заветные сказы» и «Царь Додон» (обе книжки — Петербург, 1920 и 1921). А уже за рубежами России, кроме перечисленных выше, «Сказки обезьяньего царя Асыки», «Трава-Мурава», «Горе злосчастное», «Русалия», «Сказки русского народа. Докука и балагурье», «Зга» (все, кроме «Зги», выпущены в Берлине, в 1922-1925 гг.), «Голубиная книга» (Гамбург, 1946), «Бесноватые» и «Мартын Задека» (обе — Париж, 1951 и 1955)...

А сколько неизданного, особенно в годы 1931-1949, о которых сам Ремизов писал (в перечне своих книг в конце «Круга счастья»): «Тут меня и прикончили. И стал я альбомы делать: рукопись с картинками. Больше 200 альбомов, больше 2 000 рисунков. И сорвал правый глаз. Никогда не знаешь, что такое “черезчур”».

Но и в так называемые реалистические вещи Ремизова (в «Крестовые сестры», например, — 1922, первая публикация — 1910) нет-нет, да и врывается та или иная чертовщина и нежить. Хотя бы во сне...

«...Почему-то какие-то сочетания у Мусоргского или у Чайковского и вообще музыка, песня и напоенное пламенем слово вдруг уводили меня в непохожий мир, жуткий и страшно мне близкий: там котлы кипят, смола течет и дразнящие перелетают огни, душа тоской — тоска о чем?» («Иверень»).

Думается, что это вовсе не отказ от реальности, даже не естественная защитная реакция организма, не могущего вынести пыток действительности, а в особенности — нечеловеческих условий после-революционных дней. Скорее — это некое постижение внутренней сути действительности, самой *идеи* ее: постижение внутренней каким шли к ее постижению и воплощению Гоголь и Иероним Босх, Гофман и Брейгель.

Нет, жизнь в ее бесконечной изменчивости и необратимости скорее всего объективно и реально, более полнокровно отражается в легендах, в мифотворчестве, не государственно-принудительном, а народном. Ибо в легендах, в мифах, десятилетиями и веками, тысячами отстаивается некая общая идея бытийности, а не случайная дробность так называемых фактов, всегда и всеми воспринимаемая совсем по-разному.

И мифотворчество Ремизова, если в грубо-биографическом, в

психо-биологическом плане и было *отчасти* защитной реакцией, уходом от убийственной действительности, то в плане духовном, творческом — было скорее постижением идеи, сути происходящего.

В этом, в частности, и совершенно исключительная ценность — и в художественном, и в познавательном отношении — его Временника «Взвихренная Русь», в котором реальнейшие факты и житейские наблюдения пронизаны сновидениями, мыслями вслух, трагедо-фарсовыми сценами молниеносной смены правительств с февраля по октябрь семнадцатого года — и карнавально-шутовских шествий к очередным вождям их верноподданных читателей. И нет в этих экспрессионистических зарисовках, к которым Ремизов обращался неоднократно, дословно повторяя их полностью или частично («Огненная Россия», Ревель, 1921; «Шумы города», Ревель, 1921; «Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова», в альманахах А. Белого «Эпоха», Берлин, кн. 1, 2 и 3, 1922; наконец, «Взвихренная Русь», Париж, 1927), ни малейшей контрреволюции, никакой предвзятости.

Ведь писал их бывший революционер, даже примыкавший к марксистам, поплатившийся за это тюрьмами и ссылками, с 1896 года по первые годы нашего века... Да и человек, формально оставшийся гражданином СССР (или ставший им после Второй мировой войны)... Правда, сам-то марксизм, даже молодого Ремизова, был липовым, порожденным больше жгучим состраданием к угнетенному и замученному рабочему люду, чем идейными соображениями: «...А мой марксизм? — вспоминал он в «Иверени», уже на склоне лет: Когда Федор Иванович примется об'яснять «производственными отношениями» самое, казалось бы, темное, запутанное в жизни человеческой, выходит все просто, наглядно, стройно и вразумительно и уж никаких вопросов, а я в пустяках путаюсь».

Но вот эта-то «стройность и вразумительность» и вскоре же отпугнули Ремизова: где уж в нашей ирреальной реальности, где уж в житейской путанице — с главенством в нас самих не рассудка, а подсознательного — найти эти самые «наглядность и стройность»!

И в творчестве Ремизова все более и более начинает господствовать иррациональное начало, разорванность бытийных планов, даже синтаксическое своеволие, отпугивающее немалое число не только рядовых читателей.

В 1978 году, впервые после 1921 года, вышла в СССР книга А. М. Ремизова *Избранное* (Москва, ГИХЛ). И, конечно, во вступительной статье, в общем достаточно содержательной, Ю. А. Андреев должен был сказать, что Ремизов до отъезда из СССР в 1921 году «издал 37 книг. С 1921 года по 1957 — 45 книг. За рубежом, таким образом, написано многое. И, однако, когда потребовалось составить одностомник его избранных, лучших произведений, почти невозможно оказалось ввести в это издание хоть что-либо, написанное в эмиграции, за исключением некоторых действительно ярких эпизодов из воспоминаний о давнем прошлом, ибо в большинстве своем послереволюционные вещи редко выдерживают даже снисходительное сравнение с теми, что были созданы на Родине».

И Ю. А. Андреев не может не отталкивать от себя (хотя нет-нет, да и прорвется в его статье подспудная увлеченность творчеством Ремизова-эмигранта, наиболее полноценным и полнокровным периодом его творчества) зарубежного Ремизова, утверждая, что апогей творчества последнего — его «звездная» пора, пора реалистических произведений — самое начало века. А пора эмигрантская — ну, это упадок: в лучшем случае — автобиографические повести, а так — больше всего сказочки да легенды...

Но то и дело цитирует он неизданную «Иверень», сам, видимо, упиваясь ее языком и образностью: «Цвет, переполняясь краской, звучит, и звук, дойдя до краев, напряженный, красится, и мое — моя душа, взбудараженная, переполнившись, выбилась словом, заговорила»...

\* \* \*

Меня всегда поражало: говоря о Ремизове, подчеркивают его скомороший сказ, его юродство, хвостики чертят и всяческой нежити, развешанные в его порядке беспорядочной квартире. Вспоминают известную хитрецу, просвечивающую во всем его облике. И как-то редко-редко видят глубочайшую трагичность его жизни и творчества: не уныние, а безысходную печаль, прорывающуюся в самых беззаботных, на первый взгляд, его произведениях, часто автобиографических, еще чаще — полуавтобиографических. И вот еще: это то, что большинство читателей — и вообще людей — никогда не прощает: оригинальность неповторимо-одиноким личности, личности беззаветно творческой, отсутствие в его вещах уже давно и всеми проторенных, давно исхоженных мест и путей.

«Припоминая только свое “безысходное”, я курил мою горькую полынь и в глазах у меня темнело. Всю жизнь меня тыкали: пишу непонятно и не гожусь или “не подхожу к нашему читателю”. А издатели не принимали моих книг: “я не самокупаем”. И те из пишущих, кому помог в ремесле, стесняются моего имени или просто плюют на меня. В газетах меня печатают из милости. Можно ли привыкнуть просить? Нет. Скорчась — я ведь и горбатый-то от попрошайства — я попросил бы, да нынче нету газет, некуда сунуться. И, вспоминая свой пропад, я отходил, не спрашивал... И чернота кутала меня...»

Пишущим собратьям Ремизов помогал безотказно. По себе знаю. И сколько писателей, и в СССР тоже, шли по его стопам. Но, увы, чаще всего чисто формально. Мало и недостаточно учился у Ремизова Алексей Толстой. Недостаточно — Пришвин: слишком уж был он приземлен ужасающе приземистым позитивизмом. Пильняк был слишком разболтан и расхлябан, да и культуры недоставало. Прочие же прозаики-«орнаменталисты» двадцатых годов понимали зачастую не выше сапога элементарной литературной техники, как ни муштровал их в «Доме Искусств» в студиях и кружках едкий и умнейший Замятин (может быть единственный, кто, наряду с Михаилом Булгаковым, воспринял немало от Ремизова). Уж не Леониду ли Леонову понять было ремизовское время и ремизовскую обратную перспективу? Или ремизовский литературный портрет-гротеск? —

«...А по мне: ведь лучший портрет тот, где карикатурно, а значит, не безразлично», — обращался Ремизов к В. В. Розанову (этим-то путем и идет за Ремизовым Михаил Булгаков, писатель совершенно иной тональности, но многим Ремизову обязанный). Это писал Ремизов в «розановых письмах» — своей книжке «Кукха» (Берлин, 1923).

Вот и рисовал Ремизов — и словами, и красками, и пером — и шаржи, и карикатуры, и случайные брызги чернил, чуть тронутые пером или карандашом, — и «закрутами» слов, — и образ случайного и произвольного в нашей жизни получался у Ремизова — в прозе ли или в рисунке — или в стихах (у него плохо отличимых от хорошо ритмизированной прозы) — не надуманным, а заживо выхваченным из жизни, не из случайной ее шелухи, а из ее бытийственного ядра.

А у него прозаики-орнаменталисты чаще всего и заимствовали лишь его внешнюю скорлупу-форму. Заимствовали, учились у него,



а ему-то самому никак не помогали — даже просто заработать на жизнь...

Ремизову дивовались, его чурались, хотя никто не удивлялся в начале века ни хореодействиям Вячеслава Иванова, ни «театру для себя» Евреинова. А вот скоморошьям действиям в быту и на сцене Ремизова удивлялись и насмешливо пожимали плечами. И никак не хотели понять, что в творчестве и в жизни этого большого писателя было два крепко связанных друг с другом плана-слоя: непосредственное творение литературы и творение своей жизни, своей личной биографии. И в творчестве — чаще всего начало исповедальное, почти сплошь трагическое или иронико-трагическое. И другой план-слоем — литература — и жизнь опосредствованные, как бы вторичные — полное осовременивание образов, идей и самого языка прошлых веков и прослеживание в современности не истоков даже, а сокровенного **нутра** прошлого. Но опосредственной-то эта литература (и жизнь) была лишь для поверхностного взгляда. Сам же Ремизов рассматривал и время, и пространство в перевернутой, в обратной перспективе.

И поэтому ходил запросто по Советской России Никола Милостивый, а Король Марк (в «Тристане и Исольде») слал телеграммы и чуть ли не разговаривал с Тристаном по телефону... Отсюда же и такое пристальное внимание Ремизова к снам: ведь в сновидениях мы как раз наиболее непосредственно соприкасаемся с самими собою — и с самою действительностью, не загроможденной для нас во сне сумятицей и дразгом, пестрядью дневных дробностей. Да и сон часто является памятью будущего — перевернутой памятью прошлого, предвиденьем. А многие приятели и друзья Ремизова умоляли его: «Алексей Михайлович, пожалуйста, не видите нас во сне!»

Трагедия жизни — и трагическая память. Трагедия жизни, разделенной и поработанной временем и пространством. Они отделяют нас от наших любимых, от всего, что нам дорого.

«...И разве забыть мне каменные сквозящие плиты, тесные пределы у Николы Великорецкого — в храме Василия Блаженного, и эти тяжелые вериги по стене — какими глазами я глядел на них! Это были *мои* вериги — добровольно надеть на себя и идти в мир за страдой. Но однажды, выйдя на Красную площадь и невольно сторо-

нясь кровавого Лобного места, я вдруг остановился: явственно надо мной выговаривал дьячий голос — «а велел его держать за крепкими сторожи, сковав руки и ноги и на шее цепь». *Trances perpétuelles...* боязнь кругосветная или всесветный страх. Узел неразвязываемый и никак неразвязывающийся. Я окружен постоянным страхом и невозможно привыкнуть»...

Страх жизни, трагической жизни, трагической неизбежной цепи поколений, а в наши дни жизни, испещренной кровавой неразберихой войн и революций; преизбыточной потерями ближайших, скитаньями, голодом и холодом (и в самом прямом — и в духовно-душевном смысле слова), кровавыми расправами. Иной раз не только хочется, но просто необходимо видеть за этой реальностью другую, — иначе не станет ни сил, ни охоты жить. Но ведь это так и есть: за этой нашей реальностью — другая, более реальная.

«Работаю, стиснув зубы. Говорят, пишу непонятно. А я не могу снижаться до понимания людей, которые не дают себе труда подумать над тем, что читают... Да и кто читает? Вот французы признают меня, а русские — нет» (Андрей Седых. «Далекие, близкие»).

Одинокий — из-за своеобычности. Одинокий, ибо за мнимой действительностью повседневно видел реальность с у т и. Да еще: если бы была у Ремизова крепкая вера. А хотя и столько писал он и о Звезде Надзвездной, и о Николе Милостивом, но вера-то его — больше от эстетики. Вот страдание и сострадание, вот возмущение горькими судьбами мира сего — это горячо, как и в дни юности и революционных увлечений. Недаром написал он и об Ангеле Страстей Господних, нестерпевшем лицемерия страстей Господних: увидел он Распятое Слово, увидел тяжкую несправедливость мук Праведника, да еще Богочеловека, и не смог утешиться холодными рассуждениями об искупительной Жертве за человечество: метнул копые негодования, жалости и мести в тьму веков и тьмы людские... В Ремизове, несомненно, жили и Фома Неверный («Верую, Господи, помоги неверию моему!»), и Иван Карамазов с его неприятием Царствия Божия — из-за страданий ни в чем неповинных...

Даже не трагедия: безысходность. В этом и «закруты памяти» Ремизова. «...Я подумал: когда на меня нахлестывает черная волна и сердце мое вдруг обнажается, что это? может быть это оттуда? Не знаю как назвать: память?»

Прочтите редчайшую по красочности, ярчайшую и умную ремизовскую хронику революционных лет. «Взвихренная Русь». Мало кто так великолепно воплотил в слове эти годы, когда миллионные толпы бежали — кто от голодной смерти, в поисках более сытых мест; кто — от красного террора, от пыток и смерти в застенках ЧК; кто бежал, наоборот, к красным, а кто в Белую армию... «Я никогда не думал, что можно так безнадежно терять голову. Или, действительно, страх осетил душу и безголовым подхлестывал ноги? ...И куда девалось чутье деловых людей и счетчик — глаз купца? Бежать! И одна только грозная воля: беги! И ноги — единственное, что что-то еще значит, ноги — преимущество давно исчезнувших скороходов и состязающихся для забавы бегунов — стали первым, а все остальное от головы — так...»

Вы скажете, но ведь люди и боролись, и воевали за свою идею, и отстаивали ее в спорах... Да, но страх обуял миллионные толпы. Но он — «Пилатов грех» (в «Мастере и Маргарите» Булгакова) — царил в стране.

И эту-то смятенную, мучительно страждущую, грешную и распущенную, но бесконечно дорогую ему Русь, Русь, взвихренную революцией, ярко и правдиво рисует нам эта книга, книга Алексея Ремизова.

*Борис Филиппов*



**В. И. ПОЛЬ**  
**И**  
**«АНГЕЛЬСКИЕ СТИХИ» ВЛ. НАБОКОВА**

Вскоре после того, как вышла моя книга «В поисках Набокова», и до того, что дошел до Парижа посмертный сборник стихов его \*), я получила от К. С. Григорович шесть стихотворений, посвященных Владимиру Ивановичу Полю, под общим названием «Ангелы». Они были перепечатаны на пожелтевших листках, по новой орфографии, наверху написано: «От В. Д. Набокова» и помечены «Крым, 1918 г.».

По правде говоря, я не сразу приняла их за набоковские, не только по их тематике, но и по тому, что Набоков всегда употреблял старое правописание. Но, сравнив эти стихи ранней его молодости со стихами сборника «Гроздь», написанными в 1923 году, нашла в них общность и попросила К. С. Григорович сообщить мне, каким образом они у нее оказались. Ей передал эти стихи сам В. И. Польш, с которым в Париже она и ее семья были дружны и переписаны они были им; что стало с подлинником — она не знает, а имя не поэта, но отца его, Владимира Димитриевича Набокова, стоит там потому, что не Владимир Владимирович, а именно его отец передал их тому, кому они были посвящены.

Я два раза встречала престарелого музыканта у И. А. Лабинской, вдовы пианиста Лабинского. В. И. Польш с женой, певицей Ян-Рубан, жили в том же доме, что и Лабинские, на авеню де Версай, в 16-м аррондисмане Парижа.

Человек Владимир Иванович был не только всесторонне образованный, но и весьма странный, «не без сумасшедшинки». Спиритуалист, уже годами приверженный к «мечтательному оккультизму», отмеченному существовавшим в декадентском Санкт-Петербурге увлечением индийской мудростью — по следам Блаватской, — масон и, говорят, даже розенкрейцер, Польш производил впечатление прелестного, честнейшего, образованнейшего, но и несколько духовно-наивного человека, из тех, которые, ища истину, становятся жертвами тех, кого Сергей Маковский, в своем очерке о Поле, на-

---

\*) Владимир Набоков. Стихи. Изд. Ардис-анн Арбор. 1979.

зывает «плутоватыми духовидцами», существующими и в наше время.

Жил В. И. до старости по системе «йоги», не пил, не курил, вкушал какую-то особую пищу и проделывал какую-то гимнастику — даже в старости становясь вверх ногами — убежденный, что таким образом он доживет до 100 лет. Я познакомилась с ним, когда его жена, Ян-Рубан, камерная певица, уже умерла, проболев немало месяцев тяжелым нервным заболеванием.

В 1909 году москвич Поль стал сотрудником «Аполлона», но как музыкант выступал чаще в Москве, чем в Петербурге, часто вместе со своей второй женой, Ян-Рубан, которой он всегда сопровождал. По-видимому у Поля не было «громадного» таланта, но было большое музыкальное чутье. Из его собственных произведений, его друг Рахманинов очень высоко ставил его «Поэму для левой руки». Ян-Рубан (Анна Михайловна, урожденная Петрункевич), не обладая очень большим голосом, зато обладала безупречной музыкальностью. Маковский пишет: «Концерты Ян-Рубан и Поля были праздником для всех, любящих музыку».

Едва началась революция, весной 1917, Поль и Ян-Рубан переехали в Крым и там поселились в Гасире на даче известной общественной деятельницы, гр. С. П. Паниной, с которой Ян-Рубан состояла в свойстве (на этой же даче в 1904 году жил тяжело больной Толстой). Вскоре в Крым устремились «вся Москва, весь Петербург», с преобладанием Петербурга. Маковский поселился с семьей в Симеизе. К осени и зиме 17-го года Крым был уже наводнен «северянами» разных общественных положений: великие князья, Хан Нахичеванский, жена и дочери расстрелянного в окт. 1918 г. в Кисловодске, с его братом, князя В. Шаховского, гр. Воронцовы, кн. Тенишева, кн. Юсуповы, промышленники Харитоненко, Бруновы, артисты, художники, Судейкин, Миллиоти, Коровин, скульптор Дерюжинский, всех и не перечислишь — и в необычных таких обстоятельствах пали, конечно, и социальные перегородки.

Среди приехавших были и две семьи Набоковых. Владимир Димитриевич Набоков, со старшими сыновьями, Владимиром и Сергеем, жил тоже в Гаспре, а семья его брата Сергея Дим. в Ялте.

Несмотря на трагичность положения, культурная жизнь не

угасала. Неутомимый Маковский, желая прийти на помощь художникам и артистам, организовывал концерты и выставки. Одна из них была устроена, с благотворительной целью, графиней Елизаветой (Бетси) Шуваловой, в Симеизе, в пользу русских передовых художников. В Симеизе жил и генерал в отставке И. С. Мальцев, страстный меломан. В его доме был даже некий музей редких музыкальных инструментов. В. И. Поль и Ян-Рубан, в большом двухсветном зале мальцевской дачи давали концерты. На одном из них Ян-Рубан исполнила романс Шумана на слова Гейне *Ich groÙe nicht*, по-русски, в переводе Владимира Набокова: «... нет злобы, нет / все глубже боль, острее / счастье навек ушло / но злобы нет / хоть ты в лучах / не проникает свет / во тьму души моей...» И певице, и переводчику была устроена овация. На этом же концерте пел Михаил Волконский (мой троюродный брат), под именем Верон.

В. И. Поль сказал К. С. Григорович, передавая ей тексты стихов В. Набокова ему посвященных: «Отец Сирина как-то пожаловался мне:

— Вы знаете, просто беда с Володькой! Он способный, пишет хорошие стихи, а занимается лишь тем, что бегает и ловит бабочек. Не могли бы Вы, Владимир Иванович, повлиять на него и постараться хоть на время оторвать от бабочек и написать стихи.

Я попробовал направить мысли молодого Набокова на то, что лично меня привлекало, на мистику. Володя попросил меня дать ему книги по таким вопросам, а так как библиотека была обширная, я снабдил его материалом».

Через некоторое время В. Д. Набоков принес Полю стихи, автор их сам куда-то уехал. Вот поэтому на первой странице мне переданных стихов и стоит заметка Поля «От В. Д. Набокова».

В это время Набоковы уже готовились к эвакуации. Судьба же просвещенных «крымцев», не пожелавших или не успевших эвакуироваться, была трагична. В. И. Поль \*) и Ян-Рубан не убежали — и если они не стали жертвами расправ Бела Куна с классовыми

---

\*) Сын Поля от первого брака, богослов, был в 1923 году сослан на Соловки и там погиб.

врагами, то только потому, что большевики их использовали для «народного развлечения». Попали они в эмиграцию позднее. Среди множества убитых, кроме оставшихся в госпитале белых раненых, была престарелая 80-летняя княгиня Барятинская и все Мальцевы, во главе с генералом меломаном (кроме двух малолетних его внуков).

«Ангельские» стихи Сирина-Набокова, конечно, не безупречны по форме, но интересно их создание «по заказу». В сборнике «Стихи» изд. Ардис приведено такое заявление Владимира Набокова, поясняющего периоды своей поэзии. Тот, который «продолжался далеко за двадцатый год — пишет он — был «ретроспективно-ностальгического кураторства» и «стремления развить византийскую образность». «Некоторые читатели — подчеркивает Набоков — ошибочно усматривали в этом интерес к религии, который ограничивается у меня литературной стилизацией».

Можно ли верить такому категорическому отвержению длительного периода, продолжавшегося до 30-х годов, тем более, что никто не может сомневаться, что Набоков был мастером обмана, великим камуфлятором, не только не желающим наводить читателя и исследователя на свой след, а, наоборот, посылающим их на ложный путь.

Я не сомневаюсь, что поэзия не терпит лжи и притворства, поскольку она не может не отражать тайное человека, пусть это тайное и противоречиво, как противоречив и изменчив всякий человек. Пушкин был одинаково искренен, когда он осуждал царей и когда он воспевал царей.

В этом посмертном сборнике, без посвящения В. И. Полю, находится только одно стихотворение, несомненно из цикла 12 стихотворений «Ангелов» и помечено оно «Крым, 1918 г.», но есть и другое, посвященное Полю «Эфемеры», без даты, оно тоже имеет «ангельский» мотив.

Подтверждение моей догадки, что стихотворение в этом же сборнике от 1922 года «Пасха» на Смерть Отца с такими строками

... Ты умер, а сегодня  
синеет влажный мир, грядет весна Господня...

и

Но если перезвон и золото капли —  
не ослепительная ложь,  
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,  
великое «цвети», — тогда ты в этой песне  
ты в этом блеске, ты живешь...

никак не отзывается стилизацией или «стремлением развить византийскую образность».

Мог ли бы Набоков, для упражнения в творческом освоении навязанной, но противной ему темы, написать славословие Сталину или Гитлеру? Да и вообще кому-либо, ему в какую-то эпоху совсем несозвучному? Очень сомневаюсь, и уверена, что какая-то часть его личных переживаний входила в эти юношеские стихи.

Перед «Херувимами», которые «из мира в мир перелетают» и «как вереницы облаков, плывут над безднами творенья, плывут расчисленных миров запечатленные виденья». В «Престолах» Ангел воспевает «все мирозданье, величие Творца и красоту созданья», а «Ангель Хранитель» «в часы полуночи унылой» робко глядит в душу молодого поэта «и тихо дышит, разгоняя мои кошунственные сны. И я, проснувшись, ненавижу губительную жизнь мою».

С 30-х годов, действительно, «ангелы» отлетают и «перья золотые с его незримого крыла» обращаются в пыльцу с крыльев бабочек, обреченных булавке и формолу. Полная стилизация в поэзии, без участия внутреннего побуждения, Набокову как раз не удастся и в сборнике «Стихи» это доказано наглядно удивительно неудачным пастишем на Марину Цветаеву «Иосиф Красный». В. Набоков зато был талантливейшим пастишером в прозе.

*Зинаида Шаховская*

#### *Источники*

«На Парнассе Серебряного Века» Маковский ЦОПЭ 1962 г. и по рассказам К. С. Григорович, С. С. Набокова, А. В. Витте.

Стихи: «Начала», «Власти», «Ангел-Хранитель», «Херувимы», «Престолы», «Господствия» — у меня имеющиеся — ровно половина цикла из 12 стихотворений посвященных «Ангельскому чину».



**ИЗ ПЕРЕПИСКИ АРХ. ИОАННА (ШАХОВСКОГО)  
С БОРИСОМ ЗАЙЦЕВЫМ**

25/XII 1946

†

Дорогая Вера Алексеевна,

Спасибо Вам и Б. К. за приветы Ваши. Хоть и живу за тридевять земель, как-то совсем не ощущаю расстояний; а так, как будто все мы на пяточке одном. И, хотя давно не видались мы, но и этого как-то не существует также («давности»). Видно клеточку земную мы преодолеваем — по всем направлениям из нее просовываемся, в ожидании и полного освобождения, которое придет (не замедлит). Я рад, что смог Вам послужить — мыслю, — «во вне клеточки» направленной; — хорошо все туда глядеть, в этом и вся соль жизни.

Удивительно, до чего здешние души похожи на... европейские, и на все вообще; а то так подумаешь, что «тридевять земель», это что-то особое. Но нет. Все один круг. Много, много дела для сеющих и жнущих... Пищу Вам из раеобразного местечка: Санта Барбара (2 с половиной часа к северу от Лос Анжелеса), — эти дни тут окормляю малую группку православных. Маленькую часовню сделали из гаража... Хорошие души. А совсем недавно пришлось пересечь континент, — был на Церк. Соборе в Кливеленде, потом в Нью-Йорке, а обратно вернулся через Вашингтон и Новый Орлеан (где на старом французском наречии говорят)... Как скромн «Белый Дом» Вашингтонский, — очень мне понравилась эта скромность.

Борису Константиновичу понравилась бы долина реки Миссисипи и Мексиканская пустыня, чрез которую я и вернулся в Калифорнию. Как-то едешь и не веришь глазам своим, что никто тут не живет, средь этих волнистых гор и чистых просторов, мягким светом озаренных... Глаз, хоть не верит, но отдыхает и удивляется очень, — привык, бедный, все к жилищам человеческим, к мельканию внешней, не сущностно воспринимаемой человеческой жизни. Но тут ему покой... И удивлялся я еще, как вдруг вырастает в пустыне город, — и оттого что люди, только, потрудились, стали тут качать из глубины воду, — и все расцвело. Слишком явственное указание, куда направлять «кипящую энергию», канализирующуюся

к войнам и революциям... Пустыня, — вот выход для всех народов, — и сколько ее еще в мире! А Европа страдает от недостатка пространства... Вся плодороднейшая Калифорния, на юге целый год цветущая, — все это — пустыня, возделанная трудами человека.

Будьте здоровы, крепки, — помогите Жуковскому сказать свое бодрое и мягкое слово людям нашего времени.

Призывающий на Вас, на Б. К. и на тех, чьи имена Вы мне послали,  
Милостивое Божье Благословение

С любовью о Христе

архим. Иоанн

\* \* \*

10. I. 52

С Праздником Рождества Христова, с Новым Годом,  
дорогой Владыко!

Очень тронут был Вашим письмом-приветствием, столь своеобразным и глубоким. Сердечно благодарю.

На ближайших днях высылаю Вам из ИМКи «Жуковского» — «Богу содействующу», и дойдет.

Оба мы, я и Вера Алексеевна, пока еще живы и здоровы, оба шлем Вам лучшие пожелания на Новый год и просим Ваших св. молитв. Редко приходится с Вами встречаться, но у меня — еще со времен Афона, на который Вы меня натолкнули — сохранился особый оттенок отношения к Вам. Будто невидимая ниточка, а протянута, соединяет.

А с Буниными, к сожалению, все оборвалось. Владыко, помолитесь и о них. Они оба старые, больные... на все и всех раздражены. Мы не встречаемся. Но от уцелевших общих знакомых знаю, что И. А. предельно худ, измучен [болезнью и самим собой], Вера тоже. Жизнь их ужасная.

Господь Вас храни.

Ваш Бор. Зайцев

Р. С. Очень благодарю за «За Церковь».

\* \* \*

14-го октября, 1954 г.

Сан Франциско

Дорогой Борис Константинович,

Недавно прочел я Вашу книгу о Чехове. Как бережно, заботливо «распутали» Вы его, «реставрировали», воссоздали творение Художника Первого. Д о б р а л и с ь д о н а с т о я щ е г о Ч е х о в а . Ничего, кажется, не пропустили добираясь до его сути, которую он, может, и сам не до конца видел. Ваша книга есть извлечение «драгоценного и ничтожного», по слову Господню, сказанному пророку: «если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как Мои уста»...

Биография эта, конечно, не только «литературная», а стоит, в сущности, на грани литературы и того, что «сердце сердцу говорит в немом привете». Не все читатели расслышат этот «привет» Ваш, как Чехову, так и читателю его и своему. Но, «привет» Ваш все-же коснется многих и заронит в сердца нечто, открывающееся з а Ч е х о в ы м , ради чего мы и живем тут. Это любовь к человеку, А отшелушить в нем все, ради чего не стоит жить и не живем мы тут... Что можно сделать большего в биографии? Тем более — литературной... Писатель-христианин не может быть празден от именно такой любви. Ее надо возвещать.

Вам, вероятно, покажется странным один пункт: но мне, как-то кажется, именно в «Архиерее» открылась узость горизонта Чехова. «Архиерей» сделан как-то о ч е н ь для меня ч у ж д о . Ни одной черточки нет в нем близкой, в строе его переживаний... Это, конечно, не «старец» Толстого, не «Отец Сергей»; но, в чем-то подобен ему. Прямого опыта религиозного не раскрывается в нем. Он весь в плане «психологическом», «душевном». И неудача рассказа в том именно, что хороший человек выведен. Вудь он не «положителен», как тип, была бы более оправдана его религиозная безхребетность духовная, безжизненность.

Как то сердце мое не спокойно за Бунина... Пред самым моим стлетом в Англию [год назад, когда летел через весь мир], совсем поздно, от Струве, мы с сыном П. Б., доктором, заехали; и — посидел я последний раз с Иваном Алексеевичем, не то 1/2 часа, не то час. Он смог пройти в столовую, расположился за столом, и поговорили, не исключая темы и о т о м м и р е . . . Как-то захотелось ему

с Мережковским заполемизировать, что мол чудак, думал, что «с Лермонтовым» встретится т а м!.. Я все же сказал ему, что т а жизнь несравненно р е а л ь н е е этой. Уходя, крепко обнял его и благословил. Он с полным благоговением это принял и остался сидеть сторбленный, такой несчастный с виду, словно загнанная мышка в самом последнем уголку подполья своего... И Чеховым, как раз, был занят, когда пришла минута переходить...

Ведь тайна в том, что количества талантов мы не знаем, — ни в себе, ни в других; и оттого н и к т о, ни про себя, ни про другого, не знает, сколько «дано», сколько «отдано» Богу, Кто дал... Талант же главный, разумеется не физический и не душевный [не искусство], но духовный, — талант духовных возможностей и сил... Это проблема неразрешаемая на земле. И оттого нельзя [не то, что не позволяется, но нельзя, по самоочевидности] судить другого: нет ни у кого меры, с которой можно сравнивать данный уровень человека. Но, есть и бывает какой-то «вздых несвершенного», который вьется за человеком. Вздых с непросветленности и непримиренности. О, если бы душа воспрянула, хотя бы в последний миг...

\* \* \*

Великий Понедельник  
11 апр. 1960

†

Дорогой Борис Константинович

Спасибо за строчки Ваши, столь ценные мне.

Рад сведению, что В. А. крепче. Это ведь любовь Ваша и крепость духа, веры. *Этим* она выживала и живет, в этом мире... И Вы сами от этого имеете новую силу... Это, как Евангелие Светлой Ночи: «благодать во благодати». Господь любит светло любящих.

В. Смоленскому, прекрасному поэту, имел возможность выслать (чрез одно лицо — с Дарю) 20 долларов. А здесь прилагаемой бумажкой прошу Вас порадовать чем либо «пасхальным» Веру А. Буду Вам признателен за исполнение этого моего желания.

Как хорошо Вы написали об о. Киприане. Я помню его еще в Лицейском Саду, — он на 4 года был старше меня. Потом, по дороге на Афон (на постриг), встретился с ним в Сербии в 1926 и свершил паломничество во фрушкогорские монастыри. Монашество он вскоре принял, после меня. И был у нас с ним один и тот же духовник, несколько лет спустя в Югославии, — батюшка о. Алексей Нелюбов (туляк), духовник женского хоповского — б. Леснинского — монастыря. — Но позже, уже в Зап. Европе, как то не наладился с ним братский контакт (как хотелось мне). — И здесь что-то было иррациональное, во что я не хотел вникать, а только жалко... А теперь, опять, все уже перешло в иное. Мы еще — на ниточке — тут; он — там уже. Вы хорошим словом его проводили.

Обнимаю Вас, дорогой Борис Константинович  
и призываю на Вас и близких Ваших  
Милость Божью

Если приведется быть в Париже больше чем на день-два, надеюсь повидать вас обоих.

А разбить надвое стихи в «Р. М.» было, может быть, лучше (до меня еще не дошли эти №№).

Р. С. Очень интересное явление: стали доходить до меня письма с разных концов России от... слушателей... (Перестали оказывается глушить там «Г. А.»). Задают всяческие вопросы... Кое-кто м. б. и по заказу. Но — сколь расширилась «аудитория». Через 40 лет странствий, вхожу в «Землю Обетованную», в образ Царствия Божия, — словом о Христовой Православной вере — родному народу. Вот милость Божья, — за которую ничем нельзя воздать...

\* \* \*

2 июля, 1962 г.

Дорогой Владыко, вот произведение левой руки моей бедной Веры! — Ее лечат сейчас по грубому [«rééducation»], результаты есть, если Богу угодно будет, последние ее и мои годы будут озарены. — Спасибо Вам великое за все — главное, за доброту и участие — мы чувствуем это на огромном расстоянии.

Лозинский у меня есть. Он — лишнее подтверждение того, что терцинами переводить почти невозможно\*). При всем его мастерстве, ему приходится прибегать к ужасным насилиям над русским языком — и это иначе быть не может. [Знаменитый перевод Мина, над которым он работал 25 лет, по-русски читать труднее, чем по-итальянски]. Вообще же, конечно, всякий перевод, мой в том числе — бледный снимок с оригинала. И чем оригинал выше, поэтически, тем перевести труднее. [Стихов Пушкина иностранцы не знают, и если читали, находят посредственными]. А вот Бердяев выходит отлично на всех языках.

Просим Ваших св. молитв, любим и ждем в Париже.

Ваш Бор. Зайцев

9. 2. 1963

†

Дорогой Борис Константинович, — приветствую Вас и Веру Алексеевну! Получил Ваше письмо. Какая хорошая мысль — издать «свято-русскую» серию Вашу. Если хотите, чтобы я над этим вопросом подумал, я постараюсь обдумать его, и м. б. найдутся какие-либо «координаты» здесь... Вполне понимаю Ваше отношение к «Humanities Fund». Если что можно будет по другим линиям сделать, я Вам сообщу (не знаю только, связаны ли Вы «правами» с ИМКА-Пресс, на какую-либо из этих книг, — думаю, что тут не будет осложнений...).

Очень интересно, какова была Ваша встреча с Паустовским и о чем говорили Вы и был ли тут какой-либо человеческий контакт (не говорю — с Вашей стороны, тут сомнений нет, а — с его).

Е. повидимому с какой-то стороны (либо с поэтической, либо с религиозно-философской, м. б. комбинацией сего) был затронут книжечкой «Странника», т. к. читал наизусть оттуда стихи (напр. стр. 62)... Я не думаю, что он «коммунист». Он ловко себя там «камуфлирует» в защитный цвет — «полосами», как парашютист — и действительно духовно там является неким парашютистом, «прыгает» — с абстрактного коммунистического неба на простую русскую землю... Некий *освобожденный гуманизм* в нем есть. Эта черта вы-

\*) Речь идет о переводе Данта, в связи с опубликованием зайцевского перевода «Ада».

ступает и у других. Любопытно, что тему восьмистишия «Тайнодействия» (стр. 23 «Странствий») он взял темой всей своей книги: «Взмах руки» (1962) и ее первого стихотворения (написанного в том же году, в начале которого вышли «Странствия»)... Я получил с приветствием авторским очень лиричную книгу стихов Л. О. Тоже тут преломляется гуманизм (коим преодолевается, думаю, тема «коммунизма» у многих)...

Трогательна все же эта «мистика» — «с чернилами пузырьков» — (как и романтика «поездов» у других там поэтов)... Я думаю все же, что накапливается под ледяной коркой какое-то подснежное царство, коим живут люди... И во все это, право, можно вкладывать то, что в форме церковной и богооткровенной еще недостижимо...

С любовью призываю на Вас, Веру Алексеevну  
и милую дочь Вашу, утешающую Вас  
Божие благословение и укрепление  
С любовью, Ваш

Арх. Иоанн

То, что хотелось бы Вере Алексеevне, прошу приобрести на прилагаемую бумажку цветную. Надеюсь, у Вас препятствий не будет ее реализовать.

Что надо еще издать и сейчас помышляю о сем: еще не изданную поэму Максим. Волошина:

«Святой Серафим»  
(напис. им в 1919 г. \*)

Я думал, что она сторела у меня в Берлине, но нашлась там ее копия и мне прислали... Ценная поэма, — фактически житие преп. Серафима в волошинских (полу-белых) стихах... Хочу и в Россию об этом передать...

\* \* \*

6 марта, 1963 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Владыко, задумал я одно литературное предприятие, хочу обратиться к Вам за помощью или со-

\*) Оконч. 30. XII. 1919.

ветом. Есть у меня книжечки «Преп. Сергей Радонежский», «Афон» [Ваши вдохновленный] и «Валаам». Все это давно разошлось. Достать нигде ничего нельзя. Идея такая: соединить все вместе, получится книга страниц в 300. Ее можно было бы назвать «Святая Русь», или что-нибудь в этом роде.

Тут Вы начинаете уже понимать, куда все это клонится. Конечно, к тому, чтобы поднять издание материально.

Мысль об этом давно во мне сидит, да все как-то не решался переходить к «действию». Но времени уж остаётся мало [мне 82 года], а ведь это направлено к прославлению духовной Руси, ныне на Родине заушенной. Кто знает, может быть, со временем книга попала бы и туда, и там кто-нибудь соприкоснулся-бы с удивительным и высоким [а то и высочайшим], что было на земле нашей. «Толците и отверзится». Вот и пробую постучать. — Нельзя-ли подтолкнуть какое-нибудь американское сообщество — православное или протестантское — на некий меценатский жест? — С Dante я тоже долго колебался, наконец, меня поддержал Humanities Fund, но второй раз обращаться туда неудобно [тем более, что они несколько поддерживают меня и вообще — ведь Вы понимаете, дорогой Владыко, что заработком в «Русской Мысли» не проживешь и неделю].

Буду очень, очень признателен, если в той или другой форме окажете содействие.

Вера, приблизительно, в том же виде. Держит нас обоюдная любовь и милость Божия. Ваше посещение для нас незабываемо. Был у меня Паустовский. Хороший человек, но совсем из другого теста, чем Вы. А Евтушенко меня удивил: он сказал английскому \*) Оболенскому, что очень ценит Ваши стихи. Я тоже ценю, но я не коммунист и не атеист. А ему как будто и не полагалось бы. Если это не кокетство с его стороны, то тем лучше. Он талантливый человек, но на опасном пути. — Зинаида Алекс. поместила обо мне изящную статью в «Revue des deux mondes» — дай Бог ей здоровья.

Оба мы шлем Вам лучшие пожелания. Помяните нас в Ваших св. молитвах.

С любовью

Борис Зайцев

\* \* \*

\*) Дм. Дм. Об-му, профессору Оксфордского Университета.



19 июля, 1965 г.

Дорогой, глубокоуважаемый Владыко, очень рад был получить от Вас светлую, как всегда, весть — Вы и раньше являлись в дом наш светлым лучем [незабываемым], теперь явились в дом осиротелый, но любовь к Вам в нем сталась прежняя. [Ваших молитв и благословений ни Вера покойная, ни я, никогда не забываем].

Несколько слов о ее земном конце: в четверг на Страстной, когда ей было уже плохо, но сознание еще не покинуло, я читал ей и Наташе Двенадцать Евангелий. К концу она устала, дослушала уже в полузабытьи. Но, когда я подошел к ней, на лице ее было блаженное выражение. Потом наступило беспамятство. Оно продолжалось всю пятницу и субботу.

Но представьте, на Первый День, 25 апреля, она проснулась, совсем почти как раньше, с улыбкой и нежностью ко мне и Наташеньке. В этот день к нам зашел давний друг наш итальянский, римский проф. Легатто, который всегда очень к ней хорошо относился — она к нему тоже. Он ее обнял, поцеловал, сказал по-русски: «Христос Воскресе!», она ответила совершенно явственно: «Воистину Воскресе». Весь день был веселый и радостный. Я пел ей «Христос Воскресе из мертвых...» и т. п. Это был последний день. С понедельника опять беспамятство. В четверг некий просвет, улыбнулась, прошептала мне «папа», Наташеньке «мама» [она так нас называла в болезни], — и опять прежнее. Ничего не ела, ничего не пила. Вливали питательную жидкость *goutte à goutte*, часами, но ничего нельзя было сделать. Почки совсем перестали действовать. 11-го мая, в 4 ч. утра, не приходя в сознание, скончалась. Отпевание было на *Daqu*, очень торжественное, море цветов, хор, полный храм. Погребение на *St. Geneviève des Bois*.

---

О Вашей болезни узнал, но довольно поздно, душой и сердцем с Вами, рад весьма, что Вы крепнете и вскоре, наверно, начнете свою благовестническую деятельность.

Низко кланяюсь Вам, люблю и посылаю всяческие благопожелания.

Ваш Борис Зайцев

P. S. Простой бандеролью посылаю Вам новую книгу свою «Далекое».

\* \* \*

1 сентября, 1965 г.

Глубокоуважаемый, дорогой Владыко, надеюсь, Вы уже поправились, отошли от Вас докучные дела болезни. Дай Вам Бог сил.

Сердечно благодарю за письмо о Вере. Ваши посещения во время ее болезни и Ваше действие на нее и на меня незабываемы. Кланяюсь Вам земно за любовь и поддержку.

Сейчас чувство, что иду к ней. Как это произойдет, не знаю и не понимаю так же, как некогда в Калуге, шестнадцатилетним гимназистом, не мог ответить старушке-вдове Крич, у которой жил, на вопрос о покойном муже. [«Вот, Боря, ты умный человек, объясни мне, как я узнаю на том свете моего Жоржа?»]. Жизнь прошла с тех пор, а тайна такая-же, но чувствую теперь больше, может быть, потому, что тогда я не был еще прикреплен нитью нерасторжимой ни к кому. [Просто был «Зайчик», первый ученик в классе, сидел на последней парте, откуда удобно было подсказывать].

«Книгу свидетельств» читаю медленно, по частям. Некоторые главы потрясают [«Плимутские братья»]. Вообще же, книга замечательная, и работа, «трудничество» Ваше замечательно, Владыко — это не «слова», не зря сказано.

Дай Вам Бог сил и для дальнейшего благовестия.

Всегда благодарный и всегда с любовью Ваш

Борис Зайцев

\* \* \*

16-е сентября, 1965 г.  
Сан Франциско

Дорогой Борис Константинович,

Получил Вашу весточку от начала месяца. Радостную и грустную. И то, и другое — образы одного благословения, чувства неотмирности в мире этом... Для Вас настал, конечно, самый важный и драгоценный период жизни, не столько — «без Веры», сколько — «с Верой — т а м»... Вот и Федора Августовича Степуна более всего волновал духовно вопрос личной встречи там (когда беседовали мы с ним, совсем перед его смертью, в феврале этого года, в Штуттгарте). Нам, конечно, трудно земным умом себе

представить з е р н о личности своей и близкого человека; мы видим себя и других лишь в душевно-телесных платъицах, в мякине, в шелухе смертной одетых. А т а м без этого всё. Представить трудно. Ведь Чистота всесжигающая и есть смерть. Да будет она благословенна для всех уже славно прошедших ее воротами, и для нас... Спасибо Вам, дорогой, за ободрение в моем «трудничестве» словесном, благовестовательном. Большое счастье дано мне: «поить» истиной русских людей [миллионы, ведь, слушают\*]). И мой опыт литературный «светский» [от юности идущий] помогает мне сейчас в этих простых словах, не условных, а прямых. Господь творит все Свое «из ничего». Помолитесь и Вы за меня. Господь Вам тоже дал молитву. И об общем молитесь. В мире «закручиваются вихри» — Вы видите: это особенно время тихих молитв, славословия Бога из всех углов земных — з а в с е , за всех... Если будем в этом мире, надеюсь, повидаемся с Вами в начале следующего года. Предположена конференция церковная в Женеве.

Может быть, и от милого молодого своего читателя имели Вы какую-либо весть. Та, первая, очень ценна.

Обнимаю Вас, дорогой Борис Константинович.

Ваш Архиепископ И о а н н

\* \* \*

10 мая, 1966 г.  
Сан Фр. Кал.

Дорогого Бориса Константиновича пасхально обнимаю в день его 85-летия! Невероятно торопится время. И верю, что добрых людей торопят ангелы, и быстрота часов и минут переходит у них в интенсивность [во внутреннюю быстроту] добра... И вспоминается, как молодой, вдумчивый пред духовным миром, ветром афонским освеженный, приезжал Зайцев сорокасемилетний в гости к молодому пастырю-иноку в город, с названием столь символическим — Белая Церковь.

И вот, чрез всё это быстрое множество лет, которые были для Вас, не только служением слову, но и словом Слову, чрез весь Американский Континент и чрез весь Атлантический океан и — чрез память о незабвенной, доброй рабе Божьей Вере, — протягиваю я свои руки к Вам, дорогой Борис Константинович, чтобы осенить Вас

\*) Речь идет о моих «Воскресных Беседах» по Голосу Америки, начатых в 1948 г. (продолжающихся донныне), обращенных к России.

Честным Животворящим, благословляющим Крестом и — обнять Вас.

† И о а н н,  
Архиепископ Сан-Франциский

5, Av. des Châtelets, Paris (16)

19 мая, 1966 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Владыко, великое спасибо Вам за письмо-приветствие. На вечере оно было оглашено первым.

Я тоже очень хорошо помню Югославию, Белую Церковь, худенького иеромонаха одного... Но помню его еще и раньше, молодым поэтом Шаховским, у себя на rue Belloni в Париже — это уже более 40 лет назад. Тогда будущий архиепископ издавал и редактировал журнал «Благонамеренный» — и представьте, как раз комплект этого журнала сохранился у меня и доселе [правда, и вышло всего два номера, все-же...].

Но особенно запомнилось раннее утро в Сергиевом Подворье, когда в полутьме осенней только что постриженный юный монах рассказывал мне об Афоне, переломившем его жизнь. Если бы утра этого не было, я никогда бы, наверно, на Афон не попал и в жизни моей не сохранилась бы одна из самых светлых и возвышенных ее страниц. Из дали времен кланяюсь Вам земно за то, что как то з а р а з и л и меня тогда этим Афоном, и я, не имея ни копейки денег и не отличаясь, вообще, расторопностью, вдруг проявил энергию и выпросил у «Последних Новостей» аванс в 5 000 фр. на поездку. [Мне их не хватило, назад возвращался в трюме какого-то cargo греческого. Вера с Наташей сидели тоже без гроша, но все обошлось благополучно. Значит была на все это не одна наша воля].

Последнее время нередко встречаю Зинаиду Алексеевну, от нее знал [да и из «Н. Р. Сл.»,], о Вашей болезни. Разумеется, был душой с Вами, как и теперь [теперь считаю Вас уже здоровым].

Господь Вас храни на долгие еще годы — трудника высокого назначения, так нужного и здесь и на Родине, так поднимающего всех нас своим неумолчным словом и делом.

С давнею и всегдашнею любовью

Борис Зайцев

\* \* \*

5, Av. des Châtelets, Paris (16)

20 июня, 1967 г.

Дорогой и глубокоуважаемый Владыко, сердечно благодарю за письмо, за передачу в Россию. Как ни странно, у меня самого некая связь с Россией растет: не только приходят книги писателей молодых оттуда с дружественно-почтительными надписями, но вот только что получил весть, что выходит мой перевод [и покойной Веры] книги «Ватек», английского писателя Бекфорда, превосходно писавшего по-французски. Небольшая книжка, фантастич. арабская [скорее персидская] сказка — вещь редкостная по красоте мрачной и *никак* уж к Марксу неподходящая. Вступительная статья П. Муратова — не знаю, оставят они ее или постараются как-нибудь приспособить «Ватека» этого к своим надобностям. Но трудно! Никаких мостков.

Вышел этот «Ватек» в Москве у К. Ф. Некрасова в 1913 г. Корректуру я держал в Риме в 1912, 55 лет тому назад. Да, судьбы не угадаешь.

Вашу передачу и письмо Татьяне Марковне\*) передал ей. Она была очень тронута Вашим вниманием и сказала, что сама Вам напишет и поблагодарит.

Будьте здоровы, дорогой Владыко, дай Вам Бог долгие годы звонить в свой колокол духовный.

С любовью и признательностью

Борис Зайцев

\* \* \*

16 декабря, 1968 г.

Дорогой Борис Константинович,

Сердечно благодарю Вас за подарок — присылку книги Вашей, — некоей светлой радугой Вы ее протянули по небу, один конец поставив в Москве прошлого, а другой в Париже настоящего [тоже утекающего в прошлое уже]. В этих проблемах духовных и жизненных Христофорова русского есть уже, Вы показали, какой то

---

\*) Вдове М. А. Алданова.

«отлет», — какой то это полусон-полуявь [все те персонажи предреволюционные московские]. И Вы их, конечно, подняли, немножко, над землей.. А далее материя уплотняется и одухотворяется поновому [по-лучшему]... Надо бы теперь переиздать всю Вашу серию литературных образов, больших образов России. Насколько это лучше многих монографий — как то в них Вы, держа сь за реальную ткань жизни, делаете ее живой и теплой, — совсем без всякой желчи, без всяких сморщиваний лица, от того, или от другого, а как бы провожая писателя и его творчество и жизнь — на Суд Божий [в виде ангела-хранителя]. И это «отольется» Вам самому. Какой меркой мерить, и тебя такой будут мерить.

Многие дурачки-люди этого не понимают! Надо создать Царство Божие, творить его и в другом человеке, даже — ушедшем с земли, из того, что он оставил. Творец творит из ничего и дает людям эту власть, как образу Своему, — из ничего, из пустяков, из мелочей [а что не «мелочь», из нашей внешней жизни?], творить новую ткань жизни, расшифровывать вещи во благо. Это высший этаж творчества. И Вам он доступен. Это следствие веры.

Обнимаю Вас и ко дню Рождества Христова желаю Вам, рабе Божией Наталии, ее милому мужу и чадам — мира и радости благословенной.

С любовью

† Архиеп. Иоанн

*Отмечая столетие со дня рождения Бориса Константиновича Зайцева, последнего представителя «Серебряного века» и патриарха русской словесности — столетие, которое не будет отпраздновано на его родине и вряд ли даже будет отмечено в печати — мы помещаем тут выдержки из переписки Странника (Архиепископа Иоанна Шаховского), с Борисом Зайцевым, которая интересна духовной своей сущностью, литературным своим содержанием и подробностями о повседневной жизни. В отделе «Архивов» мы публикуем интервью Бориса Зайцева, данное Ренз Герра в 1970 году.*

**ПИСЬМЕННАЯ БЕСЕДА С ПОЭТОМ РОССИЯНСКИМ  
(ЛЕОНОМ ЗАКОМ)**

*Что толкнуло Вас на поприще поэзии? — Было ли у Вас какое-нибудь чувство био-психической неизбежности под напором которого Вы начали писать стихи, или произошло это скорее под влиянием какого-то события внешнего порядка?*

Первое знакомство с поэзией было чтение «Мцыри» Лермонтова, которое меня взволновало и открыло мне что-то до тех пор не существовавшее. Мне было тогда лет 12. Позже увлечение поэзией, уже современной, совпало со встречей с моей будущей женой — и то, и другое положило начало моему поэтическому творчеству.

*Когда Вы впервые начали писать стихи? Где и когда были опубликованы первые Ваши стихотворения?*

Серьезно я стал писать стихи в 1912-13 годы, и впервые мои стихи были опубликованы в журнале «Мезонин Поэзии» в 1913. Мой псевдоним для стихов был Хрисанф, а прозу я печатал там же под псевдонимом Россиянский — девичья фамилия моей матери.

*Кто из Вашей семьи или близких Вам людей покровительствовал Вашим литературным занятиям?*

*Что восторгало Вас?*

Философ С. Л. Франк, мой брат по матери, иногда критиковал мои писания.

Если говорить о восторге, то можно сказать, что я в молодости очень остро переживал таинственные вещи, это было романтическое восприятие мира. С другой стороны, я пытался стихами освободиться от чувства своей негодности, слабости, неудовлетворенности собой.

*Кто был любимым поэтом (поэтами) Вашей юности и кого из русских поэтов Вы сегодня ставите выше всех других?*

Сперва Пушкин. Потом Тютчев и Баратынский. Любил Кузмина и Блока. Теперь ставлю очень высоко Сологуба. Из французов люблю Mallarmé, Rimbaud, Supervielle.

*Структурные элементы Вашей системы стихосложения находятся в непосредственной зависимости от фонетического строя Вашего языка. Кто из русских поэтов был Вашим косвенным или прямым учителем в структуре стиха?*

Не отдаю себе отчета в том, кто на меня повлиял.

*Специфически: звукопись и инструментовка каких поэтов осталась при Вас приемлемой и сегодня?*

Я приемлю звукопись всех тех поэтов, которых я, вообще, люблю.

*Интересовали ли Вас когда-нибудь труды, посвященные теории стиха? — учебники поэтики и поэзии?*

Нет, ни теории, ни критика меня никогда не интересовали.

*Давали ли Вы кому-нибудь из друзей свои стихи до их опубликования для критической (или даже технической) «цензуры» и следовали ли Вы их указаниям? Кто были Вашими советниками такого рода?*

Почти никому не показывал до знакомства с Вад. Шершеневичем и нашим общим «Мезонином».

*Как долго длится процесс создания стихотворения? Как рождаются Ваши стихи?*

Как когда. Стихи рождаются из желания говорить про себя ритмически. Очень часто стихотворение рождается из двух-трех слов, связанных фонетикой и ритмом. Но в основе всегда некоторая направленность на выход из самого себя, какой-то «строй» души, в который вдруг погружаешься.

*Что является, по Вашему мнению, Вашим вкладом в технику русского стиха?*



Могу ли я судить об этом? Лыщу себя надеждой, что внес я немножко музыки и немножко метафизики.

*Кто из иностранных поэтов и художников является самым близким Вашему восприятию? Вашему стилю? Вашей эстетике? (из классических и новых мастеров?)*

Я уже назвал иностранных (французских) поэтов. Прибавлю еще Гейне, которого очень люблю. Из старых мастеров вершинами мне представляются Веласкез, Вер-Меер, Рембрандт. Из современных ставлю очень высоко Матисса, Руо, Стааля, Ротко.



---

Ответы М. Россиянского на вопросы Алексиса Раннита были написаны в Париже 7-го июня 1971 г.

Из архива Алексиса Раннита. Иейльский Университет.

# ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ



## ПИСЬМО Д. ФИЛОСОФОВУ

Петербург. Воскресенье 22 апреля 1907 г.

Дорогой Дмитрий Владимирович! Письмо Ваше меня так взволновало, так больно мне было читать некоторые его строки, что сейчас же Вам отвечаю. Прежде всего простите меня, что я так скверно написал Вам предшествующее письмо: писал его действительно под «настроением», многое говорил из духа противоречия, был раздражен, впал по обыкновению в крайности. Я убеждаюсь, что в письмах ничего нельзя сказать, интимное не передается, и, если бы не дошел до самой крайней нищеты то кажется сейчас бы сел в поезд и поехал к вам в Париж хоть на несколько дней. Одно место Вашего письма меня так болезненно поразило, такой обидный вопрос Вы поставили, что я почти не хотел верить своим глазам. Вы до сих пор еще не знаете, верю ли я в Христа, отвечаю ли я «воистину воскрес»? Пространство все убивает, ужасно так далеко друг от друга. Ваше сомнение звучит для меня так как если бы Вы сказали, что я подлец, мошенник, обманщик, шарлатан. В одном отношении я никогда в себе не сомневался — всегда верил в свою искренность, всегда считал себя искренним писателем, даже слишком искренним, субъективным, лиричным философом. Вы говорите, что любите меня, но не имеете в меня даже такой элементарной веры, чтобы не допускать с моей стороны возможности лжи в литературе, неискренности и обмана.

В течение лета и осени я написал книгу <sup>\*)</sup>, из которой Вы прочли вырванные куски, и вся она только и говорит о том, что я верю в Христа и Его воскресение. Хороша ли эта книга или плоха, не мне судить, но одно знаю — в ней вылились мои *переживания*, в ней написано о моем внутреннем опыте, она для меня не литература, а сама жизнь, как и все что я пишу. Литературщина, академизм всегда

<sup>\*)</sup> Примечание Т. Ф. К.: «Новое религиозное сознание и общественность». СПб. М. В. Пирожков, 1907, 8°, L + 235 стр.

мне были чужды, я всегда жил в своих философских исканиях и литературных опытах. Конечно, пишу я и мыслю отвлеченно, диалектично, верю в Разум и смотрю на мир философски, но быть может это и дает мне возможность оставаться целомудренным. В Вашем смысле я даже слишком целомудренный человек, скрытный, не экспансивный, ни в жизни ни в литературе не говорю на каждом слове о своей вере в Христа и о своем ожидании Антихриста. Сомневаясь в моей вере, Вы меня видите таким, каким я был два года тому назад, когда раздвоение мое доходило до чего-то страшного. С тех пор многое изменилось, многое во мне произошло, многое я испытал, пережил. В прошлую весну и лето во мне совершилось нечто поистине революционное, радикальный перелом и лучше всего я могу это выразить так: я поверил окончательно и абсолютно в Христа, внутренне освободился от демонизма, полюбил Бога, ко мне вернулся тот внутренний религиозный пафос, который был у меня некогда, а потом затерялся.

Переворот произошел не в моих «идеях», а в «жизни», в опыте, в клетках моего существа, связан с фактами, выстрадан мною. С того времени я сделался благочестивым человеком, я каждый день молюсь Богу, крещусь и соединяю себя внутренне с Христом во всех важных случаях жизни и во имя Его пытаюсь делать все значительное, что способен и прежде всего писать. Я твердо решил стать *философским слугой* религиозного движения, использовать свои философские способности и знания для защиты дела Божьего, бороться силой своего разума с антирелигиозной ложью и в светской культуре расчищать почву для торжества религиозной истины. Моя философия имеет твердую религиозную базу, но я не решаюсь выступать в качестве религиозного проповедника, я не чувствую в себе особенного религиозного дара, не претендую быть пророком и апостолом, остаюсь философом и публицистом религиозного брожения, но религиозном в существе своем. Более всего я способен быть философом-богословом, апологетом нового религиозного сознания и глубоко уверен, что в истории мира предстоит еще сложный *гностический* процесс, что должно образоваться новое и окончательное учение, полное вероучение. Служа хотя бы косвенно этому великому гностическому процессу образования вероучения, без которого не может быть дальнейшего религиозного движения человечества, я остаюсь целомудренным, пишу лишь о том, во что подлинно верю, что пережил, исповедую свою веру не в форме притязательной проповеди и пророчества, а в форме философской защиты истины. Де-

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

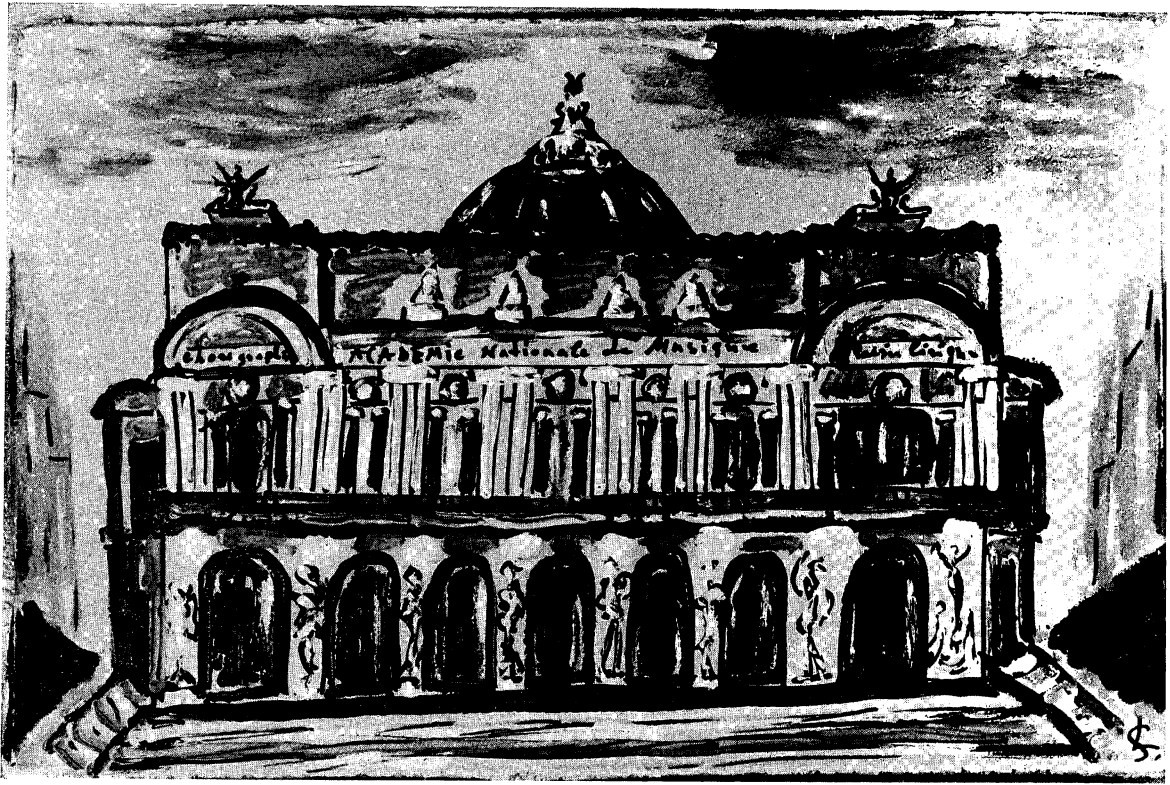
**Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ****СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТЪ***РИСУНКИ***Ю. АННЕНКОВА****EDITIONS PETROPOLIS**



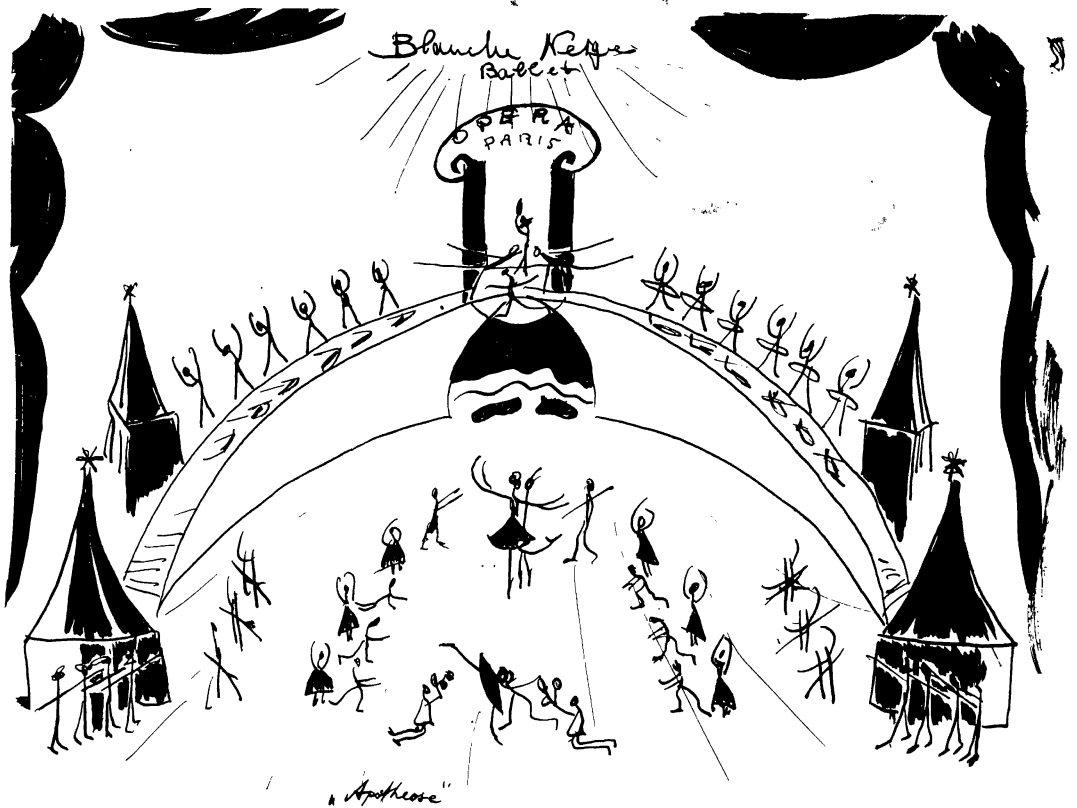


Ю. Анненков. Иллюстрация к «Скверному анекдоту»





С. Лифарь. Парижская Опера. Париж 1969 г.



С. Лифарь. Эскиз к постановке балета «Снегурочка»



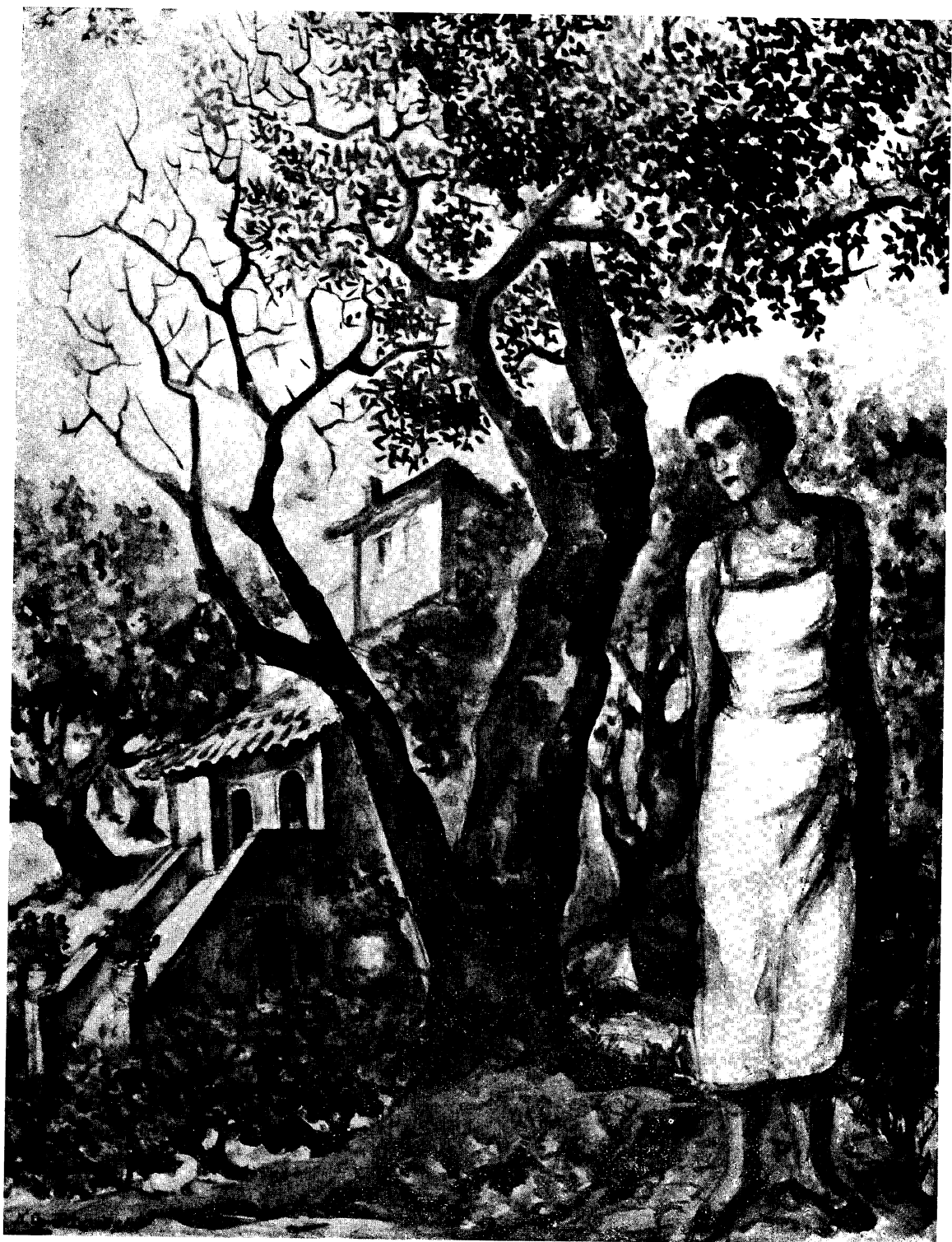
collection R. Guerra

Ю. Анненков. Декорация к постановке «Скверного анекдота»  
в театре им. В. Ф. Комиссаржевской, Москва 1914 г.



collection R. Guerra

С. Чехонин. Композиция



Н. Гончарова. Автопортрет 1927



© Collection R. Guerra

Н. Гончарова. Магнолия, Париж 1925 г.





Портрет Н. Гончаровой,  
раб. М. Ларионова, 1908 г.



Портрет С. Дягилева,  
раб. М. Ларионова



М. Ларионов. Рисунок

ление людей на активных, волевых и созерцательных, мыслителей, остается верным, какова бы ни была наша религия.

Мое религиозное понятие очень еще слабое, моя религиозная жизнь бедна и элементарна, я жажду обогатиться, но к «отцам» новой церкви не буду причислен, останусь вероятно заурядным безвольным прихожанином. О моей интимной религиозной жизни знает только Лидия Юдифовна, человек гораздо более глубокий, чем я, сыгравший огромную роль не только в моей жизни вообще, но и в моем религиозном переломе. Свои отношения с ней я считаю подлинно религиозными, ощущаю в них Бога. Мое общение с вами мне очень много дало, обогатило мою религиозную мысль, поставило в моем сознании ряд проблем, но до сих пор не давало мне религиозного *ощущения*, не говорило моему сердцу о близости Бога. Я любил говорить с Зинаидой Николаевной, много выносил из наших бесед, но ощущал скорее «демоническое» чем божеское, что очень соответствовало моей тогдашней раздвоенности. Дмитрия Сергеевича я высоко ценю, что достаточно доказал своей статьей о нем, но разговоры его и письма его всегда мне казались слишком «литературными». Что касается Вас, милый Дмитрий Владимирович, то в Вас я всегда видел сильное моральное чувство и рыцарское благородство, соединенное с хорошим умом, но своего богоощущения, своей религиозной мистики Вы мне никогда не дали почувствовать.

Меня тоже не удовлетворяет «идейное» общение, оно привело к тому ужасному результату, что Вы даже не знаете, верю ли я в Христа. Но я не знаю, что значит принять Вас целиком, с мясом и костями. Кто *вы*? Что вы предлагаете мне принять целиком? Я хочу соединиться с вами, но не знаю, какое *реальное содержание* вы вкладываете в это соединение. Если вы совершаете таинства в церкви моего Бога и моего Христа, то я хочу принять участие в этом таинстве, хочу сделаться достойным их, я имею право на религиозную пищу, так как голодаю. Вот и Лидия Юдифовна этого так же жаждет, как и я, ждет, надеется. В старой церкви мы не можем получать хлеба жизни и, когда я Вам написал, что готов пойти хоть в православную церковь за пищей, то хотел этим только выразить свой голод и свое недоверие к искусственным, механическим, вымученным опытам. Что *вы* уже дошли до таинств, до тех таинств которые сама жизнь, и до религиозной соборности, об этом я ничего не знаю и не ощущаю. Вы меня не поняли, когда заподозрили, что я Вам задал вопрос *не* религиозных людей, которые думают, что о таинстве можно

рассказать, что можно раскрыть последнюю религиозную тайну так, как раскрываются политические программы. В таком диком непонимании меня нельзя заподозрить. Я требую от вас не ознакомления с программой действий, которую я потом приму или отвергну, я *требую, чтобы вы мне мистически и религиозно дали почувствовать, что у вас совершаются религиозные действия.* Я не только не испытываю ваших религиозных действий, но и не знаю о существовании подобных действий, как, напр., знаю об элевзинских мистериях и о богодействе в старой церкви Христовой. Вы остаетесь для меня такими же искателями, такими же жаждущими, как и я сам, такими же беспомощными. Я не ощущаю вашего тройственного союза, как религиозного действия, не чувствую еще в нем таинства. Сделайте так, чтобы я это ощутил и почувствовал, я буду счастлив с вами. В этом и только в этом весь вопрос наших отношений.

Все вы постоянно мне пишете, что я религиозно ничего не делаю, что у меня только идеи, что мои писания только литература. Я сам знаю свою религиозную бедность, но не вижу вашего религиозного богатства, не понимаю, почему, напр., «Толстой и Достоевский» и «Грядущий Хам» Мережковского менее «литература», чем то, что я пишу, почему стихи З. Н. в «декадентских» «Весках» или Ваши в «Товарище» обнаруживают больший религиозный опыт и в большей степени ведут к «действию». Я просто думаю, что в «идеях» у нас не такое уже абсолютное сходство (Вы это увидите, когда прочтете мою книгу целиком и внимательно), а в «жизни» не такое уже абсолютное различие (у меня тоже есть интимный религиозный опыт, есть своя жизнь, очень тесно связанная с моими религиозными идеями). «Биографическое» между нами различие играет не малую роль в наших разногласиях.

Вы очень хорошо пишете о том, как Вы пережили литературу, искусство и «декаденство», как это было для Вас жизнью, как все свои силы Вы этому отдали. Я это знаю и думаю, что биографическая ваша связь с «декадентской литературой» имеет роковое значение для вас, как деятелей религиозного движения. С одной стороны вы (я говорю не только о Вас) не можете освободиться окончательно от «остатков декаденства», с другой вы преувеличиваете значение всякого вздора в «литературе», отрицательно загипнотизированы «литературщиной». Я просто не в состоянии дослушать или дочитать до конца «Крылья» или «Время» и не мог бы ни одного слова сказать по этому поводу, просто небытие и конец, а вот Андрей

Белый оторваться не может от пустяков, упивается «литературщиной». Социал-демократизм Белого вызывает во мне брезгливость, которую почувствует всякий переживший социализм. А. Белый (кстати сказать он безнадежный и уродливый хулиган в литературе) всегда останется «декадентом» и ни одному слову его нельзя придавать значения, хотя вы, конечно, считаете его религиозно более действенным, чем меня, потому что по бесхарактерности и легкомыслию он на все согласен. Я же, не «декадент» по своему прошлому, особенно целомудрен в сфере действий, особенно религиозных, не выношу всякой подмены, выдуманности игры, страдаю избытком добросовестности. «Литературы» я не пережил подобно вам и у меня даже есть органическая антипатия к «литературщине» и литературным нравам, к мелочным литературным интересам, к борьбе самолюбий, к злобам дня и пр. В литературном milieu я себя чувствую чужим и одиноким, не сливаюсь с этой суетой, испытываю физическую брезгливость к хамству литераторов. Корыстолюбие, самолюбование и мелочность литературного мира действует на меня болезненно, я хотел бы бежать, но нет такой среды, которая была бы мне мила.

По крови, по инстинктам, по складу природы я в гораздо большей степени русский помещик «средне-военного» толстовского круга, чем «литератор». Я русский барин, с детских лет задумывавшийся над вопросом о смысле жизни и искавший Бога. Вот почему отрицание социального зла для меня было связано в юности не с революционизмом разночинцев, а с Толстым, толстовство в широком смысле моя родина, я и сейчас не могу развернуть «Войны и мира» без физиологического волнения и сладкого воспоминания о родном. Я не «литератор» и не «интеллигент», но глубоко пережил и перестрадал политику, социализм, революционную идею, чего Вы не пережили. Я прошел через социалистическую веру, отказался во имя ее от того, что любил всего более, — от философии и научной деятельности, заставил себя жить вместе с инстинктивно противной мне радикальной интеллигенцией, сидел в тюрьме, отправился в ссылку на север.

Разрыв с социал-демократией мне дорого стоил, это была жизненная драма, о которой много мог бы рассказать. И я думаю, что имею гораздо большее право, чем все вы, говорить о политике, о социализме, о революции, я больше знаю, больше пережил, больше перестрадал. И если не мне говорить о Вашем равнодушии к лите-



ратуре, то не вам говорить мне о моем равнодушии к революции. К революции у меня было даже более жизненное, практическое отношение, чем у Булгакова, но с Булгаковым сейчас мы почти одинаково воспринимаем «революцию», с одинаковыми чувствами относимся к прочим левым. Я вам уступаю Кузьмина и Инесу Арман, но в вопросе о революции, о социал-демократии и пр. и я, и Булгаков, да и Струве компетентнее, более опыта имеем и больше права судить. Ваше отношение к русской революции мне представляется доктринерским, оно основано не на живом восприятии ее духа, а на гностической схеме по поводу отношения самодержавия и православия. Дмитрий Сергеевич борется не с самодержавием, а с самим собой, с своими прежними увлечениями и ошибками, что опять таки имеет лишь биографический интерес.

Не станете Вы также отрицать, что радикальный переворот в политических взглядах Д. С. совершился отчасти под похожим же влиянием. Об антихристском духе самодержавия я думал и писал тогда, когда Д. С. целиком еще оправдывал самодержавие религиозно, давно также я высказал ту мысль, что теократия анархична по отношению к государству, что власть Христа не может иметь заместителя. А теперь вы меня упрекаете в реакционерстве и выдвигаете против меня и Булгакова свой революционизм. Но вы в плохом обществе: все «декаденты» сделали теперь крайними революционерами, хотя раньше даже не задумывались над вопросами общественности. Это я называю дилетантизмом и взглядом из прекрасного далека. Булгаков верно сказал на религиозно-философском собрании: «леветь в настоящее время есть дурной тон».

Меня ужасает нигилизм русской революции, разбивающий святые мечты всей моей жизни об общественной правде, я болею этим, опытно, воспринимаю этот ужас, а Вы подозреваете меня в желании примириться с самодержавием. От политики я только временно ушел и менее всего отношусь к ней с легкостью. Я не могу поклоняться факту революции, как и вообще не поклоняюсь факту, всегда оцениваю, всегда вижу не только правду, но и гниль. Всякое же разшаркивание перед революцией по «тактическим» соображениям считаю безнравственным и безбожным. Вы меня можете только упрекнуть в некотором морализме в политике, в этом грешен, я даже марксизм этизировал в былое время. В этом я схожусь с моими старыми друзьями Булгаковым и Струве. Я ведь не упразднил своего «идеализма», а только возвел его на высшую религиозную ступень,

включил его в нечто большее, переживание *абсолютной ценности* и теперь является для меня основным. Вам не достает этого «идеализма», вы не прошли через его правду, а ведь в основе этой идеалистической правды для меня лежит самый первичный опыт. И мы раз но подходим к теократии, раз но ее обосновываем.

Я всего более дорожу той своей идеей, которую развивал в статье «О народной воле» и которую положил в основание своей новой книги. Моя критика народной воли и народной власти и мое оправдание теократии — самое ценное и новое в религиозной мысли из всего, что я писал. В противоположность реакционным теократам начала 19 века я показываю, что декларация прав человека и гражданина только и может быть проявлением воли Бога, что человеческие права лишь боговластием гарантируются. Вам это кажется бредом. Я задумал большой гносеологически-метафизически-богословский труд, которому посвящу несколько лет жизни, к которому все время готовлюсь. Тема моего труда — отношения между «знанием» и «верой», что-то вроде религиозной гносеологии, философское оправдание веры, в центре будет учение о Логосе. Это будет продолжение дела Вл. Соловьёва, который мне близок тем, что был мистическим рационалистом, признавал высшую разумность веры. Верю, что, работая над этой проблемой, я послужу своему Богу, исполню свой жизненный долг. Я никогда не противопоставлял «философию» и «Бога», как у Вас это было с «искусством», подобный антагонизм мне не был дан в опыте. «Бог» сталкивался в моем опыте с «общественностью», на этой почве у меня была серьезная драма, но «философия» всегда переживалась, именно переживалась мною, как нечто от Бога и во имя Бога, как самое божественное и благородное дело.

Я безгранично, страстно, кровно люблю *философию*, не как науку, а как *искусство*, как мудрость жизни, как созерцание Бога. В этом отношении во мне живет частица античного, греческого духа. В нашу эпоху никто уже не верит в метафизику, никто ее не любит, я один только верю и люблю, знаю на опыте экстаз метафизического созерцания. В этом я окружен врагами, все против меня: позитивисты и материалисты, идеалисты и критицисты, мистики и богословы, люди старого и нового религиозного сознания, ученые и академические философы. «Общественность» и моральная с ней связь помешали мне стать настоящим метафизиком, но я всегда был, есть и буду метафизиком, не в профессиональном, а в жизненном значении этого слова, по устройству клеток своего существа. И всегда

будет меня соблазнять идеал высшей мудрости, божественного созерцания, теософия, гнозис. Принимайте меня с таким моим мясом и костями или отвергайте окончательно! Почему же это я вас должен принять, а не вы меня, почему это для меня плохо, если я против вас, а не для вас? Я не понимаю, почему *вы* смотрите на себя, как на путь спасения для меня и для других людей новой религиозной жажды? Вы можете иметь для меня огромное значение, много мне давать, но мое окончательное спасение не зависит даже от факта вашего существования или несуществования в мире.

Я начинаю думать, что мы очень различно относимся к «соборности», что у нас «идейное» в этой области разногласие. Прочел я статью З. Н. о сборнике «Вопросы религии», написанную к сожалению в декадентских и никем не читаемых «Весах». Статья умная, едкая, почти со всеми мыслями я согласен, но прежде всего статья эта произвела на меня впечатление «мышления», «литературы», умственной схемы. З. Н. противопоставляет анти-общественной религии Булгакова свою общественную религию, но ведь я знаю, что Булгаков общественник до мозга костей, а З. Н. никогда никакого отношения к общественности не имела, что Булгаков любит мир и живет в мире, а З. Н. испытывает монашеское отвращение к миру. Для З. Н. общественность исчерпывается ее отношениями к Д. С. и Вам, но отношения это не есть общественность, такой путь создания общественности я считаю роковым заблуждением, это путь к новому монастырю, я идейно отвергаю такое понимание соборности, мышлением своим не принимаю. Мои религиозные идеи таковы, что они не только дают мне право, но и обязывают меня дышать свежим, воздухом мировой жизни, мое религиозное «сознание» соответствует в «жизни» моему *ощущению божественного* в мире, в природе, в культуре, т. е. в философии и пр., в людях, даже в деревенской бабе. Я на опыте в первоосновах моего существа ощутил любовь к *органическому*, отвращение к механическому и разрушительному, в этом я близок к реакционерам начала 19 века, хотя и не реакционер, (неразборчиво) революционером в истинном смысле этого слова.

В вас я не чувствую мистики органического и это всего более меня огорчает, вы не целуете мокрых листьев на родной земле, не ощущаете мистического величия столетнего дуба. Более всего меня поражает, что Вы готовы защищать народовластие от моих нападений, что Вы поддаетесь до такой степени настроению «товарищей», что готовы выступить в качестве «трудовика». Статью Вашу обо мне

в «Товарище» я прочел с горьким чувством. Я надеялся, что хоть Вы скажете что-нибудь о моей книге по существу, но Вы написали статью так, как мог бы ее написать Водовозов или любой трудовик, словами для «Товарища» и «по товарищески». В статье Вашей я увидел такое же неуважение к исканиям, к мысли, к идеям, к работе сознания, как и у всей нашей радикальной интеллигенции, такая же *утилитарная оценка*, такое же требование, чтобы книга превратилась немедленно в насущный хлеб, как и у любого социал-демократа. То что есть в Вашей статье интимного, в «Товарище» пропадает и читателям непонятно.

Видно только, что Вы мне предлагаете заняться делом, приносить людям существенную пользу вместо того, чтобы взбираться на метафизические высоты, писать философские книги, решать мировые вопросы. Но все это я уже тысячу раз слышал от всякого рода «товарищей», читал на страницах «Образования» и тому подобных органах. Вы тут являетесь типичным русским «интеллигентом», с большой совестью, с морализмом, с бесом утилитаризма. Мне давно уже говорили товарищи социал-демократы, что лучше бы я писал прокламации, чем философские книги, лучше бы работал в кружках, чем болел над решением «проклятых вопросов». Вы мне тоже предлагали писать прокламации и «работать» в кружках, но во имя другой, не социал-демократической религии. Я Вас спрашиваю, признаете ли Вы, что можно делать научное открытие в области электричества и пара, а можно строить пароходы, железные дороги и телеграфы, что это разные функции и каждая из них имеет свое назначение. Обязан ли я, сделав открытие, непременно сам же устроить телеграф. Вы договорились до того, что признали «сознание» великим врагом «действия». У Вас образуется на религиозной почве та психология, которая была у русских интеллигентов 70 годов на революционной почве. Вы можете по этой дорожке дойти до того, что отрицать книги, знание и пр., как это и делали «интеллигенты» 70 г., Ткачев и др.

Религиозное мракобесие родственно мракобесию революционному и также ужасно. Сектанты, которые ждали скорого наступления тысячелетнего царства, так же легко впадали в мракобесие, как и социальные революционеры, ожидающие быстрого наступления своего «царства». Я верю, что всемирная история закончится тысячелетним царством Христа на земле, но мы еще не вступили в хилиастическую эпоху, к ней должен вести еще сложный и мучитель-

ный процесс истории, со всем многообразием культуры и разделения труда в области светского мирового делания.

Процесс чудесный, сверхисторический начнется по апокалиптическим пророчествам с первого воскресения, после которого наступает эпоха хилястическая, тогда жизнь внутри теократии будет сплошным чудом, отменой злого порядка природы. До того мы обречены жить в природном порядке, с естественным разделением его на части, хотя религиозное возрождение мира и приведет к органическому подчинению всех частей религиозному центру. Вымогательство же чуда у Бога до исполнения времен и сроков, сегодня, для меня, представляется мне нечестивым и демоническим. У нас как будто обнаруживается то идейное разногласие, что для вас светская культура уже не нужна, все уже сделала, для меня она очень нужна и многого еще можно от нее ждать, для вас чудеса должны начаться с сегодняшнего дня, для меня мир не подготовлен еще к этому периоду чудес. Я не верю, что рыба, которую мы будем есть, изменит свой материальный состав, как в это верит З. Н., я считаю соблазном саму потребность в такой вере. Новое откровение не от нас пойдет, не от чуда в нашем доме совершившегося, это недопустимое сомнение, откровение невидимо органически зачинается в космосе, материалы его накапливаются в мировой душе, в человечестве, которое спасется только соборным процессом истории. В статье Вы упрекаете меня за то, что я говорю о «предчувствии», этим де не удовлетворить. Опять утилитаризм, опять отсутствие психологической оценки.

Что же делать, если во многом у меня только предчувствие, во многом я только предтеча? Что же Вы даете современному человеку, что вы советуете делать обращающемуся к Вам ученику, чем *ваши* писания более действенны? \*\*) Жду на это ответа.

Вы говорите, что у вас не эзотеризм, а целомудрие. Но я как раз думаю, что вы очень много говорите о том, что близки к тайне

---

\*\*) Вы напрасно упрекаете меня за то, что рекомендую старые эмпирические средства. Я вполне сознательно защищаю ту мысль, что в нейтральной социальной среде должны применяться эмпирические средства. (неразборчиво) что вопрос положения рабочих должен решаться экономически, а не только мистически. Я считаю себя сторонником самого обыкновенного эволюционно-реформаторского средства.

и таинству, намекаете постоянно на что то, известное только вам, но никаких реальных путей сообщения с людьми даже наиболее близкими не устанавливаете. Вы же должны сделать так, чтобы я принял не вас, а вашу тайну, вы не единственный путь к тайне. Говоря об эзотеризме, я хотел только сказать, что никогда не следует делать намеков, т. к. это и есть аффектирование. В этом отношении вы были в (неразборчиво) очень нецеломудренны (менее всего это относится к Вам лично), да и в литературе вашей я не вижу особенного целомудрия. Вы неверно поняли, что я хотел сказать, когда говорил, что пишу, как «птица поет». Этим я хотел только сказать, что непосредственно живу в своих писаниях, что у меня нет надуманности и «литературности», что потребность писать во мне стихийная\*\*\*), что я органически верю в истину того, о чем пишу. Мне кажется, что я стихийно сообщаю о своем нахождении стины и что это всегда хорошо с точки зрения божественных целей мира. Я вероятно очень плохой литератор, так как всего менее забочусь о литературности своих писаний, и, что Вы признали «литературой» мою книгу, почти автобиографию, почти дневник, написанный соком моих нервов, это мне больно. Я писал только о том, что было фактами моей жизни. В письме моем я произнес дурные слова о страдании, сказал их из духа противоречия, но есть в них и доля истины.

Меня возмущает современная рисовка страданием, самолюбование на этой почве, требование всякого ничтожества, чтобы его уважали за то только, что он страдает. Мне противна эта мания трагизма, это раздувание самого мелкого переживания до размеров трагедии, это превращение трагического страдания в норму, в обязанность. Дорогой Дмитрий Владимирович, я много страдал в жизни, не потому что имею склонность страдать, что создан для возвышенного страдания, а потому что жизнь моя складывалась объективно трагично, что мне были посланы большие испытания в жизни. В моей жизни было так много трагического, что многие согнулись бы окончательно под этой тяжестью. У меня был друг, единственный кажется друг, который умер в Сибири, он говорил часто, что не понимает, как можно вынести тот ужас, который я выносил, его изумляла моя душевная сила. Я почти никогда и ни с кем не говорю об этом, так как считаю доблестью выносить страдание с усмешкой, считаю стыдным для себя не только преувеличить свое страда-

---

\*\*\*) «Стихийность» я не противопоставляю началу «личности», т. к. ощущение личности во мне основное, напряженное до крайности.

ние, но и обнаружить всю его действительную тяжесть. Я всегда полагал честь свою в том, чтобы над всяким страданием возвыситься, объективно самую страшную для меня трагедию преодолевать, никогда не допускать себя до безысходности, которую всегда считал слабостью и недостатком веры в живущего во мне Бога. У меня теперь образовалось интимное отношение к Христу. Он уже стал *моим*, но никогда я не признал, что божественное величие Христа в том, что Он страдал, что сущность Христа — в Голгофе. Если бы я видел в Христе лишь героизм Его страдания, то я бы поставил выше Его кончины античного мудреца, кончину стоика или эпикурейца. Но Христос *победил* страдание, уничтожил корень его в мировой жизни и потому Он — Бог, этого не в силах был сделать ни один мудрец мира. Мы страдаем не потому, что страдание возвышенно, что Бог заповедал нам страдать, что это наш долг, а потому, что мир объективно трагичен, испорчен, что страдание есть факт бытия (не норма). Задача же всегда в том, чтобы преодолеть трагизм, осветить страдания, мужественно его перенести. Религиозного садизма я терпеть не могу, не верю в жестокого Бога и вижу религиозную жизнь только в благодати.

Я не о чувственной радости жизни говорю, это Вы должны понимать. Мещанское довольство и прекраснодушие мне глубоко чужды и ненавистны и в моей жизни нет мещанских радостей, но, если во мне есть ростки религиозной жизни, то они благодатны, дают мне мужественную силу преодолевать страдания, объективно данные, а не выдуманные мной, побеждать трагизм жизни. Я верю, верю, верю в радостный смысл жизни, в окончательную победу над всяким злом. Булгаков знает, что я верю в Христа, на почве этой веры у нас даже есть некоторый минимум религиозного общения. А главное: не считайте себя спасителями, не спасайте так рьяно, это ведь дух Инквизитора. Простите за утомительно огромное письмо, но я хотел все высказать. Жду с нетерпением от Вас ответа.

Любящий Вас *Николай Бердяев*

P.S. Я прочел Ваше письмо Лидии Юдифовне, она увидела в письме ту правду, которую постоянно она мне говорит и я ей говорю, но лишь отчасти.

P.P.S. Многое из того, что я написал, относится не к Вам лично, а к *вам*, как целому.

Из Собр. А. Я. Полонского, Париж.

Дмитрий Владимирович Философов (1872-1940) — литературный критик, публицист и писатель по церковным вопросам. Ближайший друг З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского. Один из создателей журнала «Мир Искусства». Принимал деятельное участие в Религиозно-философских собраниях (1901-03), был одним из организаторов Религиозно-философского общества имени Владимира Соловьева (1908). Автор ряда литературно-критических статей, из которых многие вызвали большую полемику в печати (как, например, «Конец Горького», «Русская Мысль» № 4, 1907). Из сочинений Философова наиболее известны книги «Национализм и религия» (М. 1909) и «Неугасимая лампада» (Статьи по церковным и религиозным вопросам» М. 1912). Принимал участие в книге «Царь и революция», изданной в Париже в 1907 году под редакцией Д. С. Мережковского, в которой проповедывал радикальную «религиозную революцию». В эмиграции совместно с Мережковским издавал журнал «Меч» (Варшава), печатался в газетах «За Свободу» и «Молва». Отдельных исследований, посвященных Философову, насколько нам известно, не существует (1).

Все творчество Философова пропитано идеями Мережковского о «конце исторического христианства», «правде плоти и земли» и в особенности, учением раннего Мережковского о «Третьем Завете» (2). Философов не был ни оригинальным, ни крупным мыслителем, но во многом отношении характерным представителем «нового религиозного сознания».

Для Н. А. Бердяева (1874-1948) 1907 год был переломным, когда он «...от идеализма переходит к религиозной идеологии и испытывает чрезвычайное влияние русского религиозного романтизма (Мережковского и др.)» (3), что в особенности сказалось в его книгах «Sub specie aeternitatis» и «Новое религиозное сознание и общественность». По всей видимости, письмо Д. В. Философова к Бердяеву, нам неизвестное, и ответ Бердяева, напечатанный выше, вызваны этой кратковременной близостью Бердяева к кругу мыслей Мережковского и его группы.

Е. Терновский



(1) Отдельные сведения о Д. В. Философове см. в книге J. Scherrer, Die Petersburger Religiös-Philosophischen Vereinigungen. Berlin, 1973. Wiesbaden.

(2) Прот. В. В. Зеньковский. История русской философии, т. II, стр. 298. Париж, YMCA-Press, 1950.

(3) Там же, стр. 299.



## ЭКУМЕНИЗМ ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНОГО

### Москва, Казань и Османская Порта в 1552 году

В дореволюционной русской, и еще более ярко в советской историографии принято считать, что с начала XVI-го века Казанское Ханство — главный враг Москвы на Востоке — становится опорным пунктом агрессивной политики Османской Порты против молодого Московского Государства, окруженного со всех сторон злейшими врагами: Польшей-Литвой, Крымом, Казанью, Ногайской Ордой, Астраханью... Как пишет советский историк, Н. А. Смирнов (Россия и Турция, т. I, М. 1946, стр. 89): «Центр всей этой враждебной русскому государству политики находился в Константинополе.»

Завоевание Казани в 1552 году являлось, таким образом, чисто оборонительным актом Москвы, имеющим целью сохранить ее независимость. Нужно было пробиться сквозь «мусульманское окружение», грозящее задушить Москву и естественно, что в таких условиях борьба против волжских «бусурман», поддерживаемых всем мусульманским миром, должна была принять формы Религиозной войны, Крестового похода. Царь Иван Васильевич желал водрузить крест если, пока еще, не на Святой Софии, то во всяком случае на башне Сюумбике.

Правда, что миф о «мусульманском окружении» родился очень давно. *Никоновская Летопись* гласит, вопреки всякой действительности, что в войсках Крымского хана, при набеге в 1552 году против Тулы, были «и янычаны (янычары) Турского салтана». Более того, в московских архивах сохранилась курьезная грамота переданная царю 7-го июля 1551 года от его посла при Ногайской орде, Петра Тургенева, в которой Тургенов приводит совершенно невероятный текст послания турецкого султана к ногайским мурзам, где Падишах якобы пишет:

«...В наших дей, в бусурманских книгах пишется, что те лета пришли, что Русского Царя Ивана лета пришли, рука ево над бусурманы высока...»

И султан призывает:

«А ведь дей наша же вера бусурманская. И мы дей мо-  
лылись все бусурмане и станем от нево боронитца за один...» (1)

Трудно установить, кто ответствен на эту чепуху, напоми-  
нающую современную «психологическую интоксикацию»: ногайские  
ли мурзы, чтобы выслужиться перед царем, или сам посол Петр Тур-  
генев или, что наиболее вероятно, документ был сфабрикован в мос-  
ковской канцелярии, чтобы оправдать поход против Казани?

Действительность далека от этой анахронической картины, пе-  
реносящей в XVI-ый век «антибусурманскую» политическую атмо-  
сферу царствования Александра II-го (или послевоенную сталин-  
скую...?)

Правильные турецко-русско-татарские отношения можно легко  
восстановить благодаря анализу Оттоманских дипломатических до-  
кументов из Архива Дворца Топ Капы (*Top Kapı Sarayı Arşivi*) в  
Константинополе и московских материалов «Ногайских Дел», опу-  
бликованных еще в конце XVIII-го века в «*Продолжение Древней  
Российской Вивлиофики*».

Известно, что официальные сношения между Московией и  
Оттоманской Портой начались еще в 1497 году, когда Великий Князь  
Иван III отправил в Константинополь первое русское посольство во  
главе с стольником Михаилом Андреевичем Плещеевым и подъячим  
Радюком Должниковым. Посольство окончилось плачевно. Плещеев  
не был допущен к Августейшему Дивану (*Divan-ı Hümayün*) и гра-  
мота Ивана III не была представлена Султану. Что точно произошло,  
мы не знаем. Напились ли послы публично, как намекают турецкие  
источники или, что одинаково вероятно, просто нагрубили турецким  
вельможам, но турецкие власти усомнились в посольском достоин-  
стве Плещеева и его товарищей. Как сказано в одной турецкой хро-  
нике: «Не ведал он (Плещеев) посольского обычая и вежливости не  
показал. Какой же это посол?» Посольство было ускоренным путем  
и без почестей отправлено обратно через Черное море, а грамота

(1) В *Продолжение Древней Российской Вивлиофики*, С. Петербург, 1793,  
т. VIII, стр. 265-266.

Великого Князя брошена в мешок с другими «документами на неведомых языках» (2).

Несмотря на неудачное начало, сношения между Москвой и Истанбулом продолжались почти без перерыва вплоть до взятия Казани. Но они касались исключительно торговли рухлядью (соборьями), рыбьим зубом (моржовыми клыками), соколами и янтарем — все эти предметы были монополией Московского Государства и турки платили за них золотом или драгоценными камнями. В XVI-ом веке, торговля пушниной с Портой являлась главным источником драгоценных металлов Московского Государства.

Общих же политических интересов или конфликтов между этими двумя государствами не было и не могло быть из-за огромных расстояний, разделяющих их. Для оттоманских дипломатов, Московия оставалась неведомым, богатым, но диким краем, «землей мрака», (*Arz ul-Zolm*), страной неверных варваров, над которыми царил таинственный «желтый Ибан — Король Московский» (3).

Завоевание Казани прошло незамеченным Оттоманской Портой, интерес которой был полностью поглощен борьбой с Сафавидами на Востоке и подготовкой экспедиции против Трансильвании на Западе. В 1552 году, в Истанбульском реестре «Особенно Важных Дел» (*Mühimme Defteri*) (4), где записывались все послания и приказания (*hüküm*) самого султана или его «Августейшего Дивана» (*Divan-i Hümayün*), из более 2 000 документов, только один касается Казани, и притом лаконически. Это послание Султана Сулеймана Крымскому хану Девлет Гирею от 24-го сентября 1552-го года, несколько дней до падения Казани (2 октября) (4).

«Его Высокому Присутствию Хану Девлет Гирею», наше слово: «Твое послание исполненное искренности было доставлено в Нашу блистательную Порту. Ты пишешь о положении в стране Азан (или Асан), о Великой Ногайской орде и осведомляешь Нас о твоей экспедиции (против Москвы). Все то, что Ты

(2) Где я и нашел ее несколько лет тому назад в Архиве Дворца Топ Капы.

(3) «Sary Ibân Mosgof graly» — игра слов: «Царь» в турецком переносе звучит как «Сары» — Желтый. (Грамота Сулеймана Великолепного Ивану Грозному от 24 Реби уль Эввель 972 = 30. X. 1564).

(4) Архивы Дворца Топ Капы, Реестр К. 888 f. 447 — 5 Шеввал 959.

пишешь об этих странах было объято Нашим благородным познанием — украшением мира...»

Далее следуют подробные указания, касающиеся роли татар в Трансильванском походе и о польских делах. Что же касается Москвы, то она даже не была названа в грамоте. Незнание настоящего положения на дальнем Севере — даже название Казани исковеркано в грамоте султана <sup>(5)</sup>, — и полное отсутствие интереса Порты к судьбе Волжских мусульман еще более ясно выражены в другой грамоте Сулеймана Великолепного к Крымскому хану.

Известно, что 16-го июня, 1552 года, царь Иван Васильевич прибыл в московскую армию, в Коломне, которая в тот же день начала медленно продвигаться на Восток. Три дня до этого — 13-го июня — Девлет Гирей, во главе всей Крымской орды, двинулся на север, в надежде перехватить русскую рать на пути к Казани. 21-го июня 1552-го года хан появился у Тулы и на следующий день татары штурмовали крепость и были отброшены с сильным уроном. Этим и закончилась единственная попытка Крыма спасти Казань. В турецких Реестрах 1552-го года поход Крымского хана на Тулу вообще не упомянут. Но зато, мы там нашли копию грамоты султана Сулеймана от 13-го июня 1552 г. к Девлет Гирею <sup>(6)</sup>, в которой Падишах кратко упомянув об Астрахани и о ногайцах (но не сказав ни слова о Москве или о Казани) указывает хану на необходимость бдительности против интриг и крамолы «польских кафиров» и приказывает ему собрать все силы Крыма, дабы предохранить турецкие крепости Очакова и Аккирмана от возможного контр-наступления поляков, «ибо, дела этих мест теперь наиболее важные для нашей блистательной Порты».

Итак, Турция призывала Крым к войне с Польшей-Литвой, врагом Москвы и единственной державой (с Крымом) чье давление на западные окраины Москвы могло бы еще спасти Казань.

Крымский хан, Девлет Гирей, был единственным мусульманским государем, заинтересованным в сохранении независимой Каза-

<sup>(5)</sup> (Azân) вместо (Qazân).

<sup>(6)</sup> Архив Дворца Топ Капы, реестр К. 888, fol. 255, грамота Султана Сулеймана хану Девлет Гирею от 20 Джумада Эль. Сани 959.

ни. Но как верный вассал Оттоманской Порты он должен был, не хотя, бросить своих волжских сородичей и начать ради турок бесполезную борьбу с своими польскими союзниками.

Другое мусульманское государство могло бы теоретически прийти на помощь Казани: Великая Ногайская орда, которая в XVI-ом веке представляла самую сильную военную державу во всем степном просторе, от Днепра до Аральского моря. Но в середине XVI-го века ногайцы были слишком заинтересованы в торговле с Москвией. В 1551 и 1552 годах, ногайцы пригнали в Москву 26.800 и 25.200 лошадей (без которых московская армия не могла бы тягаться с татарами). Сразу после падения Казани, царь Иван Васильевич разослал грамоты ногайским мурзам, настаивая на необходимости продолжать торговлю:

«А которые будут ваши земли гости или иных земель гости похотят от вас ити в Казань торговати и ты б им велел ходити торговати в Казань безо всякого опасу. И мы наместнику своему Казанскому Князю Александру Борисову Суздальскому приказали гостем вашим и иных земель гостем в Казане торг давати без всякие обиды.» (7)

Кроме того, для ногайских мурз, московский царь, Белый Князь (8) был «своим человеком» — как и они кочевого происхождения — только еще более благородного, т. к. царь Иван являлся для них не более и не менее как потомком Чингиз хана. В 1552-ом году, один из ногайских мурз писал царю Ивану:

«Бöлек Булат мурза Христианскому государю Белому Царю.

(7) Грамота к Князю Омуфу. 1-1, 1553. *Продолжение Древней Российской Вивлиофики*; IX, стр. 62.

(8) «Белый Князь» (по-татарски «Ақ Хан») или реже «Белый Царь» («Ақ Радисшаһ») титул московского царя во всех грамотах ногайских мурз Ивану Васильевичу Грозному не имеет никакого морального или религиозного значения. Согласно традиционному монгольскому делению мира (белый запад, черный север, красный юг и зеленый восток), «Белый Хан» (Князь) был главою западного Улуса великой империи Чингиз Хана. Для ногайцев, Московия была исторической законной наследницей Батыева Улуса, а ее властитель мог быть только потомком великого монгольского Императора.

...В той земле он [Иван Васильевич] сказывается Чингисовым прямым Государем Царем называется. А в сей земле язь Идичнеевым (Эдигеевым) сыном зовуся...»

Далее следует:

«К Чингисову сыну белому Князю православному государю и жалосливому Государю Белому Князю в ноги ево пасти о улусе своем бити челом идем<sup>(9)</sup>».

Интересно отметить, что царь Иван Васильевич, в ответной грамоте Бёлек Булат мурзе не отрекся от такого происхождения.

Для ногайцев, Иван Грозный был к тому же еще и близким родственником: Малхуруб, старшая жена князя Дин-Ахмета (Тенехмат русских летописей), главы Великой Ногайской орды с 1563-го года, дочь Темрюка Айдаровича, князя большой Кабарды, была родная старшая сестра царицы Марии Темрюковны, жены Ивана Васильевича. Из двух сестер, отец которых был мусульманином, одна была благоверная православная царица, а другая мусульманка. Сестры регулярно обменивались посольствами и подарками. Сама княгиня Малхуруб Темрюковна несколько раз навещала свою державную сестру в Москве и почти каждый год выпрашивала подарки у «своего зятя Белого Царя»:

«Де чтобы зять наш белой Царь много жалованье свое нам учинил... На еству запасу и на питье и меду б еси пожаловал. Слуг у меня много, а убогих множе...»<sup>(10)</sup>

И золовка царя просила колоссальную сумму в пятьсот рублей.

Имея в виду значение матримониальных связей в мусульманском мире XVI-го века, и помня что двоюродные сестры царицы Марии Темрюковны, Кабардинские княжны, были замужем, одна

---

(9) 10/X/1552, грамота от Бёлек мурзы. *Продолжение Древней Российской Вивлиофики*, VIII, стр. 316-317.

(10) Грамота от Тинехматовой княжны Малхуруп Княгини Черкасской Царю Ивану Васильевичу, 28. XI. 1564. *П.Д.Р.В.* XI, стр. 111-112.

за Крымским ханом Девлет Гиреем, а другая (Гюльбахар) за самим султаном Сулейманом Великолепным, а ее племянницы были женами бухарского эмира и ургенчского хана, становится понятно, что для ногайских кочевых феодалов, московский царь казался своим близким родичем. Многочисленная ногайская и кабардинская родня Марии Темрюковны очень быстро взяла привычку ездить в Москву «на кормление». В шестидесятых годах XVI-го века, двор благоверного московского государя вероятно походил на восточный базар, настолько, что Дин Ахмат считал своим долгом предостеречь своего родича, Ивана Васильевича, от наплыва самозванной родни:

«А что приехала (в Москву) Асанак Мирзина Княгиня Тататмышева царевича, да Бекбулатова царевича сестра к Государю да и с племенем и с родственницей с Алтынчан Царицею (Мария Темрюковна) да и с племянником Саинбулатом (царь Касимовский в крещении Симеон Бекбулатовичь) и ту княгиню пригоже Государю пожаловати... А что другая княгиня Дютчман бек Булатова жена приехала а там (в Москве) называлась Тенехматова Княгини Черкасской (Малхуруб) племя, а здесь (в Ногайской орде) племенем ее не называет. И тоей отпустить и платейцо ей дати легкое...»<sup>(11)</sup>.

В царствование царя Ивана Грозного, семейные связи имели больше значения, чем разница в религии, которая еще не играла большой роли. Некоторые кабардинские и ногайские свойственники Государя, приехавши в Москву, переходили в христианство (основатели родов князей Черкасских, Юсуповых и Урусовых), но не порывали со своей мусульманской родней; другие же оставались мусульманами и могли свободно возвращаться домой, или даже уезжали на службу к Крымскому хану и к Османскому падишаху. Часть кабардинских родственников царицы Марии Темрюковны служили в Константинополе, другая же в Москве.

Итак, в 1552-ом году, Казань была обречена. Османская Порта собиралась в поход против Трансильвании и готовилась к очередной войне на Востоке с сафавидами. Ногайская орда была в первую

<sup>(11)</sup> Грамота Князя Дин Ахмета, Царю Ивану Васильевичу. Декабрь 1565, П.Д.Р.В., XI, стр. 170.

голову заинтересована в торговле с Москвой, откуда она получала все наиболее важные предметы цивилизации (шерстяную материю, бумагу, железо...); Астрахань была слишком слаба; узбекские ханства тоже готовились к борьбе с Ираном, а татарское государство, традиционно дружелюбное к Казани — царство Сибирское — было ослаблено в долгой борьбе против ногайцев и казахских орд. Падение Казани прошло почти незамеченным мусульманским миром. Для Москвы же, это была блестящая победа, если и не политическая, над каким-то «мусульманским окружением» то экономическая. Уничтожив казанских конкурентов, Москва стала мировым центром торговли драгоценными мехами. Дорога в Сибирь была открыта и, что было еще более важно, волжский путь в Ногайскую орду (ногайские кони были так же важны для московской армии, как пушки и порох) и в Персию сафавидов, которая во второй половине XVI-го века уже заняла место первого торгового партнера Москвы, опередив даже Оттоманскую Порту. Вопрос же о «Крестовом Походе» против «бусурман» вообще не ставился. Царь Иван Васильевич Грозный отличался исключительной веротерпимостью. В ту пору, когда в Европе христиане уничтожали друг друга в непримиримых религиозных войнах, при дворе московского царя, христиане и мусульмане встречались в атмосфере мирного экуменизма, который можно сравнить только с религиозным либерализмом монголов Чингиз хана и его первых преемников.

22 сентября 1563, в ответ на просьбу ногайского князя Исмаила, выдать ему его недругов, родственников последнего астраханского хана, Иван Грозный писал эти удивительные строки:

«Да и то слово да не молвят: вера дей вере не друг. Христианской дей Государь Мусулманов того для изводит. А у нас в книгах христьянских писано: николи не велено силою приводит к нашей вере, но хто какову веру захочет, тот такову веру и верует. А тому Бог судит в будущей век хто верует право или не право а человеком того судить не дано. А и у нас в нашей земле много мусульманского закону людей нам служит а живут по своему закону.»<sup>(12)</sup>

<sup>(12)</sup> П.Д.Р.В., X, стр. 318-319.

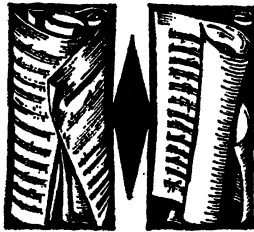


Веротерпимость Ивана Грозного сказалась особенно ярко после покорения Казани. В *Наказной Памяти* врученной Гурию, иегумену Селижаровского монастыря, назначенного архиепископом новой Казанской епархии, царь требовал, чтобы «бусурманы» были бы «просвещены светом христианства через любовь, а страхом их ко крещению ни как не приводить» (13).

Увы, религиозный либерализм Ивана Васильевича не пережил его царствования. Уже в 1593-ем году, тишайший и благочестивейший царь Феодор Иванович наказывал казанским воеводам И. М. Воротынскому и А. И. Вяземскому «в конец все мечети татарские извести» (14).

*А. Беннигсен*

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales



(13) *Акты Археографической экспедиции*, Скт. Петербург, I, № 241, стр. 250.

(14) *Id.* I н° 358, стр. 436-439. С тех пор, только в царствие Екатерины Великой и Николая I-го мы встречаем настоящую христианскую веротерпимость по отношению к мусульманским подданным «Белого Царя».

## РАЗВЕДКА У СВЯТОГО ВЛАДИМИРА

Уже давно мне хотелось изучить и описать жизнь какого-нибудь государя, который пришлось бы мне по-сердцу, не идеального может быть с моральной точки зрения, не популярного у большинства, но удачно воплотившего в себе то равновесие добра и зла, или точнее ту переплавку добра из зла, без которых, мне кажется, не может существовать полноценной, положительной государственной фигуры. Думал я и о Екатерине Великой, и о Николае Первом, и о Юлии Цезаре, и о Генрихе Четвертом, и о Борисе Годунове, и о Лжедмитрии, и о Людовике Одиннадцатом, и об Александре Первом, но, по разным причинам, никто из них моих запросов не удовлетворял, да и писано о них уже было много.

К личности Великого Князя Владимира меня привело множество разнообразных соображений. Во-первых, естественное пристрастие к собственному, чтимому, святому; во-вторых, частое стояние в церкви Святого Владимира в Майами; в-третьих, благодарность за неоценимый дар, русское православие; затем, детское чтение былин, увлечение Варягами, восхищение балладами А. К. Толстого, приближающийся юбилей крещения Руси и естественное любопытство к своеобразной «перевербовке» великого идолопоклонника. Тот невероятный факт, что о равноапостольном святом, создателе русской державы, родоначальнике главных русских Домов, о Красном Солнышке, так горячо и поэтически возлюбленном русским народом, было написано много очерков, но никогда ни одной целой книги, тоже, конечно, помогло моему выбору. И вот я окунулся в источники — русские, греческие, арабские, латинские, немецкие и исландские, позволяющие составить себе не только красочное, но и довольно точное понятие о князе и о святом. Книга должна скоро увидеть свет. Вышла задержка оттого, что один американский издатель отказался печатать такое веселое жизнеописание. Как же это — о святом и весело?!

Изучение жизни и личности Владимира принесло мне много и научных и религиозных удовлетворений, но здесь мне хочется написать об одной темной, непонятой и недооцененной стороне деятельности великого монарха. Он всегда был хорошо осведомлен и

всегда основывал свои решения на разведывательных данных. Вот это редкое сопряжение двух друг друга дополняющих талантов — и добывать сведения и пользоваться ими — я и желал бы осветить здесь тремя примерами.

\*\*  
\*

977-ой год. Безалаберный Ярополк Киевский убил не «на поединке», а под мостом, и даже не друга, а брата, Олега Древлянского. Владимир Новгородский, младший из трех, к тому же незаконнорожденный, об этом узнает тотчас и, зная что ему нечем будет дать отпор алчному полубрату, ретируется в Скандинавию, хотя на него никто еще не нападал, и набирает многочисленную рать. Ему убийство Олега на руку; теперь у него хороший предлог самому напасть на Ярополка и завоевать себе стольный Киев-град: самозащита. Он возвращается в Россию, забирает обратно Новгород без пролития крови, опрокидывает войско князя Полоцкого, разоряет его город и направляется на юг.

При Ярополке, тайный агент Владимира, воевода Блуд: он нашептывает своему князю, что орлу нечего бояться малой пташки и что готовиться к обороне не стоит. Когда северная рать обступает Киев, оказывается, что Владимир не такая уж малая птица. Блуд тайно советует Владимиру брать неподготовленный город приступом, но приступ не всегда может удался. А если и удался, то сколько Новгородцев и Киевлян погибнут в междоусобной брани? Какая Владимиру корысть истреблять своих настоящих и будущих подданных? А главное — зачем ему отдавать на разгром варяжским наймитам свой кровный Киев, в котором он родился, который завтра будет его столицей?

Хитрый молодой князь принуждает своего агента прибегнуть к более тонкому приему. Запершись с Ярополком, Блуд «доносит» ему, что не все киевляне ему верны, что партия Владимира сильна и собирается сдать город. Перепуганный Ярополк сбегает в Родню, а киевлянам больше ничего не остается делать, как открыть ворота и надеяться на милость нового князя. Варяги ропщут, но «мать русских городов» спасена.

Теперь Владимир осаждаёт Родню. Блуд переменяет песенку и отговаривает Ярополка делать вылазки: «У твоего брата рать велика;

лучше помирись с ним». И Ярополк соглашается: «Он добр; буду довольствоваться тем, что он мне оставит». С немногими приближенными, среди которых Блуд, злополучный князь садится на-конь и едет в лагерь Владимира. Владимира нет. Ярополк скачет в Киев. Как только он вбегает в свой же дворец, Блуд захлопывает за ним тяжелую дверь, а два Варяга тянут из ножен обоюдоострые мечи...

Владимир при убийстве не присутствовал, но ясно, что оно было приказано им. А винить его в братоубийстве мне кажется справедливым только в самом узком понятии. Двух Великих Князей на Руси быть не могло, и безусловно Ярополк попробовал бы вскарабкаться обратно на престол, с которого так заслуженно скатился... Что получилось бы? Опять междоусобица, от которой пострадал бы ни в чем не повинный народ. Владимир же, беспощадным, но благоразумным решением обеспечил России тридцать семь лет почти безоблачного благоденствия.

Легенда прибавляет, что победитель три дня честил Блуда за услугу, а потом повесил за предательство, но это не в стиле Владимира: вешать он не любил, а всегда предпочитал миловать.

\*\*  
\*

988-ой год. По сложным причинам — здесь не место разбирать их — Владимир, победно завершив семь походов, осаждает греческий город Херсонь. Сведущих военных инженеров у него не имеется; дружина у него добрая-хоробая, но этого не достаточно, чтобы успешно штурмовать крепость, обороненную опытными защитниками, да и он всегда старается щадить своих «отроков-гридней». «Три года буду стоять, а город возьму!» грозитя Владимир, но угрозы не помогают. Не помогают и молитвы новому, христианскому Богу, которого Владимир хочет испытать перед тем, как в него окончательно поверить. По тайной дороге жители получают припасы, а пока есть что есть, они неуязвимы, их стены и башни неприступны.

Князь опять прибегает к разведке. В Херсони у него тоже есть преданные ему тайные агенты. Трудность в том, как получить от них данные. Один из них, Ждберн, по происхождению, как Владимир, Варяг, пускает с херсонской стены стрелу и кричит по-варяжски: «Отнести к князю!» Своим товарищам он, вероятно, объясняет, что этот оклик — изысканное варяжское ругательство. К стреле прикре-

плена записка, в которой Ждберн излагает, каким путем Греки провозят в город провиант. Владимир немедленно строит укрепление и преграждает дорогу. Но запасы достаточны, и население все не сдается.

Осада продолжается. Русские созидают насыпь, которая позволит им подняться выше городских стен. Но пока они подбавляют земли сверху, Греки утаскивают ее снизу и разбрасывают в городе, так что насыпь перестает расти. Что за колдовство? Неужели христианский Бог ратует за своих исконных почитателей? Владимир чувствует упадок духа в своих войсках и опять полагается на своих закулисных соглядатаев.

Мы до сих пор не знаем, что побудило Грека — вероятно священника — Анастаса поработать на варвара и язычника. Надеялся ли он на богатую награду, которую и получил, став казначеем Русской Церкви? Боялся ли он, что в случае неудачи Владимир отойдет с отвращением в Киев и уже больше не захочет креститься — а оно, вероятно, так и было бы, если б Анастас не взял историю в свои руки? Во всяком случае он добивается посвящения в секреты обороны, недоступные наймиту Ждберну, и, подоткнув рясу, в свою очередь взбирается на стену и начинает пускать стрелы в Русских. Стрелы по-видимому были «микропунктами» того времени, и на одной из своих Анастас начертал: «Ко кладязю от вѣсточныя страны града в граде по трубам воды сведены. Копав перейми я». Владимир прочитал и воскликнул: «Если мне это сбудется, крещусь».

Перешеек, соединяющий город с горами, где находились источники, был прокопан, трубы найдены, переломаны и заткнуты с городской стороны. Через несколько дней город прекратил сопротивление. И, неслыханное дело, Владимир его не грабил, мужей не убивал, женщин не насиловал, а, забрав только шесть бронзовых статуй, которые ему приглянулись, вернул Херсонь в целостности и сохранности Императору.

Безусловно, что никакой рыцарской доблести при взятии Херсони не было проявлено. Но также безусловно, что если бы город был взят силой, а не коварством, то вряд ли удалось бы Владимиру помиловать жителей и сберечь им их собственность.

1013-ый год. Когда Владимир, победив Ярополка, взял себе его жену, бывшую монахиню, плененную Святославом, она была беременна. Ее сын Святополк воспитывался на равной ноге с сыновьями Владимира, и, став взрослым, получил в свой удел город Туров. Владимир поступал со своим племянником щедро, но благодарности, конечно, от него ожидать не мог: Святополк, по отношению к дяде-отчиму, находился примерно в положении Гамлета перед Клавдием, и считал себя законным наследником своего отца, умерщвленного узурпатором. Женитьба его на дочери Болеслава Польского укрепила его в неизбежном замысле завоевать Киевский престол. И красавице польке конечно улыбалось стать Великой Княгиней, и Болеславу сподручно было бы иметь под боком могущественного зятя, и западной Церкви хотелось поправить оплошность немецкого Императора, который на полвека раньше упустил случай склонить Россию к Риму через Ольгу. Из всего этого следует, что княжеская невеста явилась в Туров не только с горничными и конюхами, но и с епископом, Владыкой Рейнбергом Колбергским. Начались интриги. Ожидался только конец войны Болеслава с немцами, и заговорщики нагрянули бы на православного Владимира.

Но бдительность Великого Князя не притуплялась и разведка христианского василевса нисколько не уступала разведке языческого царька. В один прекрасный (для России) день, Святополка, его супругу и иностранного епископа схватили, скрутили и бросили в тюрьму. А тюрьмы в то время имели интересную достопримечательность: дверей у них не было, а только трап, который замуровать было легко...

Впрочем, молодого княжича и его жену вскоре из тюрьмы выудили. Конечно, они дали заверения в дальнейшем послушании. Несмотря на это, Святополк в далекий Туров отпущен не был, а получил удел в Вышгороде, где за ним было проще присматривать. Епископ же Рейнберг из заточения не вышел, а там почему-то и скончался. С неприятельскими агентами такое нередко случается, и опять-таки обвинять государя в охране спокойствия большинства ценой даже и крутой расправы с единичными злоумышленниками нелепо. Милость тут и не демократична, и не экономична, — что, по-моему, куда хуже!

\*\*\*

А где же, скажут читатели, тот благостный Владимир, который строил церкви, упразднял смертную казнь, посылал сыновей своих

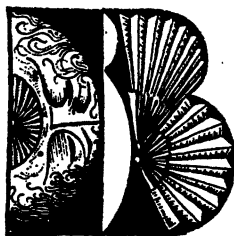
развозить брагу и пироги старикам, больным да сиротам? Где же весельчак, прославившийся своими пирами? Где же святой? Где же Солнышко?

В этом и урок. Владимир был и милостив, и жизнерадостен, и духовно сосредоточен, и в то же время расчетлив, циничен, лукав, и не слишком-то терзаем зазрениями совести. Здесь ясно очерчивается парадокс человека доброго — и ответственного перед обществом. Уже Достоевский подтрунивал над Толстым и его систематичным непротивлением злу: — Ну, а если у Вас оружие и при Вас разбойник нападает на ребенка? Неужели не захотите рук марать? И не будет ли Ваша вина горше, если Вы останетесь чистеньким, а ребенок погибнет, чем если Вы спасете невинного ценой истребления злодея? — Но простым смертным редко случается решать такие задачи, а для Кесаря они хлеб насущный.

Не окончив Братьев Карамазовых, Достоевский оставил нас с неразрешенной проблемой зла, да и вряд ли разрешил бы он ее и в продолжении. Но вопрос тут можно поставить и несколько иначе: не почему зло, а зачем зло? Может быть, христианская религия позволит когда-нибудь уничтожить непримиримый раскол между Креоном и Антигоной, и мне кажется, что равноапостольный Великий Князь Владимир мог бы много кой-чего сказать на эту тему.

Во всяком случае, к такому святому, который наверное не отвернется от тебя с брезгливостью, обозвав тебя за твои проступки «смердным псом и дьявольским сосудом», как-то радостнее и спокойнее обращаться со смиренной просьбой: «Святыи угодниче Божий, моли Бога о мне».

*Владимир Волков*



**ЗАРЯ СВОБОДЫ**

*«И восстают благословенья,  
На племена нисходит мир...»*

*А. Пушкин*

Перед каждым, кто думает о духовном облике русского народа и о связанной с ним исторической судьбе нашей страны, неизбежно встает мучительный вопрос: почему поколение, победившее Гитлера, выходит на пенсию и постепенно сходит в могилу, так и не оказав решающего влияния на судьбу родного народа? Почему освободители Европы от Наполеона вернулись из Парижа с твердым намерением ограничить самодержавие, а победители Гитлера, овладевшие Берлином после неисчислимых жертв и несказанных страданий, покорно выпустили из рук оружие и вернулись под диктатуру, по сравнению с которой николаевский режим был безмятежной идиллией?

Развивая эту тему можно спросить: почему так тонка прослойка русских людей, готовых бороться за демократизацию режима или хотя бы за права человека? Их распинают или изгоняют из страны, а «народ безмолвствует». Про академика Сахарова даже в колхозах распевают похвальные частушки, но как фактически одинок в своей стране этот великий человек, чудо живой и неподкупной совести, этот Герцен эпохи атомных ракет!

Если задать первый вопрос представителю победителей 1945 года, он укажет, в первую очередь, на систему контроля и террора и на связанную с ними разобщенность людей как на причину того, что альтернатива сталинскому режиму выявилась лишь пассивно: в пораженьчестве 1941 года, в миллионах невозвращенцев. Не может быть сомнения в том, что сталинская диктатура, даже в преддверии несомненной победы над внешним врагом, была озабочена своей безопасностью. Об этом свидетельствует нам судьба А. И. Солженицына: неосторожное слово в письме к фронтовому товарищу привело его прямо с боевой линии в концлагерь. Наш умозрительный собеседник справедливо укажет и на то, что у потенциальных про-



тивников режима, оглушенных террором тридцатых годов, войной и послевоенной разрухой не было не только возможности, но даже и досуга думать о политических программах, которые можно было бы противопоставить существующему порядку: хорошо было будущим декабристам размышлять о конституции в тиши своих поместий и создавать «тайные общества» при смехотворно малочисленной политической полиции, не проникавшей ни в барскую усадьбу, ни в квартиры офицеров гвардейских полков.

Западные специалисты по истории России согласятся с этими доводами и прибавят: на свете не существует, после китайцев или индусов, народа более равнодушного к принципам политических свобод, чем русские. Широкие слои русского народа всегда любили даже деспотических царей и ненавидели только «бар» — помещиков и чиновников, а интеллигенцию, желавшую освободить народ от деспотизма, они всегда были готовы предать. Русский народ — скажут они — способен только на бунт, на мятеж (от Разина и Пугачева до восстания в Новочеркасске), но не на медленное завоевание и сохранение политических прав и свобод, как это было в западной Европе. И, наконец, религия русского народа всегда была торжеством обряда над духом Евангелия: Россия, напомнят нам западные историки, никогда не знала ни монашеских орденов, ни рыцарского сословия, ни титанической борьбы между Римом и императорской властью: всех тех факторов, которые вели на Западе к становлению понятия личности, свободного гражданина, ограничивали государственный абсолютизм и вынудили деспотов и насильников признать права и свободу сперва дворянского сословия, а потом и каждого гражданина.

В какой мере справедлива эта гладкая историческая схема — столь лестная для Запада и столь уничижительная для России? Нельзя отрицать, что в ней есть доля правды. Но — не более того. Основной ее порок именно в том, что это — схема, долженствующая обосновать исходный тезис: Россия не принадлежит к семье европейских народов или связана с ней очень поверхностно: у нее ее собственная, весьма «варварская» ментальность и судьба. Этот тезис — досужий домysel. Развитие России шло тем же путем, что и развитие остальной Европы, хотя и более медленно в силу геополитических и исторических причин. Она позднее, чем ее западные соседи, была отравлена ядами социального утопизма — увы, к тому

времени, когда и средства массового пропагандного воздействия на сознание людей и техника контроля и террора достигли такого совершенства, о котором нельзя было и помыслить даже в прошлом веке. Но источники отравы — как и источники возможного исцеления — у России те же, что и у других европейских народов: разница проявляется лишь в акцентах, а не в самом принципе. В. В. Вейдле говорил о «горизонтальном» характере русского национального характера — тут и нежелание не только противопоставлять себя обществу, но и выделяться из него («на миру и смерть красна»; «как мир, так и я») и слабая выраженность правового сознания: к «суду по закону» русский человек относился с подозрением, предпочитая ему «суд по совести», даже если не было оснований предполагать у судящего наличия совести. В этом «особенная статья» России, о которой говорил Тютчев — говорил, увы, с гордостью и восхищением, а не с печалью и тревогой. Но разве западно-европейские народы миновали этого соблазна — прятаться от личной ответственности за спину национального «коллектива», топить — к счастью, лишь временно — правосознание в чувствах аффекта и одержимости? В начале XX века правовое и демократическое развитие в России шло неудержимо — оно было разрушено лишь октябрьским переворотом. Им были сметены ведущие силы страны и обнажился пласт «служилого люда», вчера еще неграмотного и далекого от общеевропейских идей правосознания. Из него новая власть начала лепить свой ведущий слой — угодный ей и ей послушный. Именно эти «кадры», о которых Сталин сказал, что они «решают всё» и стали проводниками и осуществителями рядившейся в одежды социального утопизма диктатуры, причем было два наиболее мощных эмоциональных двигателя этого процесса. Во-первых — герои гражданской войны на стороне красных, палачи коллективизации и мученики пятилеток были убеждены в том, что они строят лучезарную «новую жизнь» — столь же утопическую, сколь и привлекательную: как будет — было неясно, но что будет замечательно сомнению не подвергалось. Во-вторых «кадры» твердо уверовали — вернее, отделились внушению — что только советской власти обязаны они своим возвышением, своим положением «хозяев страны»: при царской власти, верили они, не было бы даже индустриализации, не говоря уже о возможности продвижения для людей из «социальных низов». Этот миф сохранял свою силу даже тогда, когда стало ослабевать действие чар социальной утопии, его живучесть питалась также страхом остаться у разбитого корыта, признать перед самим собой, что жизнь была отдана на служение обманувшему кумиру. Но разве способность саморазрушительно вдохновляться социальной утопией и ненави-

стью к «внутренним врагам» — к богатым, к инакомыслящим и инакововеряющим, к людям «чужой» расы — характерна только для одной России? Достаточно вспомнить судьбу западной Европы за последние два-три столетия, чтобы ответить на этот вопрос отрицательно. Но там революционные и диктаторские режимы становились жертвой или сопротивления внутренних консервативных сил, или иностранной интервенции. Особенность судьбы России в том, что в ней потенциальные силы сопротивления диктатуре были выражены слабее, чем в странах западной Европы и, кроме того, подверглись разгрому в таких масштабах, что террор французской революции конца XVIII века представляется детской забавой. Иностранная интервенция 1941 года, ввиду особенностей гитлеровской политики по отношению к «унтерменш-ам», лишь в первые месяцы войны была угрозой сталинскому режиму, а впоследствии даже укрепила его. Из войны Сталин вышел, полностью сохранив аппарат террора и идеологического воздействия и с дополнительным психологическим козырем: его режим выдержал испытания войны, Сталин стал хозяином восточной Европы и получил признание со стороны вчерашних врагов — западных демократий. С таким режимом было трудно бороться — не только технически, но и психологически. Народ-победитель стал залечивать раны, нанесенные войной и утешать себя мыслью, что режим не так уж плох, а Сталин, хотя и деспот, но крепкий хозяин. Не потому ли в марте 1953 года радовались смерти Сталина лишь заключенные в концлагерях, а «свободные» граждане плакали от растерянности и страха перед завтрашним днем? Идеологически — в смысле веры в утопию «нового общества» — режим умер уже задолго до смерти диктатора; осталась лишь скромная надежда, что худшее уже позади, что террора больше не будет, а что «новый класс» не будет совсем уж безразличен к нуждам простого народа. Хрущев, сохраняя «идейную» словесность комсомольцев двадцатых годов, был выразителем именно этих приниженных надежд и дешевых иллюзий. Опытный демагог и человек большого политического чутья, он отстраивал свой образ «выходца из народа» и обращался лишь к самым первичным инстинктам людей: живи он на несколько десятилетий раньше, он был бы монархистом и ксенофобом самого вульгарного пошиба: охотнорядцы с восторгом шли бы за ним громить евреев и интеллигентов. Его экономические начинания кончались провалом, над ним смеялись, но его «народности» — выражавшейся даже в шутовстве — никто не отрицал. Хрущев много сделал, чтобы примирить широкие слои населения с режимом, а выход в космос экономически нищей страны дал новое питание националистической гордости «советских людей». Хрущев, сознательно или

нет, укрепил барьер, разделяющий народ и ту часть интеллигенции, из среды которой начало развиваться демократическое движение во всех его формах. С отстранением от власти Хрущева началось то, что длится по сегодняшний день: на языке советских историков и по отношению к дореволюционному режиму это именуется «периодом торжества реакции» или «подмораживанием». Власть стремится к упорному сохранению «статус'а кво анте», наращивает военный потенциал, ведет позиционную войну с демократическим движением и правозащитниками, осуществляет полицейские акции против освободительных движений в странах, входящих в орбиту СССР и пропагандное и военно-политическое вторжение в страны «третьего мира». Народ же, как кажется, по-прежнему безмолвствует. Что же делать? Легче всего прийти в отчаяние, уверовать в пессимистические историсофские схемы — отечественно-чаадаевские или иностранные — и признать, что, если не наш народ, то его историческая судьба «прокляты Богом». Но посланное нам испытание есть всего лишь вариант общей судьбы европейского человечества, наш кризис — лишь обостренное выражение кризиса мирового. Куда ведет этот кризис? Может быть в пропасть взаимного уничтожения и космической катастрофы. Но может быть и к рождению нового сознания, к «новому средневековию», о котором пророчествовал Н. А. Бердяев, понимая под этим вновь обретенную способность к пламенной молитве и жертвенному служению, для которых нет невозможного?

Наши размышления подводят нас к вопросу о возможности и формах религиозного возрождения в России и на Западе. Возрастающий интерес к религиозным вопросам среди интеллигенции в СССР есть неоспоримый факт. Но можно ли говорить о религиозном обновлении в западной Европе и в Америке? Сомнение это оправдано, но только на первый взгляд. С тех пор, как община стала частью буржуазного уклада жизни, «приходское» христианство на Западе переживает жестокий кризис. Но, одновременно с этим, еще недавно пустовавшие монастыри заполняются молодежью, которая ищет не теплохладного «принятия» евангельской истины, а безусловного и всежизненного служения ей, и все время увеличивается спрос на книги, посвященные вопросам молитвы, аскезы и созерцания. В области вероучения мы видим на Западе схожий процесс размежевания: попыткам «горизонтализма», желающего свести христианство к социальному служению обездоленным, предварительно «примирив» христианство с Фрейдом и с Марксом, противостоят такие вы-

дающиеся современные богословы, как Карл Барт, Эмиль Бруннер и Карл Ранер, для которых христианство есть, в первую очередь и исключительно, благовестие Царства, призыв к героической вере в Христа воплотившегося, распятого, воскресшего и грядущего во славе.

В современной России религиозное возрождение определяется, прежде всего, отталкиванием от официальной идеологии и стремлением утолить духовную жажду. Лишь некоторые находят путь в немногочисленные «действующие» церкви, другие утоляют духовную жажду из разных, иногда сомнительных, источников: увлечение православной иконой соседствует с не критическим интересом к восточным религиям, к гностицизму и магии. Как и для духовнозрячих людей на Западе путь здесь может быть лишь один — во всяком случае для тех, кто сознательно хочет быть христианином: от зыбкой религиозности, от верности благочестивой традиции восходить к полноте евангельского благовестия, к откровению Царствия Божьего.

Мы избавимся от многих наслоившихся недоразумений и тупиков, если разграничим эти два, ошибочно отождествляемые, понятия — религии и Церкви. Христос основал не новую, пусть наиболее совершенную, «религию», а Церковь, как продолжение боговоплощения, как Свое длящееся присутствие в мире, как «лестницу Иаковлю», по которой верующие в Него восходят к Царствию — Его и нашему. Всего этого нет в «религии». Само это слово означает, как известно, «связь» — с чем-то запредельным, принципиально от нас закрытым и нам иноприродным. Но такая религия окончилась с боговоплощением: Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, уже не иноприроден, а соприроден нам. Если принять это за истину, то «религиозное чувство» становится анахронизмом, неестественным возвращением из благодати новой жизни под «сень закона». Только в силу такой редукции оказались возможными в исторической Церкви такие явления, как торжество легализма над истиной и любовью, превращение обряда в самоцель, а самой Церкви — в идола, ради мнимого торжества которого хороши все средства и оправданы любые сделки с совестью. Вера, в этой перспективе, становится не пророческим дерзновением, призванным двигать горами, а прибежищем для усталых и лишенных упования душ; эта религиозность не ждет чуда и, соприкасаясь с ним, испытывает испуг. (В начале этого

века в провинциальном русском приходе произошло обновление иконы. Священнику, сообщившему об этом в церковное управление, был сделан выговор консисторскими чиновниками: «Вы же знаете, что наш владыка чудес не любит» — сказали ему.) Не для «религиозного чувства» прозвучали евангельские слова: «огонь принес Я на землю, и как Я томлюсь, пока он возгорится». И уж совсем чуждо для «религии» эсхатологическое ожидание, томление по тому таинственному часу, когда история перейдет в мистерию, когда мир, получивший в Боге свое начало, в Нем же обретет свое завершение и свой венец: «поднимите очи ваши, ибо приблизилось избавление ваше.» Несостоятельность «средней религиозности» выявляется и в том страхе, с которым человек, считающий себя верующим, относится к собственной смерти, а о конце мира он способен думать только, как о катастрофе, а не как об избавлении, когда «праведники воссияют, как солнце в Царстве Отца их.»

Современное человечество, «от жажды умирающее у источника», призвано осмыслить свое религиозное томление, открывшись навстречу благовестию Царства в его двуедином аспекте: оно, в нынешнем веке, «не приходит приметным образом, Царство Божие внутри вас есть». Оно есть то тайное богатство, которое зреет в преображенном сердце, живет упованием и «приносит плод в терпении». И оно же есть явление правды Божьей в силе и славе, которым увенчивается и осмысляется история творения.

Это благовестие Царства никогда не замолкало в исторической Церкви до конца; несмотря на все недостоинство христиан Царство Божие всегда было центральной «темой» христианства. О нем свидетельствовали мученики римских арен и подвижники египетской пустыни, его силой озарилось Ассизи XII века и в XIX веке — Саровская обитель. Наш самоистребительный век сподобится ли он нового чуда? Способность к дерзновенной молитве о подобном чуде зреет в современном мире и уже одно это должно спасти нас от чувства отчаяния.

С несомненностью можно утверждать, что лишь новое религиозное сознание может избавить мир от того, что грозит ему гибелью: от торжества эгоизма и духа наживы, от пассивности перед лицом всех форм насилия и несвободы, от «лукавой совести» и гло-

жущей тоски бессмысленного существования. Сегодня нет «практических вопросов», которые можно было бы «решать технически», безотносительно к тому, в чем духовная сущность человека, каковы смысл и конечная цель его существования на земле.

*о. Кирилл Фотиев*



## О ВНУТРЕННЕЙ ЗАПРЕДЕЛЬНОСТИ

### Трансцендирование во внутрь

*Sofort doch wende Dich nach Innen  
Das Wahre findest Du da drinnen  
Woran kein Edler zweifeln mag.*

Goethe

Начинаем это рассуждение с констатирования одного факта внутренней жизни. — люди, превыше всего ставящие свое «я», — эгоисты и эгоцентрики, носящиеся со своим «я» как курица с яйцом, — обычно менее всего задумываются о сущности этого «я». Они со страстью преследуют свои личные интересы, сущность которых большей частью сводится или к стяжательству, или к погоне за удовольствиями. Но такие эгоисты менее всего способны к интроспекции, — к самонаблюдению и вообще к самокритике. Их «я» является для них божком, но даже этого факта они обычно не признают.

Немногим лучше и эго-центрики, которые не обязательно являются эгоистами, хотя нередко эгоцентрик — также и эгоист. Эгоцентрики, в отличие от простых эгоистов, способны к взгляду на свое «я» как бы со стороны, но этот самовзгляд обычно носит характер самолюбования. Есть, правда, некоторый процент эгоцентриков, ненавидящих свое «я», но эта самоненависть не есть следствие морального самоосуждения, в котором потенциально скрыт призыв к самоисправлению. Нет, эгоцентрик-самоненавистник просто как бы пресытился своим «я», он страдает от несчастной любви к себе, и иногда помышляет о самоуничтожении. Но, повторяю, в этой самоненависти нет и следа стремления стать лучше. Мазохизм в принципе не отличается от садизма, — и тот и другой остается в плену у своего «я», у разрушительных инстинктов, коренящихся в каждом из нас. Только у садистов этот инстинкт спроецирован во-вне, у мазохиста же — во внутрь.

Итак, получается парадокс: наиболее приверженные своему «я» индивиды совершенно не заинтересованы в вопросе о сущности того самого «я», которому они служат. Бряд ли они вообще поняли



бы, о чем мы тут говорим. А те немногие, которые поняли бы, вероятно, ответили бы: какая польза в созерцании собственного пупа? Иначе говоря, такие бездушные эгоисты как бы отождествляют свое «я» с «пупом», то есть, с пустым местом. И по-своему они правы: их обездуховленное «я», действительно, подобно пустому месту.

Эгоцентрики, в отличие от простых эгоистов, постоянно думают о себе, любят свое отражение в психическом зеркале, или, что реже, проклинают свое «я». Но мы уже отметили, что свое «я» они понимают не-духовно: они озабочены главным образом в вящем утверждении своего «я», о сущности которого они не имеют ни малейшего понятия, и не желают иметь оно. Как говорят французы — «я знаю свои аппетиты» (и с меня хватит этого). Иными словами, хотя эгоцентрики и носятся со своим «я», они и знать не хотят о сущности этого «я».

\* \* \*

Наивные или очень грубые люди обычно отождествляют свое «я» со своим телом. К этому есть известные основания. Естественно сказать «я голоден», или «я жажду», хотя точнее было бы сказать «мое тело страдает от голода и жажды». Но только обжоры, пьяницы и очень уже распушенные сладострастники являются рабами своего тела. Нам достаточно часто приходится работать, даже если мы устали, воздерживаться от обжорства или запоя, хотя бы ради того, чтобы сохранить элементарное здоровье, не спать, когда мы на дежурстве и т. п. И, когда в таких достаточно частых случаях мы говорим: «я должен работать» (хотя бы я был уставшим), или «мне нельзя есть много сладкого» и т. д., то здесь употребление личного местоимения «я» уже более точно и более уместно. Без хотя бы элементарной дисциплины тела невозможна сколько-нибудь нормальная, здоровая жизнь. А, когда мы постимся (если мы постимся), то здесь выражение «я пощусь» звучит уже вполне адекватно. Здесь мы идем против стремлений тела по высшим, религиозным соображениям. Человек должен быть господином, а не рабом своего тела — эту максиму теоретически признают все, даже если многие становятся рабами своих телесных привычек.

Более сложно обстоит дело с психическими навязчивыми комплексами. Одним из образцов таких комплексов может быть жадность, или скопидомство. Здесь беда уже не в «соблазнах плоти», а

в искривлениях духа. Скопидом только о том и думает, чтобы накопить как можно более капитала. Он как бы отождествляет себя со скопленным им капиталом и этим капиталом оценивает значительность своего «я». Он становится рабом своего самоутверждения в его патологической форме. То, что должно быть средством (личный капитал) становится для него самоцелью. Такой человек может сказать: «я хочу накопить капитал», но точнее было бы сказать: «я коплю капитал, потому что мной владеет страсть наживы».

Но он почти никогда так не скажет, так как, осознав, что он — раб своего патологического комплекса, он уже отождествит свое «я» с этим осознанием, и сделает шаг на пути к преодолению этой страсти (чего он не хочет). Скопидомство — один из примеров психического рабства у самого себя (я не говорю о тех, у кого жажда накопительства уравнивается разумным употреблением капитала). Но скопидомство (как и всякая другая патологическая страсть) принципиально преодолимо. Для этого нужно, как уже было указано, осознание его, как патологической страсти, мешающей подлинному самовыражению. Но этот акт осознания скопидомства, как недолжного состояния психики, есть уже акт возвышения над собой, — акт «самотрансцендирования», или «трансцендирования во внутрь».

Теперь возьмем противоположную страсть — сладострастие. Само сладострастие имеет свое законное место среди других устремлений психики. Но исключительный упор на сладострастие есть уже явление ненормальное. В сладострастии есть сильный чувственно-телесный момент. Все же одержимость сладострастием есть уже психическая, а не только телесная установка. Сладострастник обычно ведет счет своим «победам», стремясь добиться рекордов в этой области. Он делает многих женщин несчастными, но об этом он меньше всего думает. Он лишает себя возможности иметь семью, но, будучи молодым, он часто и не стремится «связать себя». Иногда желание иметь семью вытесняет погоню за наслаждениями. Но радикальное излечение от сладострастия возможно только, когда сладострастник переживет свое сладострастие как грех прелюбодеяния. Но это опять-таки предполагает возвышение над собой, т. е. «трансцендирование во внутрь».

То, что я хочу сказать в этом случае, очень просто: хотя сладострастие диктуется также чувственно-телесными вожделениями,

оно представляет собой, в основном, психическую (но ложную) установку, и только возвышение над собой может принести преодоление этой страсти. Скажут, может быть, что с течением лет возраст и старость вылечат сладострастника. Но это будет не возвышение над собой, а естественная необходимость (вызванная старением), и не об этом у нас идет речь.

Трансцендирование во внутрь есть не только психический, но и духовный акт. Таким самопреодолением «я» обретает духовность, само «я» становится духовным. А между духом и психикой — такая же принципиальная разница, как между психикой и телом.

Я «имею» тело, и, в более глубоком смысле, я «имею» душу. Не исчерпываясь, однако, ни тем, ни другим. Но то, что имеет тело и душу, — выше как тела, так и души. Это и есть измерение духа. И осознать себя как духовную сущность, хотя и обремененную телом и душой, — значит совершить акт «трансцендирования во внутрь». «Трансцендированию во внутрь» противостоит «трансцендирование во вне», — прорыв к душе Космоса, к «мировой душе», включая созерцание мира платоновских идей. Это — тоже достойная и важная тема, но она не стоит сейчас в центре моих размышлений.

Осознание своего «я» как духовной сущности есть, однако, не легкое дело. Есть два главных препятствия к этому духовному самосознанию, из которых одно носит гносеологический, а другое — психологический характер. Что касается гносеологического препятствия, — оно заключается в том, что наше «я» неуловимо для рефлексии. Ибо, если я попытаюсь совершить акт саморефлексии, то мое «я» как бы раздваивается, — на созерцающее и созерцаемое «я», что есть самопротиворечие ввиду экзистенциальной единственности «я».

Как говорится в индийских «Упанишадах», — «глаз не видит тебя, ибо ты — зрачок моих глаз». Наше «я», по своей природе, — не объективируемо. И, тем не менее, оно не только «дано», но и «самодано», оно есть сугубая несомненность, самоочевидность. В этом — основная антиномия «я», которое рационально неразруσιμο. Неразруσιμο, потому что «я» трансрационально, оно принадлежит к области металогического. Но это металогическое мыслится нами с такой же необходимостью, как и логическое. Но эту тему много глу-

бокого и ценнейшего сказано в замечательной книге С. Франка «Непостижимое». Но моя тема, хотя и соприкасается с темой этой книги Франка, но лежит в несколько иной области.

Второе препятствие к духовному самопознанию носит, как я сказал, психологический характер. Оно заключается в том, что совершить акт само-трансценденции значит принять на себя очень большую нравственную ответственность. Такое самотрансцендирование обязывает нас вознестись к духовному миру, чему противится инертная природа нашего обычного, опривыченного «я». Такое самотрансцендирование обязывает к нравственному перерождению, но большинство из нас не хочет такого перерождения. В этом духе еще Лермонтов писал: «Не осуждай меня, Всесильный, и не кори меня, молю, за то, что мрак земли могильной, с ее страстями я люблю».

Я вовсе не хочу сказать, что осознание нашим «я» своей духовности требует особенно нравственной или святой жизни. Духовная мудрость еще не есть святость, и мудрец еще не святой. Нравственные высоты достигаются не на путях познания, а на путях действия. Мы знаем, что многие весьма мудрые люди были одержимы страстями, (самый яркий пример — Достоевский), хотя и не низменными, но и не возвышенными.

Это значит, что духовность проникала их ум и талант, но не всё их существо. Однако, нужно остерегаться предъявлять максималистические требования к творческим людям. Нельзя ожидать, чтобы они были чуть ли не святыми и даже высоконравственными людьми (сколь это, в высшем плане, не желательно). Творческие люди, особенно артисты, подвержены многим чувственным или эгоцентрическим соблазнам. Эгоцентриком был и Бунин, и многие другие писатели. Это не означает одобрения слабостей творческих людей. Но прежде всего — нужно быть благодарным за их талант и их творческие достижения.

Но я стою на том, что творческие люди всегда совершают трансценденцию во внутрь в своей области. Без такой трансценденции во внутрь творческий акт был бы просто невозможен. Другое дело — что требуется философская культура и философский склад ума, чтобы осознать наличие и сущность этой трансценденции.

Прорыв к своему высшему, духовному «я» основоположно важен в области нравственности. Но здесь эта трансценденция во внутрь имеет свою специфику. Здесь основную роль играет не столько творческое усилие, сколько благодать, осеняющая подлинно нравственного человека. Доброта и жертвенность суть как бы врожденные качества. Говорю «как бы», ибо и здесь необходимы творческие усилия, работа над собой. Но не эти усилия играют здесь решающую роль, а стяжание благоволения, которое представляет собой «данность свыше», но которое становится затем как бы второй натурой. Доброта не достигается, она дается.

Доброта не требует ни мудрости (хотя, конечно, может сочетаться с нею), ни особой возвышенности духа. Она есть луч Божий, непосредственно достигший человеческого сердца и утвердившийся в нем. Для доброты не нужны никаких трансценденций, нужна лишь душевная открытость. «Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным», — эти евангельские слова применимы также к доброте. Здесь трансцендентность становится имманентной.

Но христианская доброта не есть только природная доброта. Природная доброта не может выдержать жестоких испытаний, тогда как христианская доброта только закаляется от таких испытаний. Христианская доброта всегда духовна, хотя бы она не сознавала себя таковою. Здесь трансцендирование во внутрь не ощущается как трансцендирование, ибо Бог здесь становится имманентным человеческому сердцу. Оказывая добро ближнему, человек приобщается Богу, часто даже не сознавая этого. Поэтому в Евангелии и сказано, что, оказывая добро ближнему, мы тем самым оказываем его Христу. Здесь трансцендентное оказывается имманентным. Нравственная сущность человека еще более важна, чем его творческие потенции.

\* \* \*

Старая, но далеко не всеми признаваемая трихотомия: дух, душа, тело, требует многочисленных пояснений. Приводимое здесь пояснение дается в плане нашей темы.

Насчет тела: тело не исчерпывается своим физико-химическим составом. Первостепенно важно животворящее и одушевляющее

начало тела, которое, как таковое, возвышается над телом в материальном смысле слова, будучи, однако, тесно связано с ним. Это одушевляющее начало тела Аристотель называл «энтелехией». Но энтелехия, будучи в известном, ограниченном смысле сверх-материальной, не есть еще, тем не менее, душа. Энтелехия управляет функциями тела, поддерживает жизнь тела, но сфера ее действий строго ограничена телом. Энтелехия — психоидна, но еще не психична. В ней нет измерения душевности. В этом смысле у тела есть свое «я», но это «я» лучше называть «под-я». И, когда мы говорили, что грубые люди отождествляют свое «я» с телом, то мы имели в виду отождествление «я» с энтелехийным «под-я».

То, что мы называем «душой», уже не занято «черной работой» поддержания жизни тела. Душа имеет свою собственную ипостась, выходящую за рамки всякой телесности, хотя душа экзистенциально и связана с телом. Душа живет своими собственными страстями и состояниями, которые выражаются в теле символически, а не в смысле руководства телесной жизнью. Так, радость, печаль, задумчивость, — эти чисто душевные состояния отражаются не только в лице, но и во всей фигуре. А по выражению лица и всей фигуры мы большей частью угадываем душевное состояние человека, еще вовсе не понимая, чем обрадован, или опечален, или над чем задумался данный человек. Отношение души к телу — отношение смысла к символу, а не причины к следствию или следствия к причине. В этом смысле душа свободна от тела, хотя эта свобода и относительна, а не абсолютна.

Если тело находится в пространстве (и во времени), то душа — непространственна, она существует в стихии чистого времени. В душе есть интенсивность, но нет эстенсивности. В душе все имманентно друг другу, — душевные состояния взаимопроницаемы. Печаль по безвозвратно ушедшему и надежда на будущее суть наиболее ярко выраженные состояния души. Душа знает тайну времени, она — целиком во времени, тогда как для тела время лишь протекает, оставаясь ему чем-то внешним.

Дух, конечно, также живет во времени, но сущность духа не исчерпывается его временностью. Дух способен постигать Вечное во времени. Дух существенно устремлен к вечности, к вечным ценностям, — и в этом главная специфика духа. Дух всегда трансцендирует за пределы времени, хотя и не может оторваться от времени.

Дух способен в каком-то смысле останавливать время, что проявляется особенно разительно в феномене памяти. Время — сугубо преходяще, и поэтому тяготеет к забвению. Но в памяти прошлое таинственным образом сохраняется, хотя мы можем помнить не все прошлое, а лишь его отрезки. Но эти отрезки прошлого — подлинны, а не суть лишь субъективные реминисценции. Тут нужно провести тонкую, но несомненную грань между памятью и воспоминаниями. Воспоминания — всецело в стихии времени. Но память (на основе которой только и возможны воспоминанья) есть уже рефлекс вечности во времени. В феномене памяти побеждается время, хотя эта победа и временна. Недаром один из самых духовных русских поэтов, Вячеслав Иванов, обращается к памяти со словами: «Ты, память, муз родившая свята...», и далее: «Тебя зову, но не воспоминанья...». Дух побеждает время в памяти и в творческом воображении. Лопатин в своей книге «Положительные задачи философии» хорошо показал, что феномен памяти возможен лишь при условии сверхвременности, как фона памяти. Все это подтверждает нашу концепцию, согласно которой устремленность к вечному — главная категория духа.

\* \* \*

Трансцендирование во внутрь есть в известном смысле путешествие вглубь себя. Это есть путь от внешнего к внутреннему. Но это есть также путь от низшего к высшему.

Наше тело есть наиболее внешнее в нас. Это внешнее есть источник и носитель как возможного чувственного наслаждения, так и — в большей степени, источник боли и телесных страданий, которые могут достигать невыносимой степени. Эти наслаждения и эти боли ощущаются нами как нечто сугубо субъективное. Но это не противоречит тому, что реальность носителя этих наслаждений и болей есть наиболее внешнее в нас, наиболее приближающееся к материальному миру. Следует прибавить тут, что центр тела — не какая-либо часть его, а одушевляющая тело «энтелехия», т. е. начало нематериальное, которое, однако, ближайшим образом связано с материей. Эта энтелехия имеет свое «я», которое, как мы уже указывали, точнее было бы назвать «под-я». Когда Лосский парадоксальным образом озаглавил одну из своих лекций: «Психология человеческого «я» и психология человеческого тела», то он имел солидные основания к этому.

Но настоящая интроспекция не есть переход от материального тела к ее не-материальной энтелехии, а переход от энтелехии к душе в собственном смысле этого слова. Интроспекция открывает нам мир души в его многообразных, но все же слитно-единых проявлениях. И единственный путь к миру души есть самонаблюдение (что есть иное название для интроспекции). И мы уже говорили, что душа находится не в пространстве, а в чистом времени, — в том, что Бергсон называл «дюре». Это есть трансцендирование за пределы тела (включая телесную энтелехию) к миру души. В этом смысле душа трансцендентна по отношению к телу, хотя тело имманентно душе.

Но на переходе от тела к душе путь трансцендирования не кончается. Предстоит еще путь от души к духу. Во внешнем смысле, дух находится внутри души, как душа находится внутри тела. Но выражение «внутри» здесь есть метафора, а не точное определение. Душа не может находиться «в теле» именно потому, что она — непространственна. Позволю себе здесь процитировать немного самого себя. Беру цитату из моей первой книги «Основы органического мировоззрения». Душевные состояния, или, как их также называют, «факты сознания», непротяженны... Эта, по существу, простая истина о непространственности душевной жизни с трудом усваивается, однако, многими умами, слишком привыкшими иметь дело с явлениями в пространстве. Но достаточно представить себе, что самая постановка вопроса о том, какой величиной, фигурой и т. п. обладает та или иная моя мысль, мое чувство, моя воля, — нелепа, и это дает нам основание убедиться в непространственности души. Даже те душевные функции, которые непосредственно связаны с телом, не могут быть точно локализованы. Непространственная целостность души есть основное ее свойство... Строго говоря, душа вообще не находится в теле; скорее наоборот — тело находится в душе, как орган или орудие ее проявления в материальном мире». Но, если тело находится в душе, то это дает нам еще более оснований говорить о «трансцендировании во внутрь». Продолжая эту мысль, мы можем сказать, что, говоря экзистенциально, не дух находится «в» душе, а душа — в духе. А основное свойство духа, как мы уже указывали, состоит в устремленности в вечному. Дух и есть наиреальнейшая реальность нашей внутренней жизни. Только дух способен возвышаться до объективных и, в пределе, до абсолютных, ценностей, тогда как душа знает лишь ценности субъективные и относительные (которые также нужны и отсутствие которых обескровило бы нашу жизнь).



Позволю себе опять процитировать себя: «духовная жизнь означает всегда выход личности за пределы себя самой, т. е. трансцендирование. Трансцензус составляет стихию духа. Мир абсолютных ценностей всегда трансцендентен по отношению к реальному бытию. Поэтому духовная жизнь есть всегда касание мирам иным».

Духовная жизнь проявляется воочию в таких общезначимых областях, как наука, искусство, философия. Но своей вершины духовная жизнь достигает в религии. «Касания мирам иным», о которых мы только что говорили, есть, в сущности, касания божественного мира. Поэтому трансцендирование достигает своей вершины в прорыве духа к Богу. Дух и есть прообраз Божий в человеке.

Но трансцендирование духа к Богу в корне отлично от иных трансцендирований. Ибо между Богом и миром, между Богом и человеком зияет онтологическая пропасть, заполнимая лишь в царстве благодати. По христианскому учению, Бог трансцендентен миру, хотя мир имманентен Ему. Бог бесконечно далек от нас, хотя он может становиться и предельно близким. И Бога можно узреть как через посредство созерцания Космоса («И в небесах я вижу Бога» — Лермонтов), так и посредством сугубого трансцендирования во внутрь. («Царство Божие внутри нас»). Кант выразил эту же мысль в своем запоминающемся афоризме: «Звездное небо надо мною, и нравственный закон во мне».

В силу своей трансцендентности, Бог непознаваем для разума. Но эту непознаваемость нельзя понимать в духе агностицизма, который, под предлогом непознаваемости Бога, фактически хочет отречься от Бога и приходит диалектически к выводу, что человеку нет никакого дела до Бога. Но, если человек может забыть о Боге, то Бог никогда не забывает о человеке, Богу есть всегда до нас дело.

И рано или поздно, душа каждого человека впадет «в руки Бога живого».

Суждение «Бог непознаваем» обычно трактуется в духе уже упомянутого нами агностицизма. Но возможна и другая трактовка этой непознаваемости, подобная той, которую дал С. Франк в своей замечательной книге «Непостижимое». Согласно трактовке Франка, мысль о непознаваемости Бога уже содержит в себе умственное касание Богу — иначе сама мысль о непознаваемости Бога не могла бы

появиться в нашем сознании. Согласно т. наз. «отрицательному богословию», получившему свое самое яркое выражение в трудах Дионисия Ареопагита, мы можем познать Бога только через посредство отрицания всех наших земных понятий. (Бог не то, и не это). Николай Кузанский, на которого так часто ссылается Франк, выразил эту же мысль в глубокой и остроумной формуле: «Непостижимое постигается посредством Его непостижения». Это и есть абсолютный трансцензус. Только таким путем можем мы коснуться мыслью Богу. Трансцендирование во внутрь, в своем пределе, обнаруживает Бога «в нас», как нашу глубочайшую сущность, превосходящую нас самих. Но Бог не только в нас, но и над нами. Сами выражения «в» и «над» здесь теряют свой первоначальный смысл. .

Таким образом, трансцендирование во внутрь, будучи испытано полностью, приводит нас к Богу.

*Сергей Левицкий*



### ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I-го В ОСВЕЩЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

«Николай Палкин» — это прозвище традиционно определяет и самого царя и его правление: режим сурового, сухого, бездарного и отягощающего бюрократического деспотизма. И кажется, по праву такая репутация. Начал царствование свое Николай суровым — по понятиям того времени, кровавым — подавлением восстания Декабристов, той «искры» из которой, как надеялось либеральное, прогрессивное русское общество, «возгорится пламя». Кончилось же его царствование позорным поражением Крымской войны. А в течение правления Николая имели место кровавое подавление польского восстания 1830 г., интервенция и разгром венгерской революции в 1849 г., из-за которых российский император заслужил всеевропейскую кличку «жандарма Европы». И не только Европы — своей собственной страны: Третье Отделение, корпус жандармов, строжайшая цензура; покорение Кавказа, насильственно загнанные еврейские дети в ряды кантонистов; отказ от коренных реформ и от освобождения крестьян; закрытие философских факультетов и ограничение числа студентов. Это всё факты и спорить о них не приходится. Сам Николай I на смертном одре будто признался сыну-наследнику, что «сдает команду в не совсем исправном виде». При том еще «гонения» на Пушкина и Белинского, арест и высылка Герцена, суд и каторга петрашевцев, включая Достоевского. И разве Гоголь не зарисовал с натуры персонажей Ревизора и Мертвых Душ — и сам не удержался от выклика: «как грустно жить, господа,» на Руси?

Такой характеристики режима придерживается русская историография с того времени, когда Герцен заклеил его в своих блестящих публицистических выступлениях за границей. На этой характеристике сошлись как либеральная, так и радикальная историческая мысль, иностранная и отечественная. И даже наиболее благонамеренные историки-монархисты обходили молчанием эти теневые стороны, упоминая лишь долгие годы мира, влиятельное положение России до Крымской войны и личные качества государя — его трудолюбие, честность, прямолинейность, величавость осанки и семейную добродетель.

Но при такой отрицательной оценке царствования остается необъяснимым и неожиданным не только сам факт Великих Реформ (начиная с Освобождения крестьян) непосредственно после кончины Николая 1-го, но их тщательная подготовка и успешное проведение в жизнь и последующее бурное развитие страны в 60-х-70-х годах. Ведь это не могло быть результатом одного мановения руки молодого императора, Александра II; ведь не с неба свалились деятели реформ! Что-то крылось и развивалось в недрах николаевской эпохи, либо незамеченное современниками, либо умалчиваемое ими (и после них, «традиционной» историографией).

Пытаясь объяснить неувязку между популярным представлением о царствовании и дальнейшей судьбой России, ученые сосредоточили свое внимание на других, мало замеченных сторонах жизни страны и правительственной деятельности в царствование «Николая-Палкина». Цель настоящего очерка — кратко изложить результаты этих исследований, отнюдь не с целью «обелить», извинить или — не дай Боже — восхвалить сурового императора. Нам хочется только способствовать лучшему пониманию сложного и противоречивого исторического пути России и русского общества в 19-м веке.

Современные историки — и советские, и зарубежные — пытаются уловить, за прикрытием тяжелой завесы николаевской цензуры и бюрократически-полицейского гнета, те моменты и явления, те действия правительства и общества, которые подготавливали почву великим реформам Александра II, которые открыли путь перерождению страны. Это было не только делом стихийного развития или результатом так называемых закономерностей исторического процесса («закономерность» только в умах историков, не в исторических событиях — или словами Гете: «Was ihr den Geist der Zeiten nennt, das ist der Herren eigener Geist...»). Конечно, в жизни общества проявились процессы развития (или разложения); но такие процессы имели место, могли иметь место, только потому, что люди — начиная с правителей и элиты общества — действовали сознательно, предпринимая определенные шаги и реагируя — хорошо ли, худо ли — на обстоятельства и на последствия действий своих предшественников и современников.

Так как Россия была централизованным, автократическим государством, государственный аппарат играл первенствующую роль в созидании и развитии ее общественной жизни. Даже советские

историки признают действия правительства, как наиважнейший фактор в историческом развитии страны. И при том — здесь спора не может быть — в царствование Николая I этот аппарат был все- сильный, его держали крепкие руки императора, по крайней мере до первых поражений в Крымской войне. Кроме того, историку всегда доступнее акты и действия правительства, так что не удивительно, что новейшая историография эпохи уделила внимание этому аппарату, особенно его личному составу.

Результаты этих исследований и наблюдений довольно любопытны. Но сначала поставим их в нужную историческую перспективу. Общеизвестны указы о государственной службе, изданные в 1809 г. Александром I, подготовленные при активном участии, хотя и не по инициативе, Сперанского, на которого обрушилось негодование и неудовольствие чиновничества и дворянства. Указами 1809 г. постановлено, что повышение в служебной иерархии (Табель о Рангах), и допуск в ее высшие категории будут производиться только по доказательству наличия определенного образовательного ценза, удостоверенным аттестатом училища или успешного экзамена. Переход из 9-го в 8-ой и из 6-го в 5-й чины в дальнейшем зависели не только от выслуги лет, но и от обладания чиновником минимума (кстати, не очень высокого) знаний общеобразовательного характера. И недавно молодой американский историк, Макфарлин, показал, что известный гоголевский персонаж, Акакий Акакиевич, является именно примером неуспешного чиновника, который не смог (или не захотел) получить требуемое образование, чтобы попасть в высшую, обер офицерскую, категорию и застрял на весь свой век в 9-м чине (титулярный советник). Тот же историк показал, что вопреки общему представлению, указы 1809 г. вошли в жизнь и определяли рутинную практику чиновничества. Значит, общее образование и более или менее хорошая техническая подготовка стали предпосылкой успешной карьеры в государственном аппарате. Александровское начало получило дальнейшее развитие и обрело регулярные бюрократические формы в следующее царствование. И это не только потому, что Николай не хотел менять унаследованный порядок своего брата, но несомненно и потому, что, под впечатлением декабристского восстания, император не доверял родовому дворянству. Он хотел иметь послушных чиновников, на которых он мог бы положиться.

Итак, со временем, в эпоху Николая I, меняется социологический облик чиновничества. Во-первых, ров, разделяющий мелкое чи-

новничество (писари, регистраторы, и т. д. — словом, Акакии Акакиевичи и Горюшкины) от ответственных сотрудников высших канцелярий, министерств и центральных ведомств, становится глубже и шире. Больше почти нет возможности одной выслугой подняться из низших ролей в высшие. Раздел укрепляется учреждением школ для писарей и канцеляристов, в которые набирают разночинцев и молодежь из податных слоев общества. Таким же образом, ввиду разницы в требованиях и подготовке, местное чиновничество резко отделяется от центрального. Реже и реже становятся переходы из губернских учреждений в министерства, Сенат или другие столичные ведомства. А из центральных в местные посылаются чиновники только временно, для практики или в наказание, или еще для ревизии (это, конечно, не относится к губернаторам, почти всегда назначаемых монархом из высоких военных чинов или сановников двора и центрального аппарата).

Разделение чиновничества на отдельные и определенные категории способствовало бóльшей профессионализации его правящих слоев. Характерно для времен Николая I исчезновение временных «любительских», не специализированных лиц с ответственных постов в министерствах, Сенате, и т. д. Среди высших сановников еще встречаются такие «аристократы» и «случайные люди» в стиле 18-го века, но их помощники, правители департаментов и отделений, уже профессионалы, во все увеличивающемся числе. Появляется новый тип среднего и высшего чиновника, на котором стоит остановиться. Для детей небогатого дворянства средней руки — а оно составляло подавляющее большинство — единственный путь была царская служба. В большинстве своем они, конечно, поступали на военную службу. Но те, которые шли по гражданскому ведомству, должны были не только приобрести общее образование, но и некоторую техническую подготовку — преимущественно в казенных училищах. Кроме того, посвящая себя всецело государственной службе, служению государству и страны, не имея никаких других экономических и общественных интересов, они становились настоящими специалистами, профессионалами. При этом нужно учесть, что в 20-х и 30-х годах повышаются и усиливаются научно-технические требования во всех областях народной жизни. С времен Александра 1-го, некоторое университетское образование стало фактически обязательным для высших слоев общества, включая чиновничество. Этому способствовал пример Западной Европы где, под влиянием Просвещения и Наполеоновского режима, государственный аппарат все бóльше

и больше захватывает разные отрасли народной жизни; и делает он это на основании своей более высокой, целеустремленной, технической компетенции. Самое большое влияние, ввиду тесных связей дворов, общности академическо-научной жизни и культурно-литературных интересов, оказывал на Россию пример Германии, особенно Пруссии в эру своих реформ после поражения 1806 г. Следуя этим западным примерам, молодые чиновники-профессионалы вырабатывали новые научно-технические интересы и подходы к своим административным задачам и — самое знаменательное — новую форму служебного «этоса»: они считали своей задачей и своим назначением не только служение государю и государству, но и стране и ее народу. Цель службы для них заключалась не столько в получении наград и восславлении государства, сколько в повышении благосостояния и производительности всего общества. И подходили они к этой задаче поощрения экономического, культурного и общественного прогресса страны с «научной», профессиональной точки зрения. Они готовились к этой задаче приобретением информации, изучением и размышлением о надобностях страны. Поэтому важнейшая сторона их деятельности состояла в научном исследовании и собирании статистических сведений о народном хозяйстве и социальном положении населения империи.

С времен Александра I-го (вспомним о Тургеневых и их кружке) образованное, культурное общество столиц (и крупных провинциальных центров) живо интересовалось «общественными» вопросами, т. е. правом, политической экономией, естественными, сельскохозяйственными и историческими науками. При активной поддержке общества и правительства основаны ученые общества для исследования страны и населения (имп. Географическое общ.), их истории (археографические комиссии) и естественных богатств. В рамках этих обществ и в салонах столиц, ученые, профессора встречались и общались с представителями новой техничеки-профессиональной бюрократии и общественности. Благодаря этим контактам кругозор чиновников расширяется и происходит взаимное обогащение. Таким образом, в «недрах» государственного аппарата приготавливались кадры, накапливались сведения, разрабатывались подходы и планы реформ и преобразования, выковывались административные орудия материального и культурного прогресса империи. Наиболее известными представителями и активными проводниками и инициаторами этого нового духа являлись братья Милютины (под покровительством

графа Киселева), Заблоцкий-Десятовский, Зарудный, Арцимович — все те, которые сыграют первенствующую роль в проведении Великих Реформ при Александре II. Не должно забывать, что первый приступ к реформам, т. е. выработка некоторых основных принципов, и проверка их на практике, были сделаны при Николае I (реформа государственных крестьян графом Киселевым, реорганизация муниципальной администрации С. Петербурга Н. Милютиным, так называемая кодификация русского права Сперанским). При этом, конечно, мы не забываем, что Николаю I не хватило ни дальновидности, ни творческой энергии, ни смелости инициативы, чтоб приступить конкретно к решению самой великой задачи — крепостное право; хотя он понимал ее значение и подготовлял ее разрешение.

Обратим теперь внимание на исключительно важную сторону царствования Николая I — образование — которая была тесно связана с изменениями в бюрократии. Мемуары и беллетристика нарисовали самую неотрадную, отрицательную картину состояния русской школы, и в частности университетов, высших учебных заведений. Несомненно, что в этой мрачной картине много правды — особенно с точки зрения учащихся (на воспоминаниях которых основано это представление): педагогические методы и взгляды и дисциплина, особенно по сравнению с развитием и либерализацией их в 60-х годах, воспринимались как проявление мракобесия и деспотического гнета над умом и личностью учеников и студентов. Все это так; но была и другая сторона, имевшая более глубокое влияние на дальнейшие судьбы русской культурной жизни, чем временно испытываемые неприятности учащихся.

Основная черта школьного дела в эпоху Николая I-го, это угнетение гуманитарных дисциплин и поощрение технических и естественных наук. Хотя философические кафедры были временно упразднены и число студентов в историко-филологических факультетах ограничено, после 1848-го г., 300-ми человеками — университеты в целом продолжали развиваться (был открыт еще один университет, Владимирский в Киеве), несмотря на ограничение их внутренней административной и дисциплинарной автономии (положение 1835 г.). Но самое главное было развитие технического, профессионального обучения (с практическим уклоном): открыты в царствовании Николая I-го технологические институты, институт путей сообщения, технические учебные заведения при Министерствах во-



оруженных сил, медицинские факультеты и институты — и все они подготовили многочисленные (по сравнению с предыдущим) кадры для дальнейшей модернизации России. Также нельзя забывать, что развитие этих областей привлекало большее число учащейся молодежи из не-дворянских слоев населения, преимущественно разночинцев из духовного сословия. Кроме того, ввиду быстрого развития высшего технического образования, средние учебные заведения — казенные гимназии и реальные училища — приобрели право гражданства и получили свое основательное устройство на немецкий лад при Николае I-м. И вспомним еще, что в николаевских гимназиях и реальных училищах получило свое образование и приобрело свою любовь к естественным наукам поколение Базарова, из которого вышли «реалисты — нигилисты» (Писарев, Добролюбов, Шелгунов и др.) 60-х-70-х годов, чего, конечно, не могли предвидеть Николай I и его министр народного просвещения, граф С. С. Уваров. Кстати, уваровская политика приема в учебные заведения ставила себе целью приобщить не-дворянские классы (за исключением крестьянства, конечно) к профессионально-технической подготовке будущих кадров общества.

Одновременно с количественным ростом образовательных заведений (и учащихся в них), правительство заботилось о качественном улучшении научной работы. При активной поддержке нового поколения государственного аппарата, Академия Наук, научные общества и институты дали толчок бурному расцвету и международному признанию русской науки в последующие десятилетия: стоит лишь назвать громкие имена Лобачевского, Менделеева, Пирогова, Строева, Соловьева, Кавелина и др. чтоб получить конкретное представление об успешной подготовительной работе и достижениях в царствование Николая I-го.

Редко упоминается в литературе один чрезвычайно интересный и важный аспект русской культурной жизни второй четверти 19-го века: церковно-религиозный расцвет. Деятельное участие самого императора и правительства в этом расцвете было не велико — но, по крайней мере, они не ставили ему серьезных препятствий. Стечение двух явлений объясняет этот расцвет. С одной стороны, продолжение духовно-религиозных исканий и начинаний русского образованного общества в конце 18-го и в начале 19-го вв. Жажда духовная, но и желание лучшего определения своего национального самосознания, привели образованное общество 30-х-40-х годов к

церкви, к историческим традициям и религиозным корням духовной жизни России. С другой стороны, сама церковь, как учреждение, проходила период реформ и внутреннего преобразования с целью принять более активное участие в культурно-общественной и духовной жизни народа. Реформы Сперанского педагогической стороны духовных училищ подготовили почву; энергичное руководство и поощрение митрополита Филарета Московского утвердили и развили эти начинания. В Троице-Сергиевской духовной академии Митрополит создал настоящий научный центр по изучению православия и истории русской церкви. Он сумел заинтересовать в этом деле русскую культурную элиту (напр., его тесная связь с славянофилами). Заодно научная работа в областях истории, философии, богословия и филологии расширяла и углубляла умственные основы для возрождения русской церковной и духовной жизни. Естественно, что само появление славянофильства, и его важный спор с западниками, является результатом и отражением, но и стимулом, церковно-духовного возрождения. Также несомненно, что расцвет русской литературы входит в рамки этого духовного творческого порыва в культурной жизни элиты. Недаром царствование Николая I-го — золотой век русской литературы и начало творческого подъема в области музыки, живописи и науки во второй половине 19-го столетия.

Четверть века правления строгого императора не считается знаменательным с точки зрения экономического прогресса империи. И это мнение справедливо, так как трудно говорить о прогрессе, когда вся экономически производительная жизнь страны продолжала обуславливаться крепостным правом. И в этом вопросе, как мы уже упомянули, правительство побоялось сделать решительный шаг. Но не должно замалчивать некоторые положительные, прогрессивные явления экономического развития, хотя они не были результатом сознательной или продуманной политики правительства. Во-первых, несмотря на крепостное право, отчасти даже вследствие его, наблюдается географическое перемещение производительного центра империи. Южные губернии — Украина и Новая Россия — переходят на экстенсивное хозяйство и их урожаи все больше и больше служат экспорту (через черноморские порты). Тоже самое можно наблюдать касательно начальной стадии эксплуатации угольных копей и залежей железных руд в Донецком бассейне. Появляется надобность лучшего транспорта; приступается к работе проведения первых железнодорожных путей, хотя и очень медленно, с большой опаской и

без настоящего понимания экономического и стратегического значения этого нового способа передвижения.

В частном порядке развивается текстильная и кустарная промышленности для широкого потребления населения — что является предпосылкой всякой индустриализации. И что знаменательно, первенствующую роль играют не европеизированные элиты, а традиционные слои населения: крестьянство (Иваново-Вознесенская текстильная промышленность основана и развита крепостными предпринимателями), старообрядчество, московское купечество. Хотя по сравнению с Англией, Германией, отчасти и Бельгией и Францией, Россия остается преимущественно «отсталой» аграрной страной, в ней шевелятся новые силы; проявляется дух экономического предпринимательства и готовятся большие перемены и динамические силы для следующей четверти века бурного экономического подъема.

В основном, внутренние безопасность и спокойствие царили в стране на всем протяжении правления Николая I-го (за исключением местных и кратковременных крестьянских волнений). Правда, обеспечивались они суровыми, иногда жестокими, мерами (усмирение бунтов, цензура, политический надзор и процессы). Но для обывателя эти крутые меры были мало чувствительны, и эффект их одобрялся. Бюрократический абсолютизм, в отличие от тоталитарной, идеологической диктатуры, требует законности и порядка. И благодаря кодификационной работе Сперанского, была заложена основа правосознания в государственной жизни страны. Чувство правосознания (законности и правопорядка) развивалось медленно в русском обществе и в бюрократии. Но в эпоху Николая I-го оно стало опорой частных материальных и правовых отношений между подданными империи. Свод Законов внес западно-европейские юридические принципы, подготавливая почву для развития, (в советской терминологии), «капиталистического уклада». К сожалению, правосознание не проникло в административную практику и не применялось в «политической» т. е. публично-общественной, сфере. Половинчатость развития правосознания впоследствии легла тяжелым бременем на судьбы Великих Реформ и на развитие в либеральном духе общественной жизни страны.

Из всего сказанного следует ясно один важный вывод: в эпоху

Николая I-го, государство (т. е. его активный аппарат) и общество (т. е. его творческие и предпринимательские слои) занялись большим «органическим» делом преобразования страны, проведения в жизнь тех мероприятий, которые должны приблизить Россию к общеевропейскому культурному и материальному уровню и направить ее на пути быстрого, всеобъемлющего прогресса. Правда, с одним большим, важным, ограничением: социальный и политический строй должны оставаться неприкосновенными. И на этой почве возникли те разногласия, трения и конфликты, которые составляют другое панно николаевской панорамы.

Мы говорили выше о прогрессивно-реформистски настроенных чиновниках — с поддержкой профессионалов, ученых и техников, они стремились перестроить общественно-экономические отношения в стране: в первую очередь, отменить крепостное право и открыть путь «капиталистическому» развитию. Этими своими взглядами они отличались и отмежевывались от класса, из которого вышли — дворян и помещиков. Последние, в большинстве случаев, не способные (или не желающие) участвовать в прогрессе, забираются в свои медвежьи углы, уделяя все свое внимание скудному хозяйству и «опеке» крепостных. В государстве и чиновничестве (особенно либерально-реформистского) они усматривают угрозу своему быту, взглядам, пренебрежение дворянских традиций и ценностей. Со своей стороны, чиновники относятся с презрительной иронией к провинциальному дворянству. До Крымской войны этот конфликт не выносятся наружу; но по окончании ее, и во время приготовления реформ, он становится главным и важнейшим фактором в проведении и дальнейшем развитии преобразований. Разрыв между чиновничеством и дворянством подготовлялся издавна, но произошел только во второй четверти 19-го в. (толчком м. б. послужили суд и казнь Декабристов). Правда, разрыв не полный, так как все члены малочисленного образованного общества в России сохраняют взаимную связь и продолжают обмениваться мыслями и информацией. Заслуживает внимания то, что впервые и в последний раз, элита образованного общества находит общую почву для встреч и общения с чиновничеством. Никогда так живо не обсуждались важные проблемы, никогда так творчески не били ключи интеллектуальной жизни. Происходили эти встречи не только в московских кружках славянофилов и западников, на публичных лекциях Грановского и других, но и на собраниях в Английском клубе, у кн. Одоевского, у вел. кн. Елены Павловны и у вел. кн. Константина Николаевича. Повсюду встречались представители раз-

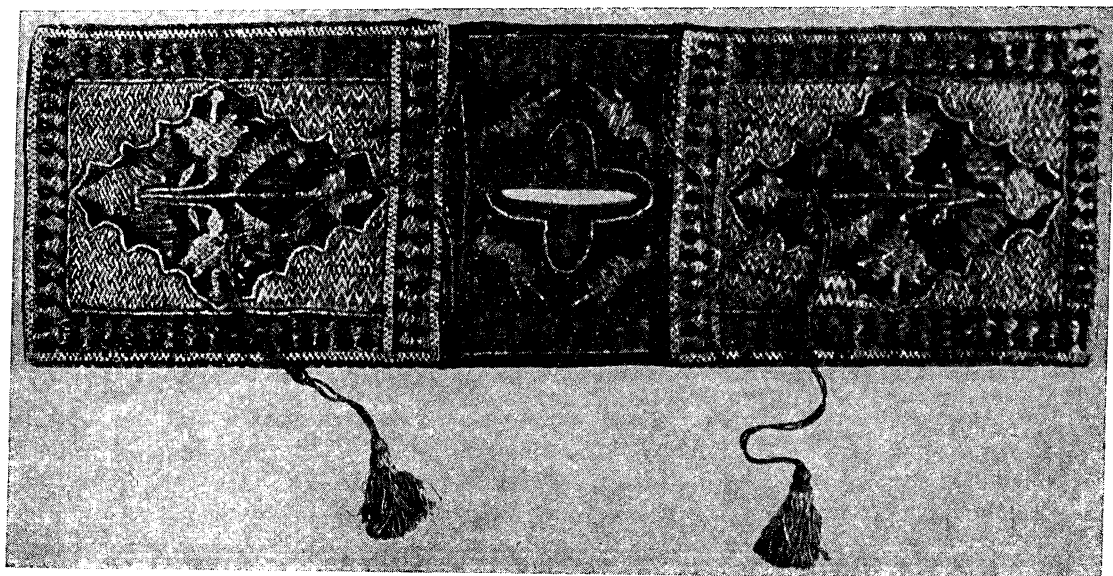
ных взглядов, интересов — но все говорили одним языком и горели общим желанием подготовить Россию к более светлому будущему. Но зато эта элита становилась непонятной и чуждой обывателям и владельцам «мертвых душ».

Но как обстояло дело с интеллигенцией, с участниками кружков Герцена, Станкевича, Белинского или Киреевских, Аксаковых и Хомякова? Разве интеллигенция не была против николаевского режима и современного экономического развития; разве ее члены не мечтали о радикальных преобразованиях социального и политического строя России, и, из-за своих взглядов, подвергались гонению Третьего Отделения и Корпуса Жандармов? Конечно, это так — хотя, по отношению к славянофилам, лишь с немаловажными оговорками и ограничениями. Наш очерк — не место для обстоятельного разбора этого вопроса; ограничусь некоторыми замечаниями. Во-первых, необходимо твердо помнить, что интеллигенция — в точном и ограниченно-определенном смысле слова, в отличие от образованного общества в целом — состояла из человек 20-40 молодых людей, включая их знакомых. Это ведь ничтожная часть даже образованной молодежи того времени (ряды которой быстро росли при быстром развитии учебных заведений, о которых речь шла выше).

Характерно для членов интеллигенции, что умственно и душевно они развивались в закрытой атмосфере кружков и что, впоследствии, они отказываются от деятельного участия в существующих общественных и государственных учреждениях — они беспочвенны. Неудивительно, что они представляются опасными государству и подозрительными для активных слоев образованного общества. Вопреки своему отщепенству, члены интеллигенции, как общеизвестно, имели громадное влияние на дальнейшее развитие и историю русской общественной мысли и движения. Причины этого явления завели бы нас далеко за пределы этого очерка. Но среди важнейших факторов жизни Николая I-го: неуклюжим и грубым преследованием он придал членам кружков славу мученичества и широкую известность. Правда, не будь энергия и блестящий талант Герцена как публициста за границей, голос интеллигенции не прозвучал бы так громко; и в отсутствии политически-культурного убежища на Западе (тоже главным образом заслуга Герцена), большинство интеллигенции, по примеру второго поколения славянофилов, вошло бы и «растворилось» в активном участии в проведении Великих Реформ.

Выводы нашего беглого очерка эпохи Николая I-го, как они нам представляются на основании новейших исторических исследований, можно представить в образе триптиха. Серединное его панно изображает радостный и яркий расцвет русской культуры. В центре его Пушкин, в сопровождении других писателей, художников, ученых, мыслителей, композиторов. Все великое и плодотворное, что дал русский гений мировой культуре, черпает свое начало и силу из этого творческого подвига. Второе панно рисует мрачную картину полицейско-бюрократического гнета, цензуры, преследования свободной мысли, унижение и оскорбление крепостных, поляков, евреев, горцев; застой, лицемерие и духовное мещанство. Известная всем картина, написанная с горечью и возмущением Герценом — это мир гоголевских Мертвых Душ! Но третье панно, до сих пор еще не завершенное, изображает то, что происходило *sans fanfare ni trompette*: ту усердную, творческую работу подготовки будущего, расчистки дороги прогрессу. Трудно наглядно изобразить эту картину, так как дело в медленных переменах, в действиях людей несомненно талантливых и добросовестных, но людей далеко не гениальных, не блестящих или ярких личностях. Их творчество не бросается резко в глаза, как шедевры искусства. Их скромность, преданность своему делу, подчиненное общественное положение делают их мало заметными. Выявить и указать на важность их деятельности для дальнейшей судьбы России — в этом заключается новый и ценный вклад современной историографии эпохи Николая I-го. Благодаря усилиям этих историков, третье панно триптиха заполняется портретами, красками и приобретает смысл — это немаловажная заслуга перед современниками и перед будущим поколением.

Марк Раев



Полная библиография эпохи Николая I-го составила бы объемистый том. Очерк мой основан не только на опубликованной литературе, но и на неопубликованных диссертациях, статьях и докладах, с которыми я имел возможность ознакомиться. Всем их авторам, знакомым и незнакомым, приношу искреннюю благодарность.

Ниже приведенный список дает только первую ориентировку для ознакомления с современной историографией царствования Николая I-го.

- П. А. Зайончковский: Правительственный аппарат самодержавной России в 19-м веке — Москва, 1978.
- Прот. Георгий Флоровский: Пути русского богословия — Париж, 1937 (новое изд.-перепечатка, Париж, YMCA-Press, 1980).
- Alain Besançon: Education et société en Russie dans le second tiers du XIX siècle. Paris - La Haye (Mouton), 1974.
- W. Bruce Lincoln: Nicholas I Emperor and Autocrat of All the Russias — London (Allen Lane), 1978 (most important summary and fullest bibliography).
- W. Bruce Lincoln: Nikolai Milutin — An Enlightened Russian Bureaucrat of the 19th Century — Newtonville, Mass. (ORP), 1977.
- W. Bruce Lincoln: Petr Petrovich Semenov-Tian-Shanskii — The Life of a Russian Geographer — Newtonville, Mass. (ORP), 1980.
- S. Frederick Starr: Decentralization and Self Government in Russia 1830-1870 — Princeton University Press, 1972.
- Andrzej Walicki: The Slavophile Controversy — History of a Conservative Utopia in Nineteenth Century Russian Thought — Oxford (Clarendon Press), 1975 (original in Polish — also Italian transl).
- Richard S. Wortman: The Development of a Russian Legal Consciousness — University of Chicago Press, 1976.



*Ташка Лермонтова, перешедшая к его другу Шан-Гирею. Лермонтов называл ее «переметной сумой моего таланта». В ней после его смерти оставались засушенные цветы и черновики некоторых его сочинений. Потомок лермонтовского Шан-Гирея, Аким Павлович Шан-Гирей передал черновики и другие сувениры поэта в Лермонтовский музей, но ташку оставил себе. С его наследниками ташка попала на Запад и теперь находится в частной коллекции.*

# М Е М У А Р Ы

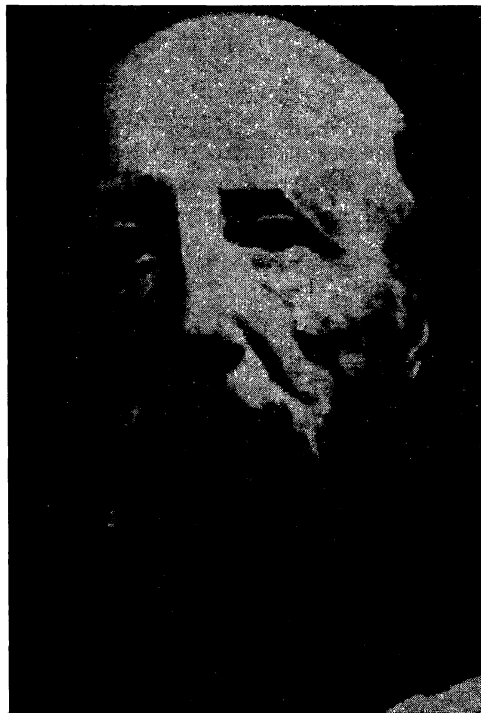




### О ЕВГЕНИИ ПАВЛОВИЧЕ ИВАНОВЕ

Ниже мы печатаем одну главу из книги Надежды Григорьевны Чулковой: *Воспоминания о моей жизни с Г. И. Чулковым и о встречах со многими замечательными людьми.*

Муж Н. Г. — Георгий Иванович Чулков (1879-1942). В 1899 г. он был сослан в Сибирь за участие в студенческих беспорядках. Издавал альманахи *Факелы* и *Белые ночи*. Его очерк *О мистическом анархизме* (1906 г.) вызвал оживленную полемику. Он автор романов *Сатана* (1915 г.), *Метель* (1917 г.) и исторической повести *Salto mortale...* (1930 г.). В 30-х г.г. занимался исследованием биографии и поэзии Тютчева.



В этой книге отдельные главы посвящены Г. И. Чулкову, Леониду Андрееву, Вячеславу Иванову, Александру Блоку, Федору

Сологубу, Анне Ахматовой, Сергею Городецкому, А. М. Ремизову, А. А. Пушкиной (внучке поэта), Аделаиде Герцык и др. Кое-что в этих мемуарах общеизвестно, иногда встречаются неточности (в воспоминаниях о Вячеславе Иванове и его семье). Но немало ценных наблюдений, в особенности о менее известных писателях. Выделяем главу о Евгении Павловиче Иванове (1879-1942). Он мало писал. Некоторое косноязычие помешало ему реализоваться в литературе. Он был одним из самых ближайших друзей Блока, который с ним переписывался и часто упоминал в своем дневнике. Дружба с Е. П. Ивановым как-то обогатила Блока. О нем сравнительно мало известно и ему следовало бы посвятить книгу.

Помещаем также стихотворение Юрия Верховского, посвященное Н. Г. Чулковой. Юрий Никандрович Верховский (1878-1956), поэт. Его иногда называли классицистом эпохи символизма. Издал сборник стихов *Идиллии и элегии* (1910 г.). Блок откликнулся на эту книгу посланием Юрию Верховскому (Дождь мелкий, разговор неспешный...). Выписываем последнюю строфу:

Мы посмеялись, пошутили,  
И всем придется, может быть,  
Сквозь резвость томную идиллий  
В ночь скорбную элегий плыть.

### НАДЕЖДЕ ГРИГОРЬЕВНЕ ЧУЛКОВОЙ

Каким отзвучием былого  
И как целительна жива  
Ты память смолкнувшего слова,  
Нашедшая свои слова!  
Так мне помыслилось неволью,  
Когда я получил от вас  
Живых страниц простой рассказ,  
Где строго, может быть, подчас,  
Но так спокойно, так безбольно  
Прикосновенье к старине,  
Столь памятной и вам и мне,  
Где дышит — что невозвратимо,  
Сокрывшееся — словно зримо,

Былым привольно дышит грудь:  
Оно дарит бывалой силой —  
Напутствием в дальнейший путь —  
Каким бы шел тот путник милый,  
Чью память сердце бережет,  
Чей сказан был завет — и вот  
Идут страница за страницей  
Неторопливой чередой —  
Как вежи — верной вереницей,  
Былому воздают сторицей  
И веют жизнью молодой.

*Юрий Верховский*

12. XI. 1950. Москва.

В одно время с Блоком я узнала и друга его, Евгения Павловича Иванова, «Женю», как называл его потом Блок. Он писал рецензии и статьи и, как я знала, был близок к Мережковскому, Зинаиде Гиппиус и особенно к В. В. Розанову, и был другом дома последнего. Бывал он и у нас, но редко. Он производил впечатление скромного человека, но с какими-то своеобразными и сложными идеями. С Блоком они говорили на непонятном для «непосвященных» языке: какие-то недосказанные слова, отрывочные мысли — это был их язык. Есть книга: «Письма Блока к Е. П. Иванову». Там тоже много таких слов, непонятных для посторонних.

Позднее он женился. Дочка его Марина была крестницей Блока. Жена его и дочь — душевно-больные. С ними жила сестра его — Марья Павловна. Умерла она в октябре 41 г.<sup>1)</sup> О ней с большим уважением пишет Блок в своих дневниках и письмах к матери. Ей он посвятил стихи:

<sup>1)</sup> Родилась в 1874 г. (?)

## «На железной дороге»

Марии Павловне Ивановой.

Под насыпью, во рву некошенном,  
 Лежит и смотрит, как живая,  
 В цветном платке, на косы брошенном,  
 Красивая и молодая.  
 . . . . .

Марья Павловна была постоянной корреспонденткой матери Блока, Александры Андреевны. Евг. Павл. очень любил свою сестру и она его тоже любила и сострадала ему в его поистине трудной, мучительной жизни; и умерли они почти в одно время.

У меня уже после смерти Блока и смерти моего мужа случайно возникла переписка с Евгением Павловичем, и я была рада случаю, вызвавшему ее. Всего четыре письма. В трудное время финской войны я поручила дочери В. В. Розанова, Надежде Васильевне<sup>2)</sup>, жившей тогда в Ленинграде, купить сладостей и закусок и отнести их Евг. Павловичу, который, как я слышала, очень нуждался. Поручение мое было исполнено, и вот я неожиданно получаю письмо от Е. П. Привожу его целиком здесь, а также и мой ответ на него. За этим письмом последовало от Евг. Павл. второе, третье и четвертое.

## Письмо первое

Ленинград, 26/II-40

Милая, добрая и глубоко, глубоко уважаемая Надежда Григорьевна, здравствуйте! Спасибо Вам за память сочувствующую, память, которую не осилило время, память, в которой залог «вечной памяти».

Наша светлая, нежная, милая Надя по Вашей просьбе задала нас. 12 февраля нанесла нам целую гору продуктов, которые теперь так трудно достать. Целых два кило куск. сахару, масла кило, колбасы ливерной (превкусной), конфеты «шантеклер», печенья. Да за что это?

<sup>2)</sup> Надежда Васильевна Розанова (1900-1956). Художница. Была замужем за Верещагиным, а во втором браке за Соколовым. У Ю. П. Иваска хранятся ее воспоминания об отце В. В. Розанове.

Разве, когда Вам было тяжело, я откликнулся на Ваше горе хоть одним словом? А вот Вы какая чуткая к другим! К Пясту<sup>3)</sup>, ко мне, так давно невиданному. Посылаю Вам мою физиономию после промежутка в 30 лет<sup>4)</sup>.

Правда, как и Вас, меня здорово жизнь потрепала и теперь не легко, но полегче, чем было за год. Живо вспоминаю Ваше лицо. Оно напоминало мне портреты Петра I в юности с усиками. Александра Андреевна, мать Блока, очень Вас ценила и любила. Считали мы Вас глубже и полнее «Зори»<sup>5)</sup> Иваныча (Чулкова) может, недостаточно вникая в сущность его; был тот грех.

Я слышал от Нади о конце Георгия Ивановича. Свято чту всякий конец, а такой конец просветляет «тем светом».

На этом свете, когда живешь, всё «тем светом» живешь, говорю о собственном переживании.

Всю жизнь с ее трагедиями могу оценить и осмыслить только в свете «Того света». В искании познания Слова того света проводил всю жизнь. И теперь оно же в моем математическом искании в связи с Платоном и бумажным квадратным листом, из которого делаются фигуры, особенно завершённые в лодочке с парусами. Вот занятие, занятное и старым и малым. И на это-то математическое мое занятие многими смотрится как на безумие.

Впрочем, этот крест безумия я бережно несу. Он в жене моей и в дочурке моей милой Марине. Жена теперь дома, но мучитель ее еще не совсем отстал от нее.

Дочь в больнице. Последние дни она в сознании ясном, и не смеется безумным смехом; быть может, потому, что больна ангиной, сильный жар был, и теперь еще есть, а когда жар и болезнь телесная, душевная на время отходит и сознание проясняется.

<sup>3)</sup> Владимир Алексеевич Пяст (Пестовский; 1886-1940). Поэт, переводчик.

<sup>4)</sup> К письму подлинника приложена фотокарточка Письма Е. П. мною переданы в Пушкинский Дом в Ленинграде (Н. Чулкова).

<sup>5)</sup> «Зоря» — уменьшительное имя Георгия. Так называли его родные. (Н. Чулкова).

Милая Надежда Григорьевна, поверьте, что болезни душевные не случайное и не напрасное явление в жизни. В нем (в безумии) совершается какое-то великое мировое дело. Это крест, на котором мир распят для меня и я — для мира, таким крестом не грех хвалиться, ибо он позор в глазах мира.

Недаром вся литература, Шекспир, Гёте, Пушкин, Блок так близко воспринимают его и трагедию жизни связуют с безумием. Трагедия там, где душа не одна, но является с духом, и дай Бог, чтобы духи чистые осенили ее. Она проходит через ад, где прошел Христос, где горнила переплавки души в пламени духов. Входя в общение с безумцами, в их «дома» мы вступаем как на переходную межу между здешним и нездешним миром, «сущим в темнице духовой, сошед, проповеда».

Думаю, в трагедиях как жизни, так и искусства (когда «с ума сойти» можно с горя) мы стоим на той же таинственной меже, меж здешним и нездешним, где «явны духи в душах» и «не миновать сей двойственной нам грани» или здесь или там, или и здесь, и там.

Потому да «испытует» человек себе и так от Чаши да пьет и с чашею идет через ад, нисходит и восходит из рова преисподней.

Здесь, в этом горниле происходит творчество не над хаосом, а из хаоса, как писал мне Блок. Всегда верил и искал, а теперь, признавая, преклоняюсь пред глубиной истины и премудрости православия. В этом крепко жму Вашу руку и Георгия Ивановича.

Простите за почерк и неясность выражений.

Напишите Наде о Пясте, как то он?

Мой адрес на всякий случай: Ленинград, 22, Карповка, д. 18, кв. 7, Евг. Павл. Иванову. Вся семья благодарит Вас.

Остаюсь с любовью

Е. Иванов.

«Дорогой Евгений Павлович! Ваше неожиданное письмо очень меня обрадовало, а рассуждения Ваши о безумии глубоко тронули. Да поможет Вам Бог на Вашем пути. Я теперь стала старушкой, слабой и немощной, нуждающейся в помощи более сильных. Это грустно. Не всегда удобно обременять собою других. Но у меня есть друзья. Вот хотя бы Надя (Розанова). Она меня не оставляет. Георгий Иванович, умирая, сказал: «Я за тебя не беспокоюсь, ты не одна. Прожитая жизнь оставила кое-что и хорошее. Она дала опыт и разумение многого, что было непонятно в молодости. Это богатство старости». «Не возведи мене в преполовении дней...» говорится в псалме. Я понимаю это так: умирая в молодости, мы лишаемся возможности оценить по достоинству дары Божии и насладиться ими и благодарить за них. Георгий Иванович в последние годы очень это усвоил: всегда за всё благодарил. Это большое благо, благодарение за всё.

Вы вспоминаете о Георгии Ивановиче в молодости. Ах, я сама так строго судила его. А теперь вот любовь настоящая всё покрыла собою, и всё мелкое от человеческой слабости, потонуло в этой любви и осталось только одно хорошее, что не умирает и не забывается.

Я очень радуюсь Вашему взгляду на вещи. Так дорого найти единомышленника. Я мало знала Вас раньше. Даже книжечку Ал. Блока с письмами к Вам я не прочитала — не было времени заняться этим. Теперь с особенным интересом прочту ее. Меня это очень касается, — Ваше общение с ним. Вы были дороги его матери и ему, но в главном, ведь, вы были далеки друг от друга? Недавно в доме отдыха я встретила Н. А. Павлович<sup>6)</sup>. Она мне рассказывала о последнем годе жизни А. А-ча (Блока). Мне хотелось бы не с ней, а с Вами говорить об этом.

Надя мне пишет, что дочь Ваша поправилась. Слава Богу! Поцелуйте ее за меня и жене Вашей и сестре передайте мой поклон.

Всего хорошего, дорогой Евгений Павлович. Спасибо за добрые слова.

Ваша Н. Чулкова.

P.S. 23/III-40. По приезде из дома отдыха спрашивала многих

<sup>6)</sup> Надежда Александровна Павлович (р. в 1895 г.). Поэт. Написала *Воспоминания об Александре Блоке* (1964 г., Тарту).



о Пясте, но никто ничего не знает. Ив. Ал. Новиков <sup>7)</sup> (теперь председатель Литфонда) видел его на улице, но не говорил с ним. Другие общие знакомые не имеют сведений. Из больницы он выписался 9-го марта. Может быть он уехал в Ленинград с женой? Ивойлов знает телефон его жены. Адрес Надежды Стефановны Омельянович (это его жена): Вольнский пер., д. 4, кв. 11, тел. А-1-74-65. Это на всякий случай, м. б. кто спросит.

---

### Второе письмо.

Дорогая Надежда Григорьевна, спасибо Вам за письмо, за выраженное в нем сочувствие, «созвучье» наше на «созвучьи» слов иных, где «дышит святая сила» более понятная нам, чем до преполовления дней наших.

«Мужи кровей и лъсти не преполовят дней своих», быть может и доживя до глубокой старости. «Преполовление» или «преломление» совершается в трагический «шестый час» нашей жизни, и это не от нас «Божий дар», оттого и «благодарность».

Как дорог и близок мне Георгий Иванович за эти слова о преполовлении и благодарности за «богатство старости».

Вечерние зори «Зори».

В «Зорях» преполовляются зарева пожаращ преисподнего огня, в котором мир горит. Современный мир не верит в этот огонь (безумие о нем заставляет вспомнить), мир хочет отмахнуться от огня, но он есть этот преисподний огонь в живых и в мертвых, ибо у Бога все живы, огонь духов нечистых и чистых и это друг мой близкий Ал. Блок близко знал и «Тайный жар стихов» его ведет через этот огонь, проводит: вот в чем тайна Вечерних зорь его, в которых предчувствие утра зорей новых дней.

Здесь наша близость, это близость Вергилия и Данта, проходящих через ад.

---

<sup>7)</sup> Иван Алексеевич Новиков (1877-1950). В начале XX годов был близок к символистам. Издал книги о Пушкине, Тургеневе, *Слове о Полку Игореве*. Выдвинул гипотезу об авторе этого памятника.

Ведь Вергилий язычник в «главном», но ведь в главном-то он верит во Христа, а Данте «христианин» в «главном», но в главном же он и язычник еще, ибо познание его, как и у нас грешных, не до конца. Близость же в главном нашу с Ал. Блоком открывает потом трагедия жизни пережитого с безумием жены и дочурки моей, милой Маринушки.

Слава Богу, она теперь с нами и такая же, как была, ласковая, добрая, кроткая, глубоко религиозная как всегда. А что было! Боже, не введи нас в напасть, но избави нас от лукавого. Неузнаваема была. И меня, и мать потом гнала вон. Во время болезни моей спрашивала: «не подход еще»? О священниках, чтимых ею тоже — «дураки» да «дураки». Кощунство, неслыханное сквернословие со (?) смехом. И так почти пять месяцев. О доме и слышать не хочет бывало. Хочет итти жить с каким-то мужем.

Во время свидания с ней я всё уверял ее, чтобы она не верила сама, что говорит от себя, а знала бы, что это другой, которому дана власть тьмы, говорит и владеет ею. Она смеялась, но как-то затихала. Выздоровление, как и шесть лет назад, произошло внезапно и в связи с молитвою священника и письмом его.

Так вот, Надежда Григорьевна милая, если такова сила одержимости, то разве по ней о «главной» близости можно судить? Ведь о Марине моей, кощунствующей в болезни, при мне ее соседи говорили: «Она по ночам так усердно молится и всё вспоминает папочку своего, как ему тяжело».

И Ал. Блок не весь тот, что в высказываниях своих. Часто, горячо споря по поводу Пушкина, например, то, что отрицал, он именно это-то и признавал и больше всех ценил.

Да, в безумии мы, как в «змии», «его же создал еси ругатися ему». Но как и у крестницы его, Мариши, кто знает, что думает и переживает он в ночные часы, не отражая в творчестве до конца. Его ли вина, что не приучен слух его к часам света 1-му, 3-му, 6-му и 9-му, в этом я виною отчасти себя, потому что не умел передавать, да и несмышленный был, не пришел час еще и время в мире. И может быть само творчество путевое в ночи понятное тем, кто в мертвых

века. Не нам судить о тайнах вдохновения. Суды Божии неисповедимы.

Дорогая Надежда Григорьевна, если Вас интересует переписка моя с Ал. Блоком, то много бы уяснилось, если бы Вы прочли мои письма, на которые он отвечает мне. Их по историческим условиям не удалось издать вместе. Но у Евгении Федоровны Книпович<sup>8)</sup> (адрес ее забыл, может знает его Н. А. Павлович) есть копии с моих писем, я посылал ей. Если они еще целы, может она будет так добра дать Вам прочесть. Ей от меня передайте самый сердечный привет и скажите, что ее письма я недавно обнаружил частично у себя и поражен был, как я всё забыл и не писал ей, такой чуткой ко многому, что понятно мне теперь с годами.

Простите за неясный почерк мой, это от ночи усталость. От всех моих — от Мар. Павл., Мариши и жены моей Александры Фадеевны поздравление с наступающим праздником Христова Воскресения.

Христос с Вами и с Георгием Ивановичем.

С любовью Ваш Е. Иванов.

26.IV-40.

Третье письмо.

Милая и глубокоуважаемая Надежда Григорьевна.

Спасибо Вам за Ваши «убогие» письма, потому что они «у Бога», и от Бога мне утешение и ободрение дают, раз мои, как Вы говорите, письма «питают душу» и «реализм» будит и понуждает не забывать свое настоящее место в мире, и что всё в связи с радостью от «неистощимого источника».

К этому неистощимому источнику, бьющему как родник фонтаном в радужных воротах его церкви, мы подходим через Евангелие; да не замутиятся Его воды. «Де не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте, в доме Отца Моего обители многи суть, а если не так, сказал бы вам: иду приготовить место вам, и когда приготовлю вам место возьму вас с Собою, чтобы и вы были

<sup>8)</sup> Евгения Федоровна Книпович (род. в 1898 г.). Критик, литературовед.

там, где Я буду». Вот как воспринимаются с благодарностью вам ваши слова: «понуждайте не забывать свое настоящее место в мире». И каждая душа человеческая призвана быть стать обителем в доме Отчем, несмотря на радужное разнообразие преломления в нем лучей «Солнца Правды». И какие страшные замутнения и трагические преломления приходится пройти душам, каплям-душам в пути истины и жизни, неисповедимы пути Божии! «Да не смущается сердце ваше, да не устрашается...» «Мир оставляю вам. Мой даю вам, не так, как мир дает. Я Даю; да не смущается сердце ваше, не устрашается».

Вот тот звук слова, который проводит и проводил, сопровождая и раздаваясь порой внезапно в ушах, в самые нестерпимые казалось бы для мира моменты трагедии жизни. И так же вдруг он внезапно оправдывался и «воздушный замок» несбыточной мечты, чаяния оказывались на каменном реальном «основании». Совершались чудеса.

Милая Надежда Григорьевна, вы спрашиваете, как понять мои слова «трагедия там, где душа не одна», и когда же душа бывает одна? ведь с нею всегда Ангел ее, — и трагедия — это положительное или отрицательное состояние? Если чисты духи с нею, то это тоже трагедия? Постараюсь объяснить.

Все мы сотворенные Божии твари призваны к «рождению свыше», чтоб приобщиться к «Едиnorodному», то-есть «рожденному несотворенно» и войти в лоне Отчем в обитель Отца.

Но чтобы перейти к рождению, надо прежде ощутить и оценить в себе творение Божие. Ощутить Бога, как Творца в законе творчества Его, и свою тварность и несвободу тварную пред Творцом, свое рабство тварное в грехе и свою рабскую любовь к Богу.

Здесь начинается трагедия судьбы, трагедия судьбы есть трагедия суда, ибо суд совершается в жизни в судьбах человеческих.

И вот в этом-то суде-судьбе с его трагедиями и «напастями жизни», когда человек охвачен духами сильнейшими души человеческой, и в муках их испытывает одиночество, которое, нисходя во

ад, и Сам Единородный, испытывая восклицал: «Для чего Ты оставил Меня?», в эти трагические минуты мук Голгофы жизни совершаться начинает рождение свыше, перерожденное из тварного в единородное в лоне Отчем и воскресение Единородного.

Оно совершаться может всю жизнь и не завершится, но оно в пути туда и на пути с Единородным к Отцу.

Потому напасть-трагедия и напасть или искушение, от которого мы молим избавить, и не ввести нас, в то же время принимается нами, как чаша Единородным: «да минует Меня чаша сия, но да будет воля Твоя; не как я хочу, а как Ты хочешь», «да избавимся от лукавого». «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

Трагедия — это преломление тварного хлеба тела и крови в таинстве пресуществления в рожденного свыше, потому с точки зрения творения оно скорбно, скорбно и Творцу, но Сам Творец, рождая свыше, терпит с нами муки рождения, сочувствуя и очищая нас в Единородном.

И одиночество с точки зрения тварного мира ведет за собою неодинокство в несотворенном единородном мире обители Отчей.

«Все вы рассеетесь и Меня оставите одного, но Я не один, ибо Отец со Мною». И это неодинокство может только понять тот, кто не отвлеченно философски, а плотью и кровью воспринимает в себе рождение не от мира тварного, а от Сотворившего мир и Рождающего его.

Потому и трагедия всегда есть начало очищающее, как знали и древние, и чистые духом. В трагедии — крест, ведущий к рождению свыше и воскресению в Воскресшем Сыне Единородном.

Не знаю, объяснил ли я Вам то отношение мое к трагедии жизни и двойственность восприятия ее, как нежеланного и как желанного от Отца воспринимаемого в Творце. Быть может в смертный час мы так воспринимаем ее двумя глазами.

Всего хорошего, здоровья, бодрости, светлости, дорогая Надежда Григорьевна. Привет от дочурочки, жены и сестры.

Ваш Е. Иванов  
7/VII-40.

## Четвертое письмо.

11 июня 41.

Дорогая Надежда Григорьевна, простите меня за бесконечное молчание. Рад очень, что видите теперь с Надей и что верно ей теперь получше с ухом. А я вот такой «пеньтюх», до сих пор ни разу не был у ее друзей, а у них година тяжелая нынешний год. Спрашивать по телефону как-то совестно: всё сам собираюсь бесконечно: думаю, схожу и напишу Наде, а вот так выходит, что не хожу и не пишу. Мы вообще довольно здоровы. Только у Марьи Павловны (сестры) прошлое воскресенье всё голова кружилась и темнело в глазах и рука немела. Пролежала весь день в постели. Я настоял. А потом опять на ногах. Голова пояснее, но всё какой-то холод в лице и в руке. У Александры Фадеевны всю неделю головные боли с тошнотой, это мешает ей очень на уроках, готовится к экзаменам и дома работает. Через силу она добивается своего обучения кройке и шитью, это интересное дело сродни архитектуре. Маринушка тоже усиленно учится, с 19 июня до июля сплошь пойдут экзамены. И после них через две недели будет служить в ясельных сестрах. Больше всех ей помогает сестра моя Маня (Мар. Пав.). Что касается меня, то я утонул в прошлом и теперь барахтаюсь в 1905 году. Дневники крайне ценны для меня и особенно записанные сны сестры Мани очень интересны и значительны в высшем смысле. Вообще, на расстоянии всё передуманное и пережитое в те годы кажется цельнее, закругленнее и значительнее, особенно когда видишь соответственное в трех свидетелях об одной эпохе. Бор. Бугаев. Ал. Блок в письмах, в записях и дневники мои оказываются в контакте. Андрея Белого по письмам 912-16 гг. особенно по-новому воспринял, до слез близкого в интимных переживаниях, жалко много в себе и в нем. В общем довольно усидчиво работаю: не знаю, будет ли какой толк из всего этого. По обыкновению, я ничего до конца не довожу и только намечаю. Планы-то очень большие, их надо сузить, а то растягивается. Очень трудно не отвлекаться: а тянет то туда, то сюда, и не знаешь куда итти. Витязь на распутьи. Я надеюсь, мне удастся хоть в письмах поделиться своими путешествиями в прошлые времена, когда Вы были с усиками и ходили на Петра I-го в молодости.

Таня<sup>9)</sup>, бедная, мне писала хорошие письма и прислала очень

<sup>9)</sup> Таня — Татьяна Васильевна Розанова (1895-1975). У Ю. П. Иваска хранятся ее воспоминания об отце В. В. Розанове. Отдельные главы были опубликованы в *Новом Журнале* и *Вестнике Р.Х.Д.*

ценный снимок с дома, где жили они и где умер Вас. Васильевич и Вера<sup>10</sup>). Самое значительное и трогательное по краткости — это последнее письмо: я еще, конечно, ничего не ответил: в одной строчке выражено страшно много. «Трудно жить... а труднее всего, что все три сестры (Розановы) из разного теста сделаны и не понимаем друг друга никак.» Пишет 8 мая и поздравляет с праздником, а праздник-то любимого ученика — Иоанна... Мне в этот день старушка уборщица лимонные корочки преподнесла. Она у нас особенная: никогда я с ней ни о чем не говорю, а она с чутьем: еще осенью в день Иоанна Крестителя шел на службу (только что поступил) и думаю, такой значительный для меня день по судьбам жизни и праздник, и чем то отметится он, вхожу в нашу «музыкальную школу» и, вдруг, эта старушка стремительно подходит ко мне, берет обеими руками мою руку, трясет и шепчет: «с праздником, с праздником вас...»

Думаю, что тесто-то одно в сестрах, да дрожжи разные и вкисело разное...

Увидите Таню, передайте ей, что я пишу. Всех их трех я люблю и дороги они мне. Письмо хотел сегодня же писать, да поздно, 3-й час ночи, поделюсь, чем могу. Целуем ее все мы крепко. Дай Бог ей здоровья и Вам, Надежда Григорьевна.

Ваш Е. Иванов.

---

Мне пришлось читать дневник одной ленинградки, пережившей все ужасы блокады. Выписываю из ее дневника о последних днях и кончине Евгения Павловича:

«Мариша, дочь Евг. Павл., приходит к нам почти через день погреться и поесть. Для нее мы всегда оставляем тарелку супа и кипятка. Мы с мамой отрезали и по кусочку хлеба. Мама и позже давала Марине от себя сухарики.

По рассказам Мариши, Евг. Павл. долго пересиливал себя, ходил на работу. Но работа у него все как-то не ладилась: то деньги

---

<sup>10</sup>) Вера Васильевна Розанова (1897-1919). Ее письма и записки у Ю. П. Иваска. Была послушницей в монастыре. Покончила с собой.

пропадали, когда он был кассиром, то карточки, когда на нем лежала обязанность их раздавать.

В день именин Евг. Павл., 26 декабря, я иду его поздравлять. У меня с собой две конфетки, больше мне нечего ему принести. Они живут далеко, ноги двигаются плохо, и я с трудом добираюсь до них. В комнате светло и чисто. Евг. Павл. лежит на диване спиной ко мне. Марина ласково обнимает меня, и, нагнувшись к Евг. Павл., говорит: «Наша любимая Лида пришла». Евг. Павл. с трудом поворачивается и с помощью Марины садится на диван, спустив ноги. Лицо его одутловато, руки распухли, синего цвета и все в каких-то болячках. Он улыбается мне и говорит, как бы извиняясь за свою беспомощность: «Я ведь уже на закате». Я стараюсь подбодрить его, а он спрашивает меня о маме, папе и Володе. На улице быстро темнеет, а путь мне предстоит дальний. Я подхожу к Евг. Павл. и целую его. Я уже знаю, что больше не увижу его живым.

В день именин я была единственной гостьей, пришедшей его поздравить, и Мариша говорила, что он очень оценил это. Он умер в начале января. Умер тихо, как будто заснул. Это было в пять часов утра. Марина была с ним всю ночь. Когда я с папой и мамой пришла к ним через две недели, Евг. Павл. лежал уже в гробу. Лицо его было спокойно и он больше напоминал прежнего Евг. Павловича, чем в день его именин.

Его жена и дочь сами отвезли его на санках на кладбище.»

У Евгения Павловича был брат.

О нем А. Блок пишет: «А. П. Иванов, действительно, человек совершенно исключительный, как и вся семья Ивановых. Оттого только, что живут на свете такие люди, жить легче — опора»<sup>11)</sup>.

*Н. Г. Чулкова*

<sup>11)</sup> Письма Блока к В. Н. Княжнину. «Письма Блока». Лен. «Колос». 1925 г.



**О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРАГЕ****(Отрывки из воспоминаний)****I. ОБЩЕЕ И ЛИЧНОЕ**

Русская Прага полностью ушла в историю. И память о ней не всегда точна. Я имею в виду:

не только нарочито покаянные и прискорбно стилизованные воспоминания типа книги известного в Зарубежье общественника и журналиста, Дмитрия Ивановича Мейснера «Миражи и действительность. Записки эмигранта», Москва, 1966, (в книге много говорится о Чехословакии);

не только ошибочное представление о политическом составе пражской русской колонии, как, якобы, эсеровской, даже в такой серьезной и объективной книге, как «Хроника семьи Зерновых», том II «За Рубежом», ИМКА-Пресс, Париж, 1973, стр. 125;

но я также думаю о страницах о Праге покойного Вадима Владимировича Морковина, члена литературного содружества Скит и чехословацкого старожила, которые стали мне доступными, благодаря любезности Г. П. Струве, и где как будто бы нет намеренных «смещений ценностей», но зато немало упрощений и прямых ошибок.

Поэтому прежде, чем рассказывать о «днях и делах» там русских литераторов, надо напомнить, как возник этот своеобразный русский мир на берегах полноводной Влтавы, у подножия горделивых Градчан с их поразительным собором Св. Витта, под которым, по средневековой легенде, находится вход в ад...

Во времена Российской империи в Праге не было такой «русской колонии», какие характерны для Берлина, Парижа, Ривьеры, Вены, для некоторых немецких курортов и университетских городов, для Рима, Лондона или Женевы. Несмотря на иногда двойственный по политическим настроениям состав этих колоний («верноподданные» и «ниспровергатели»), православные храмы, воздвигнутые в Европе и вне ее, указывали на наличие русских людей и за

пределами императорских посольств. Но если энтузиаст славянства и самый глубокий из выразителей славянофильских идей, Алексей Степанович Хомяков, писал в своих знаменитых стихах:

И Прагу я видел. И Прага сияла.  
Сиял златоверхий на Петршине храм.  
Молитва славянская громко звучала  
В напевах, знакомых минувшим векам...

он не имел в виду русскую православную церковь (таковой в Праге не существовало вплоть до эпохи русской эмиграции, когда на гигантском кладбище в Ольшанах появилась небольшая, в псковском стиле церковка, расписанная фресками по эскизам И. Я. Билибина). Хомяков писал о чешском храме, в котором тогда бытовала кирилло-мефодиевская традиция богослужения.

Блестящий чешский литературовед, Иржи Горак, читавший в моей «Альма Матер» — Карловом университете курс по сравнительной истории славянских литератур, утверждал, что каждая из славянских литератур несет на себе отпечаток собственной национальной исторической судьбы: балканские народы сильны народным фольклором и близостью их поэзии к крестьянской массе; польская — характерна мессианско-историческим, аристократическим духом; русская — наиболее социально и идейно всеобъемлющая, духовно чуткая, с наибольшим вниманием к человеку, и с необыкновенным богатством языка, — «царский язык по сравнению с другими славянскими языками», восклицал Горак; а чешская литература — преимущественно мелкогородская, погруженная в «нашу маленькую жизнь» и в чешской литературе идеи всегда кажутся не столь определяющими, как в иных славянских землях.

Несомненно, все обобщения, более или менее, условны. Но «формулы» Горака невольно приходили на ум, когда наблюдали первую Чехословацкую республику.

Хотя в течение прошедшего и нынешнего века тысячи и тысячи уроженцев будущей Чехословакии оказались в России, с успехом работая в различных отраслях народного хозяйства (и, в частности, зарекомендовали себя как пивовары) или, например, подвизались в качестве преподавателей древнегреческого языка и латыни, когда граф Д. А. Толстой завез классические гимназии (в результа-

те приписывались ввезенным учителям анекдотические конструкции речи и словесные ошибки, вроде: «Девушки были распущены стносительно волос» или «Одиссей, возвращаясь к пенатам, увидел дым от пищеварения»), несмотря на подъем среди австрийских славян неясных панславистских мечтаний, в которых Россия была в сиянии надежд и в ореоле славы, *знания* о Российской империи были ограниченными или односторонними, как, впрочем, и всюду в Европе... Надо признать, однако, что и с русской стороны не обнаруживалось больших знаний касательно «сердца Европы»: православная церковь чтила Св. князей чешских Вячеслава (Вацлава) и Людмилу, образованные люди слышали о Яне Гусе, как религиозном реформаторе, об одноглазом Жижке, военном вожде таборитов, и восхищались великим гуманистом, Амосом Коменским. Перед Первой Мировой войной стала популярна в России сокольская гимнастика. Конечно, всеведущими были славяноведы, которые подолгу жилали в Праге, работая над документами в драгоценном архиве Национального Чешского Музея и в иных книгохранилищах. Но кто же читал их тома, кроме их учеников и конкурентов? Меня поразило неожиданное (и фактически верное) наблюдение одной из моих чешских студенток, только что прочитавшей «Войну и Мир»: «Толстой — предатель славян», сказала она, сверкая глазами: «Он описывает 1805 год, но он не сказал ни одного слова о славянском населении около Аустерлица». В конце концов, неудивительно, что бытовали в памяти пражан «исторические мелочи». Таким было предание о Петре Великом, будто бы выигравшим в знаменитой пивной «У Флеку» состязание в питье «единым духом» и после того угощавшим всю ночь пражан тем же «малохмельным напитком». Бродячим сюжетом оказывался рассказ о примерной скромности фельдмаршала, графа Рымникского, А. В. Суворова, никем не узнанного в Праге, где он провел ночь в «корчме», возвращаясь в Россию вместе со своим преданным денщиком Прошкой после италийско-швейцарского похода, превратившего Александра Васильевича в самом скором времени в светлейшего князя Италийского и генералиссимуса российских войск. И так далее: отдельные эпизоды об отдельных русских знаменитостях, побывавших в Праге Чешской, включая ш е с т у ю конференцию Росс. С.Д. Рабочей партии в 1912 году, когда произошло окончательное оформление большевиков в отдельную политическую организацию. На дом, где случилось это событие, чреватое последствиями для всего мира, обращали внимание в 1945 году чинов советских войск при показе достопримечательностей города. Но наши соотечественники, проявлявшие поистине огромный интерес ко всему вокруг, приняли «сообщение о конференции 12-го года» без коммен-

тариив. Впрочем, они беззастенчиво оживлялись при любом упоминании о «здесьних русских». Мне пришлось знакомить с Прагой группу офицеров во главе с двумя генералами из штаба одного из фронтов. В Праге встретились три фронта: Конева, Еременко и Малиновского, — отчасти «соревнованием» трех различных СМЕРШ-ей, то есть фронтовых контрразведок с недвусмысленным названием — Смерть Шпионам, объясняется факт показательного разгрома всего актива русской эмиграции в Праге в течение десяти дней. Они начали «перебор людишек» в роковую дату — 13 мая. Но я оказался гидом еще 11 мая, когда мы еще чистосердечно восхищались армейскими ансамблями песен и плясок, выступавших на «эстрадах» грузовиков на всех площадях города и когда нам искренно понравилось запрещение, вывешенное 12 мая советским комендантом, самосудов, осквернявших, в буквальном смысле слова, и город и миг освобождения от нацизма. Третий Рейх — к нашему единодушному и безусловному восторгу — повержен. Слава победителям этого исчадия средневековья, этого чудовища человеконенавистничества, этого воплощения мракобесия и целенаправленного зла... Была подлинная радость от общения с русскими из России. Никогда за мою долгую жизнь, ни прежде ни позднее, у меня не было столь внимательной, столь отзывчивой аудитории, как в солнечный день показа славянской Праги... Когда я «выкрикивал» мои объяснения около памятника Яну Гусу на Староместской площади, вблизи Микулашского-гусситского храма, где годами совершались русские православные богослужения (о чем я тоже «выкрикнул»), мгновенно сбежалась огромнейшая толпа военных и сразу оттеснила от меня «штабные кадры слушателей». Со всех сторон сыпались вопросы, меня дергали за рукав: «Товарищ руковод, товарищ руковод...» Я был озадачен: нужен рупор!.. В этот момент заурчали моторы, и в толпу, заставляя ее расступиться, вкатились «наши машины». На передней стоял, командуя, один из генералов: «А, ну! Давайте сюда, товарищ профессор!» Он мощной рукой втянул меня на переднее сиденье и, широко и весело улыбаясь, сказал: «С массами надо поступить умеючи, а то еще чего доброго затопчут от восторга...» Мы покатали дальше. И одной из точек зенита того незабываемого дня оказалось внезапное чтение мною наизусть отрывков из поэмы Алексея Эйснера «Конница»:

«... и вот уже в пыли и прахе лежат немецкие хлеба.

Не в первый раз пылают храмы  
Угрюмой сумрачной земли,  
Не в первый раз Берлин упрямый  
Чеканит русские рубли.

На пустырях растет крапива  
Из человеческих костей,  
И варвары баварским пивом  
Усталых поят лошадей...»

Я читал стихи, стоя на джипе, воспользовавшись моментом, когда все три штабных машины сгрудились в конце Карлова моста, ожидая возможности вкатиться на Малую Страну, запруженную каким-то бесконечным военным обозом и тысячами пражан и гуляющих советских военных. Слушатели мои были в бурном восхищении: — «Сильные стихи! Когда написаны? в 1928 году напечатаны здесь в русском журнале «Воля России»? Да это же пророчество! Пророчество о сегодня! Сколько же здесь русских?» На этот последний «статистический» вопрос точного ответа у меня не было в мае 1945 года и нет сегодня. Несколько тысяч, — в большинстве своем интеллигенция... Всего за два десятилетия, думаю, тысяч двенадцать.

Эта «русская Прага» возникла после Первой Мировой войны и неразрывно связана с судьбой первой Чехословацкой республики, точнее от 1921 до 1938 года. А период гитлеровской оккупации от 15 марта 1939 года до мая 1945 и затем, с 8 мая того же года, эпоха советского контроля, — оба последних этапа — время замирания и разгрома того, что звалось «русской Прагой» и что было создано исключительным откликом только что возникшей, в октябре 1918 года, Чехословацкой республики на русскую трагедию: более чем миллионную эмиграцию. Чехословакия начала проводить в жизнь так называемую «русскую акцию», т. е. оказывать систематическую финансовую помощь русским вне России: от прославленных ученых до недоучившихся — из-за гражданской войны — студентов; от крупных военных специалистов до молодежи и детей, нуждавшихся в получении среднего и начального образования; от общественных деятелей со всероссийской известностью до казачьих групп и представителей некоторых нерусских народностей России (в частности, помогали калмыкам).

Здесь невозможно описать непростую историю помощи рус-

ским эмигрантам, но важно вспомнить, что в основе лежала стихийная вера в Россию и убеждение, подкрепленное опытом чехословацких легионеров на Волге и в Сибири, в моральной обреченности «большевистского эксперимента». Нельзя забывать, что полное дипломатическое признание (де-юре) Советского Союза Чехословакией произошло только в тридцатые годы под давлением Франции. Крупнейшие политические силы молодой республики, как национальные демократы во главе с испытанным русофилом, Карелом П. Крамаржем, умеренные национальные социалисты (не путать с гитлеровцами!) Эдуарда Бенеша, аграрная партия А. Швеглы и т. д., все лелеяли надежду на скорое возвращение русской эмиграции «домой», когда «русская акция» сейчас «принесет плоды сторицею», — в конце концов, и «большевистское руководство» прибыло в «запломбированном вагоне» из эмиграции и первый президент ЧСР, Томаш Г. Масарик, поддержавший идею «культурной помощи» сильно и последовательно, тоже провел ряд лет в «политическом изгнании» далеко от родины.

Правительственная инициатива в этой «русской акции» была широко поддержана чехословацкой общественностью: и печатью почти всех направлений, и Красным Крестом, и мощным гимнастическо-национальным обществом Сокол и так далее. Уже существовавшая с 1919 года организация — Чешско-Русская Еднота — полностью координировала свою культурную работу с интересами русской эмиграции.

Так на пустом месте начали создаваться «русские Афины», где все русские эмигрантские начинания служили делу образования, научной работе в разных областях и в какой-то мере политической деятельности и искусствам. (Некоторые сведения об этом можно найти в книге «Русские в Праге. 1918-1928 г.г. Редактор — издатель С. П. Постников», Прага, 1928, 348 стр.). Вероятно, справедливо сказать о «русской акции», что она «расцветает», главным образом, до 1926 года, а затем начинается ее осторожное свертывание, которое усугубляется в тридцатые годы. Все это было естественным процессом «неоправдавшихся оптимистических надежд» на изменение политического климата в России. Некоторые учреждения как Русский Заграничный Архив, стали полностью государственными. Постепенно менялся характер самой «русской колонии»: многие, получив образование, переехали в другие страны, немало людей ушло в чехословацкую экономику, успешно работая в индустрии, в промышленности, став врачами, агрономами, даже банкирами... С другой сторо-

ны, в Чехословакию начала стремиться русская молодежь из прибалтийских государств, из Польши, из румынской Бессарабии. Как правило, они учились за свой счет. Но они с энтузиазмом включались в общественную жизнь русской Праги: ходили на лекции (все по вечерам) Русского Народного университета, (позднее переименованного в Свободный), на грандиозные и страстнейшие политические диспуты, на русские спектакли и концерты, на торжественные празднования Дня Русской Культуры, которые собирали подчас тысячные аудитории, и наполняли — между своими специальными занятиями — две громадных русских читальни при библиотеках эсеровского Земгора и «Русского Очага» графини С. В. Паниной, бывшего, в сущности, «штаб-квартирой» многих организаций, как, например, Русское Историческое Общество, Главный Комитет по организации Дней русской культуры, Союз русских женщин с высшим образованием и так далее.

Русская Прага как бы непрерывно, во всех поколениях осуществляла лозунг единства культуры, борьбы за нее, за ее национальную подлинность.

Позволю себе подчеркнуть исторически красноречивый факт, что, когда в 1944 и в начале 1945 годов Прага была затоплена волнами беженцев с востока, немедленно находилось полное взаимное понимание именно в принятии этого принципа: — **Единство культуры.**

Этот же отзвук прозвучал и в вышеописанном эпизоде общения с победителями Третьего Рейха. И для меня этот мотив не заглух даже в бериевских тюрьмах, куда я попал 23 мая 1945 года.

## II. ОЛИМПИЙЦЫ

Анна Антоновна Тескова, много помогавшая русской эмиграции — в частности в рамках Чешско-Русской Едноты — и получившая широкую посмертную известность в качестве одного из близких друзей Марины Цветаевой (см. «Письма М. Ц. к А. Тесковой», Прага, 1959), сделала обзор переводов с русского на чешский в первое десятилетие независимой республики. Она отметила, что «во времена Австро-Венгрии переводы с русского языка носили на себе некото-

рый привкус запрещенного плода...» Во время Мировой войны переводы из литератур народов вражеских, за малыми исключениями, остановились совершенно». Независимость Чехословакии «открыла плотины: ...первое место принадлежит переводам с русского языка». Тескова находит несколько причин для этого: «Чешские легионеры возвратились из России с известным знанием русского языка и с повышенным интересом к русским делам; значительная часть их начала распространять у себя на родине свои знания о России, воплощать в слово свои впечатления о России, и в первую очередь, конечно, переводить. С другой стороны предстала здесь Новая Россия, загадочная, непонятная в своем внутреннем кипении, в поисках новых форм, и потому неудивительно, что возрос интерес к ее литературе. Далее, среди чехов появились русские эмигранты и между ними писатели, научные работники, учащаяся молодежь. Установились связи литературные и личные» («Русские в Праге», стр. 330-335). Это внимание к русской литературе соединилось с интересом к живым представителям ее, оказавшимся в Праге. Их было немного, но именно они создали в 1922 году Союз русских писателей и журналистов, который включил в себя литераторов, без оглядки на их политические убеждения или паспорта (так, например, В. Ф. Булгаков, последний секретарь Льва Толстого, бывавший какие-то сроки даже председателем правления Союза, сохранял весь свой эмигрантский период советское гражданство).

Кое-кто из этого еще дореволюционного актива перебрался в Париж: например, Сергей Константинович Маковский, писавший в Праге не только стихи и литературные статьи, но и по вопросам изобразительных искусств и театра, один из основателей литературного общества «Далиборка»; Илья Дмитриевич Сургучев — прославленный еще в России драматург и не полностью оцененный мастер прозаического повествования; тоже уехали из Праги беллетристы Д. Н. Крачковский, Борис Лазаревский, драматург Лев Урванцев, и ряд других, включая публицистов и ученых, как П. Б. Струве, Е. В. Спекторский, С. И. Карцевский, А. С. Изгоев, которые до того играли крупную роль в литературной жизни Праги.

В 1925 году переселилась в Париж Марина Цветаева, с 1922 года бывшая энтузиастической пражанкой: в прощальном письме Тесковой, при отъезде в июне 1939 года в СССР, Цветаева написала, — «... А самый счастливый период моей жизни — это — запомните! Мокропсы и Вшеноры и еще моя родная гора... мечтаю о встрече



(с Тесковой) на Муриной родине, которая мне роднее своей». (Сын Цветаевой родился в Праге). Здесь написала Цветаева много удивительных лирических стихов и такие поэмы как «Поэма Горы», «Крысолов»... Лучший, пронизательный, осведомленный и объективный «портрет» поэта и наиболее глубокое освещение ее мира даны в воспоминаниях М. Л. Слонима («О Марине Цветаевой», Новый Журнал, кн. 100, 1970 и кн. 104, 1971, Нью-Йорк). Оказался чуть позже в Париже и Сергей Яковлевич Эфрон, герой «Лебединого стана» и «Перекопа». Это о нем строки в 1918 году:

«... — А папа где? Спи, спи, за нами сон,  
Сон на степном коне сейчас придет.  
— Куда возьмет? На лебединый Дон,  
Там у меня — ты знаешь? — Белый лебедь...»

Это в 1922 году в связи с ним «Новогодний тост»:

«... За почетную рвань,  
За Тамань, за Кубань,  
За наш Дон русский  
Старых вер Иордань...»

Это из-за него не окончен «Перекоп» в тридцатые годы.

Эфрон, сам бывший одаренным прозаиком, считавшийся «совестью» евразийского движения, член редакции журнала «Версты», но погубивший себя позднейшим сотрудничеством со сталинскими органами (он ими в конце концов расстрелян в СССР). Вернувшаяся в Россию вслед за мужем и из-за детей, Марина Ивановна повесилась 31 августа 1941 года в Елабуге, столь иной, чем «ее Прага», чем ее «Пражский рыцарь»:

Бледно-лицый  
Страж над плеском века —  
Рыцарь, рыцарь,  
Стережущий реку...,

чем «ее Чехия»: «обожаемое мною соединение сосны, камня и суши (Чехия осталась у меня в памяти как *один синий день. И одна туманная ночь*)».

В этих же ее думах о Чехии, о Праге, в ее потоке стихов на тему чехословацкой трагедии:

«...Триста лет неволи  
Двадцать лет свободы!»

мелькает страшная мысль о самоубийстве:

«О черная гора,  
затмившая весь свет.  
Пора, пора, пора,  
Творцу вернуть билет».

И в конце этого стихотворения, в котором поэт отказывается «*быть*», Цветаева пишет:

«...Не надо мне ни дыр  
ушных, ни вещей глаз.  
На Твой безумный мир  
ответ один — отказ».

Так ее страшная смерть в России духовно связана с богоразочарованным отчаянием, в чем-то повторяющем иванкарамазовскую логику «возвращения билета» и, в сущности, свидетельствующем (как пронизательно отметил архиепископ Иоанн Шаховской, «Биография юности», Париж, 1977, стр. 415-416) о том, чего среди мариинских «сиротливых» дорожек не хватало, не хватало ей Царства Царя Славы». Так душераздирающе оборвалась трагическая судьба этого своеобразнейшего и одареннейшего из русских поэтов нашего времени (1917-1939), взлелеянного Прагой, поддержанного в Праге (издательством «Пламя», руководимом Е. А. Ляцким, был в 1924 г. издан ее «Мблодец», хотя стихи там не публиковались; а «Воля России» печатала все «цветаевское», пока существовал журнал; Цветаева была одним из редакторов альманаха «Ковчег», изданного в 1926 г. в Праге Союзом русских писателей и журналистов).

В 1932 году стал окончательно парижанином (до этого он был длительное время «гражданином двух городов») также Марк Львович Слоним, который сыграл важнейшую роль в литературной жизни Праги, ибо, редактируя литературный отдел эсеровского издания, эволюционировавшего от ежедневной газеты до «толстого» ежемесячника, сумел привлечь к участию в «Воле России» самые разнообразные писательские кадры, смело и вопреки взглядам «стародумов» печатавший всех, кто казался ему литературно себя «выразившим» или «обещающим» (Марк Слоним «Воля России», Русская Литература в эмиграции, под ред. Н. П. Полторацкого, Питтсбург, 1972, стр. 291-300). Положительную роль играли «литературные чаи Воли России», — под председательством Слонима или В. И. Лебедева — сводя в живом обмене мнений самые разнообразные «творческие элементы»

Праги, начиная от члена редакции С. П. Постникова, всегда поддерживавшего начинавших авторов, от Н. Ф. Мельниковой-Папоушковой, охотно печатавшей переводы с чешского в редактируемой ею «Центральной Европе», органе информации на русском языке министерства иностранных дел ЧСР, собирая и тех, кто сотрудничал в журнале, и до представителей других пражских изданий, как «Студенческие Годы», «Годы», «Своими Путиями», до именитых членов Союза писателей и журналистов, до не чуждавшихся современных авторов историков, как Б. А. Евреинов, А. Ф. Изюмов, включая и такую фигуру, как Иосиф Федорович Каллиников (умер в 1934 году), напечатавший — при поддержке Горького — свой сомнительных качеств роман «Мощи» и сборник рассказов «Баба змея» в Советском Союзе (по этой причине его высоко котировали в левых кругах чешских литераторов). Прекращение издания «Воли России» в 1932 году завершило постепенное исчезновение в Праге русских литературных органов и нанесло явный ущерб эмигрантской периодике в целом.

Первые горестные утраты в Праге, однако, естественно связаны с «официальной элитой», овеянной еще всероссийской известностью. В Праге, ставшей его «любимой базой», умер Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881-1925), знаменитый сотрудник и редактор петербургского «Сатирикона» и «Нового Сатирикона». Как известно, Ленин назвал талантливой книгу Аверченко «Двенадцать ножей в спину революции». Писатель, оказавшись в эмиграции, сумел «наперекор стихиям» послужить России в разных странах, вызывая и книгами и спектаклями улыбки и смех и показывая, по его собственному выражению, «смешное в страшном» (см. превосходную биографическую работу: Д. А. Левицкий «Аркадий Аверченко», США, 1973).

Петр Петрович Потемкин (1886-1926) тоже бывший «сатириконец», великолепный мастер пьесок для малой сцены, также проявивший себя в Праге и как остроумный лирический сатирик и как переводчик чешской поэзии, переехал в Париж и там нашел свою смерть.

Многие годы литературная русская Прага как бы возглавлялась «невенчанным патриархом» русского слова, Василием Ивановичем Немировичем-Данченко (1845-1936). Он, как все современные монархи, царствовал, но не управлял. Он являлся одной из достопримечательностей славянской столицы. Он казался олицетворением

русского европейца и дореволюционного барина. Он обладал живым умом, славился необычайной учтивостью, особенно в отношении женщин, был доброжелателен к другим. Вспоминаю, как несколько раз встречал его, когда он совершал длинную прогулку от своей квартиры в одной из тихих улочек «на Вино — градах» (части Праги), где он опекался своей племянницей, графиней Тизенгаузен, до центральной площади столицы — Вацлавске намести. Здесь, в одном из кафе совершался «обряд»: выпивалась малюсенькая чашка — «кава се шлехачкоу» (кофе со сбитыми сливками), и В. И. медленно возвращался домой. Небольшого роста, тщательно, даже элегантно одетый, с тростью, в котелке он казался каким-то героем из собственных романов о «русских миллионщиках», от него веяло стилем эпохи Александра Второго. С ним здоровались многие чехи, знавшие его по частым фотографиям в чехословацкой прессе, и, вероятно, все русские, торопившиеся в так называемый Русский Дом, тогда еще занимавший полуподвал и первый этаж на Панской улице: там помещался Русский Народный университет и другие культурные учреждения и была знаменитая столовая Земгора, в которой хлеб был бесплатным приложением к любому заказанному блюду (хотя бы к тарелке борща): горы — пшеничного и ржаного — хлеба непрерывно пополнялись на всех столиках... Именно в этом громадном зале по вечерам устраивались особенно «ударные» лекции или диспуты. И именно здесь я слышал мастерское чтение Василием Ивановичем своих ярких воспоминаний об «Отечественных Записках» и о всем том невероятном для нас времени, когда раздражительный редактор, М. Е. Салтыков-Щедрин, принимая к печатанию рукопись В. И., вдруг добавляет ядовито: «Слишком много пишете! Вы что, в две смены работаете? Днем пишет Немирович, а ночью Данченко?» У В. И. было чувство юмора, и он не страшился описывать себя с улыбкой. В 1929 году, в связи с близящимся его 85-летием, я беседовал с В. И. по поручению варшавской «За Свободу» и ревельской «Нови». Он очаровал меня своей дружелюбностью, точностью формулировок, остроумием и беззлобием. Между прочим, он упомянул, что вопреки мнению «людей без воображения, которые обзывали меня немилосердным вральчиком, я всегда писал о действительном мире, как я его видел и понимал, а, конечно, стиль был мой собственный, как и сейчас». Его ценили не только русские его «патроны», как Некрасов или Салтыков-Щедрин, но и русские и иностранные критики, понимавшие значение его «художественного репортажа» (его «Год войны» в трех томах был переведен на ряд языков). Тургенев восхищался его очерками «Соловки». С ним считался Горький... В произведениях В. И. читатели, особенно молодежь, чувствовали и

увлеченность автора своим текстом и органически доброе отношение к человеку. Я помню реакцию моих чешских студентов на его романтически-героический рассказ «Их было пятеро»: о борьбе за славянскую свободу. Студенты были растроганы и восхищены, не замечая некоторой приподнятости в стиле. Понятно, что Болгария, о которой В. И. так много писал в свое время, чтит в его лице воплощение прославянского общественного движения в дореволюционной России. Когда в 1935 году вся славянская общественность отмечала девяностолетие писателя, мы ясно ощутили в юбилейных славословиях и с т о р и ч е с к у ю оправданность его двухсот пятидесяти томов сочинений: своим ярким словом он помог славянству в борьбе за независимое бытие и отразил ту Европу и ту Россию, которые исчезли в огне Первой Мировой войны и русской революции.

Особое и почетное место занимал в Праге Евгений Николаевич Чириков (1864-1932). Попав в Чехословакию, он усиленно писал. Автор знаменитой автобиографической хроники «Жизнь Тарханова», он написал здесь четвертую часть ее «Семья» (опубликована в 1926 году) и на шумел двухтомным романом «Зверь из бездны», в котором без прикрас и с безжалостной прямоотой описал русскую революцию, отталкиваясь от большевизма, но не щадя и противников его. Это произведение вызвало немало нападок на Чирикова и хулений его, как объективного реализма. Интересно отметить, что в 1929 году, когда по поручению варшавской «За Свободу» я провел с ним длинную беседу, весьма дружескую по тону и вызвавшую немалый интерес в литературных кругах в разных центрах эмигрантского скопления, Е. Н. дал мне понять, что не хотел бы обсуждения с ним «Зверя из бездны». Поэтому текст беседы получился менее острым, чем мог бы (об этом я по молодости лет втайне сожалел, но, конечно, поступил так, как хотел писатель. Недавно мои пильские друзья прислали мне фотоснимок этой беседы: Н. Николин, у Е. Н. Чирикова, Письмо из Праги, «За Свободу», 29-IV-1929, Варшава). Е. Н. был весьма популярен в Чехословакии. Его воспоминания печатались в повременной чешской печати. Ряд его книг вышел по-чешски и на разных других языках, в первую очередь — славянских. Он был почетным членом Союза русских писателей и журналистов, как и В. И. Немирович-Данченко.

К эмигрантскому Олимпу принадлежал также поэт Даниил Максимович Ратгауз (1868-1937). Обходительнейший человек, он це-

нился в Праге больше в чешских кругах, чем среди русских молодых читателей, нередко охаивавших его стихи, сознательно или случайно повторяя злое определение Брюсова: поэзия Ратгауза — «полное собрание стихотворных банальностей». Но старшие по возрасту группы эмигрантов принимали его поэзию, напоминая при этом что целая плеяда русских композиторов, включая Чайковского, Кюи, Рахманинова, Гречанинова и других, написала ряд прекрасных романсов на слова именно этого поэта.

### III. СМЕНА, ПОТЕРЯВШАЯ СЕБЯ

Литературное творчество (да, вероятно, и всякое иное) есть «осознание себя в потоке истории». Это превосходное определение, принадлежащее формалисту Борису Михайловичу Эйхенбауму (а формализмом Прага увлекалась, особенно после оседания в ЧСР «живого формалиста», Романа Осиповича Якобсона), полностью подтверждается характером деятельности той младшей поросли литераторов, которые начали проявлять себя уже за границей и которых тогда часто именовали «сменой». В Чехословакию основные кадры этой «смены» попали в результате невозможности удержать белый Крым. Как индизательно описывал Вячеслав Лебедев, символизируя Российскую державу в виде «орла», а белую армию в виде его «птенеца» («Поэма Временных лет», «Воля России», 1928, кн. V, стр. 27-38):

«...Но, долетая до Орла  
Над грубой русской Вандеей,  
В борьбе неравной был слабее  
Птенец двуглавого орла.

И он упал на скалы Крыма,  
И долго бился и кричал,  
И долго крик его меж скал  
Звенел тоской невыразимой...

О, бедный, яростный птенец,  
Не поняла тебя Европа...  
И, вот, прорывом Перекопа  
Борьбе положен был конец...»

в 1920 году

Факт последней ноябрьской эвакуации из Крыма, когда на 126 судах было вывезено в Константинополь 145 тысяч 603 человека и последнее русское национальное правительство, создавал впечатление:

«...Так Византии возвращен двуглавый герб Палеологов». Однако, пражская «смена» была далека от чувств безнадежности и капитуляции. На «повестку дня» было поставлено не вхождение в чужой быт, но всяческое оснащение себя для работы на Россию, в которую мы вернемся в ближайшем будущем. У меня нет здесь возможности проследить замечательное разнообразие идейных мнений, страстно высказанных в статьях, стихах или художественной прозе, увидевших свет в периодических или единовременных изданиях «смены» (включая даже «опусы» в гимназических журналах, — некоторые из них вновь опубликованы проф. Г. М. Доксом с немецким предисловием и комментарием. Вита Ностра, Лиенц, 1979); среди авторов, пользовавшийся известностью, Всеволод Козловский, а также ряд подававших надежды имен, как В. Георгиев, В. Нечволодов, А. Стоянов, А. Филиппов, С. Шовгенов.

Среди публикаций этой «смены» существо господствовавших настроений, вероятно, выражал журнал «Своими Путиями», у которого и само название символично. Вот выдержка из одной из передовиц: «...Не спорить о завоеваниях революции мы хотим, не решать, стало ли лицо России хуже или лучше после болезни, от которой она начинает выздоравливать, а разглядеть его из нашего вынужденного, нежеланного далека, по чертам его понять скрывающиеся за ним жизнь и мысль». («Своими Путиями», № 6-7, Май-Июнь 1925, Прага). Журнал высмеивал сменовеховство и старался не только о справедливом разборе произведений советских авторов и свершений отдельных деятелей русской культуры в России или вне ее, но звал и на борьбу против денационализации эмигрантских детей и пристально изучал советскую школу и советское студенчество. Для Праги было характерно напряженное внимание к *будущему* России. В Праге не наблюдалось противопоставления, как это случалось в Париже, «замечательной здешней литературы» «черному провалу в России» (как провозглашала З. Н. Гиппиус). «Смена» отрицала режим, но с восхищением следила за советской поэзией, принимая Маяковского, Пастернака, Тихонова, Сельвинского, Багрицкого и многое из советской прозы. Пражская «смена» многому училась у «тамошних» и во главу угла выдвигала не идеологию, а литературное умение, технику. На этом сходились ведущие критики, как М. Л. Слоним и А. Л. Бем и все молодые критики из «смены». Нетерпимость «к новому», типа бунинской, или «парижская нота», ведущая к упразднению поэтической формы, были чужды пражской «смене». Все эти черты придавали пражской «смене» утверждающую конструктивность (весьма индиви-

дуальную от человека к человеку), — это необычайно раздражало Г. В. Адамовича, обозвавшего пражан «здоровьяками» и «оптимистами» (цитирую Морковина) и годами надменно «некотировавшего» их, начиная с Марины Цветаевой.

Интеллигентный состав «Русской Праги» и разбросанность ее «населения» по отдельным поселкам определили первоначальное появление различных кружков и групп с литературными интересами. Постепенно оказалось, что главными «прибежищами» для пишущих являются два «центра»: «Далиборка» и «Скит поэтов» (позднее назывался просто: Скит). Возможно, что такие неофициальные кружки продолжали возникать (одно время, перед войной, такие «чтения» устраивались у Б. А. Евреинова и у В. Ф. Булгакова). Были, кроме того, «одиночки». Особое место занимал Николай Артемьевич Еленев, знающий и понимающий художественный критик и, безусловно, прозаик «с обещаниями». Его уважали, но не любили, побаиваясь его язвительных замечаний, которые очень часто были продиктованы не только взыскательным вкусом и эрудицией, но и раздражительностью из-за физических недугов. Судьба не дала ему возможности выразить себя полностью, но во времена пражской «смены» он был среди «избранных». (Об его работе см. Н. Тарасова, Гражданин живой России, Грани, № 44, 1959, стр. 234-237).

Полной одиночкой казалась Нина Снесарева-Козакова (сборники стихов «До — Тогда — Потом», 1932, Прага, стр. 78; «Рыцари Белого Ордена», 1937, Прага, стр. 96) с ее незамысловатой лирикой или личной или прямолинейно воспеваящей «белое воинство», на это поэтесса имела особое право: «Я — сестра Колчаковских армий / Добровольческих армий смелых». Евгения Мельникова, выходца из Польши, привлекала русская старина («Китеж» в «Ночь» III, Ревель, 1930) и была некоторая языковая приподнятость даже в любовной лирике: «Вы, Мадонна моих мозаик, холодны ко мне, холодны» («Ночь» 5, 1933). Выходец из Эстонии, Константин Тенукест являл в своих стихах подчеркнутый романтизм: «...Проклиная сумрак пережитый, Вас приветствую, сиятельная Смерть». В лирике и в легчайшей дружеской сатире начала проявлять себя совсем юная Ольга Крейчева. Совершенно своеобразен и организационно «дикий», сам по себе, был тогда прозаик Николай Терлецкий, позднее приобретший известность как чешский писатель, а ныне возвращающийся «к пенатам своим», то есть печатающий свои произведения и в русском «изводе».



К сожалению, у меня мало печатных данных о кружке «Далиборка», возникшем в 1924 году по инициативе нескольких писателей (С. К. Маковского, Д. Н. Крачковского, В. А. Амфитеатрова-Кадашева и П. А. Кожевникова. Последний стал его руководителем). «Далиборка» получила свое название по тому кафе на Летне, где первоначально собирались, а не по исторической одноименной башне. Этот кружок стал — в первую очередь — открытой трибуной для чтения литераторами своих произведений. Через Далиборку прошел едва ли не весь «литературный актив русской Праги». Членства в Далиборке не было. Частый гость в кружке, прозаик Александр Александрович Воеводин, секретарь Русского Свободного университета (между прочим, замечательно писавший черной и красной тушью афиши о лекциях, концертах и публичных собраниях: подлинное достижение деловой графики), редактор «Информационного Бюллетеня» русских организаций, полезно дополнявшего по академической линии пражскую газету Кирилла Кирилловича Цегоева «Новости», (прекратившие свое появление после исчезновения первой Чехословацкой республики в конце 1938 г.) — Воеводин и его жена, популярная русская певица, были арестованы гестапо и исчезли.

Литературное содружество Скит возникло 26 февраля 1922 года, — во всяком случае в 1932 году праздновалось десятилетие и я его отметил в «Воле России», подчеркнув, что из-за текучести состава участников подлинным юбиларом оказывается Альфред Людвигович Бем, который и по возрасту, и по знаниям поэтики, и по преданности русскому художественному слову, и по связи своей с Прагой был естественным и строго объективным руководителем и защитником в печати «пражской линии» в зарубежной ветви русской словесности. На самом деле Скит возник несколько раньше по инициативе Сергея Милича Рафальского и его поэтических друзей, Николая Белесциса (Дзеваневский) и Евгения Олешко. В это время в Прагу перебрались некоторые участники варшавской группы «Таверна». Рафальский пригласил Бема читать доклад по поэтике и Александра Туринцева с его стихами, — этот факт и положил основания для появления «первого поколения скитников», к которому причисляют, кроме перечисленных имен, Екатерину Рейтлингер, Бориса Семенова, Р. Спинадель, Х. Кроткову, прозаика И. Тидемана и, может быть, еще иных, в которых я не уверен... «Второе поколение Скита» возглавляется Вячеславом Лебедевым (его талантливые стихи в сборнике «Звездный крен» опубликованы в 1929 г.), Алексеем Эйснером и рядом А. Фотинский, М. Мыслинская, в прозе доминирует Василий Георгиевич Федоров — сатирик

и бытовик, хорошо понимавший силу интонации в описаниях и отбор слов для разных тем. Из его трех книг «Суд Вареника» был издан Скитом в 1930 году. «Третье, последнее поколение» включило пять поэтесс — Алла Головина («Лебединая карусель», 1935), Эмилия Че-гринцева («Посещения», изд. Скит, 1936; «Строфы», 1938); по-своему стильная Татьяна Ратгауз; мой милый партнер по редактированию третьего сборника «Скит», 1935 г., с неожиданной склонностью говорить о смерти и о страхе — Тамара Тукалевская; и последнее и большое приобретение Скита — Ирина Бем, — ее сборник «Орфей», вышедший уже неофициально, во время войны, произвел сильнейшее впечатление на всех, кто прочитал эти стихи и вызвал, к большому удовлетворению и дочери и отца, горячее одобрение (в письме) Н. А. Еленева. Ряд дарований дали и поэты. Назову изобретательного и все время росшего Вадима Морковина, манерничавшего, но в основе «настоящего Владимира Мансветова, тончайшего Евгения Гессена и уверенного в себе Кирилла Набокова (младшего брата Владимира Набокова).

Я не могу здесь дать многие подробности о Ските (а необходимо будет поговорить о Ските отдельно). Уместно, впрочем, уже здесь сказать о четырех потерях из 33 членов Скита. При входе нацистских войск в Прагу 15 марта 1939 года покончила с собой поэтесса Дарья Михайловна Михайловская (псевдоним), сравнительно недавно перед тем появившаяся на скитском горизонте. В СССР сгинул после ареста вернувшийся туда Герман Дмитриевич Хохлов, слабый стихослагатель, но подававший надежды литературный критик, — его арестовали в связи с делом Бруно Ясенского, с ним Хохлов был в контакте через возвращением, кажется, в 1935 году.

Евгений Сергеевич Гессен, сын философа С. И. Гессена и внук «кадетского» редактора «Речи» и редактора «Архива Русской революции» Иосифа Владимировича, был «изъят», как «еврей» немцами и после всяческих терзаний умер от тифа где-то под Берлином. Альфред Людвигович Бем, литературовед, создатель «метода мелких наблюдений», знаток Достоевского, теоретик и критик, а, с другой стороны, член ЦеКа партии Крестьянская Россия, был арестован одним из первых и через несколько дней покончил с собой, выбросившись из окна одной из пражских вилл, занятых СМЕРШ'ем (Н. Синевирский, СМЕРШ, спец. выпуск «Граней». Та же версия в воспоминаниях Морковина). Так кончился Скит и русская Прага. Как отличное выражение духа тамошних русских литераторов и, в частности, скит-

ников, приведу стихотворение Сергея Рафальского, напечатанное в «Воле России»:

### ДУЭЛЬ

Еще рассвет из труб не вышел дымом  
спал Петербург — в норе осенней крот, —  
скрипя ушли полозья от ворот —  
и вот вся жизнь — как эти окна — мимо.

Нельзя простить, нельзя судить любимой —  
всему ль виной гвардейца наглый рот?  
Ведь в первый раз ее душа поет,  
а в первый раз поет — неодолимо...

Но как ему — какой рукой гиганта —  
клубок сует распутать и поднять?..  
...И подошла шагами секунданта  
и в сердце смертная затихла благодать...

...И вдруг припомнил — по созвучью — Данта  
и пожалел, что стих не записать...

*Николай Андреев*

Кембридж, Великобритания.

## К «ИЗГНАНИЮ ЛЮДЕЙ МЫСЛИ» В 1922 ГОДУ

*Изгнаньем из страны родной,  
Хвались повсюду как свободой.*

*Лермонтов*

Этот эпизод из войны ленинской диктатуры с русской интеллигенцией, который уже стал достоянием литературы с Доктором Живаго Пастернака, Архипелагом Солженицына и некоторыми романами Самиздата, вошел отныне и в область исторической («неподъяремной») науки, благодаря недавно появившемуся на русском и французском языках, солидно документированному исследованию Михаила Геллера, ученого «третьей волны», исследованию, устанавливающему со всей убедительностью связь высылки в 1922 году деятелей русской культуры с рядом событий, которые последовали за неурожайным летом 1921 года: учреждение и разгон Всероссийского Комитета Помощи Голодающим, изъятие церковных ценностей, выступления «Живой Церкви», суды над духовенством и над эсерами (1). Думается, что будет небесполезно если, беря в основу этот ценный вклад в историю революционных лет России, я прибавлю к нему насколько возможно расширенный и уточненный список высланных интеллигентов и пополнию воспоминания моего отца (2) некоторыми свидетельствами о виденном и пережитом изгнанниками и их детьми, к числу коих принадлежу.

В мой список войдут имена, названные в труде М. Геллера, которые были отчасти почерпнуты автором из перечня, составленного, совместно со мною, Т. М. Осоргиной (вдовой одного из высланных литераторов), перечня, который воспроизвожу полностью, — к сожа-

(1) Михаил Геллер, «Первое предупреждение» — Удар хлыстом (к истории высылки из Советского Союза деятелей культуры в 1922 г.). Вестник Русского Христианского Движения, № 127, IV — 1978 (Париж - Нью-Йорк - Москва), стр. 187-232. — M. Heller, *Premier avertissement: un coup de fouet*. Cahiers du Monde russe et soviétique, XX (2), avr.-juin 1979, pp. 131-172.

(2) Н. О. Лосский, *Воспоминания. Жизнь и философский путь*, W. Fink-Verlag, Мюнхен, 1968.

лению во всей его «неполноте». Так, из «Петербургской группы», которая, как помнится, превышала числом тридцать человек (не говоря о семьях, с ними выселившихся), назову только двадцать два имени. Начну с последнего свободно выбранного ректора Университета, Л. П. Карсавина, за которым последуют два других философа, И. И. Лапшин и мой отец Н. О. Лосский, юрист А. А. Боголепов, Проректор Университета, экономисты В. Д. Бруцкус, И. И. Лодыженский и Д. А. Лутохин, математик Селиванов, агрономы Е. Л. Зубашев, П. А. Велихов и Юштин, почвовед Б. Н. Одинцов и один профессор ботаники, поляк (оба товарищи отца по «одиночной» тюремной камере), гражданский инженер Н. Козлов, учитель математики С. И. Полнер, издатель А. С. Каган, литераторы и журналисты Н. М. Волковысский, А. С. Изгоев, В. Я. Ирецкий, А. Б. Петрищев, Л. М. Пумпянский, Б. Харитон.

Московскую группу, не менее, а может быть и более значительную, следует тоже возглавить ректором (тоже последним из выборных) Университета, биологом М. М. Новиковым. В нее входят философы Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, кн. С. Е. Трубецкой, сын одного из более известных братьев-мыслителей, И. И. Ильин, Б. П. Вышеславцев, историки А. А. Кизеветтер и В. А. Мякотин, декан математического факультета В. В. Стратонов, экономист Н. Н. Зворыкин, агрономы А. И. Угримов, В. И. Ясинский и Д. В. Кузьмин-Караваев<sup>(3)</sup>, униатский священник Абрикосов, хранитель музея Л. Н. Толстого, бывший личный секретарь писателя В. Ф. Булгаков, редактор Русских Ведомостей В. А. Розенберг, кооператоры издательства «Задруга» В. М. Кудрявцев, А. Ф. Изюмов, С. П. Постников и А. Булатов, литераторы Ю. И. Айхенвальд, И. А. Матусевич и М. А. Осоргин, а также В. Мануйлов, В. В. Полянский, Куталевский и Астахов, профессию которых мне даже приблизительно (как, признаюсь, некоторые другие) установить не удалось. К московской группе относятся и ранее других высланные экономист С. Н. Прокопович, публицистка Е. Л. Кускова, историк С. П. Мельгунов (?) и выехавший позже (может быть то же относится и к толстовцу В. Ф. Булгакову) литератор-философ Ф. А. Степун.

Из высланных южан могу назвать только двух одесситов: ма-

(3) Д. В. Кузьмин-Караваев был первым мужем поэтессы Е. Ю. Пиленко-Скобцовой, принявшей монашеский сан под именем Матери Марии в Париже и мученическую смерть в Нацистском крематории. Сам он, перейдя еще до высылки в католицизм, кончил свои дни в одном из монастырей Рима. За сведения о нем изъявляю сердечную признательность его двоюродному брату, живописцу Д. Д. Бушену. Также благодарю всех, кто оказал мне помощь в моей работе.

- тематика Буницкого и историка А. В. Флоровского, брата богослова, впоследствии протоиерея о. Георгия, который, как уверяют, в эту категорию не входит. К ней принадлежат бывший профессор экономики, принявший в 1918 г. сан о. Сергей Булгаков и социолог Питирим Сорокин. Последнего видели в Петрограде совсем незадолго до коллективного ареста. Говорили, что, предвидя тюремное заключение, он носил с собою повсюду одеяло и подушку.

Обращаясь к воспоминаниям о 1922 годе, я бы тенденциозно покривил душой, изображая его как исключительно страдную пору, и это не только потому, что тогда мне минуло семнадцать лет и что память о юности чаще всего окрашивается в радужные тона.

Пришедший летом 1921 года на смену гражданской войне и «военному коммунизму» знаменитый НЭП отразился уже сильно к началу 22-го на общем фоне советского быта и, как справедливо замечает М. Геллер, «переход к новой экономической политике показался русской интеллигенции началом новой эры» (стр. 214). Важно и то, что это время было также отмечено, для людей нашего круга, имевших многих друзей за границей, получением продовольственных и вещевых посылок, главным образом через известную тогда всем организацию помощи АРА (American Relief Administration, о ней см. Геллер, стр. 205). «Благодаря улучшившемуся питанию — пишет мой отец в своих *Воспоминаниях* (стр. 211) — силы русской интеллигенции начали возрождаться и потому явилось стремление отдавать часть их на творческую работу. Прежде, когда мы были крайне истощены голодом и холодом, ... профессора могли только дойти пешком до университета, прочитать лекцию и потом, вернувшись домой, в изнеможении лежать час или два, чтобы восстановить силы. Теперь появилось у нас желание устраивать собрания научных обществ и вновь основать журналы взамен прекративших свое существование изданий. Экономисты основали журнал. Петербургское Философское общество стало издавать философский журнал «Мысль». Стали выходить и другие журналы и начала не на шутку просыпаться издательская инициатива к великому удовлетворению деятелей культуры.

Наряду с театром, который не знал упадка даже в тяжелые предыдущие годы (как и традиционные летние концерты на славном Павловском Вокзале), Государственная Филармония, помещающая-

ся и донныне в колонном зале Дворянского Собрания, заняла видное место в культурной жизни Петрограда. Стоит в памяти увлекательная серия концертов, симфонических под управлением Эмиля Купера и вокальных с Климовым, дирижирующим хором, частью унаследованным от императорской Певческой Капеллы. По может быть смешной ассоциации идей вспоминаю соседние с нею бывшие императорские конюшни и их лошадей на сцене Мариинского театра, особенно белого коня последнего Государя, на котором баритон, игравший титульную роль в опере *Князь Игорь* выступал на войну с половцами.

Сцена еще жила под знаком *Мира Искусства* и новые постановки шли часто в декорах Александра Бенуа или Добужинского. Художникам, даже крупным, случалось также украшать и открывавшиеся один за другим на Невском (или, как говорили «Непском») проспекте. Так, если не ошибаюсь, Кустодиев, уже избравший официальный путь в своем творчестве, расписал для одного из непских предприятий чайную «Ягодка». В этого рода заведениях не гнушались выступать после театральных представлений и актеры соседнего Александринского театра, как маститый комик Давыдов, — а то и между двух выступлений на сцене в той же пьесе, как это случилось (не всегда без скандала) с Ведринской, появлявшейся в одном кафе в костюме трагической героини *Маскарада* Лермонтова.

Кстати об «Александринке»: летом она покрылась лесами — зрелище уже лет пять невиданное в Петрограде — для ремонта своих фасадов, вплоть до полной реставрации лепных львиных масок над окнами. Еще о милом Невском: как-то, гуляя по нему весною со старшим братом и товарищами, мы были поражены зрелищем едущего навстречу трамваю подобия автобуса и пришли в такой восторг от этого свидетельства возрождения «материальной культуры», что оптимистически пожали друг другу руки. А к осени зажглись на нем вновь (правда не надолго) и «шары висячие» электрических фонарей, таких же, как царскосельских, воспетых Анной Ахматовой.

Мне думается, что эти проявления «начала новой эры» не несли с собою интеллигентам иллюзорных надежд на «демократизацию режима». Слишком свежо было воспоминание о волне арестов, летом 1921 года, в связи с Таганцевским делом (кажется приходили и за моим отцом, когда мы, по счастью, были на даче) кончившимся расстрелом Гумилева, с которым вместе погибли скульптор князь

Ухтомский, профессор Лазаревский и другие деятели культуры. К концу того же лета начались первые значительные вторжения правительственной идеологии в университетское преподавание. Результатом его было почти полный разгром петроградской кафедры философии, с которой были уволены все приватдоценты и два профессора: Лапшин и Лосский. Обо всем этом, как и о разразившейся тут же желче-каменной болезни, продержавшей его в постели до Рождества 21 года и чуть было не приведшей его на операционный стол к Пасхе 22-го, отец пишет в своих воспоминаниях. За это время его ученая деятельность выразилась в редакторстве, совместно с Э. Л. Радловым, директором Публичной Библиотеки, философского журнала *Мысль*, который продержался до второго или третьего выпуска и был запрещен властями на уже набранном третьем или четвертом, где должна была появиться его критика позитивистической книги *Философия живого опыта* угодного власти ученого Богданова.

Декрет о конфискации церковных ценностей под предлогом помощи голодающим, исполнение которого началось, помнится, в марте или апреле, вызвал немалое волнение как в интеллигентских кругах, так и в массе верующего народа. В последнем мне случилось убедиться воочию, проходя мимо собора Владимирской Божьей Матери, перед которым собралась толпа, главным образом женщин в платках, ругательски-ругающих милиционеров, взламывающих запертые двери храма и врывающихся в них, не снимая незадолго до того вошедших в военный обиход шапок-буденок, которые мы называли «свиными рылами».

Образованным людям эта правительственная мера представилась не только как кощунство и антиклерикальная провокация, но также как и пагубный вандализм. От знакомых, общавшихся с художественной администрацией, мы слышали, что от изъятия золотых и серебряных предметов с перспективой переплавки освобождены были полностью лишь те, которые были старше 1725-го года. Таким образом, изделия более поздних эпох, как Елисаветинское рококо, Екатерининский классицизм, или Александровский и Николаевский ампир, избегали злой участи только, если признавались более-менее компетентными и не слишком подбострастными властям комиссиями как предметы высокой художественной, музейной ценности. Так, по счастью, серебряная монументальная рака св. Александра Невского, великолепное произведение петербургских ювелиров середины XVIII века, была сохранена, но перенесена из Троицкого собора Алек-



сандро-Невской Лавры в одну из зал Эрмитажа. Иначе произошло с ампирическими обрамлениями, выкованными в 1810-х г. по рисунку Константина Тона из награбленного Наполеоновской армией и растерянного при ее отступлении серебра из московских церквей, серебра, которое икона Казанской Божьей Матери получила, по словам стоявшей на иконостасе надписи, как УСЕРДНОЕ ПРИНОШЕНИЕ ВОЙСКА ДОНСКОГО. Скажу сперва, что, помнится, именно в этом храм, по просьбе Патриарха Тихона, петроградские верующие (в их числе и моя мать) принесли весной часть своих драгоценностей для употребления их на помощь голодающим, чтобы спасти от профанации по крайней мере потиры и диски. Летом же двери собора закрылись «по причине ремонта» и когда недели через две вновь открылись, на месте серебряного иконостаса с колоннами, так чудно гармонировавшего с классической архитектурой Воронихинского храма, стояла наскоро сколоченная ажурная перегородка из деревянных брусков и перекрещенной дранки, на которой убого повисли вынутые из монументального обрамления панно-иконы Боровиковского.

За изъятием церковных ценностей пошли систематические поиски драгоценных металлов и камней в царских и других богатых могилах. Об их результатах общественность, насколько помню, осведомлена не была, что способствовало рождению самых разнообразных и нелепых легенд. Гробница Александра I-го оказалась якобы пустой — в угоду ходячему отождествлению императора с загадочным странником Кузмичем. Что же до Петра Великого, то его грозный лик так устрасил комиссаров, которые собрались было отколочь от его камзола рубиновый или янтарный аграф, что они бросились в бегство. Другая версия, по которой прогневанный царь погрозил нарушителям своего покоя кулаком, стала настолько популярной, что родила другую легенду. Стали говорить об «очевидцах» вывешенного на запертых воротах крепости извещения со штемпелями и официальными подписями, что «Петр I при раскрытии его гроба кулака не показывал».

Не выходя из области легенд, но обращаясь к другому, менее в ту пору популярному вершителю судеб России, вспоминаю, что уже весной стоустая молва завладела темой болезни Ленина и его устранения от государственных дел. Приходивший к нам время от времени отводить душу откровенными разговорами В. Г. Вальтер, первая скрипка Мариинского театра и Филармонии, как-то возвестил, что по его наблюдениям Ленин совсем перешел в небытие и что за

него правительственные распоряжения подписывает «какая-то Цурюпа». Другие говорили, что вождь революции, заточившийся в Юсуповский Архангельский дворец, лишился речи и только (неизвестно каким образом) повторяет «что я сделал с Россией?!» и что ему даже являлась скорбная Богоматерь.

А суд над митрополитом Венямином и духовенством шел своим чередом к смертным приговорам в зале Филармонии. Старшему брату Владимиру и нескольким его университетским товарищам удалось раздобыть пропуск на одно из заседаний трибунала, которое произвело на них удручающее впечатление. Мне же раз случилось увидеть безмолвующую толпу, которую отряд милиции вытеснял с Михайловской улицы, где находилось Шемякино судище, на Невский проспект.

Ближе к лету размножились собрания и диспуты, посвященные Живой церкви. Ее главарь, Александр Введенский, предавался своему динамическому красноречию с истерическими выкриками. Профессор Р. Ю. Виппер, тогда известный кончающим гимназистам как автор учебника всеобщей истории, а университетским людям как историк дорогого ему Протестантизма, проводил с академическим педантизмом параллель между отколом живоцерковников от московской патриархии и прениями Мартина Лютера с папским престолом, как бы усматривая во всем этом рождение Реформы на лоне восточной Церкви. Там появлялся также юнец-богоненавистник Миша Корцов, производивший много шума своими антирелигиозными листовками под заглавием *Вавилонская башня* и даже смастеривший себе конический головной убор по образу дерзновенного сооружения. За этими диспутами следила юмористическим оком писательница Ольга Форш (см. Н. Л. *op. cit.*, стр. 217), изобразившая позже быт «Дома Искусств» в книге *Сумасшедший корабль*.

Но самой видной фигурой на собраниях идеологического порядка был Лев Платонович Карсавин, ставший в 1918 или 1919 году ректором Университета и пользовавшийся большой популярностью среди студентов, которым случалось видеть его упражняющимся в езде на дамском велосипеде по знаменитому четверть-верстному коридору здания «Двенадцати коллегий». Очень замечена была — увы и властями — его публичная лекция в переполненном зале бывшей Городской думы на какую-то религиозно-философскую тему. Главными оппонентами были тот же Виппер и занявший уни-

верситетскую кафедру моего отца недоучка-нахал Иван Боричевский, подписывавшийся «профессором» под своими издевательскими по адресу представителей «буржуазной» науки статьями в *Правде*. На этом собрании он, между прочим, заявил, что «в философии сколько голов столько умов», на что Карсавин в своем ответе оппонентам, отдав внимание выступлению «профессора Виппера», сказал, что возражения «товарища Боричевского» его укрепляют в мысли, что в философии умов меньше чем голов и был покрыт смехом и сбильными аплодисментами слушателей. Два месяца спустя, на раздраженный вопрос следователя ГПУ чем он объясняет свой большой успех у публики, Лев Платонович невозмутимо ответил: «Моим ораторским талантом».

Летние — оказавшиеся последними в России — каникулы мы проводили в Царском Селе, ожидая необычного события: поездки отца на курс лечения в Карловы Вары (бывший Карлсбад), для чего ему удалось получить чехословацкую визу благодаря содействию коллеги-философа, президента Масарика. Оставалось получить разрешение на временный выезд за пределы СССР. Потому отец не удивился и не очень взволновался, получив 16 августа приказ явиться — по всей видимости для выполнения соответствующих формальностей — в здание петроградского ГПУ (еще недавно Чека) на Гороховую 2. На следующее утро он туда отправился, в сопровождении матери и не преминув с нами проститься. А к вечеру мать вернулась одна, с известием, что отец из ГПУ не вернулся и что накануне на нашей квартире был большой обыск. Присутствовавшая при нем наша бывшая няня рассказывала, между прочим, что когда чекисты рылись в комнате, где жили мы с братом и она им сказал, что мы много читаем и наверно будем учеными, один из них презрительно процедил: «Это еще бабушка на-двое сказала, учеными или сапожниками». И думается, что действительно на нашу долю верных кандидатов на «лишенство» не выпало бы ничего хорошего, если бы мы не уехали с родителями за границу.

То, что дело шло не об одном моем отце, а о коллективном аресте многих профессоров и литераторов, выяснилось очень скоро. Семьи заключенных, в частности наша и семья Карсавиных, стали обмениваться новостями и все приступили к передаче белья и продовольствия арестантам. Около недели всю группу держали на Гороховой, а потом перегнали в тюрьму на Шпалерной улице. Трехкилометровый переход скорым шагом с узлами в руках или на спине

под грубые окрики конвйных был мучителен для многих, особенно для моего отца, у которго к тому времени начались сердечные припадки.

Также довольно скоро заговорили и о московских арестах и о том, что всем заключенным предстоит высылка за пределы СССР, а их семьям возможность следовать за ними. Не могу по этому поводу не вспомнить, как, сидя у парикмахера — знакомого придурковатого, но много о себе мнящего парнишки — я сообщил ему про это, на что он мне возразил с важностью осведомленного человека: «Ничего подобного... всех расстреляют... определенно...».

Инициатором высылки, а не расстрела петербуржцы, как и москвичи, считали Троцкого и многим запомнилась его формулировка обвинения, близкая к той, что цитирует М. Геллер (стр. 220): «Потенциальные друзья возможных врагов СССР». Заключение Рапальского договора, возобновившего дипломатические и торговые сношения с Германией, позволило советскому правительству обратиться к немецкому за визой для высылаемых. На что тогдашний рейхсканцлер Вирт ответил, как пишет отец, «что Германия не Сибирь и ссылать в нее русских граждан нельзя, но если русские ученые и писатели сами обратятся с просьбою дать им визу, Германия охотно им окажет гостеприимство» (стр. 219). В Москве ходатаями по этому делу были назначены А. И. Угримов и В. И. Ясинский, а в Петрограде мой отец и Н. М. Волковысский, которых освободили из тюрьмы около 20 сентября в числе заключенных старше 50 лет. Они получили в консульствах согласие на визы и им также удалось, путем долгих хождений по присутственным местам, выхлопотать льготные (лучше, чем первоначальные, указанные М. Геллером, стр. 223) условия для вывоза платья, белья, книг, драгоценностей и валюты. Все это, конечно, потребовало составления и заведения бесконечных подробных списков в трех или больше экземплярах.

Москвичи, как обитатели столицы, смогли быстрее справиться с этой волокитою и уже около 1 октября приехали в Петроград садиться на немецкий пароход. Делом солидарности петербуржцев было приютить у себя на одну или две ночи проезжих переселенцев. Гостями нашей семьи были супруги Бердяевы со свояченицей и тещей Николая Александровича. Вечером, когда, после дневной беготни, петербургский и московский философы возобновили свое прерванное больше чем на пять лет интеллектуальное общение, мы с братом и пришедшими к нему по этому случаю университетскими

товарищами благоговейно слушали их диалог. Из вещаний Бердяева мне запомнилось главным образом следующее, которое носило историко-философский характер с налетом двухвековой московско-петербургской неприязни. Покровительствуемая властями «Живая церковь», в которой Виппер хотел видеть русское подобие протестантской Реформы, в суждении Николая Александровича приравнивалась к петровско-победоносцевскому Святейшему Синоду как орудию подчинения Церкви государству; и в том и в другом явлении он усматривал выражение петербургского бюрократического духа.

Помнится, что на следующий же день мы провожали московскую группу, которая благополучно погрузилась за Николаевским мостом, с Василеостровской стороны, на пароход Oberbürgermeister Hacken. По позднейшим рассказам ее членов, прибытие их в Германию было не лишено живописности. Подплывая к Штетину, полагавшие, что уже там их будет встречать делегация русских эмигрантов, москвичи приготовили совместно прочувствованную ответную речь, произнесение которой было возложено на Бердяева. Выйдя с пристани, вся группа выстроилась на небережной некоторое время в ожидании чего-то. Поглядевши налево и направо, Николай Александрович выразил спутникам свое недоумение: «Что-то ничего не видно». Тогда, по инициативе Угримова и некоторых других, объясняющихся по-немецки, собратьев были наняты две телеги, на которые москвичи погрузили свои неприглядные пожитки и, окруживши их импровизированным конвоем на случай нападения проблематических грабителей, поволоклись на железнодорожную станцию. Там жожакам удалось выхлопотать плацкарты (по меньшей мере семьдесят) в нескольких вагонах поезда на Берлин. Посадка совершилась не без некоторых препирательств с немецкими пассажирами. Слышали, как какая-то мегера кудахта, что «проклятые большевики пролезают и в их страну». На Берлинском вокзале москвичей ожидало такое же «отсутствие всякого присутствия» как и на Штетинской пристани. Но здесь на хлопоты жожаков откликнулись представители Красного креста и помогли всем расселиться по дешевым гостиницам. Через день или два, приезжие прочли в эмигрантской газете *Руль* заметку о приезде в Берлин «высланных большевицких профессоров». Здесь осторожно прибавлю: «за что купил, за то продаю».

Что же до петербуржцев, из которых половина просидела в тюрьме приблизительно до середины октября, то им еще предстояло

выполнение многих докучных формальностей, которые задержали их отбытие до последнего перед ледоставом рейса на Штетин.

В честь некоторых групп высылаемых устраивались, конечно без широкого оглашения, прощальные собрания. Помню, среди прочих, вечеринку в гимназии моей бабушки М. Н. Стоюниной, которая покидала Петроград как старший член нашей семьи. Было произнесено много напутственных речей, обращенных к бабушке и уезжающим преподавателям школы: моим родителям и математику С. И. Полнеру. Слово взяли также два известных университетских профессора истории, учителя брата Владимира: И. М. Гревс и О. А. Добиаш-Рождественская. Более того: одна бывшая ученица, ставшая поэтессой, не побоялась прочесть несколько скорбных стихотворений, написанных ею год назад, под впечатлением расстрела ее учителя Гумилева. Вряд ли подобные собрания могли бы состояться безнаказанно года три спустя, когда ГПУ усовершенствовала свой сыскной аппарат.

Настало наконец 15-ое ноября, день посадки на пароход Preussen с запущенной первым снегом и погруженной в вечерний сумрак василеостровской набережной. На ней собралось более сотни, а может быть и около двухсот, родственников и друзей отплывающих, в значительной мере отцовских и бабушкиных учеников и учениц и наших товарищей по гимназии и университету. Пришли также и некоторые вблизи проживавшие профессора: очоь ясно помню величественную фигуру Саваофа-Кареева.

На рассвете 16-го пароход пустился в путь и на третий день прибыл в Штетин, где, помнится, уже по своей инициативе члены местного Красного креста встретили нас и помогли погрузиться на поезд. А на перроне Берлинского вокзала нашу группу окружили сотоварищи-москвичи и более давние друзья-эмигранты (среди них с десяток стоюнинок), которые сразу же развезли нас по гостиницам.

К тому времени у московских изгнанников с русским Берлином уже налажился контакт и их общими усилиями основывался Русский Научный Институт, к деятельности которого должны были примкнуть и некоторые петербуржцы. Помню организованный по случаю его открытия концерт и бал.

Вскоре потом пришло письмо из Праги, в котором П. Б. Струве уведомлял нас об открытой президентом Масариком благотворительной «русской акции» и о возможности для нашей семьи и для части других высланных воспользоваться ею, поселившись в Чехословакии, куда уже прибыли одесситы Флоровские и Буницкие. Благодаря уже имевшейся у отца визе, наша семья переехала в Прагу из Берлина первая, а за нею понемногу перебрались в Чехословакию Лапшин, Зубашев, Прокопович, Кускова, Новиковы, Кизеветтеры, Мякотины, Розенберги, Стратоновы, Зворыкины, Лутохины, Козловы, Селивановы и семьи обоих Булгаковых и, по некоторым свидетельствам, А. А. Боголепов.

Было бы конечно небезынтересно подвести итоги культурной деятельности многих из разбредшихся по всему свету русских изгнанников 1922 года.

*Б. Лосский*

**БЕРЛИНСКИЙ «КРУЖОК ПОЭТОВ» (1928-33)**

В моем архиве случайно сохранилась когда-то мною написанная шуточная «История Клуба Берлинских Поэтов». Начинается она так: «Клуб Поэтов зародился на собрании кружка «На Чердаке», которое происходило в подвале. На этом собрании Михаил Горлин, обходя знакомых, деликатно их спрашивал: «Не пишете ли? Не сочиняете ли чего?» Большинство из вежливости отвечало утвердительно, потому что у Миши Горлина очень приятный характер».

В сущности это так приблизительно и было: основателем и душой кружка (возникшего в 1928 году) был Михаил Горлин, одаренный поэт, — впоследствии литературовед, автор целого ряда научных статей — и даже пьесок для театра марионеток... Большинство произведений, которые он читал друзьям, бесследно исчезло: во время оккупации Парижа, немецкая полиция дочиста опустошила квартиру депортированного Горлина.

Но в то время, о котором я пишу, Михаилу Горлину не было еще и 20 лет. Это был небольшого роста кудрявый мальчик, общительный, остроумный — и с ранних лет всецело преданный поэзии и литературе. Товарищи над ним подсмеивались: не умел ни плавать, ни кататься на велосипеде, ни даже бегать. «Чего же ожидать от человека, воспитанного по системе Монтессори?» говорил он, разводя руками.

На первом же нашем собрании Горлин был избран секретарем кружка и остался им до конца. Членов — писателей и поэтов — у нас было немного, не больше двадцати пяти. Иногда состав кружка расширялся: приезжали гости из Парижа, например, Георгий Раевский, Ирина Одоевцева, или же — на краткий срок — поэты из прибалтийских стран: из них запомнился мне Борис Вильде, писавший под псевдонимом «Дикой». Участник первой группы Сопротивления, состоявшей из сотрудников «Musée de l'Homme», он был расстрелян немцами в начале оккупации Парижа.

Из молодых членов кружка упомяну о тех, чьи имена сохра-



нились в истории эмигрантской литературы: София Прегель, Юрий Джанумов Горлин, Раиса Блох, Николай Белоцветов, Евгений Рабинович (впоследствии прославившийся в Америке биолог-атомист), Виктор Франк, ставший англо-русским публицистом. Менее известен Эссад-бей, вскоре перешедший на немецкий язык, — чрезвычайно плодовитый, но не слишком серьезный историк.

Самыми выдающимися членами кружка были В. Л. Корвин-Пиотровский (тогда мы его знали только под фамилией Пиотровского, «Корвин» появился позже) и В. В. Набоков.

Талантливый поэт — он издал несколько книжек своих стихов — В. Корвин-Пиотровский был и автором ряда драматических поэм, действие которых происходит в прошлых веках, например в эпоху Возрождения. Из них хочется особенно отметить прелестную «Смерть Дон-Жуана». Все эти поэмы, — как и его стихи — написаны излюбленным им классическим четырехстопным ямбом, но его поэзии не чужды и элементы импрессионизма, и они отличаются лирическим богатством и разнообразием сюжетов.

Как и многим эмигрантам-литераторам, Пиотровскому жилось нелегко. Чем он только не занимался, чтобы заработать на жизнь! Помню, как-то я оказалась в такси с одним приятелем, — шофер повернулся к нам, и я узнала в нем Пиотровского. Конечно, смутилась я, а не он, — он посмотрел на меня холодно, сделал вид, что не узнал, хотя я была дружна с ним и с его женой. Впоследствии, в Париже, материальная жизнь этой семьи понемногу наладилась.

А Владимир Набоков — тогда еще Сири́н — высокий, худой, стремительный, — появлялся в кружке довольно часто, охотно читал нам свои стихи и любил поспорить о поэзии. Хотя он был тогда еще очень молод и напечатанных произведений за ним числилось немного (первый его роман, «Машенька», вышел, если не ошибаюсь, в 1928 году), его блестящий, оригинальный дар, стилистическое богатство и своеобразие и авторитетный тон сразу создали ему в кружке особое положение: он считался «мэтром».

Ему случалось порой снисходительно подсмеиваться над нашими поэтами. Помню одну строчку Николая Эльяшева: «И лошадь

падает назад.» «Позвольте, — сказал Сирина — ”назад” — в одно слово или в два?» — «Впрочем, — прибавил он, подумав, — смысл тот же самый.»

Постоянно возвращающейся темой его стихов была тогда Россия.

Мою ладонь художник строгий  
Разрисовал: в ней все твои  
Большие, малые дороги,  
А жилы — реки и ручьи (...)

И если правда, как намереди  
Мне померещилось во сне,  
Что час беспечный, час последний,  
Найдет меня в чужой стране,

Как на покато́й школьной парте,  
Совьешься ты, подобно карте,  
Как только отпущу края  
И ляжешь там, где лягу я .

— Почему же «час беспечный?» — спросила я.

— Потому что последний: не надо больше ни жалеть, ни надеяться.

Последний час нашел его, действительно, в «чужой стране», — но и своя его не забыла: созданное им проникает, по слухам, в Россию и радует новых читателей.

Кружок собирался раз в неделю, то в кафе, то на частных квартирах. На каждом заседании читались новые произведения, немедленно подвергавшиеся строгой, «нелицеприятной» критике. Почти все участники кружка были поэтами, — кроме разве Эссад-бея и меня, напечатавшей тогда, под псевдонимом «Аленина» целый ряд рассказов в берлинском «Руле».

Не обходилось, конечно, без чаепития и сладких пирогов, но это было между прочим: главным нашим удовольствием были бурные споры о ритме, образах, стиле, композиции. От времени до времени устраивались и публичные выступления: литературные вечера. Кружок выпустил в свет и три стихотворных сборника.

Жизнь Берлинского Кружка закончилась внезапно — при драматических обстоятельствах.

26 февраля 1933 года, через месяц после прихода Гитлера к власти, издательство «Петрополис» праздновало пятнадцатилетие своего существования — оно было основано еще в Петербурге. В зале одного из больших берлинских ресторанов собралось немало народа, — все более или менее причастные к литературе люди. Было весело, — гили за процветание эмигрантской литературы, за здоровье издателя, поэтов и писателей... Вдруг издателя позвали к телефону: звонил один его близкий приятель: «Горит Рейхстаг, — кто поджег — неизвестно, это темная и опасная история...»

Торжество тут же оборвалось. Одни пошли поглядеть на пожар, — издали, потому что гитлеровцы никого близко не подпускали, — другие поспешили домой. Очень скоро после этого начались отъезды; было уже не до Кружка. Из оставшихся в Германии многие погибли в лагерях. Из уехавших — тоже. Подлинно, как в русской сказке: «пойдешь налево...»

Если живы еще — кроме меня — другие участники Берлинского Кружка, верно и они сохранили о нем теплое воспоминание. И не только потому, что тогда все были молоды, беззаботны, дружны между собой: в Кружке Поэтов (как и в других зарубежных центрах) упорно и верно хранили русскую поэзию, живую связь с родной землей.

*Евгения Каннак*

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О БЕЛГРАДЕ

30-е годы были расцветом русского литературного Белграда. Помню, что я редко проводила мои вечера дома — собрания, заседания, выступления... Было у нас четыре литературных кружка или общества, все очень разные, и во всех я участвовала.

Во-первых, был Союз ревнителей чистоты русского языка, основанный Евгением Александровичем Елачичем. В нем я четыре года состояла секретарем. Кружок был полугимназического типа, немного скучноватый, но очень добродетельный. Устраивались чтения, составлялась библиотека газетных вырезок, читались лекции, и мы ядовито ловили друг друга на употреблении ненужных иностранных слов и неправильных оборотов. Евгений Александрович был высок, худ, педантичен, вегетарианец, и держал нас всех в повиновении. Был в правлении и его брат Гавриил Елачич, поэт, погибший в первую бомбардировку Белграда в 1941 г.

Второй кружок был очень молодой по составу, веселый, не связанный никакими правилами и дерзко назывался Новым Арзамасом. Его членами были: Александр Неймирок, Юрий Герцог, Николай Бабкин, Михаил Духовской, Нина Гриневич, Игорь Гребенщиков, еще двое или трое, чьих имен не помню, ну, конечно, и я. «Заседания» наши проходили экзотически — например, сидели на полу на подушках, ели халву, запивая красным вином, и читали стихи, свои и чужие — предпочтительно Гумилева. Иногда заседания проводились в парке за городом. Было всегда очень весело и беззаботно, ведь было нам всем чуть меньше или чуть больше 20 лет.

Третий кружок был много солиднее, назывался «Литературная Среда», и собирался по средам в одной из аудиторий народного университета им. Коларца. Председательствовал милый старенький вечный эмигрант, т. е. еще с царских времен, Карл Романович Кочаровский. Весь состав «Нового Арзамаса» посещал и собрания «Среды», но, кроме нас, там бывали поэты и писатели постарше, и некоторые даже — о верх мечтаний — печатавшиеся в «Современных Записках», как Илья Голенищев-Кутузов, Екатерина Таубер и наш прозаик Михаил Иванников. Бывали у нас В. Гальской, К. Халафов,

еще супруги Петровы, Игнат Побегайло, Павел Крат, Михаил Погодин и кое-кто из «сочувствующих». Этот кружок издал тоненький альманах «Литературная Среда», который так и остался номером первым. Мэтром нашим был Голенищев-Кутузов, к его мнению все почтительно прислушивались, — был он как-то культурнее остальных, но очень себе на уме.

Четвертое литературное общество было самым официальным: это был «Союз русских писателей и журналистов в Югославии», и в нем принимали участие, кроме многих членов «Среды», также ученые, журналисты, адвокаты и т. п. Самой колоритной фигурой был Петр Бернгардович Струве, с его пышной седой бородой, будто бы окунувшийся в нее и дремлющий в кресле с полузакрытыми глазами, но не пропускающий ни слова из того, что говорится или читается, и производящий затем логический разгром бедного оратора. Бывал на собраниях и В. В. Шульгин<sup>(1)</sup>. Помню один случай, когда при нем Голенищев-Кутузов<sup>(2)</sup> прочел сильно просоветские стихи — и В. В. вскочил, весь красный, что-то нелестное крикнул Гол.-Кутузову и выбежал, хлопнув дверью. Был в Союзе и Евгений Михайлович Кискевич, горбатый поэт, всей душой преданный литературе. Держался он немного торжественно, очень был увлечен союзными делами, и во время выборов нового правления переживал их, как важнейшее событие. Он не выехал из Белграда, когда пришли советские войска, и был расстрелян за то, что держал себя открыто враждебно к новой власти, геройски не тая своих чувств. Я мало интересовалась официальной жизнью Союза, и даже не уверена, кто был его последним председателем — кажется, доктор Пельцер.

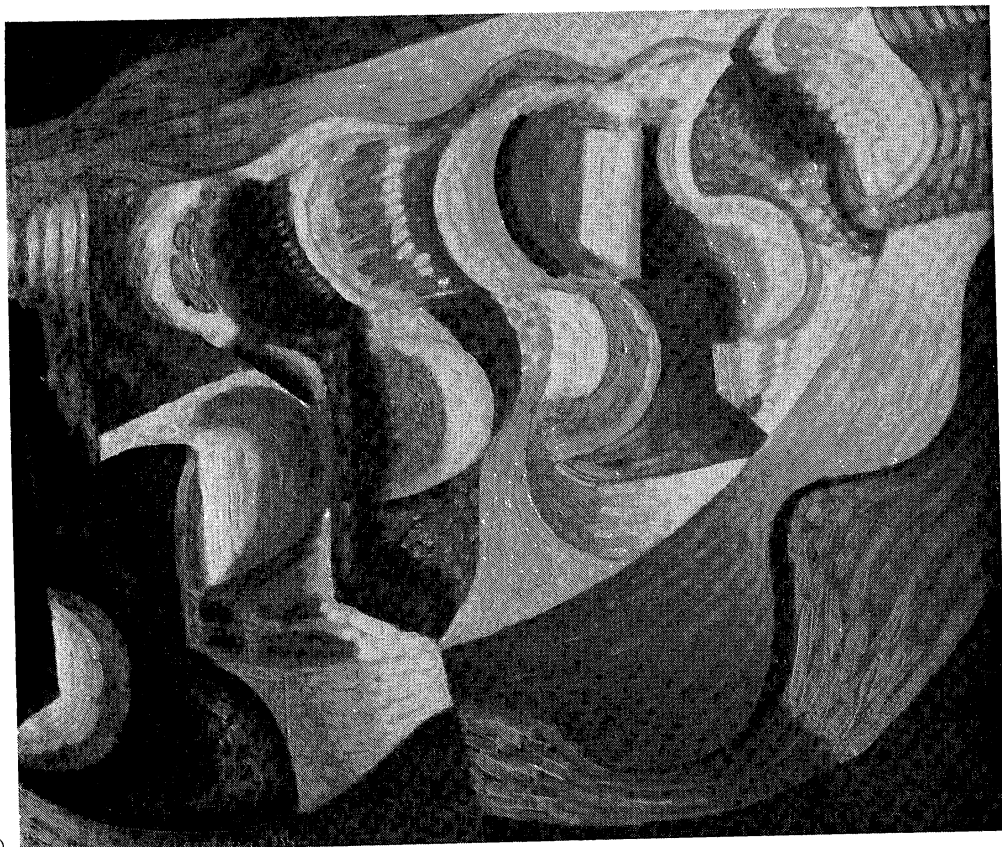
Вторая мировая война оборвала разом жизнь всех наших кружков и общества, а сейчас почти никого из участников уже нет в живых.

*Л. Алексеева*

---

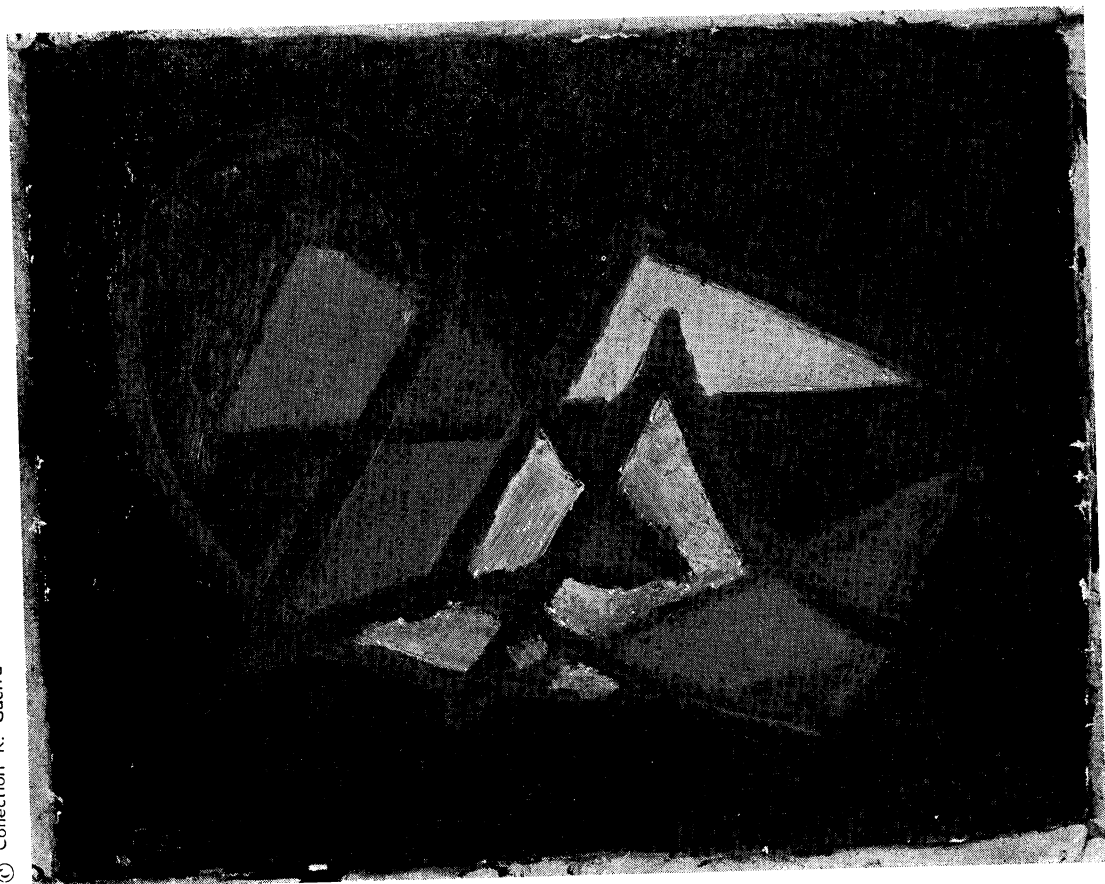
(1) В. В. Шульгин (1878-1971). После входа советской армии в Югославию, в январе 1945 года Шульгин был арестован в Сремских Карловцах и вывезен в СССР, где до 1956 года находился в тюремном заключении.

(2) И. Н. Голенищев-Кутузов. Поэт, литературовед, переводчик. С 1921 года жил в эмиграции, главным образом, в Югославии. Издал сборник стихов «Память» (с предисловием Вячеслава Иванова). В 1955 году добровольно вернулся в СССР. Ред.



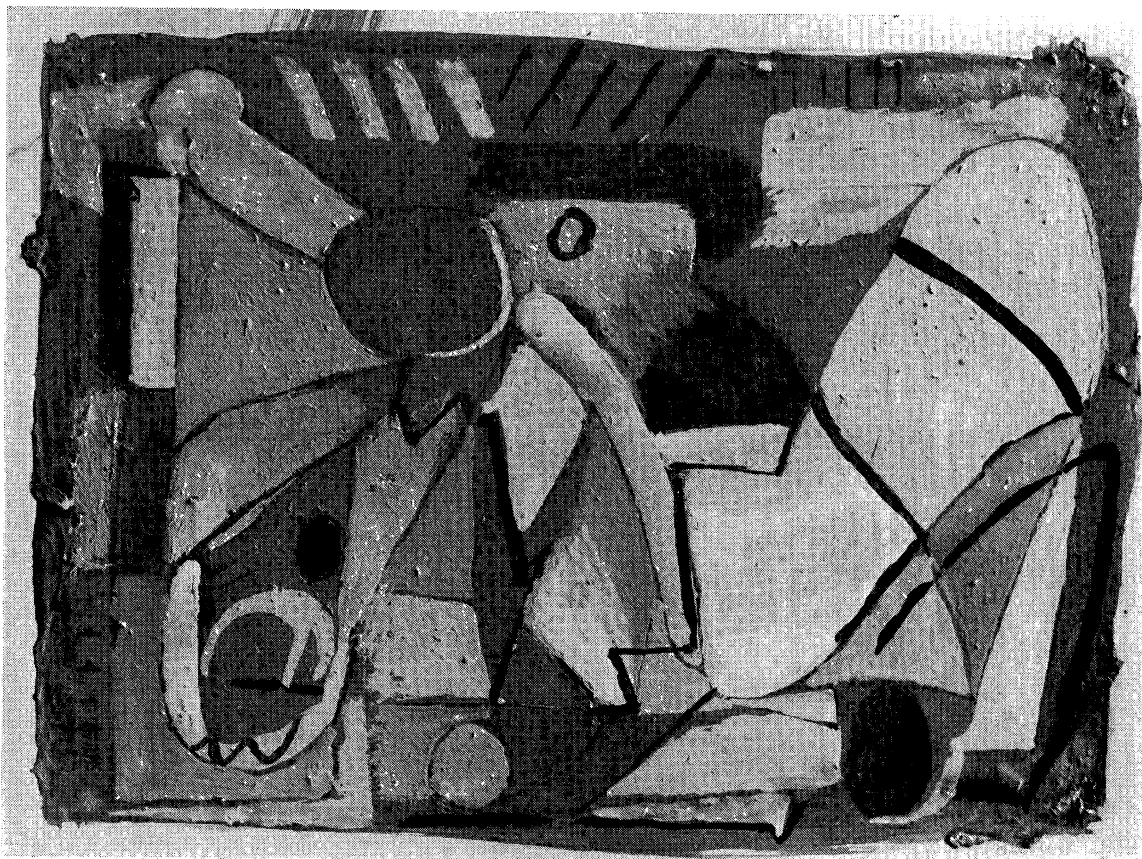
© Collection R. Guerra

С. Шаршун. Музыкальная композиция («Франческа да Римини», Чайковский),  
Париж 1954 г.

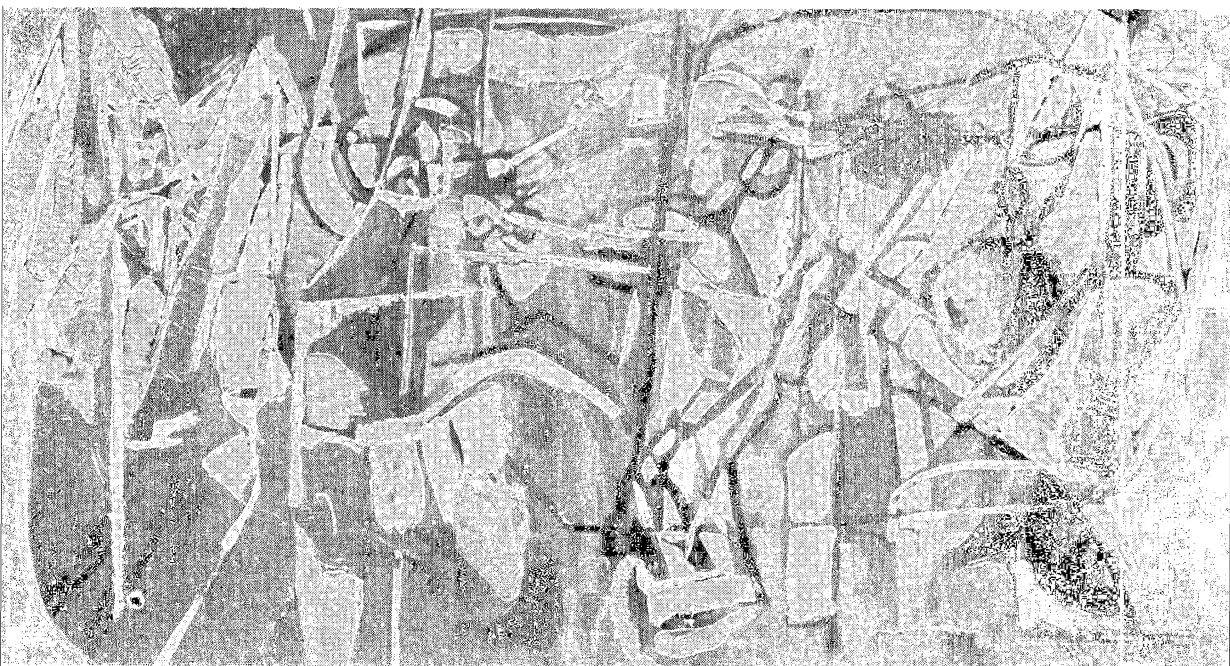


© Collection R. Guerra

Н. де Стааль. Композиция, Париж 1945 г.



А. Ланской. Композиция. Париж

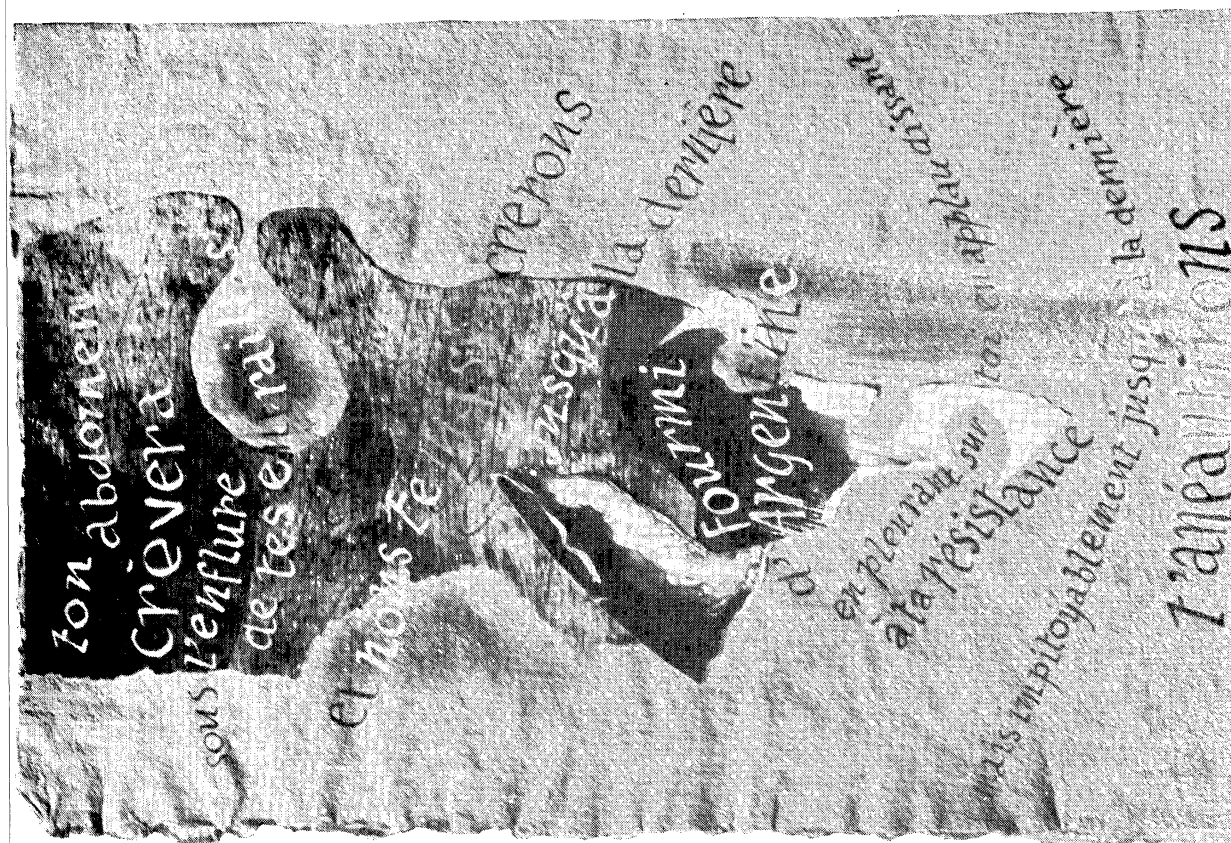


А. Ланской. Композиция. Париж 1967 г.



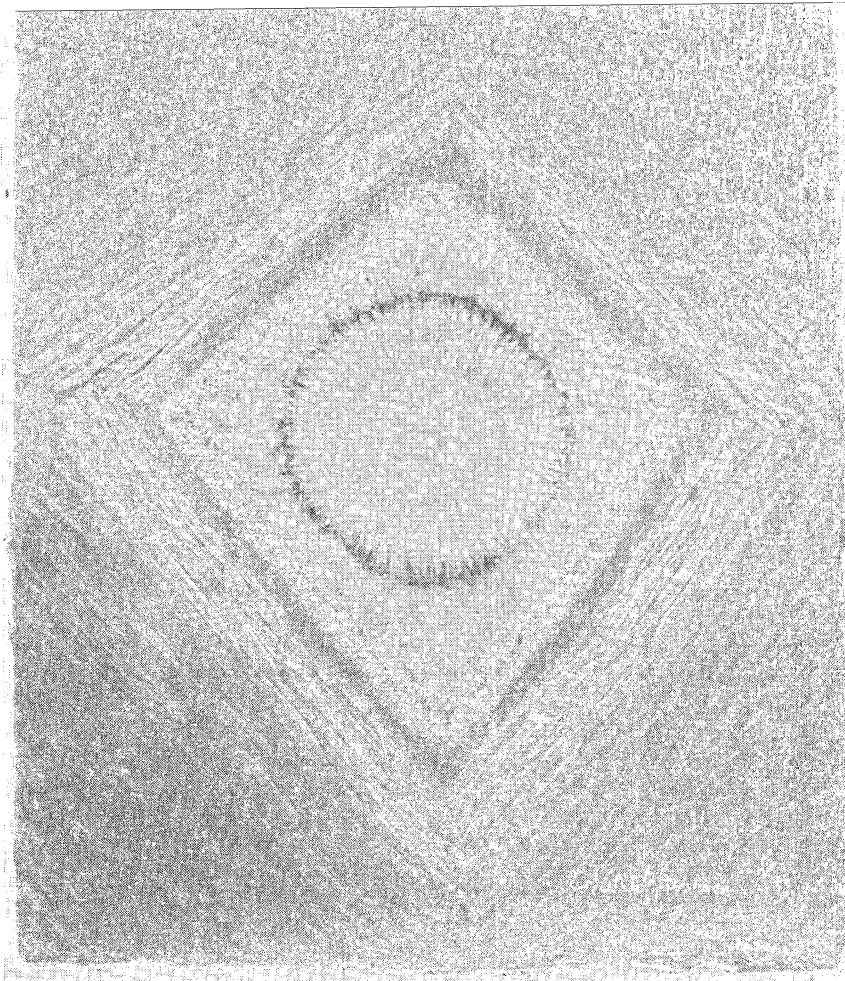


А. Старицкая. Гуашь-коллаж. (Текст М. Цветаева)

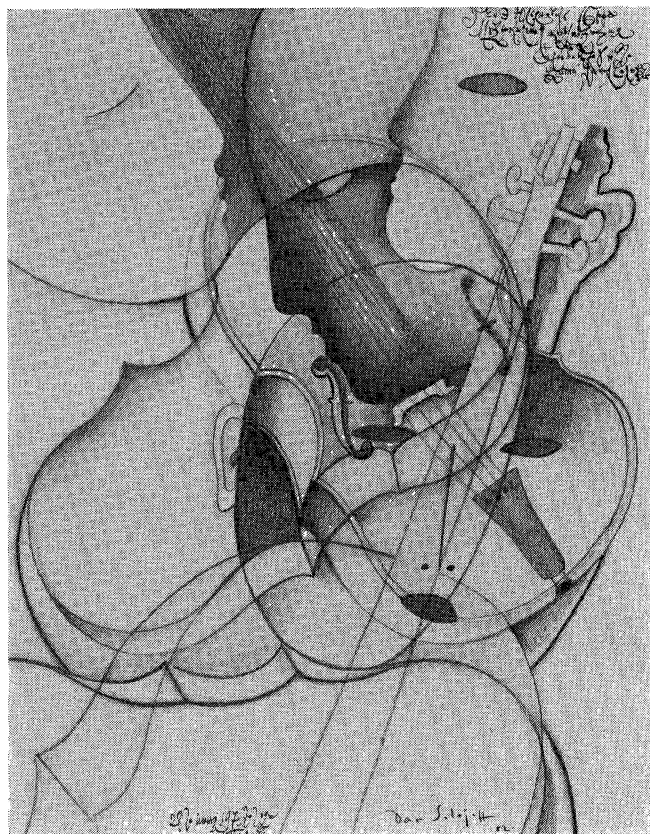


А. Старицкая. Гуашь-коллаж. (Текст М. Бутор)





С. Шаршун. Русское солнце. Париж

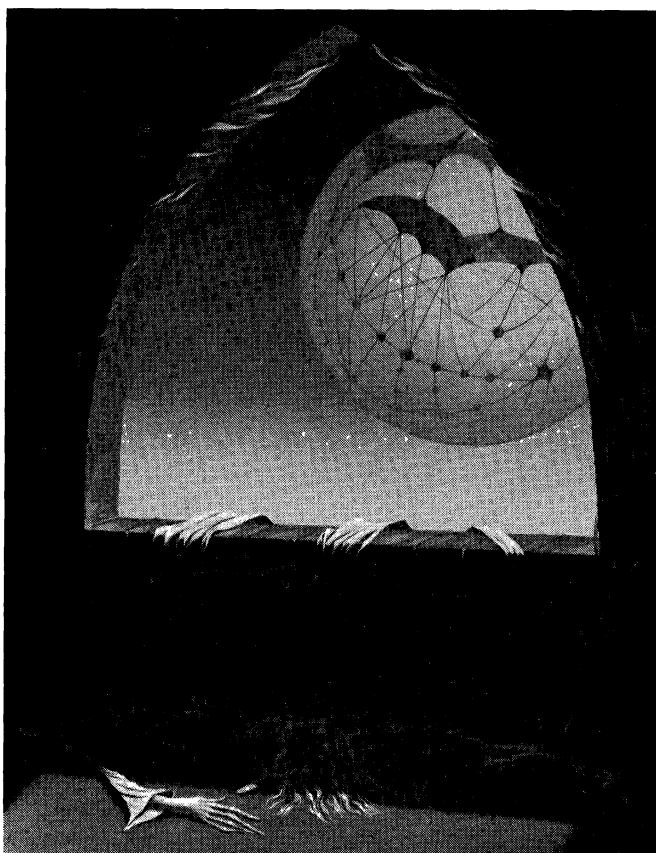


Д. Соложев. Музыкальная композиция. 1952 г.

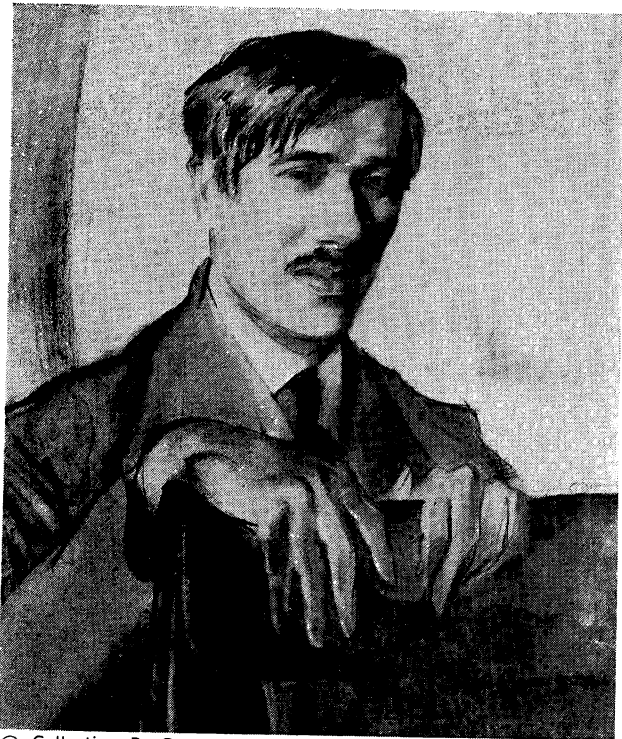
© Collection R. Gueria



С. Голлербах. Две фигуры. Нью-Йорк 1972 г.



П. Ино. Смерть и Воскресение. Париж 1969 г.



© Collection R. Guerra

С. Чехонин. Портрет К. Чуковского.  
1920 г.



© Collection R. Guerra

Н. Альтман. Портрет Ю. Анненкова.  
Париж 1930 г.



© Collection R. Guerra

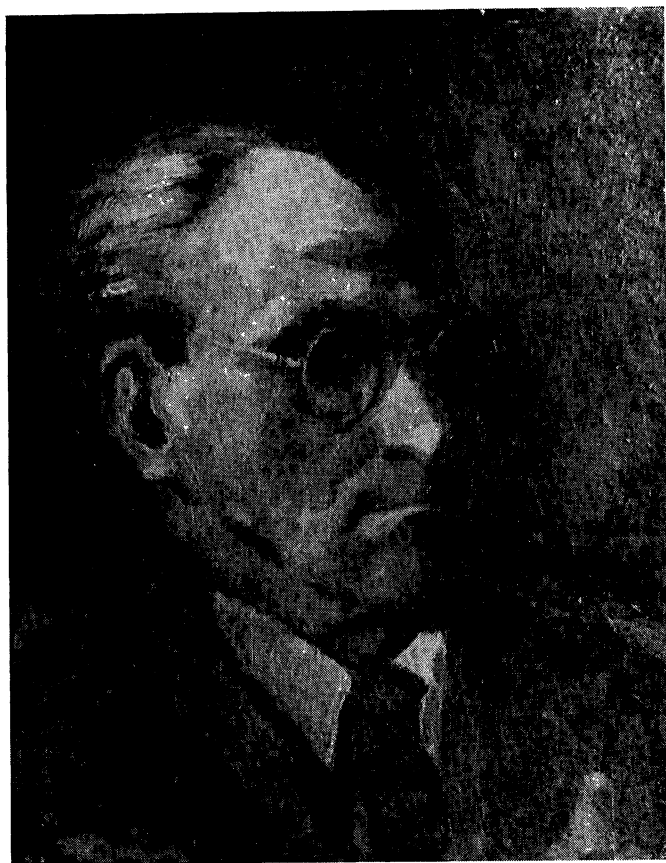
Л. Зак. Портрет А. Левинсона. Париж 1925 г.



Ю. Анненков. Портрет С. Шаршуна.  
Париж 1952 г.

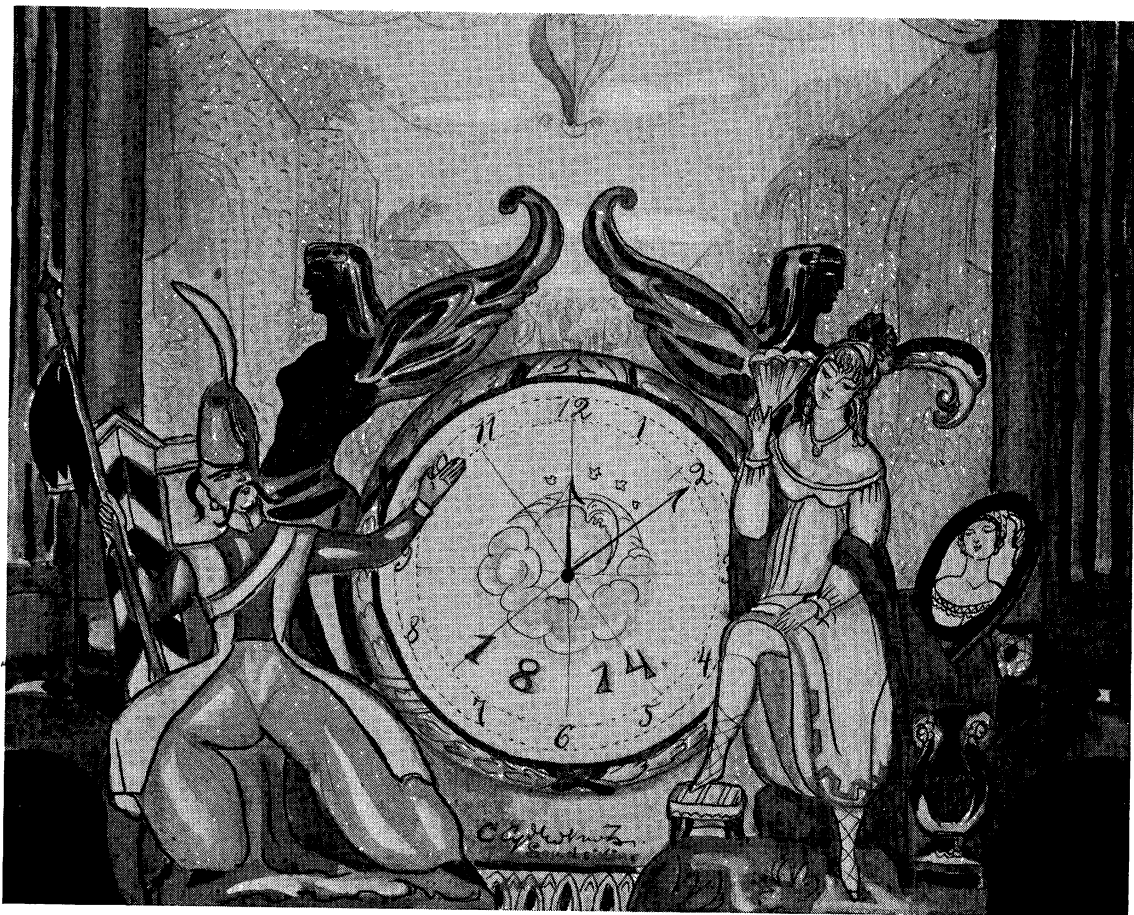


Л. Зак. Портрет С. Шаршуна.  
Париж 1945 г.



М. Андреев. Портрет С. Шаршуна. Париж 1944 г.





С. Судейкин. 1814 г.



С. Чехонин. Маска

## ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РЕПИНА

Много лет назад, живя в ранней юности в Финляндии, мне привелось познакомиться с Ильей Ефимовичем Репиным и с его семьей. После закрытия границы между Россией и Финляндией, в 1918 году, Репин жил безвыездно в Куоккола в своей усадьбе, названной им «Пенаты». Он поселился в Финляндии в 1903 году со своей, как тогда называлось «гражданской женой» — Н. Б. Нордман, разойдясь окончательно, после многих попыток к примирению, со своей женой В. А. Шевцовой.

В годы, о которых я пишу, Репин жил в «Пенатах» со своей незамужней дочерью Верой и с сыном, Юрием. Был ли Юрий вдовцом, или разошелся со своей женой, я не помню; у него было два сына, живших также в «Пенатах». Н. Б. Нордман умерла в 1914 году. Две другие дочери Репина, Надежда и Татьяна, остались, насколько помню, в России.

В начале 20-х годов, многие русские, имевшие дачи и усадьбы в Финляндии, жили очень широко и открыто, продавая драгоценности и вырубая парки и сады, много принимая и выезжая.

Несмотря на то, что наша семья жила очень далеко от Куоккола, мы постоянно ездили гостить к друзьям, жившим на побережья Финского залива в дачных местах, находившихся поблизости от «Пенат». Благодаря друзьям, соседям Репиных, мне удалось попасть несколько раз на музыкально-литературные вечера в «Пенатах».

Об этих вечерах много говорилось и писалось. До закрытия границы, в «Пенаты» постоянно приезжали из Петербурга — тогда уже Петрограда, — известные писатели, артисты, художники и музыканты. Но и после того как граница была закрыта, вечера эти продолжались.

У многих писателей, а особенно артистов и музыкантов, были собственные или снимаемые дачи, на которых они оставались жить и после революции.

В Териоках жила известная артистка Холмская, прекрасно читавшая отрывки и сцены из своего репертуара.

В Келломяках, рядом с Куоккола, жили братья Захаровы — прекрасные музыканты. Старший — Николай, известный пианист и профессор консерватории, был женат на скрипачке Цецилии Ганзен, ученице Ауера и ставшей всемирной знаменитостью. Приезжая после турне по Европе и Америке на лето в Келломяки, где у Захаровых была собственная дача и где постоянно жил П. Захаров, брат Николая, который был отличный виолончелист, они всегда бывали желанными гостями в «Пенатах». Я помню, какое наслаждение мы все испытывали, слушая в их исполнении трио Чайковского, Аренского и также их сольные выступления.

Репин любил музыку и часто говорил, что, после живописи из всех искусств, «я больше всего люблю музыку».

Музыкальной частью, обычно, занималась дочь Репина, Вера Ильинична, которой деятельно помогали и братья Максимовы, очень талантливая и культурная семья, жившая по соседству с Репиными. Вера Ильинична была в молодости на театральных курсах и серьезно училась пению. У неё был красивый, хорошо поставленный большой голос, меццо-сопрано и большей частью, она выступала одна в сценах из опер, или исполняла отдельные арии, но всегда в костюмах, которые делались по рисункам Репина, и которые он часто кроил сам.

После окончания музыкального отделения, Репин читал отрывки из своих воспоминаний, которые он тогда писал.

Юрий Ильич не принимал участия в этих вечерах; он или сидел в стороне и набивал патроны, или вообще отсутствовал. Его единственная страсть была охота, в которой он находил полное удовлетворение своей жизни. Он был нелюдим и равнодушен ко всему окружающему. Лицом он очень походил на Петра Первого, только небольшого роста. Этим сходством он, видимо, очень гордился: носил волосы как Петр и одевался в мундир петровского времени, зеленый с красными отворотами, тоже сделанный по рисунку отца.

В молодости он был записан Репиным в Академию Художеств, но хотя он и продолжал рисовать и даже продавать свои акварели и картины, большого таланта у него не было.

Насколько сильна была у Ю. И. страсть к охоте, видно было по именам, которые он дал своим сыновьям: Гай и Дий. Известно, что охотничьим собакам принято давать односложные клички: как Чок, Тот, Пинт; Юрию стоило, вероятно, немало труда найти в святцах таких редких святых.

Я отчетливо помню мое первое посещение «Пенат», куда меня взяли с собою друзья, у которых я гостил. Дочь и сына Ильи Ефимовича я уже знал, встречаясь с ними у наших общих знакомых, но самого Репина знал только по виду. Когда он проходил, все шептали: «смотрите, идет Репин». Не заметить его было невозможно: он ходил в черной пелерине-крылатке, носил большую, черную шляпу с широкими полями, из-под которой выбивались седые кудри, и на шее широкий, художественно повязанный черный галстук. Несмотря на свой очень преклонный возраст, — ему было тогда около 80-ти лет, — Репин ходил быстро и легко маленькими, удивительно молодыми для его лет, шагами. Лицо было чрезвычайно подвижным и живым; маленькие, пытливые, с острым взглядом глаза осматривали каждого нового встречного, как возможную модель, или как сюжет для картины. Он был ровен и приветлив со всеми, но часто он как бы не замечал собеседника и уходил в себя, глядя куда-то в даль и видя то, что другие не видят.

Приходя в «Пенаты», никто не здоровался за руку, просто кивали друг другу головой. В обширной гостиной стоял рояль, большой диван красного дерева, несколько кресел и много стульев. По стенам висели рисунки и портреты всей семьи Репина. Гостей никто не рассаживал, садились где хотели, да и вообще никто приглашенными не занимался. На дверях гостиной висели дощечки с надписями «садитесь, где и как хотите», «если нет стула, принесите из столовой». На двери в столовую было написано «Здесь — столовая». Такие надписи висели во всем доме Репиных. Все было ново и интересно для меня.

В этот мой первый вечер в «Пенатах» Вера Ильинична пела сцену прощания Иоанны из оперы «Орлеанская дева» Чайковского.



Опираясь на копьё, затянутая в латы, смастеренные самим Репиным из картона и серебряной бумаги, В. И. провела сцену с большим пафосом, делая преувеличенно театральные жесты и движения. Ей было в то время далеко за сорок лет и, маленькая, полная, стянутая латами, В. И. выглядела довольно комично.

После окончания пения Репин сделал вид, что программа окончена и он собирается покинуть гостиную. Все присутствующие начали его просить прочесть что-нибудь из его воспоминаний. Он долго отказывался, говоря: «Вам будет скучно, вам это неинтересно». Как я позже узнал, это было нечто вроде обряда или ритуала, продолжавшегося довольно долго и тешившего его стариковское тщеславие. Мы должны были просить или, вернее, молить его, как хор в древне-греческих трагедиях, пока он наконец со смиренным видом, уступая нашей мольбе, садился в заранее приготовленное кресло, стоящее у маленького столика с лампой. В. И. приносила рукопись, находившуюся всегда поблизости. По закладкам в ней видно было, что всё было подготовлено и обдумано. Не высказывая больше никаких возражений, Репин начинал читать.

Читал И. Е. довольно плохо: торопливо и невнятно. Иногда, увлекшись воспоминаниями, он откладывал рукопись и говорил то, чего в ней не было написано. Часто эти его отступления бывали интереснее, чем то, что должно было войти в воспоминания. После этого, Репин долго сидел молча, смотря куда-то в даль, как бы глядя в прошлое. Затем, И. Е. снова принимался за чтение. Во всем было много театральности и нарочитости.

Но вот, Репин кончал читать, со вздохом сожаления о прошлом откладывал рукопись и мы, выразив нужный и ожидаемый восторг, шли в смежную с гостиной столовую, где уже был приготовлен чай.

Посреди комнаты стоял большой круглый стол с вращающейся серединой — чтобы не беспокоить никого из сидящих просьбой передать хлеб, варенье и печенье. На дверях столовой тоже висела надпись: «Каждый берет, что хочет». Ничего другого к вечернему чаю не подавалось. Под влиянием Н. Б. Нордман, Репин и его семья были строгими вегетерианцами. Соседи уверяли, что к завтраку и обеду у Репиных подавались котлеты из сена.

Что читал Репин на вечере моего первого посещения, я не помню; я был слишком занят рассматриванием дома и его обитателей; все было необычно, интересно и любопытно.

Два других вечера в «Пенатах» запомнились мне очень ясно. Один был посвящен Мусоргскому, а другой воспоминаниям Репина о его пребывании в Париже и его оценка и мнение о школе импрессионизма и о художниках того времени.

Вечер, посвященный Мусоргскому, как всегда, начался с музыкальной программы. Вера Ильинична спела сцену «Гаданья» из оперы «Хованщина». Костюм раскольницы Марфы был сделан по рисунку Репина: очень мрачный и зловецкий. Пела В. И. очень хорошо и костюм удачно скрывал ее полноту.

После обычной церемонии упрощивания, Репин читал нам о Мусоргском, своем любимом композиторе. И. Е. прочел выдержки из писем к нему Мусоргского, прибавив: «Я его не только любил как большого гения, я в нем человека любил». С большим волнением Репин читал, как, узнав о болезни Мусоргского, он поехал в Николаевский военный госпиталь и, воспользовавшись некоторым улучшением в состоянии Модеста Петровича, он привез мольберт и краски и в четыре дня написал портрет. Через десять дней по окончании портрета, Мусоргский умер — 16 марта 1881 года. Гонорар за проданный Третьякову портрет Репин отдал на сооружение памятника Мусоргскому, похороненному в Александро-Невской лавре.

Закончил свое чтение Репин словами, которые часто любил повторять: «Жаль эту гениальную силу, так нелепо собой распорядившуюся физически».

Вечер, на котором Репин читал свои воспоминания о Париже, начался с водевильно-комического выступления Веры Ильиничны; одетая вакханкой с гроздьями винограда в распущенных волосах, она спела «Песенку о сидре» из оперетки «Корневильские Колокола». Было вполне очевидно, что выбор столь легкомысленной песенки был сделан с умыслом.

Получив первую премию за свою картину «Бурлаки» в 1873

году, Репин получил также пенсию на длительную поездку в Вену, Италию, и Францию. О Париже, где он оставался дольше всего, Репин говорил с увлечением, остро подметив типичные черты французов: их веселость, непринужденность, жизнерадостность и простоту обращения. В Париже он главным образом оценил его архитектуру, музеи и кипящую уличную жизнь. Там он написал картину «Парижское кафе».

Очень живо рассказывал Репин о первой выставке импрессионистов, открывшейся в Париже в 1874 году. Произведения французских художников того времени Репину совсем не понравились. «Живопись талантлива, но тупа по содержанию; ни мысли, ни идеи. Искания умов пустых и вздорных, будто они всего живого боятся. Ну сидит и сидит какая-нибудь девица, а что она думает и какие страсти её волнуют — неизвестно». Картины «Ню» его просто возмущали: «Женское тело со стороны пяток показывают»!

Ни с кем из французов-художников Репин не сошелся и даже не познакомился. «Ничего у меня с ними не было общего». Этими словами Репин закончил свое чтение.

Это был один из последних вечеров, на котором я был. Вскоре они совсем прекратились. Куоккола, как и все дачные места, постепенно пустела. Прожив всё, что можно было распродать, большинство людей, живших в прибрежной полосе, продавали свои дачи на слом и уезжали в города Финляндии, или, еще чаще, за границу, и обосновывались там окончательно. Большие усадьбы и имения, которых тоже было много, но они были в глубине страны, оставались еще долго у помещиков, которые, работая сами на земле, смогли их сохранить.

До самой глубокой старости у Репина оставалось неудержимое и неуничтожимое желание рисовать. Когда семья или доктора ему говорили, что ему следовало бы отдохнуть, он сердито отвечал «Перестану — когда умру».

С начала 1900 годов, Репин начал страдать суставным ревматизмом правой руки, на которой он всегда носил шерстяную перчатку со срезанными на ней пальцами.

По его эскизу, для него была сделана специальная палитра, которую Репин подвешивал ремнем к поясу. Карандаши и уголь он мог держать в большой руке, но кисти были слишком тяжелы и ему не под силу.

Рисунок оставался четким и уверенным, но передавать жизнь в красках ему уже не удавалось. Не было больше знаменитых «репинских мазков».

Репин был и оставался прежде всего художником-портретистом. В живописи, его, главным образом, привлекали лица, давая ему образ и всю идею картины. Избранные им сюжеты он чувствовал как действительность, исполненную глубокой правды внутренних чувств своих моделей. По его собственным словам, Илья Ефимович старался передать тех, кого он рисовал, гораздо содержательнее, чем факт самого события, или только черты лица, написанного им.

Репина особенно остро привлекали мрачные и трагические события. Он часто говорил: «Я всегда искал и ищу трагизм в истории».

В 1866 году, Репин пошел смотреть на казнь Д. Каракозова, студента, стрелявшего в Александра II, около Летнего сада. Покушение это, как известно, не удалось, но Каракозов был приговорен к смертной казни.

Взяв с собой альбом и карандаши, Репин отправился на Смоленское поле, на котором должно было состояться повешение.

Репин зарисовал Каракозова в момент, когда его везли в телеге к виселице. Этот рисунок висел в «Пенатах», производя жуткое впечатление. Особенно страшны были глаза: широко раскрытые, с неподвижным мертвым взглядом. По словам Репина: «эти глаза были уже по ту сторону жизни».

Там же, Репин зарисовал лица некоторых людей, присутствовавших на казни. Особенно поразили его глаза стоявшей рядом с ним женщины — «с застывшим выражением ужаса». Этой зарисов-

кой Репин воспользовался для изображения глаз царевны Софьи на картине «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и всей её прислуги». Эта картина была им написана в 1877 году в Москве, более чем десять лет после казни Каракозова.

В апреле 1881 года, Репин пошел смотреть на повешение убийц Александра II-го. Это зрелище произвело на него еще более сильное впечатление, о котором он часто говорил до глубокой старости. Особенно запомнилось ему, как приговоренные стояли на эшафоте, у позорного столба, в черных халатах, с дощечками на груди, на которых было написано: «Цареубийцы». Как затем палач надел на каждого большой саван... Репин как бы с сожалением говорил «жаль что лица было видно». Зарисовал он, кажется, только С. Перовскую и Желябина, но этих зарисовок я не видал.

Насколько Репина привлекал трагизм в истории, можно судить по рассказам наших общих друзей, живших в Куоккола.

Как-то, гуляя с Репиным по деревне, они увидели на крыльце избы маленького финского мальчика, играющего финским ножом — «пукко». Репин остановился, как зачарованный, перед крыльцом и вскричал: «Смотрите, царевич Дмитрий! Сейчас упадет и заколется». Быстро вынув из кармана никогда не покидавший его альбом и карандаш, он стал зарисовывать видение.

Встретив на улице Териок жившего там молодого М. Дмитриева, красивого несколько лубочной красотой юношу, Репин сразу сказал: «Вот идет купец Калашников» и быстро зарисовал его.

Я помню несколько картин, которые Репин писал в то время. Будучи близко знаком со многими, кого он рисовал, я сопровождал их изредка в мастерскую Репина. В 1924 или в начале 1925 года, Репин задумал написать «Четыре времени года», картины-портреты. Желание писать их появилось у Репина, когда он увидел жившую поблизости от «Пенат» Е. Дегергольм. Дочь датско-русской семьи была в 16-17 лет настоящим олицетворением весны. Высокая, стройная, золотистая блондинка с темными глазами и бровями, она была картинно красива.

Репин рисовал её на фоне леса ранней весной, с лежащим еще

кое-где в прогалинах нарастающим снегом и с едва пробивающейся, бледно-северной травой.

Для «Лета», Репину позировала О. Пуни. Обрусевшая итальянская семья Пуни, давшая много прекрасных музыкантов, жила недалеко от Куоккола.

О. Пуни представляла идеальную модель для замысла Репина: ее яркая, южная красота с темными, почти черными волосами, падающими на затылок и на шею, так и просилась на картину.

Репин писал её стоящей в поле, залитом солнечным светом, с маками в руках.

Для «Осени», Репин хотел нарисовать даму лет 40, жившую также поблизости от «Пенат», видя в ней, по его словам, «поэзию блекнущих цветов». Когда Репин сказал ей, что хочет писать с нее «Осень», эта дама очень обиделась, говоря, что еще не собирается записываться в «Осень» и себя далеко таковой не считает. Напрасно Репин её уговаривал, обещал, что напишет её очень ранней осенью, — она решительно отказалась позировать. Нашел ли Репин кого-нибудь для этой картины, я не знаю.

«Зиму» Репин писал с бабушки семьи Орешиных, также жившей в непосредственной близости от «Пенат». Он писал, насколько помнится, с натуры: в комнате дачи Орешиных. Красивая старушка, с белыми, как снег, волосами и со свежим, моложавым лицом, она очень отвечала замыслу Репина. Он говорил, что хочет её нарисовать «во всей её старческой красоте». Он её рисовал сидящей в кресле, у окна, за которым виднелся яркий, морозный пейзаж.

Репин говорил, что любит рисовать на картинах окна, так как «окна — это рама для другой, особенной картины».

Так начал он рисовать О. Н. Трифонову, прекрасную певицу, жившую в Келломяках. В тёмной, суровой келье молодая монахиня стоит около открытого настежь готического окна, за которым видится внешний мир, полный света и ярких красок.

Лицо О. Н. Трифоновой как нельзя лучше подходило к этой картине, которую Репин хотел назвать «Молодая монахиня». Кра-

сивое, строгое, с несколько крупными чертами, лицо О. Трифоновой как-то странно не согласовалось с её глазами, в которых виднелась глубоко внутри страстность. «Скорбноглазая» говорил про неё Репин. Этими глазами её лицо и привлекало Репина; его всегда привлекали столкновения противостоящих сил и чувств.

В этой картине, Репин хотел показать борьбу между искушением, которое манит и зовет, и желанием отречения от мира и жизни. Законченной, эту картину я не видал.

Что стало с картинами Репина того времени, я не знаю. Всеми его делами занимался какой-то адвокат, или присяжный поверенный, проживавший в Териоках. Он часто ездил за границу, где продавал рисунки и картины Репина, в музеи и, главным образом, в частные коллекции.

Репин умер у себя в «Пенатах» в 1930 году, в возрасте 80 лет. В своем завещании он выразил желание быть похороненным в парке своих любимых «Пенат». Он хотел, чтобы его похоронили сидящим на стуле, с палитрой в руках и с мольбертом, стоящим рядом. Финские власти разрешили хоронить в саду, но не дозволили хоронить без гроба, да еще сидя. Его похоронили в гробу, на который была положена палитра, мольберт был, кажется, тоже опущен в могилу.

На похоронах Репина, странности его сына Юрия выявили себя самым разительным образом. Когда все уже собрались у гроба и священник хотел начинать обряд отпевания, Юрия не было в доме. Вера Ильинична просила священника подождать, говоря, что брат пошел рано утром на охоту и должен сейчас вернуться. Действительно, Юрий наконец появился, держа в руках двух убитых им утром зайцев, которых он связал ушами и задними лапами, сделав из них нечто вроде венка. Подойдя к гробу, он хотел положить их вместе с венками. Священник строго приказал убрать их. Ю. И. сказал, что положит их на могилу, но священник громко заявил, что «на освященную могилу падаль я не позволю класть» \*).

Дочь и сын Репина были этим очень огорчены и даже обижены, говоря потом друзьям и знакомым, кто из-за своей темно-религиозной нетерпимости, священник не понял всю глубину чувства, вложенного в этот последний дар сына — отцу.

*А. В. Шваненберг*

---

\*) Сын Репина, Юрий, покончил с собой после 2-й мировой войны в Финляндии.

## НАДПИСИ А. М. РЕМИЗОВА НА КНИГАХ

## Из моего собрания

В России, до революции 1917 года, я Ремизова не встречал. Была возможность встречи в моей юности, во время Первой мировой войны, когда в 1915 г. (я был тогда в седьмом классе) меня и моего второго брата на время «выселили» из семьи из-за какой-то заразной болезни младших братьев. Брат мой Алексей поселился тогда у дяди нашей матери, В. М. Латкина, а я у Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс, подруги моей матери по гимназии Оболенской. Ее и ее семью я хорошо знал и помнил с детства, со времен «Освобождения», по Штуттгарту и по Парижу; а «предконституционное» лето 1905 года ее и наша семья проводили вместе в Бретани. Вильямсы жили на Песках, недалеко от Ремизовых, хорошо были с ними знакомы, и встреча могла легко произойти в их доме. Но вышло так, что за время моего пребывания у Вильямсов Ремизовы ни разу там не побывали. И знакомство не состоялось.

Я, конечно, знал о Ремизове как писателе, читал его — он печатался в «Русской Мысли» моего отца, и последний был с ним знаком. Мое же личное знакомство произошло уже много позже — в конце 1922 или начале 1923 года, когда я стал заведовать в Берлине печатанием журнала моего отца «Русская Мысль», редактирование которого он к тому времени перенес из Софии в Прагу, но который печатался в Германии, где, в условиях тогдашней инфляции, было раздолье для издательской деятельности. В мои обязанности входили сношения и с типографией и с авторами, из которых очень многие тогда жили в Берлине — он был центром русской культурной жизни. Ремизов тогда печатал в «Русской Мысли» свой новый роман «Плечужная канава» (известный также потом под названием «Ров львиный»). Я стал бывать у него, познакомился с его женой Серафимой Павловной Довгелло; он был одним из свидетелей на крестинах моей старшей дочери от первого брака, Марины, которая даже получила (не помню: тогда или несколько позже) грамоту от Обезвельволпала



(Обезьяной Великой Вольной палаты)<sup>1)</sup>. Встречи наши продолжались потом в Париже, куда я перебрался весной 1924 г. и куда Ремизовы уехали еще раньше: русский Берлин к тому времени начинал пустеть, баснословная инфляция кончилась, жить становилось труднее, «Русская Мысль» вынуждена была закрыться, и ремизовский роман так и не был тогда закончен печатанием.

В моем архиве сохранилось некоторое количество писем Ремизова, часто с его рисунками или разными «заковыками». К сожалению, из самых ранних писем не все уцелели. Сохранившиеся письма я собираюсь как-нибудь опубликовать и тогда скажу больше о наших отношениях. Пока же я публикую здесь надписи на книгах, которые дарил мне Ремизов, что он начал делать довольно поздно, но в последние годы своей жизни делал регулярно. Начиная с 1951 года дарственные надписи всегда включали мою вторую жену, Марию Семеновну, с которой вместе мы впервые побывали у А. М. именно в том году. В 1956 г. летом, за год с лишним до смерти А. М., мы были у него на улице Буало в последний раз. С нами тогда была наша трехлетняя дочь Кира, и Ремизов включил и ее в свою надпись на подаренной им ранней книге «Посолонь». Зимой того же года родился наш сын Дмитрий, после того и его имя было прибавлено в дарственные надписи. Но познакомиться с ним Ремизову уже не довелось.

Книгу Ремизова «В розовом блеске», изданную в 1952 г. в Нью-Йорке издательством имени Чехова, я получил от издательства по его поручению, но без его надписи.

Кроме надписей на книгах, подаренных А. М. мне, я привожу надписи на нескольких публикациях, подаренных им другим людям и оказавшихся в моем обладании. Речь идет о князе Д. П. Святополк-Мирском, о русско-американском профессоре Александре Давидовиче Кауне, одном из пионеров преподавания новейшей русской литературы в американских университетах и одном из моих предшественников по Калифорнийскому университету в Беркли (Каун в 1925

<sup>1)</sup> Сам я никогда такой грамоты не получал. Но в письме от 25 октября 1949 г. — очевидно, в ответ на какой-то мой вопрос по этому поводу — Ремизов писал мне: «По дочери отец — вы, как ее крестили, автоматически вошли в Обез[ьянюю] Вел[икую] Вол[ьную] Пал[ату]. Теперь вы "старейший", а в Берлине — кавалер обез[ьянего] знака I ст[епени] с фисташками». Уж не знаю: придумал ли это Ремизов тогда ad hoc, или я был и в самом деле когда-то записан «кавалером с фисташками».

г. приезжал в Париж знакомиться с русскими зарубежными писателями, побывал в редакциях «Последних Новостей» и «Возрождения» и, если я не ошибаюсь, я ввел его тогда к Ремизову); и, наконец, Марине Цветаевой и ее семье. Книги с надписями Святополк-Мирскому я получил от одного моего аспиранта в Лондонском университете, которого я перенял от Святополк-Мирского, подарившего ему эти книги, когда он уезжал в Советский Союз в 1932 г. Оттиски с надписями А. Д. Кауну я приобрел на распродаже библиотеки последнего после его смерти. Экземпляр «Взвихренной Руси», поднесенный Ремизовым Цветаевой, ее мужу и детям, я купил в свое время у своего брата-книжника.

Надписи Ремизова на книгах даются с точным соблюдением его непоследовательной орфографии. Он в то время более или менее перестал держаться старого правописания. Но в двух случаях он его строго соблюдал; в написании через «ѣ» моего имени и своего собственного. А в одном случае он даже свою фамилию написал через «ѣ»: Ремѣзов.

Примечания к публикуемым надписям на книгах сведены мною до минимума. При публикации в будущем писем Ремизова ко мне я скажу об этих надписях больше: некоторые письма бросают на них дополнительный свет.

1 — На книге: Alexeï R é m i z o v. La Maison Bourkov. (Sœurs en croix). Traduit du russe par Robert et Zenitta Vivier. Lettre-préface de Romain Rolland. Editions du Pavois. Paris [1946].

A Monsieur / Glieb Strouvé / Alexeï Remizoff

Неожиданная книга сейчас для меня / а выйдет ли то, что меня сейчас / трогает / приходится думать по-русски / о французском, по-русски — / безнадежно.

12 III 1946

[Над датой стоит <Ж>. Что означал этот знак или символ, употреблявшийся Ремизовым и в письмах и повторяющийся во всех надписях на книгах, я не знаю].

2 — На книге: Alexeï R é m i z o v. Sentiers vers l'invisible. Nouvelles. Traduction et préface de Jean Chuzeville. Les Editions du Chêne. Paris [1945].

Глѣбу Петровичу Струве / на Красную Горку / надписываю жмурясь /. Старые рассказы, новое — только / въ концѣ / от здѣшняго океана.

Алексѣй Ремѣзовъ, 28 IV 1946

3 — На книге: L'Aventure / de / Rongetout-Trapue / et / Trotinette-Moustachue / racontée par ALEXIS REMIZOV / illustré par / Jean Gagnard /. Les Editions du Scorpion, Paris [n.d.].

Глѣбу Петровичу Струве / эти мышки изъ / Посолони / теперь имъ въ самый разъ / гулять въ / чистомъ полѣ.

Алексѣй Ремизовъ, 28 IV 1946

4 — На книге: Алексей Р е м и з о в . Пляшущий демон. Танец и слово. Париж. Дом Книги [1949]

5 — На книге: Алексей Р е м и з о в . Повесть о двух звзрях. Ихнелат / Оплешник / Париж / 1950:

Экземпляр № [цифра не совсем ясная: 3?9?] Глѣба Петровича / Струве / вспомнать в райской безмятежной стороне о нас из сурового Бестиария.

Алексѣй Ремизовъ. 25 мая 1950 / В Семик

6 — На книге: Алексей Р е м и з о в . Бесноватые. Савва Грудцын и Соломония. Оплешник / Париж 1951.

Глѣбу Петровичу / Струве / русского Фауста с долей бесноватого / и бродячую по свету бесноватую / с «невещественным поручением».

Алексѣй Ремизовъ, 10 IV 1951

7 — На книге: Алексей Р е м и з о в . Подстриженными глазами. Книга узлов и закрут памяти. УМСА-Press, Париж [1951].

Марье Семеновне и / Глѣбу Петровичу / Струве / моя жизнь от колыбели до тюрьмы / 1877-1897.

Алексѣй Ремизовъ, 29 VII 1951, Paris

Я вам очень благодарен / помню и «Плачужную канаву» / ,  
буду помнить и «Магнит»<sup>2)</sup>.

8 — На книге: Алексей Р е м и з о в . Мелюзина / Брунцвик.  
Оплешник / Париж 1952.

Марье Семеновне / и Глѣбу Петровичу / Струве / память о  
веселом путешествии к печальному источнику / Мелюзины / и  
как вы потом 56 дней / ехали на корабле, пробираясь / в золотую  
Калифорнию<sup>3)</sup>.

Алекѣй Ремизовъ, 11 VII 1952

9 — На книге: Алексей Р е м и з о в . Мышкина дудочка.  
Оплешник / Париж 1953

Марье Семеновне / Глѣбу Петровичу / Струве / интерме-  
дия к Розовому блеску / для передышки / тут я горáздил без  
оглядки / и делаю словесные опыты-копыты.

Алекѣй Ремизовъ, 16 X 1953, Paris

10 — На книге: Алексей Р е м и з о в . Огонь вещей. Сны и  
предсонье. Гоголь / Пушкин / Лермонтов / Тургенев / Достоевский.  
Оплешник. Париж 1954.

Марье Семеновне и Глѣбу Петровичу / Струве / литератур-  
ный Сонник / Новый Мартын Задека.

Алекѣй Ремизовъ, 24 VII 1954, Paris

11 — На книге: Алексей Р е м и з о в . Мартын Задека / Сон-  
ник / Оплешник. Париж 1954.

Марье Семеновне / Глѣбу Петровичу / Струве / встретить  
весну / по Задеке.

Алекѣй Ремизовъ, Благовещенье, 25 III 1955, Paris

<sup>2)</sup> «Плачужная канава» — роман Ремизова, который печатался в «Русской Мысли» в 1923 г., когда я заведовал в Берлине сношениями с типографией и с авторами. «Магнит» — рассказ А. М., который он прислал мне с просьбой предложить его редактору «Нового Журнала» М. М. Карповичу, где он и был напечатан в кн. XXV. Одновременно Ремизов прислал еще четыре рассказа, которые были напечатаны в кн. XXVII («Камертон», «Англичанин», «Лягушник», «Злые слезы»).

<sup>3)</sup> Мы виделись тогда с Ремизовым после поездки в 1951 г. в Италию и перед возвращением в Калифорнию на пароходе из Антверпена через Панамский канал.

12 — На книге: Алексѣй Р е м и з о в ъ. Посолонь / Волшебная Россія. Издательство Таиръ / Парижъ МСМXXX.

Марье Семеновне / Глѣбу Петровичу / Кире Струве / речистой умнице / живой ненадоедной трехлетке / мое книжное из «детского чувств» воображения.

Слепец / Алексѣй Ремизовъ, 6 VI 1956, Paris

13 — На книге: Алексей Р е м и з о в. Тристан и Исольда / Бова Королевич. Оплешник / Париж 1957.

Марье Семеновне, Кире, Дмитрию / и самому Глѣбу Петровичу / Струве мое прощальное.

Издыхающий слепец / Алексѣй Ремизовъ, 24 VI 1957

14 — На книге: Алексей Р е м и з о в. Круг счастья Легенды о царе Соломоне / 1877-1957 Оплешник / 1957.

Алексѣй Ремизовъ, 24 VI - 7 VII 1957

И другой рукой [А. М. Горской?]: Спасибо. Стр. 74. А на стр. 74 [тоже рукой А. М. Горской?]: Экземпляр Марьи Семеновны, Киры, / Дмитрия и Глѣба Петровича / Струве.

А вот надписи на книгах и оттисках, подаренных А. М. Ремизовым кн. Д. П. Святополк-Мирскому, проф. А. Д. Кауну и семье Марины Цветаевой:

1 — На книге: Алексѣй Р е м и з о в ъ. Пѣтушокъ. Книга для всѣхъ. № 73. Издательство «Мысль» (Берлинъ) 1922.

Кн. Дмитрию Петровичу / Святополк-Мирскому / Память 1905 г.

Алексѣй Ремизовъ, 21 X 22

2 — На оттиске «Россия в письменах. Парижский клад»:

Князю Дмитрию Петровичу Святополку-Мирскому / и кавалеру / обезвельволпала / послу английскому / на новый / 1924 / год. Париж. 1. I. 24

А. Р.

3 — На книге: Alexej R e m i s o w . Stella Maria Maris. Russische Legenden. Ubertragung von Gertrud Hahn und Wilhelm Ruhtenberg. 1929. Orient-Occident Verlag Stuttgart — den Haag — London.

Димитрию Петровичу Святополку-Мирскому / русские легенды.

Алексѣй Ремизовъ, 25. 11. 29, PARIS

на такой бумагѣ / по другому пишется.

4 — На оттиске журнальной публикации из книги «Взвихренная Русь (1919-1920). На даровых хлѣбах»:

Александрю Давидовичу Кауну.

Алексѣй Ремизовъ. 12. 12. 25

На предпоследней странице изготовленной Ремизовым обложки — его рукой:

На даровых хлѣбахъ (1919-1920)

«Горы мусору у нас —  
Надо вывезти сейчас  
Мусор в печке не копи,  
А сжигай его в печи!»

(курсив AP)

5 — На склеенных в виде тетрадки вырезках из газетной публикации «Из книги “Взвихренная Русь” (1919-1920). Окниша»:

Александрю Давидовичу / Кауну.

Алексѣй Ремизовъ. 12. 12. 25, Paris

На самодельной обложке — имя Ремизова латиницей и кириллицей и его тогдашний парижский адрес: 120, Av. Mozart, 5, Villa Flore, Paris XVI°. А в тексте — небольшие рукописные вставки и изменения.

6 — На книге: Алексѣй Р е м и з о в ъ . Взвихренная Русь. Изд. ТАИР. Париж 1927:

Марине Ивановне / Цветаевой /, Сергею Яковлевичу Эфро-  
ну / Алъ и Георгию / на елку.

Алексѣй Ремизовъ, 25. 12. 26, Paris

Monsieur S. Efron

31, Bd. Verd  
Bellevue (S. et O.)

---

Есть у меня также надпись Ремизова на книге Н. В. Кодрян-  
ской «Сказки», с его предисловием и с иллюстрациями Натальи  
Гончаровой. Эту книгу, которую он очень ценил, А. М. прислал мне  
в подарок. Надпись гласит

Глѣбу Петровичу Струве / волшебные сказки Кодрянской /  
на калифорнийскую елку / серебряным дождем / со звездой до  
корней / — сказок 58, хватит на все ветки —

Алексѣй Ремизовъ. 8. XII. 1950, Paris

*Глеб Струве*

## ЖУРНАЛ ШАРШУНА

## О «ПЕРЕВОЗЕ ДАДА» И «ЛЕТУЧИХ ЛИСТОВКАХ» ШАРШУНА

Во время моего короткого пребывания в Берлине, летом 1923-го года, мне случилось прийти на лекцию Андрея Белого. Вестибюль перед входом в зал, где должна была состояться лекция, был пуст, у кассы никого не было. Я заглянул в зал, но и в зале не было никого, хотя до начала лекции оставалось минут десять. Очевидно произошло какое-то недоразумение. Кто-то вошел в вестибюль и я обратился к вошедшему с вопросом, но и он не понимал в чем дело. Только на следующий день выяснилось, что лекция была отменена и извещение об этом, которого мы не заметили, было помещено в газете. Мы вышли на улицу и остановились, чего-то ожидая. Мой новый знакомый, ничего не говоря, вынул из бокового кармана и протянул мне, сложенный вдвое, небольшой листок бумаги.

— «Что это?»

— «Это моя листовка, мой журнал» — ответил Шаршун.

При свете уличного фонаря, или у освещенной витрины магазина, я развернул листок и прочел одну фразу. Фраза заключала очень резкий отзыв, выпад против сербского языка. Сербский язык был охарактеризован одним неприемлемым для печати словом. Я стал читать дальше, но о сербском языке было все высказано, говорилось о чем-то другом.

— «Вы жили в Сербии, вы знаете сербский язык?»

— «Вовсе нет».

Станный человек, — подумал я.

В тот момент я не мог предугадать, что в скором времени встречу Шаршуну в Париже, на Монпарнасе, в Ротонде, конечно. Не мог предугадать, что у нас надолго установятся добрые отношения, не



смраченные никогда ни неприятным разговором, ни неосторожно произнесенным словом, что в течение почти пятидесяти лет я буду получать от Шаршуна такого рода листки, читать их и, по его просьбе, распространять их среди моих знакомых; наконец, что никогда больше я не найду в его листках ни одного вульгарного слова.

Но кое о чем я догадался тогда же.

В 20-х годах, в Петербурге, у моего земляка и приятеля Николая Бурлюка, младшего брата художников Давида и Владимира, я видел целый ряд книжонок малого формата, в несколько страниц, иногда с рисунками. Это были скромные издания поэтов и художников, которых объединяли тогда под общим названием «футуристы». Припоминается мне брошюрка с рисунками Ларионова, периода лучизма, — малого формата книжонка, — заумные стихи Крученых и многое другое.

Шаршун, который в эти годы начинал свои занятия живописью в Москве, в частной школе живописи, видел, конечно, эти издания. Выпускать собственными скромными средствами, независимо от издателей, свои сочинения, свободно высказывать свои мысли, и самому, независимо от книжных лавок, их распространять среди, хотя бы небольшого, круга читателей, — эта идея, видимо, пришлась ему по душе. Удивительно не то, что, уже находясь за границей, Шаршун выпустил несколько «листочков» — так он сам называл эти издания. Удивительно, что он находил в себе охоту выпускать их в течение пятидесяти лет. Нерегулярно, иногда с большими перерывами, но никогда не покидая этого издания окончательно.

Нельзя вообразить более скромного, с внешней стороны, издания какого-либо литературного произведения. Еще более скромного, чем издания футуристов. Листовка представляла собой сложенный вдвое листок. Бумага плохого качества — такого рода листки, рекламы какого-либо товара, часто раздаются на улице прохожим.

Каждая листовка имела свое заглавие; например: «Клапан», или «Перевоз». Есть и названия вовсе причудливые. Связи между названием и содержанием нет. Иногда разве можно кое-что уловить.

Охарактеризовать содержание листовок несколькими словами

невозможно — общей линии нет. Каждый писатель имеет записную книжку, куда вносит замечания по разным поводам, набежавшие мысли, отдельные фразы, в расчете, что это может пригодиться и послужить для его литературной работы. Листовки Шаршуна более всего похожи на такую записную книжку — которую он без большого отбора преподносит читателю — пусть читатель сам во всем разбирается. Если что остается неясным — тем лучше. Читатель прежде всего должен быть удивлен новизной формы и содержания. Дальнее родство листовок с футуристическими брошюрками никогда не прерывается.

Отдельные, не связанные между собой, замечания, мысли, облеченные в форму изречений, прерываются иногда несколькими строками, где Шаршун рассказывает, например, как Стравинский, при знакомстве с Шаршуном, подал ему руку, ничего не сказав. «Голоса Стравинского я не слышал», — замечает Шаршун.

Можно без ошибки предположить, что и Шаршун не нашел нескольких слов, которые он мог бы сказать Стравинскому. И тот тоже мог бы записать: «Голоса Шаршуна я не слышал». Мало понятно, в чем заключается интерес этого воспоминания.

В другой листовке такое же замечание об Исидоре Дункан. Где-то, когда-то, она, будто, не проявила большого внимания к Шаршуну. Не помню, в чем было дело, но помню, что речь идет о каких-то совершенных пустяках. Во всяком случае, Исидора Дункан вовсе не помышляла как-то Шаршуна обидеть.

Ошибочно уязвленное самолюбие, которое много лет спустя все еще ищет выхода. Надо приоткрыть «Клапан». Изредка среди таких разрозненных заметок, вдруг вырывается меткое замечание или мысль, простая, но выраженная удачно найденными, удачно подобранными словами.

И вот мы входим в область литературы. Странная особенность этих листовок, среди прочих странностей — Шаршун ни разу, насколько я помню, не упомянул о своих занятиях живописью, вообще, кажется, никогда не коснулся вопросов, связанных с живописью. Читатель не догадается, что эти записки написаны художником.

Эти листовки стоили Шаршуну больших усилий и забот. В самые трудные времена, отказывая себе в самом необходимом, он ухитрялся откладывать кое-что на печатание своих листовок. Если кому это мое замечание покажется преувеличением, сделанным для украшения, я замечу, что он ошибается. Так было в действительности.

Когда листовки были напечатаны, предстояла другая забота — найти читателя. Шаршун сам разносил свои листовки по домам своих знакомых, прибавляя несколько экземпляров для дальнейшего распространения, раздавал их на литературных собраниях, часть отправлял по почте. Он пробовал давать свои листовки в книжные магазины, даже за границей. Листовки не продавались вовсе. Легко представить себе среднего читателя-покупателя, который в книжном магазине просматривает одну из листовок из пачки, лежащей на прилавке. Это не книга, не брошюра, не газета, цена грошовая, чтения всего на пять, десять минут. Покупатель прочитывает одну, две фразы и с недоумением кладет листовку обратно на прилавок. Отношение читателей к листовкам было сдержанное, слегка снисходительное, как к забавному курьезу. Шаршун это знал.

Однажды Шаршун с горечью сообщил мне: «Ремизов (известный писатель) сказал, что лучше мне вовсе прекратить мои литературные занятия». В другой раз, он сообщил мне: «Адамович (известный литературный критик) сказал мне — может быть через сто лет найдется издатель, который издаст ваши сочинения, и может быть этот издатель найдет пятьдесят читателей».

По мере того как Шаршун получал признание как художник, и его материальные дела все улучшались, расширялась и его литературная деятельность. Он выпустил несколько небольших, но опрятно изданных книжек своих небольших рассказов. Переиздал свою раннюю повесть: «Долголиков», которая, по общему мнению, является лучшим из всего им написанного. Адамович, который уже к первому изданию дал о ней одобренный отзыв, написал теперь ко второму изданию небольшую статью, в которой отметил исключительное своеобразие этой повести. Эта статья была единственной наградой Шаршуну за весь его литературный труд. Тем дороже была ему эта статья.

«Это оправдание всего моего труда» — сказал он мне. Он напечатал эту статью на листках и, при случае, показывал или раздавал своим знакомым. Это была, хотя и подписанная Адамовичем, последняя листовка Шаршуна.

Время шло. Однажды, Шаршун, как обычно, принес мне пачку своих листовок для распространения. На этот раз мне пришлось объяснить ему, что я не смогу раздать всех его листовок. Пять, шесть, не больше. За пятьдесят лет многое изменилось. Старый Монпарнас перестал существовать. Люди старшего поколения уходят. Круг моих знакомых все суживается и суживается. Не могу же я раздавать эти листовки (на русском языке) кому придется. Я знал, что огорчаю Шаршуна, тем более что он и сам, конечно, пришел к таким же заключениям. Многолетнее издание должно прекращать свое существование, не находя больше читателя.

Что случилось с листовками Шаршуна? Едва ли кто собирал и хранил эти скромные листки. Возможно, что только в бумагах самого Шаршуна сохранилось полное их собрание.

О живописи Шаршуна будут писать, напишут кое-что и о его литературных, изданных книжками, работах. Но листовкам грозит полное исчезновение и забвение.

Было бы досадным пробелом, если бы в сборнике, посвященном памяти Шаршуна, листовки, его любимый, долголетний труд, не был бы вовсе отмечен.

Нельзя не остановиться с удивлением перед тем упорством, той настойчивостью, которые Шаршун проявил в деле издания своих листовок. Несмотря ни на какие трудности, не встречая ни малейшего одобрения, вопреки, казалось бы, всему тому, что мы называем здравым смыслом.

Движимый единственно своим внутренним побуждением.

М. Андреевко

---

С 1922 по 1973 г.г. С. Шаршун периодически, с большими интервалами, издавал одностраничный журнал-листочку под разными названиями, сначала в Берлине, затем в Париже: «Перевоз Дада» Берлин, 1922-23 г.г. (№№ 1-2 были отпечатаны, № 3 — рукописный). В Париже с апреля 1924 г. по 21 августа 1949 г. №№ 4-7 (отпечатаны), № 8 — рукописный, №№ 9-10 отпечатаны, № 11-12 опубликован в девятом номере «Чисел». (Париж 1933-34 г.г.) «Памятник» Париж, с 4. 11. 1949 по 5. 7. 1958 № 1-3, «Клапан» — декабрь 1958 г. по 19. 1. 1969 г. № 1-20. «Вьюша» 2. 11. 1969 по 17. 1. 1971 № 1-4. «Свечечка» — Париж 3. 10. 1972 по 17. 5. 1973 г. № 1-2.

Составил Ренэ Герра.

ТОЛСТОЙГРАД  
(Département)  
0.50 с.

Тетрадь музыкальных отклонений во  
все стороны

вышел РЕЙС 4 СЙЕР сеять

№ 3 рукописный, ПЕРЕВОЗА-СВЕТ  
ГРОМОВЫЙ, попытка организации ме-  
ждупланетной газеты) посланный ракет-  
ной летучкой на Марс, редакция склон-  
на считать пропавшим без вести

ROUSSEAUVILLE  
(Губерния)  
0.50 с.

ПЕРЕВОЗ  
TRANSBORDEUR

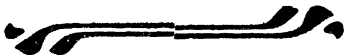
(пароход сделан из скифолатинского металла четкости)

# НАКИНУВ ПЛАЩ

(его радиевые пуговицы лисой зарылись в китайское брюхо)

НАРВАВШИЙ ИНТИМЧИК

флюгер — рулевой и гитарист  
СЕРГЕЙ ШАРШУН SERGE CHARCHOUNE



Перевоз зафрахтован земношарненьким прави-  
тельством в распоряжение VENUS INTERNA-  
TIONAL.

ЗЕМЕЛЬКА РАСГЛАЖИВАЕТ

МОРШИНКИ ГРАНИЦ

TSF перевоза du TRENBORDEUR a informee MACAC D'OR-  
LEANS que Jeanne D'Arc est a Paris depuis XII 23, ces Bu-  
reaux sont installes a la ROTONDE, ou ELLE y reçoit jusqu'a  
2 h. du matin.

Signe FALSTAFF

TRES BONNE RECOMPENSE: amener mort ou vivant ou  
donner des renseignements — sur le chien BOGAERT — si-  
gnalements: peau bleue, noble, franc, prompt, gai; comprend  
les mots — Cavaliere ou Elsa.

L'Adresse d'audessus

Бюллетень здоровья ПЕРЕВОЗА — 41о, 69о, 291о, 391о, 606о  
909о, 3013010о

ИЗД. ГОМЕОПАТ ДЗИ  
РУССОВИЛЛЬ  
Апрель 1924 avril  
PARIS

**ЖУРНАЛ «РУССКИЙ СОВРЕМЕННОК»**

«Русский Современник». Литературно-художественный журнал, издаваемый при ближайшем участии М. Горького, Евг. Замятина, А. Н. Тихонова, К. Чуковского, Абр. Эфроса. Ленинград-Москва, 1924.

Списываю это с титульного листа, оставшегося неизменным во всех четырех номерах журнала. Он должен был выходить шесть раз в год; но вышли всего четыре его книги — две до моего отъезда из России (там есть и мое кое-что), две мне были присланы за границу. Полвека я эти четыре номера храню. В них есть много интересного и ценного. Но и независимо от этого стоило бы их хранить: «Русский Современник» — последний не-казенный, последний свободный (пусть и не полностью) журнал, открыто издававшийся в пределах нашего отечества.

Не во всем свободный. Политических взглядов, несогласных с партийно-правительственными, как и взглядов (в области религии, например), которые подрывали бы основу партийной идеологии, никто в журнале этом не высказывал: это было заранее исключено (недаром ведь он и «литературно-художественным» именовался). Но в остальном сотрудники его стесненными себя не чувствовали; высказывали не чужие, а собственные взгляды; писали (из границ искусства и литературы не выходя) о чем хотели; и подхалимством не занимались, которого никто и не требовал от них. О, если бы и далее, в течение пятидесяти лет, выходили в Москве и Ленинграде такие журналы! Но куда там! Даже в самые привольные годы «Нового Мира» был он узником, прикованным к стене и бряцающим цепями, чего о «Русском Современнике» вовсе сказать нельзя и чего сотрудники его совсем не ощущали.

Пушкин, в отнюдь не бесцензурные времена (1836), писал: «Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать — пишите именно о таких-то предметах, а не о других». При Николае I-ом закон сказать этого действительно не мог — или не знал, что может, но с наивностью, с

примитивностью этой в октябре семнадцатого года было покончено. Еще семь лет, однако, прошло до того, как суждение Пушкина удалось окончательно превратить в свидетельство о безнадежной его, Пушкина, старомодности и отсталости. Нынче всем передовым и имеваемым державам, с огромным СССР и огромным Китаем во главе, совершенно ясно, что от писателей как раз и надлежит «требовать стремления к одной цели», что вполне законно предписывать им «пишите именно о таких-то предметах, а не о других» — да еще и пишите так-то, а не иначе — но вернемся к «Русскому Современнику».

Горький был за границей. А. Н. Тихонов, «ответственный редактор», (человек обходительный, но писатель, как и тогда все знали, никакой) его заменял (или представлял), но фактически редакторами журнала были Замятин и Чуковский в Ленинграде, Абрам Эфрос — в Москве. В первой книге были напечатаны четыре стихотворения Сологуба, два Ахматовой, «Рассказ о самом главном» Замятина, «Из воспоминаний» Горького (пять глав, последняя — о Блоке), «Записи А. П. Ковякина» Леонова, рассказы Бабеля и Пильняка, статьи Шкловского, Эйхенбаума, Тынянова, Чуковского, Эфроса, и — первым в этом отделе (восторженный, конечно) некролог Горького «Владимир Ленин». Во второй книге — четыре стихотворения Пастернака и его рассказ «Воздушные пути»; стихотворение Мандельштама «1 января 1924 года», замечательная статья Ходасевича (за границей находившегося) о Пушкине «Амур и Гименей», статьи Шкловского, Замятина, Александра Бенуа, очень любопытные «Воспоминания о Распутине», подписанные буквами В. Ж. и окончание часто изданных раньше нынче забытых, но отнюдь забвения этого не заслуживших записей Софии Федорченко «Народ на войне». Я конечно всего оглавления этих номеров не привожу. О последних двух книгах скажу еще короче. В третьей появились два стихотворения Марины Цветаевой и два Есенина, «Воспоминания о Блоке» Замятина, много неизданных текстов Блока, в стихах и прозе. В четвертой и последней — три стихотворения Ходасевича — два берлинских и одно парижское (так и помеченные Берлином и Парижем), пять стихотворений Хлебникова, и рассказ его «Есир». Первая, вторая и четвертая книга заканчивались отделом «Паноптикум» с эпиграфом из Блока «Открыт паноптикум печальный», где печаталась «Тетрадь примечаний и мыслей Онуфрия Зуева», вымышленного, разумеется, лица. Саркастические эти «примечания» составлял, с помощью Чу-

ковского, Замятин. Привожу последнее, из последнего номера, озаглавленное «Последняя новость»:

«И опять Капитошка! Такое подсунул, что ум за разум заходит. И откуда, черт рыжий, выкапывает? Принес нынче «Литературную Неделю» № 3 (28) 1923 года, издание петроградской «Правды». На последней странице, в рамочке, под заглавием «Календарь Рабочего». И напечатано:

«19 февраля поистине несчастный день для буржуазии. В этот день в 1473 году родился великий ученый положительной науки Коперник, который *опрокинул туманную надстройку лженаучных буржуазных теорий о вращении Земли.*»

«Прочитал я, и Капитошка говорит: «Понял». А я боюсь понять — «что, говорю, понял?» «А то, говорит, что стало быть насчет вращения Земли, это есть гидра, и нынче вращение это отменяется». «Батюшки, неужели не врет?»

Тут-то «Русский Современник» и кончился. Не из-за Онуфрия Зуева, конечно,.. А немножко все-таки и из-за него. Ведь «Смеяться право не грешно / Над тем, что кажется смешно» сказано было в России крепостной, а не нынешней социалистической...

На Моховой помещалась редакция и контора журнала, на третьем этаже дома, соседнего, если не ошибаюсь, с особняком «Всемирной Литературы». Лестницу эту хорошо помню. Поднимался по ней, чтобы Чуковского или Замятина повидать. Поместили они в первом номере, инициалами моими подписанный отзыв о «Достоевском» Андре Жида и две незначительные полуанонимные точно также мои рецензии. Зато во второй появились, за полной, конечно, подписью, два моих стихотворения и, без всякой подписи, заметки об «Эстетических фрагментах» Шлета и о сборнике «Задачи и метода изучения искусства». Принес я Чуковскому, собственно, три стихотворения — «Три неприятных стихотворения», как я их назвал, подражая одному заглавию Бернарда Шоу. Третье было, по-моему, лучшее, но Корней Иванович его забраковал и заглавия тоже не одобрил. Но — не беда, я не огорчился; доволен был и тем, что два стихотворения были приняты, и что вообще включить меня согласились в число постоянных сотрудников журнала. Признателен я за



это обоим Ивановичам по сей день, и о той лестнице вспоминаю с умилением.

С умилением и с усмешкой. В то лето — отъезда моего — завелись в Петербурге какие-то замысловато именовавшие себя юнцы, голыми разгуливавшие по улицам. Стал я раз подыматься по лестнице «Русского Современника» и сразу не увидел, что из редакции вышел и спускается мне навстречу совершенно раздетый молодой человек — цветущего вида и безупречного сложения. Я решил разыграть его. Чем же? Отсутствием удивления. Когда он поравнялся со мной, я на него взглянул совершенно так же, как бы он не был голым. Подымаясь выше, я заметил, что он два раза обернулся мне вослед.

*Владимир Вейдле*

## ФРАНКО-РУССКИЕ ВСТРЕЧИ

Парижские русские писатели первой эмиграции сравнительно мало входили в соприкосновение со своими французскими собратьями по перу, да и в большинстве случаев не очень интересовались тогдашней французской литературой, а с другой стороны и французы особенно широкого и особенно горячего интереса к ним не проявляли. Но исключений из этого общего правила было все-таки немало. Ремизов плохо говорил по-французски, но читал французских авторов, интересовался движением французской литературы и был признан большим писателем в самом лучшем французском литературном кругу. У Бердяева и Шестова, в те годы, было пожалуй больше верных читателей и поклонников среди французов, чем среди русских. Знаменитый критик Шарль Дю Бос, человек очень европейский, учившийся в Англии и Германии, страстный поклонник Чехова, по-русски не знал, но сквозь русскую литературу любил русских и Россию. Он мне очень благоволил, приветствовал мои французские писания; благоволил также Адамовичу и нашему общему другу Юрию Фельзену (молодому романисту, погибшему впоследствии в гитлеровском лагере). Мы часто бывали на его литературных приемах, до того, как он тяжело заболел, а потом получил кафедру в Соединенных Штатах. Он был одним из тех, кто приоткрыл мне дверь во французскую литературу, а распахнули ее передо мной два его друга: Габриэль Марсель, недавно скончавшийся мыслитель и драматург, и Жак Маритэн, выдающийся католический философ (жена которого, Раисса, была крещеной в католичество еврейкой).

Когда я заканчивал перевод своей книги «Умирание искусства», Габриэль Марсель предложил мне изложить главные ее мысли у себя на дому перед небольшой аудиторией его знакомых и друзей, — лиц весьма квалифицированных и компетентных. Среди них был Маритэн. Он предложил включить мою книгу в руководимую им серию «Острова». Я не мог не согласиться, хотя позже об этом и жалел. Ничего католического в моей книге не было, но в иных католических публикациях ее, не прочитав, хвалили, а в других, заведомо антиклерикальных, не удостоили даже упоминания. Но как бы то ни было, восприимчивыми моими от купели, при этом моем втором литературном крещении, был именно Маритэн, совокупно с Габриэлем Марселем,

и в присутствии (так сказать) Дю Боса. Светлой их памяти благодарность за это приношу.

Еще гораздо раньше, однако, (в 30-м году) познакомился я с французским автором куда более громкой славы, Полем Валери, — и не совсем частным образом, а благодаря затее, которая касалась отнюдь не одного меня. В Париже появились, приехав кажется с юга Франции, молодая писательница Надежда Городецкая, первый роман которой был написан и опубликован по-французски, а с нею и друг ее Всеволод Фохт, который в литературе ничем себя не зарекомендовал, но хорошо говорил по-французски и обладал организаторскими способностями. Он наладил связь с молодыми французскими литераторами, близкими к семье убитого в 14-ом году на фронте Шарля Пеги и возобновившими издание его «Двухнедельных тетрадей» (*Cahiers de la Quinzaine*), главным редактором которых стал один из его сыновей. В тетрадях этих печатались время от времени также и протоколы литературных собеседований или «встреч», как их называли, устраивавшихся редакцией. При ее содействии Всеволод Фохт и организовал, в серии этих «встреч», ряд собеседований франко-русских. Выбиралась тема — чаще всего творчество крупного писателя, француза или русского; на тему эту читалось два доклада, оба конечно по-французски, но один французским автором, а другой русским, после чего открывались прения. Собеседования происходили в довольно большом зале и при очень недурном «наплыве публики» (как выражались газеты). Говорили о Достоевском (Кирилл Зайцев и Рене Лалу), о Толстом (проф. Кульман и Станислас Фюме), о влиянии французской литературы на русскую и русской на французскую (Ю. Л. Сазонова — сотрудница «Последних Новостей», в будущем автор истории древнерусской литературы — и критик Жак Максанс). Затем перешли к знаменитым современникам-французам. О Прусте говорили Робер Окнер и философ Б. П. Вышеславцев, о Жиде ныне здравствующий Луи Мартен-Шофье и Г. В. Адамович, самый влиятельный критик первой эмиграции. После чего очередь дошла и до Поля Валери. О нем выпало на долю говорить мне, после того же Рене Лалу, уже выступавшего в собеседовании о Достоевском, довольно видного тогдашнего критика, по образованию англиста, написавшего очень неплохой обзор современной английской литературы. Но тут произошло нечто, для меня, во всяком случае, неожиданное, и чего на собеседовании об Андре Жиде не случилось: пришел нас послушать сам «виновник торжества» Поль Валери. Я был чуточку смущен: то, что я имел сказать было критикой — пусть и не стихов

Валери, а его поэтики, его концепции поэтического искусства, но зато и критикой самых основных положений этой поэтики. Да еще и впервые я выступал перед столь многочисленной аудиторией на французском языке. Конечно, я победил свое волнение, а слушая Лалу, говорившего долго и довольно вяло, я о волнении этом даже и позабыл. Речь моя была коротка (в соответственной тетради она занимает всего 8 страниц, а речь Лалу 25), но мое несогласие с поэтикой Валери я в ней без всякого сглаживанья высказал. И Валери очень милостиво к этому отнесся: сказал в своем заключительном слове, что ценит внимание, оказанное его взглядам, пусть и при несогласии с ними, а частным образом шепнул словечко присутствовавшей в зале г-же Ревелен, старому своему другу, у которой он бывал каждое воскресенье, и та меня пригласила посетить этот ее маленький «салон», где я с тех пор нередко и бывал.

Вскоре после этого вечера Валери, франко-русские встречи (на которых, кстати сказать, выступал и Бердяев) к сожалению оборвались. Средств у их устроителей не хватило, да и кандидаты на этих встречах с русской стороны были наперечет. Но публики интересовавшейся ими было, покуда они длились, достаточно. На вечере Валери присутствовали, как я вижу, заглянув в публикацию, посвященную ему, довольно многочисленные французские литераторы, а среди русских Бердяев, Федотов, Муратов, Адамович, а также Марина Цветаева, с которой я тогда не был еще знаком — даже не узнал ее среди присутствовавших — и с которой довелось мне познакомиться лишь четыре года спустя. Валери и она — какая антитеза, какие два полюса поэтического искусства! Но и вообще, как далека была наша, хотя бы и парижская, литература от литературы французской! Мне мечталось порой о их сближении. Оно не состоялось. Хотя кое-что — о чем речь впереди — в этом направлении и было сделано.

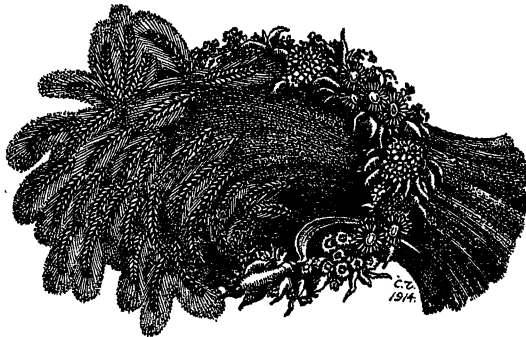
*Владимир Вейдле*

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

В 1928 году, по инициативе молодого литератора Всеволода Фохта, трехмесячный журнал «France et Monde», издаваемый «Humanités Contemporaines» начал печатать произведения русских зарубежных писателей (Цветаевой, Тэффи, Б. Зайцева, Г. Кузнецовой...) с тем, чтобы ознакомить их с французской публикой. Предполагалось даже издание антологии. Одновременно, в целях сближения, была создана «Studio Franco-Russe». На первом частном собрании 30 апре-

ля 1928 года и на втором, месяц спустя, присутствовали Марина Цветаева, Н. Тэффи, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Цетлин, Г. Газданов. Было решено устроить первое публичное собрание, которое состоялось 29 октября 1929 года и оно было посвящено «тревоге в литературе». Второе собрание 26 ноября 1929 года было посвящено влиянию французской литературы на русских писателей с 1900 года. Третий вечер был посвящен «проблеме Достоевского», а четвертый вечер (28 января 1930 года) — «духовной драме Толстого». Принимали участие в прениях со стороны французов П. Валери, А. Мальро, А. Моруа, Ж. Бернанос, Габриэль Марсель, С. Фюме, со стороны русских Н. Бердяев, Б. Вышеславцев, Г. Федотов, М. Цветаева, Б. Поплавский, Б. Зайцев, М. Слоним, В. Вейдле, Г. Адамович, Ю. Сазонова и другие...

Публикация Ренэ Герра



## НА БЕРЕГАХ СЕНЫ

### ЖУАН-ЛЭ-ПЭН. РУССКИЙ ДОМ

Мы с Георгием Ивановым приехали сюда осенью, а Бунины — в конце января 1948 г.

В тот год Бунины жили очень замкнуто, почти не общаясь — кроме как с Георгием Ивановым и со мной — ни с кем из обитателей Дома. И даже ели у себя. «Вечерние высочайшие выходы Бунина» в столовую, где все собирались после обеда, происходили крайне редко и были своего рода праздничными событиями.

Утром Вера Николаевна — бледная, ни кровинки, с немного трясущейся головой, но все еще красивая — зашла сообщить нам, что Иван Алексеевич провел скверную ночь, плохо спал и с первой почтой снова получил неприятное письмо. Сейчас он пишет и рвет ответ на него — весь пол забросан разорванными листками. Он в ужасном состоянии. Он собирается после завтрака к вам. «Постарайтесь отвлечь его от черных мыслей и развлечь» — просит она меня.

Эти послезавтрачные посещения нас Буниным Георгий Иванов называет «дигестивными визитами» и старается не присутствовать при них. По его мнению, Бунин особенно раздражителен и ворчлив во время пищеварительного процесса. Георгий Иванов предпочитает сопровождать Веру Николаевну, отправляющуюся за покупками в Антиб, и ей это очень приятно.

— А ты будь громоотводом, старайся на пользу русской литературы — говорит он мне поощрительно. — Хотя вряд ли твои старания к чему-нибудь приведут. Развлечь его дело трудное, почти неосуществимое.

Они уходят после завтрака, а я остаюсь ждать Бунина.

Стук в дверь, властный, характерный. И сразу же, не дождавшись моего «entrez», входит Бунин, в верблюжьем халате, в замшевых, присланных из Америки, сапожках на меху и голубой, полотняной, широкополой шляпе. За наше совместное здесь пребы-

вание я уже успела привыкнуть к его «домашнему» виду, даже к его головным уборам, ежедневно меняющимся, вначале поразившим меня. Я встаю ему навстречу. Он здоровается со мной, как всегда передразнивая мою картавость: — Здр-р-растуйте, здр-р-растуйте! мелкой, шаркающей походкой подходит к креслу, специально для него поставленному мной у окна, тяжело садится в него и переводит дыхание, как будто он поднялся по высокой, крутой лестнице, а не пересек узкий коридор — мы живем в том же этаже.

В ярком, беспощадном свете средиземноморского, ослепительно-лазурного весеннего дня он кажется особенно старым. И несчастным. Уж не заболел ли он? «А до смерти четыре шага» проносится в моей голове и у меня сердце сжимается от жалости.

Я ставлю перед ним на подоконник пепельницу и осторожно спрашиваю:

— Вы себя хорошо чувствуете, Иван Алексеевич?

Он раздраженно пожимает плечами.

— Я уже забыл, когда я себя хорошо чувствовал! Отвратительно, омерзительно, вот как я себя чувствую, изволите ли видеть. От-вра-ти-тельно! О-мер-зительно!

Он резким движением выхватывает из кармана халата пачку табака и начинает сворачивать «собачью ножку». Искусством сворачивать собачьи ножки он гордится и непременно хочет научить ему Георгия Иванова. Но тот продолжает курить папиросы и не проявляет интереса к этому искусству. Еще не закончив скручивание собачьей ножки, он вдруг, глядя на меня, произносит, отчеканивая каждое слово:

— Вот в какой нищете я погибаю, заботясь только о том, чтобы не заплесневеть или с ума не сойти от скуки...

Я растерянно слушаю его и молчу. Да и что тут скажешь?

Он хмуро прищуривается:

— Думаете, это я вам опять жалуясь? Как бы не так! Это просто цитата, а чья и откуда она взята, кому, кому, а вам следовало бы знать.

— Нет, я не знаю, ни чья, ни откуда она — сознаюсь я, облегченно вздыхая. Ведь мне уже казалось, что он снова — в который раз — начнет проклинать свою судьбу.

— Не знаете? — торжествует он. — А она — из письма Макиавелли и нашел я ее в «Леонардо да Винчи» вашего Мережковского. Вы ведь к нему каждое воскресенье бегали, мудрости набираться. А того немногого, что у него действительно хорошо, не знаете. Верно, его «Атлантиду», «Христа неизвестного», «Тайну трех» и прочее пустобрехное кощунство наизусть знаете, а его «Трилогию» не читали вовсе.

Я качаю головой.

— Нет, читала. «Трилогия» мне страшно нравилась, просто поразила меня. Но это было очень давно. Мне было четырнадцать лет и я..

Он перебивает меня:

— Представьте себе, и я тоже этого самого «Леонардо» читал Бог знает, как давно, когда он только что вышел. И тогда восторгался им. Но начисто забыл. А вчера вечером нашел его здесь, в библиотеке Дома, и от бешеной скуки стал проглядывать. И так увлекся, что всю ночь не спал, все читал. Только сейчас кончил. Поразительная книга! Правда, много лишнего. И язык ужасающий, вычурный, бледный, шаблонный, до крайности безвкусный — и природу он не понимает и не чувствует. Книжный он человек. Обыкновенных, простых людей изобразить не умеет. Ему необходимы герои, короли, преступники, святые. За блеском их имен прячется его творческая импотенция. Не живые люди, а восковые фигуры из музея Grevin. Кстати, то же самое, только, пожалуй, в меньшей степени, и у Алданова. Исторические романы превосходны. А над «Живи, как хочешь» и остальными его мертворожденными современными многотомными «ключами» я чуть челюсти не вывихнул зевая. Но, каюсь, — слаб, хвалю и еще как — и



в глаза и за глаза. Уж очень Марк Александрович хороший человек. Такого обидеть грех. А обидчив он необычайно. Если не похвалить, не восхититься — проведет бессонную ночь. Я ведь его по-настоящему люблю, а Мережковского терпеть не могу. Но сегодня даже сомневаюсь, перечитав его «Леонардо» — прав ли я? Не слишком ли строг к нему? Одной его «Трилогии» довольно, чтобы прославить писателя. Вот на интересную тему набрел и отлично с ней справился. Знаний у него, конечно, много, даже слишком много. Но о Джиоконде и влюбленности в нее Леонардо да Винчи он наплел чепуху. Ведь неизвестно даже, чей это портрет — женщины или молодого человека. Я где-то читал, что Джиоконда — одна из загадок прошлого, что Джиоконда, может быть — просто миф. А Мережковский все о ней знает — и кто она была, и как жила, и когда умерла. И описывает ее плоско и неубедительно. Все же это замечательная книга. А все, что он здесь настроил, для его же посмертной славы — следовало бы сжечь.

Я не выдерживаю:

— Ну, вряд ли такая посмертная слава доставила бы удовольствие ему. Ведь он свою «Трилогию» ни в грош не ставил, и больше всего ценил свои последние книги, написанные в эмиграции.

— Что ж? Писатели редко правильно судят о своих произведениях — веско заявляет Бунин, отмечая мои доводы. — Вздор, что писатель «сам свой высший суд». Он часто судья неправедный.

— Но вы сами ведь уверены, Иван Алексеевич, что правильно судите о своем творчестве, неправда ли? — коварно спрашиваю я.

Он надменно выпрямляется.

— Вполне уверен. И знаю, что не ошибаюсь. Поэтому — что бы ваш великий учитель Гумилев ни говорил когда-то, а вы бы за ним до сих пор ни повторяли, как попугай — я так и ценю свои стихи. Больше всего остального. А потом несколько рассказов, «Жизнь Арсеньева» и, главное, «Темные аллеи». Я не как Мережковский, я в старости написал лучшее в своей жизни, а он чем дальше, тем все хуже писал. Стиль его совсем ходульным, невероятно безобразным стал. А сколько он трудился! С пером в руке жил, как Флобер. «Ни

дня без работы, что бы ни случилось». Зря трудился, трудолюбие ему на зло шло. Редчайший пример вреда трудолюбия.

Я снова не выдерживаю:

— Значит, по-вашему, Мережковский просто графоман?

Он возмущенно взмахивает рукой.

— Что за нелепый вопрос! Я считаю его одним из больших писателей русской земли, — а не «земли русской», как по невежеству коверкают Тургенева — на старости лет сбившимся с пути. Одной его «Трилогии» довольно, чтобы прославить писателя. Его «Гоголь и черт», «Вечные спутники», «Александр I», и даже «Декабристы» — все замечательно, превосходно. Вот только его «Толстой и Достоевский» никуда не годится, отчаянно плох. Толстого он унизил, Достоевского вознес, ничего ни в том, ни в другом не поняв. Достоевского он боготворил. Достоевским он был ушиблен раз и навсегда. А Достоевский...

Но его мнение о Достоевском мне слишком хорошо известно. Слышать снова, как он издевается над ним, мне совсем не хочется и я, чтобы вернуть его к Мережковскому, вдруг вскрикиваю:

— Гар! Гар! Снизу вверх не задевая! Ах, как отлично у Мережковского о ведьмах! Правда?

Бунин, оживившись, соглашается со мной.

— Да. В ведьмах он, муж Зинаиды Николаевны, толк знал и действительно их описывает со знанием дела. Недаром Зинаиду Николаевну в Петербурге «белой дьяволицей» прозвали. Он ведь с ней и с Философовым всякие мистерии, радения и «Тайны трех» разыгрывал; свое кощунственное нео-христианство изобрели. Меня, слава Богу, они не соблазняли, не приглашали духовно и телесно соединиться с ними. Не удостоили. Но я стороной слышал, что они многих соблазнили. Она была наредкость очаровательна, бесовски умна и бесовски обаятельна. Настоящая рыжеволосая молодая ведьма. Я и сам немного увлекался ею. И какие у нее были чудесные, стройные ноги, а я к красоте женских ног всегда питал слабость. После

моей Нобелевской премии я с ней и с Мережковским разошелся — они никак не могли мне простить ее — завидовали, отчаянно. Но после ее смерти я по-настоящему грустил о ней. И теперь еще часто вспоминаю ее.

Он замолкает на минуту — должно быть думает о Зинаиде Николаевне. Но он говорит:

— Вот в каком нищенстве я погибаю в бессильной старости — и, повернувшись ко мне, поясняет — это из того же письма Макиавелли, но это и я мог бы написать, и я ведь тоже погибаю в нищенстве и бессильной старости.

Тень его широкополой шляпы ложится на его аскетически худое лицо. Он устало прислоняется к спинке кресла и закрывает глаза.

А Вера Николаевна просила меня «отвлечь Яна от черных мыслей». Но чем и как? Тема о Мережковском явно исчерпана, он не желает больше возвращаться к ней. Я ломаю себе голову в поисках новой темы и, как за спасательный круг, хватаюсь за тему о путешествиях.

— Иван Алексеевич, ведь вы бывали во Флоренции, в Милане?

Он снова оживляется:

— Еще бы не бывал! Всю Италию, и не раз, изездил. И не одну Италию. Где я только не был! Чего только не видел! Даже в Сахаре, в «пустынных степях Аравийской земли», и в Египте, и на острове Цейлоне, и в Индии был. В Индии я основательно изучил буддизм. И увлекался им. Сколько в нем любви ко всему живому, какая религиозная терпимость! Мне минутами хотелось даже стать самому буддистом. Очень хотелось. Если бы я опять мог, как тогда, проникнуться всем этим, не так тяжело было бы, мне кажется.

Пауза. И он продолжает, задумчиво глядя в окно:

— Я и сам ведь понимаю, что все мои огорчения, обиды и несчастия — чепуха, вздор. На них и внимания обращать не стоит. Надо

только мысленно подняться на вершину горы и оттуда, с птичьего полета, взглянуть вниз — их просто не увидишь. Но вот подняться, даже мысленно уже сил не хватает. Помните у Тютчева — Жизнь, как подстреленная птица / Подняться хочет и не может. Моя подстреленная бескрылая жизнь. Где уж ей взлететь...

Он тяжело вздыхает. Новая пауза. Я растерянно ищу, как перевести разговор на другие рельсы. Ведь Вера Николаевна просила привести Яна в хорошее настроение, а он опять мрачнеет с каждой минутой и уйдет от меня такой же мрачный, как пришел. Если не еще мрачнее. А он, вздохнув, продолжает:

— Да, я всюду был. Я почти весь земной шар изездил, а вот в Америке, ни в Южной, ни в Северной никогда не был. В начале войны мне предлагали, но я отказался. И теперь до чего жалею об этом! Америка страна богатая. Вряд ли бы я там до такого нищенского позора дошел. Поддержали бы. Не допустили бы. Не дали бы погибнуть. Люди там человечнее, чем здесь. Я уверен, что...

Я — на что я обычно не решаюсь — бесцеремонно прерываю его на полуслове:

— А как вы путешествовали? На русских или иностранных пароходах плавали? — спрашиваю я, хотя отлично знаю — ведь он как-то еще до войны рассказывал мне, что они с Верой Николаевной бесплатно плавали на пароходах Добровольного Торгового Флота сколько хотели. Но он об этом, наверно, забыл и сейчас подробно и с удовольствием повторяет свой тогдашний рассказ.

— Комитет Добровольного Флота не только предоставил нам две каюты, но еще снабдил и рекомендательными письмами «Господин почетного академика», отправляющегося с научными целями в Египет, на Цейлон, в Сингапур и так далее... И всюду нас принимали и чествовали... Устраивали банкеты...

Голос его звучит звонко и бодро. И лицо молодеет. Губы уже не образуют горестную скобку с опущенными углами и глаза не кажутся такими безнадежно тусклыми. Он весь «погрузился в прошлое, переселился в воспоминания», как говорил Андрей Белый когда-то.

Я всегда поражаюсь молниеносной быстроте, с которой Бунин меняет настроения. Слушаю его и тихо радуюсь. Только бы он сохранил это настроение до возвращения Веры Николаевны! Он ее, бедную, совсем измучил своими непрерывными жалобами и хандрой.

Окончив свой рассказ, он быстро встает, почти не опираясь на локотники кресла, в которое садился так по-стариковски тяжело.

— Пойду пройдусь. Меня от воспоминаний на свежий воздух потянуло, на широкие просторы. Постараюсь до моря дойти, на горизонт посмотрю — только вряд ли. Скорее потопчусь в саду, обойду вокруг пальмы и вернусь в свою конуру. Все же мне как-то легче, спокойнее стало. Возможно, я даже после обеда спущусь вниз.

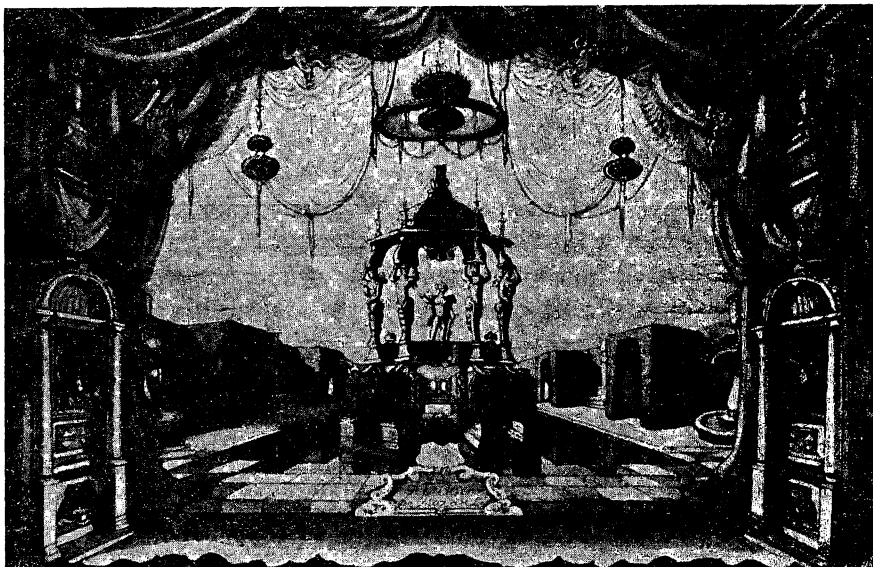
— Непременно приходите, Иван Алексеевич. Все будут в восторге. Пожалуй, пожалуйста приходите! — прошу я.

Он кивает, самодовольно улыбаясь.

— Постараюсь. Хотя и не обещаю. Там видно будет.

И он, простившись со мной, уходит.

*Ирина Одоевцева*



# АРХИВЫ



ПИСЬМО НАПОЛЕОНА МАРШАЛУ БЕРТЬЕ

Мой Кузен, напишите герцогу де Беллюну следующее письмо:

Я представил Ваше письмо от 2-го октября пред глаза Императора. Е. В. приказывает Вам соединить Ваши шесть дивизий и напасть без промедления на врага, отбросить его за Двину и снова взять Полоцк.

Шифром — это движение имеет особую важность. Через несколько дней Ваш аррьергард может быть затоплен казаками. Армия Императора будет завтра в Смоленске, но будет весьма утомлена безостановочным маршем в 120 лье. Переходите в наступление — спасение армий зависит от этого. Каждый день запоздания — бедствие. Кавалерия армии спешена — холод убил всех лошадей. Идти — таков приказ Императора и необходимости.

Пошлите это письмо ген. Шарпантье с эстафетой, которая отправится через час и отошлет ее через офицера герцогу де Беллюн.

Михайловск 7 октября 1812 г.

Письмо написано секретарем, заметки и поправки рукою Наполеона.

Из собр. А. Я. Полонского. Париж

*Ce chiffon rendrez vous les chefs de  
 avec vous. Lesdits / Kuznetski  
 Ce mouvement est de plus important. Dans peu de jours,  
 vos derrières peuvent être envahis de Cosaques. L'armée de  
 L'Empereur sera demain à Jemelno, mais, bien fatigué  
 par un marche de 120 lieues sans arrêt. Prenez l'offensive  
 le plus tôt possible sur l'ennemi. Tous jours de retard sur  
 une colonne. La Cavalerie de l'armée est à pied. Le froid  
 a fait mourir tout le chevan. marche, c'est l'ordre  
 l'Empereur et celui de la nécessité.*



ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ

15 мая 1958 г.

Княгиня,

Как жива и волнующа Ваша книга.

«Ваша» Россия есть то, что она есть, была тем, чем она была, будет тем, чем она будет. Во что бы ее ни «одевали», ничто не может переменить ее сущность, ее сущность очень большого, очень дорогого, очень человеческого народа нашей общей земли.

Я был, Княгиня, тронут Вашей надписью и напоминанием о нашей борьбе.

Я прошу Вас, Княгиня, принять уверение в моих почтительных и преданных чувствах.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE 15 Mai 1958

Monsieur,  
 Comme votre livre est  
 vivant et émouvant! «Votre»,  
 Russie est ce qu'elle est,  
 fut ce qu'elle fut, sera ce qu'elle  
 sera. De quelque manière  
 qu'elle soit «habillée», rien  
 ne changera sa nature,  
 sa nature de toujours et  
 toujours, toujours, peuple  
 de cette terre à tous les  
 temps.

J'ai été, Monsieur,  
 sensible à votre dédicace et

13 мая 1958 года после пресс-конференции в отеле д'Орсэ генерала де Голля, первой после месяцев его отсутствия на политической сцене, Зинаида Шаховская, присутствующая на этой пресс-конференции, принесла свою книгу о своем пребывании в СССР «Ma Russie habillée en URSS» Grasset 1958 в штаб-квартиру генерала де Голля на улице Сольферино. Эти дни были началом алжирских событий, которые и привели генерала де Голля к президентству. И несмотря на решающие даже для него лично дни, через два дня после получения книги, 15 мая, генерал де Голль ответил ей этим письмом. Поскольку оно, вероятно, единственное частное письмо, где он пишет о России, нам показалось интересным поместить его текст, несмотря на то, что оно было уже опубликовано в «Русской Мысли» (№ 2817 от 19. 11. 70 сразу после смерти генерала де Голля).

Публикация З. Шаховской

Cher Monsieur de Golle  
Enc. avec votre livre.  
Je vous prie d'agréer,  
Monsieur, l'assurance de  
mes sentiments respectueux  
et dévoués.  
E. de Gaulle.

Подпись: Ш. де Голль

## ДВА ПИСЬМА ГРАФА С. Ю. ВИТТЕ К. Д. НАБОКОВУ

15/28 Июля (1906)

Многоуважаемый и дорогой  
Константин Димитриевич,

В день подписания Портсмудского договора я хочу дать Розевельту \*) телеграмму: но я не помню точного дня подписания договора. Если Вы помните не откажите мне сообщить. Но как бы не ошибиться.

А то что я предвидел с думой то и случилось. Ужасно больно и безотраднo.

Крепко жму Вашу руку. Сердечно Вам преданный

Витте

\*\*

19 Июля

Многоуважаемый и дорогой  
Константин Димитриевич,

Весьма благодарен за сообщение.

Происходящее в России очень печально. Была большая ошибка после того как я ушел из-за Дурново — сформировать Кабинет из явных тупых реакционеров. Кабинет этот вел себя в отношении Думы с одной стороны лакейски, а с другой нахально (свойство лакеев). Для чего когда я ушел сменили всех министров? Например Владимира Николаевича? \*\*) Да еще в такое трудное в международном отношении время. Я лично Столыпина не знаю, но по его деятельности хорошего о нем мнения.

Думаю что покуда не удастся сформировать министерства из общественных (но соответствующих) деятелей — поручение министерства Столыпину решение правильное.

\*) Как известно, мирные переговоры в Портсмуте (С.Ш.А.) были начаты по инициативе президента Теодора Рузвельта.

\*\*) Владимир Николаевич Коковцев.

Что касается роспуска Думы то по моему **глубокому убеждению** эта не могла сдаваться она была... Но все это прошедшее. Но вот что я хочу сказать. Неужели все.. и нереволуционные партии в России не понимают что если они все не объединятся то в конце концов одолеет стихийная сила разрушения — **грубая революция**. Будет уничтожена вся культура, как матерьяльная так и духовая. Теперь самая организованная.. и не революционная партия есть партия кадетов. Чтобы спасти положение ей следовало бы окончательно отряхнуться от революционеров и тогда к ней постепенно пристанут все элементы желающие мирнаго обновления и установления конституционных порядков. Кадеты грешат тем что... балансировать между двумя не совместимыми течениями.

Сердечно вам преданный

граф Витте

1916 г.

Милостивый государь граф Витте,  
 благодарю Вас за письмо от 10-го августа.  
 Я очень рад, что Вы интересуетесь  
 судьбой России. Я думаю, что  
 в настоящее время Россия находится  
 в очень тяжелом положении.  
 Мы должны бороться с революцией  
 и с иностранной интервенцией.  
 Я надеюсь, что Вы будете  
 поддерживать нашу борьбу.  
 С уважением,  
 Сергей Витте

Милостивый государь граф Витте,  
 благодарю Вас за письмо от 10-го августа.  
 Я очень рад, что Вы интересуетесь  
 судьбой России. Я думаю, что  
 в настоящее время Россия находится  
 в очень тяжелом положении.  
 Мы должны бороться с революцией  
 и с иностранной интервенцией.  
 Я надеюсь, что Вы будете  
 поддерживать нашу борьбу.  
 С уважением,  
 Сергей Витте

Газета «Херальд Трибюн» из Нью-Йорка сообщала 5 августа 1905 года: «Сергей Витте, старший русский делегат на мирной конференции — самый популярный человек в Нью-Йорке. Пресса не устает петь его похвалы и где он ни появлялся, как только его узнавали, он сразу становился объектом оваций. Одним из трогательных моментов его пребывания в Нью-Йорке было посещение им гетто на Восточной Стороне (Ист Сайд), где проживает большинство бедных русских. Его автомобиль медленно двигался по узким, переполненным улицам. Мальчички и молодые люди бежали за ним, крича приветствия, а бородастые патриархи стояли вдоль дороги с непокрытыми, наклоненными головами».

## ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. Д. НАБОКОВА С СОВРЕМЕННОКАМИ

*Письмо лорда Балфура, тогда министра  
иностранных дел Великобритании,  
К. Д. Набокову, советнику посольства,  
при Императорском Рос. Посольстве в Лондоне,  
по поводу смерти посла графа А. К. Бенкендорфа*

12-ое Января 1917

Дорогой Г. Набоков,

Событие, изложенное в Вашей записке, хотя и не явилось неожиданностью, причинило мне весьма глубокую печаль.

Граф Бенкендорф был очень старым и дорогим другом и потеря его, как ни тяжела она с интернациональной точки зрения, еще больше трогает меня, если это только возможно, как частное и личное несчастье.

Всего несколько дней тому назад он посетил меня в Форейн Оффисе и выглядел при этом, как мне показалось, исключительно хорошо. Как велика и внезапна была катастрофа.

Искренно Ваш  
Артур Джэмс Балфур

*Письмо Поля Камбона, французского посла в Лондоне*

12-ое Января 17 (1917)

Дорогой господин Набоков,

Это ужасное несчастье, о котором я узнал сегодня вечером, возвратившись в Лондон, меня глубоко огорчает. Будучи коллегой графа Бенкендорфа в Лондоне в продолжение более одиннадцати лет,

нас связывали дружеские отношения, которые становились с каждым днем крепче и я оценивал лучше, чем кто бы то ни было, его большие и очаровательные качества. Это потеря для России и, так же, для Франции, где он воспитывался и которая знала тот опыт и высокую мудрость, которые он вносил в многочисленные переговоры, которые велись в Лондоне.

Прошу Вас принять для Посольства мои весьма искренние соболезнования и верить моим самым преданным чувствам.

Поль Камбон

Из архива С. С. Набокова



## БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О К. Д. НАБЕКОВЕ

Родился в имении Батове, Царскосельского уезда в 1872 г., умер в Лондоне 18. 3. 1927 г., окончил С.-Петербургский Университет, отб. воинскую повинность Л.-Гвардии в Преображенском полку, затем начал службу в Минист. Иностран. Дел, пожалован Камер-Юнкером Выс. Двора (1902). Назн. секретарем Русской делегации для мирных переговоров в Пертсмуте (Соед. Штаты) — 23. 7. по 5. 9. 1905, — 1-ый Секретарь при Дипл. Миссии в Брюсселе (1907), 1-й секретарь при Императорском Посольстве в Вашингтоне (1911), Генеральный Консул в Индии (1914), Советник Императорского Посольства в Лондоне (1915), Поверенных в делах после смерти посла гр. Бенкендорфа (январь. 1917 — сентябрь. 1919).

Автор воспоминаний «Испытания Дипломата» (Русское изд. — Стокгольм, 1922, английское — Лондон, 1921).

Среди иностранных знаков отличия, имел: командорские кресты бельгийского ордена Леопольда I и люксембургского ордена Дубового венка, кавалерские кресты французского Почетного Легиона и шведского ордена Вазы.

## О ДВУХ ПИСЬМАХ ГР. С. Ю. ВИТТЕ К К. Д. НАБЕКОВУ

Обмен письмами, как это видно из писем гр. Витте, объясняется приближением годовщины подписания Портсмутского мирного договора между Россией и Японией, и желанием его, как председателя Русской делегации, отметить эту годовщину телеграммой Американскому Президенту Т. Рузвельту, способствовавшему заключению этого договора.

Константин Дмитриевич Набоков, к которому Витте обратился с просьбой напомнить точную дату подписания, состоял одним из секретарей Русской делегации, назначенных Министерством Иностранных Дел из среды молодых дипломатов.

Перечисляя состав делегации, Витте, в своих Мемуарах, упоминает двух «молодых талантливых секретарей, чиновники министерства иностранных дел, Набоков и Коростовец» (Том 2, стр. 402, Москва, 1960).

## К. Д. НАБОКОВ О ГР. А. К. БЕНКЕНДОРФЕ

Константин Набоков считал графа Александра Константиновича Бенкендорфа дипломатом крупнейшего калибра и, вместе с тем, благороднейшей душой. Даже описывая в своих мемуарах, «Испытания Дипломата» (Стокгольм, «Северные Огни», 1921), два подмеченных им недостатка посла — которые он явно считал «единственными» — автор обращает эти критические замечания во что-то похожее на панегирик.

Так он пишет: «Владея в совершенстве французским, немецким и итальянским языками, он говорил довольно свободно по-английски и не только, таким образом, мог находить «общий язык» с английскими министрами, но и с послами Великих Держав. К сожалению, русский язык он знал недостаточно, а потому на соотечественников производил впечатление иностранца. Впечатление, разумеется, поверхностное и в корне ложное, ибо граф Бенкендорф был горячим и просвещенным патриотом. Он был не только предан «Державе Российской», но и русскому народу, и служил интересам России с пламенной верой в свою родину».

И вот как автор мемуаров говорит об «одной замечательной особенности» своего начальника: «в разговоре он излагал свои мысли с необычайной ясностью, и мысли эти всегда были настолько проникновенны, обличали такое глубокое понимание истинных пружин, двигающих международные отношения в Европе в период 1905-1915 годов, что на самого предубежденного слушателя он производил впечатление подлинного мудреца. Но как только он брался за перо (писал он всегда по-французски) — так в большинстве случаев эта яркость и проникновенность мысли куда-то улетучивались».

Описывая болезнь посла от простуды и кончину 12-го января 1917 г. Конст. Набоков пишет: «До самой последней минуты он не сознавал близость конца и живо интересовался делами. Таким образом он скончался, как часовой на посту: прекрасный конец, завершивший прекрасную карьеру просвещенного патриота». Автор радуется за посла, что ранней смертью своей он избежал быть свидетелем тех унижений, которые Россия пережила впоследствии и заканчивает, этот своего рода некролог словами: «Этих страданий он, благодарение Богу, избежал».

К. Д. Набоков, закончивший свою карьеру поверенным в делах Лондонского посольства после смерти посла, гр. А. К. Бенкендорфа, в январе 1917 г., домашней политикой не занимался, но, в отличие от своей семьи, и, в частности, своих двух старших братьев, был не далек от мыслей своего брата Владимира Дмитриевича Набокова, одного из лидеров партии К. Д. Этот факт был конечно известен графу Витте. Следовательно, весьма возможно, что, взывая к Кадетской партии «окончательно отряхнуть от революционеров», через некадета Константина Набокова, Витте надеялся что сей последний покажет брату это письмо.



## ПИСЬМО М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

2/14 Ноября С.П.б.

Литейная, 62

Милостивый Государь

На письмо Ваше от 4 Ноября, имею честь уведомить, что я обстоятельного ответа по поводу предложенных мне вопросов дать не могу. Во-первых, я сильно болен вот уже третий год и почти не в состоянии вести корреспонденцию. Во-вторых, я решительно не могу изменить то, что уже однажды напечатано.

В отзыве Тургенева о современных французских реалистах я не вижу ничего для них оскорбительного, а равным образом не вижу и измены дружеским отношениям. Можно сохранить последние и в то же время не идолопоклонствовать перед друзьями. Тургенев выразился несколько резко сказав, что Золя и Гонкур **воняют** литературой — но и только. Мнение это было ответом на мое письмо, где я выражался, что писатели эти вовсе не реалисты, как например Гоголь, Диккенс и проч. а психологи, принявшие новшества за реализм. Что касается до Достоевского, то мнение Тургенева было высказано по поводу критической статьи об этом писателе, напечатанной в «Отечественных Записках». Полностью оценка эта тоже не лишена оснований.

Вот все, что я могу Вам сказать, присовокупляя при этом, что в характере Тургенева я никогда не приметил ни одной черты лицемерия.

Что касается до предложения Вашего перевести «Семью Головлевых», то я очень буду рад, ежели Вы это сделаете, хотя, мне кажется, эта книга уже переведена на французский язык. Из прочих Ваших изданий могу рекомендовать «Сборник» и «Мелочи жизни», в которых Вы найдете отдельные повести, как например: «Большое Гнездо», «Гришка-Портной», «Христова невеста» и проч. Еще есть книга: 23 сказки, из которых некоторые прочтутся и французами.

Примите уверение в совершенном почтении.

Из архива Р. Герра

мудр. Изю яроким Тромм судилин Тимеу реловенель.  
 каро "Сборник", и "Мелом и дружи", вь которых  
 Мелом каро отидевиныя лоббю; какъ капри-  
 тель: "Ботровъ и вѣро", "Триеди-Порривъ", "Ура-  
 срба и вѣра", и проч. Еще сего писма:  
 "23 маями", и вь которыхъ и вь которыхъ прогнуму  
 и оформиу, вь.

Стриривъ увѣренъ вь совершенныя лоббю.

М. Салтыковъ

Это письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина находилось в архиве русского литератора и переводчика И. Д. Гальперина-Каминского, (1858-1936 г.г.), который жил в Париже с января 1880. Ему принадлежат многие переводы русских классиков на французский язык, в том числе, Тургенева, Толстого, Достоевского...

В его память дочь учредила в 1937 г. премию имени отца, которая присуждается каждый год лучшему переводчику иностранной книги на французский язык. После ее смерти наследники продали с аукциона в Hôtel Drouot (14 апреля 1975) весь архив И. Д. Гальперина-Каминского. В этом архиве были письма Мопассана, Сюлли-Прюдома, Додэ, Маллармэ, Андре Жида, Золя, Тургенева, Гончарова, Чехова, Толстого, Бунина, Куприна, Мережковского, Гиппиус, Чирикова, Шмелева, Зайцева и других. В частности, одно из писем Л. Н. Толстого было передано Яснополянскому музею президентом Французской Республики Валери Жискар д'Эстэном 15 октября 1975 года во время его официального визита в СССР.

## ИЗ ПИСЕМ ЛЬВА ШЕСТОВА

В мае 1916 г. Шестов ездил в Киев. Он пишет оттуда Ловцким:

«Приехал на недельку в Киев посмотреть, что тут делается. Все оказалось как нельзя более благополучно, Миша отлично ведет дела и все здоровы и только бы хотели, чтоб, наконец, удалось уже справиться с немцами. Здесь почему-то царит уверенность, что дело быстро идет к развязке, что этим летом наступит конец. И, мне кажется, что это верно: может не летом, так осенью кончится... В Киеве проживу неделю — на днях уеду: мне здесь нечего делать. Правда, работа и дома у меня плохо идет, — но все-таки дома лучше. Мечтаю на лето в деревню попасть — не знаю, удастся ли». (Киев, 7 [ ]. 5. 1916).

В это время Шестов купил дом в Москве на Плющихе совместно с Ловцкими. Он об этом сообщает Фане и Герману:

«Сообщу вам новость. Я писал [5.4.1916], что получил ваших денег тридцать тысяч. На них я купил дом пополам с Анной. Спрашивать некогда было, надеюсь, что вы не пожалеете. А, если пожалеете, то можно будет продать его — уплоченные деньги всегда можно будет выручить. Купил случайно — соблазнился тем, что показалось выгодным. Когда приедете, — посмотрите. Нового у нас ничего. Я буду жить летом в Тульской губернии у Сем. Вл., А. с детьми едут купаться на Кавказ». (Москва, 7 [ ]. 6. 1916).

Через несколько дней Шестов уезжает в деревню Сенькино к Семену Владимировичу, оттуда он пишет матери, которая живет в Лозанне и Ловцким:

«Ну, вот я исполнил твое желание — живу летом в деревне, у Семена Владимировича. Здесь великолепные места — не хуже, в Швейцарии: красивая, довольно широкая река Ока, холмистая местность, много лесов, прелестных лугов и садов, превосходные прогулки. Семен Владимирович занимает огромный, старый помещичий дом с большим парком и садом — словом, как всегда, устроился превосходно. Кормят, что называется, на убой, гуляем здесь целыми часами — так что уже более гигиенически и

невозможно проводить время. Ты, в этом смысле, можешь быть совершенно довольна и спокойна». (матери, Сенькино, 14 [27]. 6. 1916).

«Пишу вам из деревни — гощу у Семена Владимировича. Анна с детьми поехала на черноморское побережье — в казачью станицу [Архипо-Осиповка], купаться. Меня это не соблазнило — во 1-х не хотелось так далеко уезжать, а во 2-х эти места отыскал Евгений Германович [Лундберг] он там и живет теперь — стало быть места очень первобытные: у Анны вкус к первобытным местам сохранился, а я уже остыл в этом смысле... Но здесь тоже очень хорошо, мы даже все мечтаем приобрести здесь небольшое именьеце. И хорошо было бы — только хлопот много, особенно нам, неумелым городским жителям. Не знаю, чем кончатся пожелания — купим, или не купим. Теперь вдвойне трудно — хорошо было бы совсем маленькое, чтобы хозяйничать не пришлось». (Ловцким, Сенькино, [1. 7]. 1916).

О своем желании купить совместно с Ловцкими имение Шестов уже писал им восемь месяцев тому назад (см. конец ноября 1915), и вновь возвращается к этому после поездки в деревню:

«Насчет нашего дома я ничего не писал, т. к. собственно писать нечего. Может быть, вам можно будет там жить, и нам тоже. В нем много отдельных флигелей и, пожалуй, можно найти такой, где музыка не будет слышна — хотя наверное сказать трудно: все-таки ты очень к этому чувствителен. Но, с другой стороны, в Москве не легко найти такой дом, даже особняк, в котором было бы совсем тихо: везде играют, теперь нет квартиры без рояля. И, в этом отношении наш дом, кажется, лучше других. Мы все мечтаем о том, чтоб купить небольшое именьеце. После войны цены очень возрастут и тогда нам будет уже не по средствам. Также хотелось бы вместе с вами купить — у нас одних не хватит средств даже на маленькое. Как вы на это смотрите?... Кажется, я писал уже вам не помню, что я получил предложение из Лондона о том, чтоб дать разрешение на перевод моих сочинений на английский язык. Зинаида Афанасьевна ручается, что переводчики очень надежные. Я, разумеется, послал свое разрешение, но посмотрим, что из этого выйдет». (Москва, 6 [ ]. 8. 1916).

Ответ Ловцких на это письмо не сохранился. В доме, купленном

на Плющихе, никому из них жить не пришлось. Имение купить не удалось, и мечты Шестовых о деревенской жизни вместе с Ловцкими не сбылись (Анна Ел. хотела работать земским врачом и лечить крестьян, Шестов — жить в уединении, чтобы иметь возможность сосредоточиться и спокойно мыслить, а Герман — сочинять музыку в абсолютной тишине).

Несмотря на то, что Шестов имеет возможность жить вне Москвы, где ему не хватало уединения, можно с уверенностью сказать, что его встречи с московскими друзьями были плодотворны. Несомненно, общение с В. Ивановым побудило Шестова написать о нем статью «Вячеслав Великолепный» и 4. 11. 1916 прочесть о нем доклад. Статья была напечатана в «Русской Мысли» в октябре. В конце помечено: «Деревня Сенькино, июнь 1916». Он пишет об этом в четырех письмах к Ловцким:

«У нас, как всегда, ничего особенного. Дети учатся, Анна работает в клинике — назначена уже ординатором и даже штатным (1000 р. в год жалованья). Статья моя пойдет только месяца через два». (Москва, 19 [ ]. 9. 1916).

Оттиски статьи «Вяч. Вел.» как только получу, сейчас же вышлю. (Москва, 18 [ ]. 10. 1916).

«Из моих новостей: получил извещение из Лондона, что там недавно вышел в английском переводе V-й том моих сочинений, под названием Anton Tchekov and other essays. Если интересно — выпишите. Мне обещали сюда прислать 2 экз. но пока прислали рекламу о выходе книги. Адрес изд.: London, 40 Museum street, Maunseland Co. «Вяч. Вел.» идет в октябрьской книжке «Р. М.»... Может быть, я прочту ее [статью], как доклад в здешнем религиозно-философском обществе<sup>1)</sup>». (Москва, 20 [ ]. 10. 1916).

«Сейчас я отправил вам заказной бандеролью два оттиска «Вячеслав Великолепный»... Сейчас я занят очень сегодня читаю в религ. фил. «Вячеслав Великолепный»». (Москва, 4 [ ]. 11. 1916).

Двадцать лет спустя, в 1936 г., В. Иванов написал Шестову письмо по случаю его семидесятилетия. Оно показывает, что друже-

<sup>1)</sup> Речь несомненно идет о Московском Религиозно-Философском Обществе имени Соловьева.

ственные отношения, создавшиеся в Москве, сохранились, несмотря на то, что они уже много лет не встречались:

«Вот уже и Вы (а мне казалось, что Вы помоложе гораздо!) дожили торжественной грани, когда человек — как бы ни «обновлялась, подобно орлу, юность его» — должен признать главное дело своей жизни... о, конечно, не сделанным и не законченным, — случается ли это с кем-либо из тех, которые продолжают жить в духе? — но, по крайней мере, определившись в его основных чертах, как, примерно, готический собор, похожий в своей недостроенности на прекрасное сновидение. Если есть в этом чувстве (“не знаю сам какая, но все ж я миру весть”, сказал заблаговременно Валерий Брюсов) некоторое личное удовлетворение, то Вы, конечно, можете в эти дни его испытывать — и в большей мере, чем хотя бы я сам, всю жизнь стремившийся к законченным формам, — именно потому, что Ваше единое и апофатическое исповедание было *transcensus unius cuiusque formae in maiorem Dei gloriam*. И этому Вашему единому слову суждено, думается, вечно звучать: ибо, если строить культуру с Вами нельзя, то нельзя строить ее и без Вас, без Вашего голоса, предостерегающего от омертвения и от духовной гордости. Вы похожи на ворона с мертвой и живой водой. И я с годами все больше Вас люблю и все больше, мне кажется, понимаю. Поэтому поздравляю Вас, дорогой старый друг, с Вашим славным семидесятилетием от всего сердца и желаю, чтобы Ваш расцвет — ибо Вы в расцвете и нет еще, как Вы вероятно и сами чувствуете, ни малейших признаков *du déclin* — был долгим и лучезарным». (Рим, 10. 2. 1936).

Д. Святополк-Мирский в своей книге «A History of Russian Literature» в главе, посвященной Вячеславу Иванову, упоминает о статье Шестова. Он говорит:

«Шестов, мастер колючих эпиграмм, дал Иванову прозвище “Вячеслав Великолепный”, невозможно выдумать лучшее определение для стиля Иванова». (D. Mirsky стр. 448).

В статье «Вячеслав Великолепный» и в работах, написанных после этой статьи, Шестов часто упоминает Плотина и цитирует его. В этой статье он говорит, что Плотин — любимый философ В. Иванова. Возможно, что общение с В. Ивановым пробудило интерес Шестова к Плотину, которого он и раньше читал, но специально им не занимался. Впервые он говорит о Плотине в книге *Sola Fide*, но посвящает ему

всего две страницы (стр. 143, 144). В июле Шестов просит Ловцких купить для него произведения Плотина:

«Я ездил в Тульскую губернию недели на четыре. Говорят, хорошо поправился. Сегодня опять еду, но не надолго — на недельку, или на десять дней. Пожалуйста, пишите. А вот и просьба: спросите в книжных магазинах “Plotini Enneades, recensuit Hermanus Fridericus Mueller” 2 тома греческого оригинала и два тома перевода того же Mueller’a. Мне это очень нужно и только это издание. Если вы достанете — не пересылайте: здесь есть у одного знакомого профессора эти книги. Он мне их даст, если у меня будет хотя бы и после войны обеспечен такой же экземпляр». (Москва, 29. 7. 1916).

Впоследствии Шестов много занимался Платином и посвятил ему несколько работ (см. гл.).

В 1917 г. Шестов опубликовал большую работу о Гуссерле «Memento mori» в журнале Вопросы Философии и Психологии (сент./дек. 1917 г.). Не подлежит сомнению, что интерес к Гуссерлю был навеян Шестову его другом Г. Г. Шпетом, горячим приверженцем Гуссерля. В начале 1926 г. работа Шестова о Гуссерле появилась по-французски в Париже и вызвала отклики во Франции и Германии (см. гл.). В 1917 г. также было опубликовано 11 афоризмов в сборнике Ветвь, 8 афоризмов в ежегоднике Мысль и Слово № 1, издаваемым под редакцией Г. Шпета, один афоризм в сборнике Скифы (август). Один афоризм появился в ежегоднике Мысль и Слово № 1, который должен был выйти в 1918 г., но вышел гораздо позже (на нем пометка 1918-1921). Указанные работы — последние, вышедшие в России.

О своей писательской жизни 1917 года Шестов только вскользь упоминает в письмах. Он пишет из Москвы родным в Швейцарию:

«Я стараюсь поменьше читать газеты и побольше работать» (12 [25]. 9. 1917).

«Работа идет неважно, хотя все-таки кой-что написал и напечатал» (7 [20]. 10. 1917).

«Стараюсь по возможности работать и печатать, пока печатать можно» (22 [ ]. 11. 1917).

«Я... реагирую на события и теперь плохо работаю. Но

летом поработал и прошлой зимой тоже. Скоро пришлю вам отписки новых работ» (1 [14]. 12. 1917).

Жив и здоров, стараюсь как можно работать (1 [14]. 12. 1917).

Февральскую революцию (27-го февраля [12-го марта] 1917 г.) Шестов пережил в Москве. В энтузиазме первых дней казалось, что революция до конца останется «великой и бескровной». По улицам Москвы ходили радостные толпы. Хотя Шестов и не разделял всеобщего энтузиазма, мало выходил из дома и сидел грустный и задумчивый в своем кабинете, в его письмах того времени отражается праздничное настроение, царившее в России. События он описывает в шести письмах к родным, живущим в Швейцарии:

«Вы уже, конечно, давно из газет знаете о происшедшем у нас перевороте. Описывать, что произошло, не приходится: сведения выйдут слишком запоздалые. Ведь и русские газеты приходят к вам. Слава Богу, все обошлось необычайно хорошо: ни кровопролития, ни грабежей. Даже в те дни, когда полиция совсем бездействовала, а милиции еще не было, порядок не нарушался. Сейчас все вошло в колею: сегодня трамваи пошли, рабочие стали на работу. А почта, телеграф и железные дороги все время правильно функционировали. Даст Бог, и дальше так будет и возможное наступление немцев на нашем фронте застанет страну вполне уже организованной» (Фане, Москва, 6 [19]. 3. 1917).

«Мы все здесь думаем и разговариваем исключительно о грандиозных событиях, происшедших в России. Трудно себе представить тому, кто сам не видел, что здесь было. Особенно в Москве. Словно по приказанию свыше все, как один человек, решили, что нужно изменить старый порядок. Решили и в одну неделю все сделали. Еще в Петрограде были кой-какие трения — в Москве же был один сплошной праздник. В Киеве еще проще: генерал Брусилов отдал приказ — и этим все было сделано. И так дальше — меньше, чем в одну неделю вся огромная страна со спокойствием, какое бывает только в торжественные и большие праздники, покинула старое и перешла к новому. В письме, конечно, всего не расскажешь, но в русских и во французских газетах ты, конечно, прочла все подробности. Сейчас жизнь вошла уже в обычную колею: ходят трамваи, работают фабрики, в гимназиях учатся, в высших учебных заведениях читаются лекции, выходят газеты — никто бы и не догадался, что еще на прошлой неделе произошло такое великое мировое событие. Бог



даст, и война скоро окончится: последняя надежда немцев на влиятельную германофильскую партию в России пала. Может быть, в России и есть еще германофилы, но они либо арестованы, либо попрятались и опасности уже не представляют» (матери, Москва, 7 [20]. 3. 1917).

«У нас здесь образцовый порядок. В Москве, как и в Киеве, переворот произошел идеально спокойно. Теперь, с каждым днем, жизнь все больше и больше устраивается. В участках, вместо приставов, присяжные поверенные. За городских по ночам дежурят дворники. В обществе тоже большая согласованность: крайние течения отступают на второй план и стушевываются. Правительство завоевало себе общее доверие. Бог даст, справимся со всеми трудностями, хотя их и не мало» (Фане, Москва, 15 [28]. 3. 1917).

«И, в Киеве, как в Москве, переворот произошел без всяких осложнений, спокойно. Многочисленные митинги, манифестации не нарушали порядка. В Киеве это, конечно, особенно важно — ввиду большей близости Киева к театру военных действий. Сегодня уже месяц со дня переворота — и жизнь все больше и больше налаживается по новому. Авось, Бог даст, Россия будет разумнее других стран и перейдет к новому строю без особых потрясений» (матери, Киев, 29 [ ]. 3. 1917).

«Вы получаете русские газеты — можете судить по ним, как все произошло и что теперь делается. В общем — одно можно сказать: никак нельзя было надеяться, что такой страшный переворот произойдет так тихо. Вот уже полтора месяца, как пало старое правительство, а никаких крупных беспорядков нигде не было. Вчера праздновали в Москве 1-е Мая. Народу вывалило на улицы несметное количество — но все было чинно и спокойно и все, походив, сколько полагается, по улицам, послушав митинговых речей, разошлись по домам. Сегодня снова работают, магазины открыты, трамваи ходят. Видно, народ гораздо толковее, чем о нем думали наши старые правители. Бог даст, все успокоится и наладится: надежды немцев на беспорядки не оправдаются, как не оправдались и другие их расчеты. Война, видно, быстро идет к концу. Может к концу лета удастся уже повидаться» (матери, Москва, 19. 4 [2.5]. 1917).

«На днях писал тебе и мамаше. На всякий случай посылаю

открытку, чтоб чаще были вести и чтоб вкратце сказать, что все у нас благополучно и все здоровы. Уже скоро 2 месяца после революции — постепенно все налаживается. Не легко, конечно. Но где же такие перевероты легко проходят? В России еще сравнительно благополучно. Все таки живем мирно, спорим, но серьезно не ссоримся. Дотянем до учредительной организации — тогда, верно, уляжется все и мы вступим в норму. Авось, и война, наконец, окончится» (Фане, Москва, 24. 4 [17]. 1917).

Друзья Шестова по-разному принимали события. Евгения Рапп, сестра жены Николая Александровича Бердяева, жившая в Москве с Бердяевыми, рассказывает о том, как Бердяев и Андрей Белый реагировали на происходящее. Она пишет:

«Все время до октябрьских дней, до большевистского переворота, Н. А. был настроен необычайно мрачно. Я помню его ироническую улыбку, когда наши многочисленные друзья с восторгом говорили о “бескровной русской революции”, воспевали красноречие Керенского, ожидали наступления режима свободы и справедливости. Он знал, что бескровная революция окончится кровавой. Он был очень молчалив и печален. Только иногда, в ответ блаженно верующему в революцию собеседнику, он гневно, яростно начинал обличать злую стихию революции, и собеседник уходил, считая Н. А. реакционером.

Как-то, однажды, я осталась дома одна. Раздался звонок. На пороге нашей гостиной стоял А. Белый. Не здороваясь, взволнованным голосом, он спросил: “Знаете ли вы, где я был?” — и не дожидаясь ответа, продолжал: — “Я видел его, Керенского... он говорил... тысячная толпа... он говорил”. И Белый в экстатическом состоянии простер вверх руки. “И я видел, продолжал он, как луч света упал на него, я видел рождение «нового человека»... Это че-ло-век”.

Н. А. незаметно вошел в гостиную и при последних словах Белого громко расхохотался. Белый, бросив на него молниеносный взгляд, не прощаясь, выбежал из гостиной. После этого он долго не приходил к нам». (Евгения Рапп. Примечание на стр. 247 книги Н. Бердяева «Самопознание»).

Несмотря на бодрый тон писем Шестова, который отчасти объясняется тем, что ему не хотелось тревожить родных, он, безу-

словно, не разделял восторга А. Белого и друзей Бердяева и, как Бердяев, сознавал, может быть, не так остро, «что революция не остановится на февральской стадии, не останется бескровной и свобододлюбивой» (Н. Бердяев. «Самопознание», стр. 246).

Лето 1917 г. Шестов с семьей жил в имении друзей Семена Владимировича (имение Машковцевых, Захаринское почтовое отделение, Каширский уезд, Тульская губерния). Шестовы прожили у Машковцевых больше двух месяцев. Оттуда они ездили в гости к Борису Зайцеву в Притыкино, к ним приезжал Семен Владимирович. В деревенской тишине Шестову удавалось меньше думать о политике и больше работать. О своем пребывании в деревне он пишет матери:

«Я завтра еду в деревню. Ему я в те же места, где жил и в прошлом году, хотя не в то же имение. Это хорошие знакомые Сем. Вл... Дома все благополучно, дела в порядке. Но, конечно, теперь дела мало интересуют — есть только одно дело, которое всех равно поглощает: дело России. Будем надеяться, что Россия справится со всеми трудностями: не первый раз уже приходится быть в трудном положении. До сих пор выходила с честью, Бог даст, и теперь не ударит лицом в грязь». (Москва, 25. 5 [7.6]. 1917).

«Пишу из деревни, где я живу уже больше недели. Здесь очень хорошо: чудный воздух, отличное купанье и погода стоит дивная. Вероятно, поправлюсь здесь, как и в прошлом году, очень хорошо. Здесь такая тишина, спокойствие. Газеты приходят раз в два или три дня, так что о войне, революции и политике иногда даже совсем и забываешь. Даже не верится в нашей глуши, что где-то идет война и политическая борьба. Думаю прожить здесь все лето до середины августа и даже совсем в Москву не ездить. Здесь и хозяйева очень милые и соседи симпатичные, так что жаловаться совсем не на что. Если все лето будет стоять погода, такая, как теперь — ничего лучше и не надо. По-моему, и ни в какую за границу ехать нет надобности: так здесь хорошо ([имение Машковцевых]», 4 [17]. 6. 1917).

«Сегодня вернулся из деревни в Москву и застал два твоих письма. Очень рад, что ты себя хорошо чувствуешь. Я тоже не могу пожаловаться. Прожил больше двух месяцев в деревне, в чудном месте. Лето было удивительно хорошее, места здесь дивные, кормили, по нынешним временам, отлично. Так что я очень поправился и чувствую себя совсем хорошо». (Москва, 4 [17]. 8. 1917).

В начале лета 1917 г. служащие Товарищества забастовали. Конфликт удалось уладить только на втором месяце забастовки. По просьбе матери Шестов ей об этом пишет:

«Ты интересуешься сведениями о забастовке служащих товарищества. Я тебе об этом не писал, так как не знаю, для какой надобности об этом писать. Сам я к этому отношусь совершенно спокойно. В былые времена, когда дела товарищества велись в кредит и когда его задолженность доходила чуть ли не до двух миллионов, забастовка служащих была опасной и могла привести товарищество к банкротству. Теперь же, как ты знаешь, все дела ведутся за наличные деньги. Со времени начала войны во всей России кредит отменен. Стало быть о банкротстве и речи быть не может, т. к. нет ни срочных, ни каких иных платежей. Что же касается неумеренных требований служащих — то они, как и все неумеренные требования, в конце концов, ложатся на потребителей. Это грустно и очень грустно, но против этого ничего не поделаешь: сейчас вся Россия охвачена стремлением повышать цены и, т. к. всеобщее повышение никому ничего принести не может, то в общем получается только путаница. Но, я все-таки не склонен безнадежно относиться к тому, что сейчас происходит: перемелется, мука будет». (Москва 2 [15]. 10. 1917):

Радужные надежды первых дней революции рухнули еще до октябрьского переворота (25. 10 [7.11]. 1917). Шестов пишет Фане и Герману:

«Вообще писать нечего. О наших русских делах — лучше не говорить. Я надеюсь, что перемелется — мука будет. Но, пока очень и очень грустно. Все надеялись, что революция не так пройдет. Хотя — почему надеялись? Непонятно!» (9 [ ]. 10. 1917).

Октябрьский переворот и приход к власти большевиков в Москве 2 (15) ноября после пяти дней перестрелки Шестовы пережили в Москве. Там же они прожили трудную зиму 1917/1918 годов. Шестов об этом рассказывает в письмах к родным, живущим в Швейцарии. Он пишет из Москвы:

«Вы знаете из газет, что было в Москве. Сейчас уже все кончилось. Я здоров и наша квартира совсем не пострадала. Если можно будет, я вам телеграфирую: письма ходят так долго!» (матери, 7 [20]. 11. 1917).

«Но, по теперешним временам, разве можно много писать. Все так грустно, что ни о чем говорить не хочется. И, потом, ведь вы читаете газеты и без нас все знаете. Я вижу здесь довольно часто швейцарские газеты, которые Наташа присылает Алексею Николаевичу<sup>1)</sup>. В общем они сообщают достаточно сведений и дают довольно правильное освещение нашим событиям. И, вдобавок, те сведения, которые вы имеете в газетах, на полтора месяца свежее того, что я мог бы рассказать в письме. Ал. Ник., говоришь ты, пишет вам, что у нас гораздо больше отрадного, чем может казаться. Я этого сам не думаю. Мне кажется, наоборот, что отрадного ничего нет. Оптимизм Ал. Ник. объясняется лишь его желанием видеть хорошее. Тут не он один так думает. Многие, особенно из старых революционных деятелей, надеются, что из настоящего хаоса родится светлое будущее. Но это — заблуждение. Из настоящего хаоса родится отвратительная реакция — даже в том случае, если немцам не удастся после окончания войны сохранить свое влияние. Темная народная масса уже и теперь потеряла всякое понимание происходящего. В городах она три месяца тому назад шла за эсерами. Теперь — идет за большевиками. За кем она пойдет еще через три, или четыре месяца?! Не хочется и думать об этом — но чувствуется, что несла с собой революция, все ее высокие и светлые идеи втаптываются в грязь. Сейчас число убежденных черносотенников растет не по дням, а по часам. Растет везде — и в народе и среди интеллигенции. Горничные, кухарки, швейцары, дворники — пока потихонько только об одном и говорят: царя бы нам. Тепер вот тебя тянет в Россию. Боюсь, что летом тебе уже не захочется сюда ехать, а всех нас потянет из России. Так мне кажется и, дай Бог, чтоб я оказался неправым. Что до нас, то у нас сравнительно благополучно. Московскую стрельбу пережили и все остались целыми. Даже и обыска у нас не было. С едой и топливом тоже у нас благополучно. Квартирка у нас микроскопическая, — так что дров уходит мало. А припасами нас снабжают — по почте и оказией — сестры и братья, так что пока мы не чувствуем большого недостатка. И, затем, овощей в Москве сколько угодно. Да и мяса особенно телятины, баран., свин. пока достаточно, и рыба есть. Недостаток в крупе, муке, масле. Но, говорю, до сих пор наши выручали — присылали». (Фане, 1 [14]. 12. 1917).

<sup>1)</sup> Алексей Николаевич Бах известный химик. До революции жил в Женеве и встречался с Шестовым, когда тот жил в Коппе. В июне 1917 г. Бах вернулся в Россию (Москва) и опять встречался с Шестовым. Дочь Баха, Наташа, в 1917 г. осталась в Женеве. Впоследствии она тоже вернулась в Россию.

«Сегодня у нас новый год. Поздравляю тебя и всех наших с новым годом и желаю, чтоб он принес, наконец, столь долго жданный мир людям. Четвертый новый год мы мечтаем об этом. Может быть, на этот раз наши мечты осуществляются. Тогда, даст Бог, увидимся. Как только война окончится и явится возможность поехать за границу, я тотчас же к тебе выеду и мы уже вместе обсудим, что делать дальше. Будем надеяться, что в апреле или мае все-таки суждено повидаться. У нас, как я писал тебе в предыдущих письмах, все благополучно. Получаю и по почте и с оказией письма от Сони, Мани, Миши. Часто присылают они мне и всякого рода припасы. Так что я до сих пор живу, не нуждаясь. И с топливом у меня благополучно. Квартира у меня маленькая, отопление не центральное, а голландское и небольшого запаса дров мне хватает на целую зиму. Я сам колю дрова — это большая экономия, так как я колю ровно, не толстыми поленами, а нетолстых полен уходит столько же, сколько и толстых и тепла от них больше. Словом, я, несмотря на все трудности, более или менее устроен и жаловаться мне не на что, а тебе беспокоиться не о чем. Уже пол зимы прошло, пройдет, даст Бог, и вторая половина, а там все «образуется»». (матери, 1 [14]. 1. 1918).

Ред.

«У меня все благополучно, я здоров и материальной нужды не испытываю: благодаря друзьям, знакомым и родным, получаю то небольшое, что мне нужно...

Новостей у меня нет. Живу изо дня в день. Стараюсь работать, чтоб поменьше думать о войне и политике». (матери, 17 [ ]. 2. 1918).

Два последние письма — последние сохранившиеся, из писем написанных Шестовым в Москве в 1918 году.

В Москве 11-го июня 1918 г. в праздник Святого Духа Сергей Николаевич Булгаков принял сан священника. Шестов присутствовал при посвящении. Булгаков рассказывает в своих «Автобиографических заметках»:

«К рукоположению пришли в храм и друзья мои, бывшие тогда в Москве. Вспоминаю прежде всего о. Павла Флоренского со своим Васей, участвовавшего и в литургии, М. А. Новоселова, Н. Н. Прейса, Вяч. Ив. Иванова, Н. А. Бердяева, П. Б. Струве,

кн. Е. Н. Трубецкого, Гр. А. Рачинского, В. К. Хорошко, А. С. Глинку, Волжского, М. О. Гершензона, Л. И. Шестова, Е. А. Аскольдову и др. Все они после службы участвовали и в дружеском чаепитии, духовенством храма для нас радушно устроенном (тогда это было не легко)». (С. Булгаков, стр. 42).

Возможно, что это была последняя встреча Шестова с московскими друзьями, так как он вскоре покинул Москву, где жизнь становилась все труднее и труднее. В начале июля Шестов с семьей уехал в Киев.

Публикация Н. Л. Барановой-Шестовой

В архиве Шестова сохранилось большое количество писем, написанных Шестовым и его друзьями между 1895 г. и смертью Шестова (22 ноября 1938 г.). По этим письмам дочь Шестова, Наталья Львовна Баранова-Шестова составила книгу «Лев Шестов по письмам и воспоминаниям современников», пока еще не совсем законченную. Во время войны 1914-1918 г. Шестов и его семья, — жена Анна Елеазаровна и дочери Таня и Наташа — жили в Москве. Мать Шестова, его сестра Фаня Исааковна и ее муж Герман Леопольдович Ловцкий жили в Швейцарии. Шестов им часто писал письма.

Мы воспроизводим отрывок из седьмой главы книги Барановой, относящийся к периоду май 1916 — июль 1918, главным образом основанный на этих письмах.

Ред.

## ПИСЬМО Н. О. ЛОССКОГО

Письмо философа Н. О. Лосского своему сыну, Борису Николаевичу, отражает в сжатом виде «развивающиеся» мысли, изложенные в неизданной его книге «Мир как осуществление красоты» (Основы эстетики).

Ред.

29-1-50

Дорогой Боря,

благодарю тебя за интересные обстоятельные замечания о моей эстетике. У меня есть мамина рукопись; тебе послана копия, сделанная мною по новому правописанию.

Ты не прав, что моя теория есть морализм. В книге на каждом шагу встречаются слова добро и зло, но не в смысле нравственного добра и зла, а в смысле всякой положительной или отрицательной ценности. Эстетика, как и этика, принадлежит к области аксиологии (теории ценностей); поэтому в обеих науках часто употребляются слова добро и зло. Я утверждаю, что идеал красоты есть абсолютная *полнота жизни* личности, осуществимая в Царстве Божиим. Отсюда следует, что все аспекты жизни, необходимые для полноты жизни или ведущие к ней, обладают ценностью красоты, если они воплощены телесно, — напр., разумность, целесообразность, органическая цельность, свобода, мощь (даже стихий, напр., огня, океана). Все эти аспекты не необходимо связаны с нравственным добром.

Согласно метафизике персонализма, положенной мною в основу эстетики, весь мир насквозь пронизан духовною или душевною деятельностью, психоидною, психическою или гиперпсихическою. Все материальное есть *психоидноматериальное* или *психо-материальное*. Мысль занимает очень мало места в этой душевной жизни. Не только красота природы, но и красота в искусстве *не есть выражение мысли*, но она всегда есть выражение какого-либо смысла. Даже тогда, когда художник исходит в своем творчестве из какой-либо



мысли, он воплощает в своем произведении не мысль, а мыслимое им бытие.

Воплощение формы в материи, т. е. в красках, звуках, пространственных формах еще не есть весь состав красоты. Согласно учению о всеодушевленности мира, каждое событие творится каким-либо субстанциональным деятелем соответственно его стремлениям и чувствам. Таким образом, напр., красный цвет есть психоиднокрасный и голубой цвет есть психоидно-голубой; они выражают весьма различные *настроения* субстанциальных деятелей. Также и все звуки суть выражение психоидных или психических процессов. Таким образом и фуги Баха суть не только сплетения звуков. Если признать, что все внешнее материальное есть выражение *внутренней жизни*, положительно или отрицательно ценной, то естественно принять и учение о «заундированности» красоты. И слова «J'adore l'âme de la chaire» становятся понятны: в них, вероятно, подчеркнуто восхищение биологическим цветением жизни, вроде того, как мы восхищаемся красотой жизнерадостности детей, играми щенков, котят. Ароматы и вкусы (наблюдение Guau) еще глубже выражают психоидную жизнь природы, чем краски и звуки, но мы редко наблюдаем красоту их, потому что они слишком отвлекают наше внимание в сторону наших телесных нужд. Изображение безобразия, возникающее благодаря «беспощадно-жалостливому взгляду на человеческое существо», есть откровение *ненормальности* безобразия, что и дает эстетическое удовлетворение. Драма «Моцарт и Сальери» есть воплощение идеи «гений и злодейство несовместны». О значении «Скупого рыцаря» и «Все что гибелью грозит» сказано в моей Этике. Можно ли мне вставить фразу: «Мой сын Борис Лосский, историк искусства, указал мне на ворота всемирной парижской выставки 1900 г., как пример влияния альбомов Геккеля»?

Целую тебя и благодарю за твои соображения о красоте.

Твой папа

Из архива В. Н. Лосского.

### К 110-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ Н. ЛОССКОГО

Прошло уже 110 лет со дня рождения Лосского, и 15 лет со дня его смерти. Но образ этого философа Божией милостью не только не помутнел, но стал светиться еще ярче. Лосский еще при жизни был причислен к классикам русской философии, но он продолжал трудиться до самой своей болезни, вызванной неудачной операцией в 1960 году. В конце 50-х и начале 60-х годов вышли такие его книги, как «Общедоступное введение в философию», и «Характер русского народа». Он написал также брошюру, посвященную критике новейшей математической логики, и ряд статей в зарубежной прессе. Когда я видел Лосского в последний раз в 1959 году, он говорил, что хочет закончить свой труд по эстетике — «Мир как осуществление красоты». Однако, судьба не дала ему закончить этот капитальный труд.

Я не буду излагать в этой статье системы Лосского — я делал это не раз в моих статьях о Лосском, и в предисловии к его книге «Общедоступное введение в философию». А что касается до личных встреч с ним, то я посвятил им большую статью в «Новом Журнале».

В этой небольшой статье я хотел бы только высказать несколько дополнительных соображений о значении его философии.

Как это не раз уже отмечалось, — Лосский является едва ли не единственным русским мыслителем, создавшим внутренне цельную и внешне отделанную систему философского мировоззрения, которое с гносеологической стороны он сам назвал «интуитивизмом», а с онтологической стороны — «конкретным идеал-реализмом» и «персонализмом». Основы своей метафизики он изложил в классическом труде «Мир как органическое целое», который вышел по-русски в 1917 году, в самый неблагоприятный момент, и является теперь библиографической редкостью.

Тот факт, что Лосский до революции занимался главным образом чистой философией, идя этим против течения, отразился неблагоприятно на его популярности. Лосского знала и уважала, главным образом, интеллектуальная элита, широким же кругам русской интеллигенции он был известен больше по имени. Однако, именно до

революции Лосский написал добрую половину своих лучших трудов, из которых «Обоснование интуитивизма» создало ему солидную репутация также за границей (эта книга была опубликована по-немецки и по-английски также еще до революции). И именно по поводу этой книги голландский философ Скельдруп заявил, что она — первый гигантский шаг в области гносеологии со времен Канта. Книга и по сей час является украшением русской и мировой гносеологической литературы.

Я сказал, что заслуги Лосского относятся преимущественно к области чистой философии (гносеологии и метафизики), — в контраст другим одаренным русским философам, которых социальные и религиозные интересы то и дело уводили от чисто философских исследований. Но этот тезис, правильный сам по себе, нуждается в существенных дополнениях.

Тезис этот вполне применим к до-революционному времени, но он уже выглядел бы односторонним для позднейшего, эмигрантского периода его творчества. По мере дальнейшего созревания его огромного философского таланта, мысль Лосского все более устремлялась к Богу. Большую роль здесь сыграла смерть его любимой дочери в 1917 году, когда в Лосском произошел настоящий религиозный переворот. Но еще до этого, в своей книге «Мир как органическое целое», вышедшей в том же году, Лосский противопоставляет наш, лежащий во зле, мир — Царству Божию, в котором преодолена пространственно-временная и эгоистически разобщающая раздробленность, и явлено торжество Добра и Красоты.

Очевидно, смерть дочери помогла пробуждению живой религиозности Лосского и его возврату к церкви, к которой он раньше относился с осторожностью. В области же мысли, поворот к Богу был совершен им еще до этого трагического события.

Во всяком случае, ко времени своей вынужденной эмиграции, Лосский уже твердо стал на почву христианского миропонимания. Это не означало, что он отошел от чистой философии. Такая его книга как «Свобода воли» (1925) является одним из лучших трудов о проблеме свободы воли вообще. (Недаром она была принята как одно из основных пособий в ряде университетов, в том числе в Гарвардском университете). Но в конце книги Лосский добавляет, что совершенная свобода воли достигается лишь в царствии небесном. Чисто философский характер носят еще две основоположные кни-

ги, написанные им в эмиграции: «Ценность и бытие» (1931), и «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция» (1938). Но и в этих книгах Лосский не скрывает своей религиозной устремленности, что нисколько не мешало ему производить в высшей степени ценные философские анализы). Вообще, это — предрассудок, что внесение религии в философию, будто бы, принижает философию или уводит ее в сторону от честного искания истины. Большинство великих философов, как древности, так и нового времени, были религиозными или находили в религиозности высший синтез своих философских исканий. Сказанное особенно относится к Лосскому.

Лосский не был религиозным философом в таком смысле, в каком мы употребляем это выражение, говоря о Бердяеве, Булгакове, Флоренском. Но он был философом, пришедшим к религии, и его личная религиозность была глубока. Бог и царство Божие были для него несомненной реальностью, как в этом может убедиться каждый, кто даст себе труд прочесть его книги, выпущенные в эмиграции. Но приемы его изложения носили характер не религиозной апологетики, а спокойного и методического развития философской системы, в которой Бог был началом и концом. Даже в своей религиозной философии Лосский сохранял сократовскую невозмутимость. Он говорил и писал не как ищущий, а как нашедший. Для Лосского между разумом и верой не было противоречия, и его философия представляет собой редкий пример гармонического синтеза между верой и знанием. В этом отношении Лосский являлся резкой антитезой Льву Шестову, который настаивал на абсолютной несовместимости веры и разума, и умел эту несовместимость делать заманчивой. При этом Лосский утверждал, что разум с разумной необходимостью приводит нас к утверждению бытия Сверх-разумного — Господа Бога. Его религиозная философия была не иррациональной, а сверх-рациональной. Она представляет собой редкий образец глубоко продуманного теизма, — в противоположность Соловьеву или Флоренскому, которые склонялись (со всеми оговорками) к пантеизму.

Во всех своих позднейших книгах, Лосский дает философскую характеристику Царства Божия, как совершенной целостности и слитности, как отсутствия разделяющей вражды и торжества добра и красоты. И затем он переходит к описанию нашего «психоматериального царства вражды», как результат отпадения от Бога и умаления целостности и слитности. Русский философ С. Гессен, в своей речи о Лосском по поводу его шестидесятилетия, (в 1930-м году)

назвал такой метод «методом полноты и синтеза», в противоположность методам, в которых высшие формы бытия объясняются как результат развития или эволюции низших форм. Он указал также на философскую оригинальность и ценность подобного метода. Следует отметить, что сам С. Гессен стоял на иных — кантианских позициях. Таким образом, помимо свидетельства о личной религиозности Лосского, его метод объяснения низшего, исходя из высшего, редко практикующийся в философии, представляет собой большую философскую ценность.

Говоря в целом, главные философские заслуги Лосского заключаются, по моему мнению, в следующем:

1) Он первый дал не только описание интуиции, но и ее гносеологическое обоснование. Он освободил понятие интуиции от чрезмерного иррационализма, которым грешит, например, учение Бергсона. И он дал четкое и убедительное описание трех главных форм интуиции: чувственной, интеллектуальной и мистической.

2) Лосский представил глубокие доводы в пользу утверждения органической цельности мира. Он утверждал, что, хотя, по сравнению с царством Божиим, наш мир взаимочужд и взаимовраждебен, — все же в нем сохраняется известный минимум целостности и солидарности, без которого наш мир распался бы. Лосский не впал при этом в утверждение гипертрофированной целостности мира, в духе учений, растворяющих все индивидуальности в мировом целом. Он утверждал, что индивидуальности сохраняют свое своеобразие, даже при тесной связи всех явлений между собою. Тезису Николая Кузанского — «все во всем», он противопоставил тезис: «все имманентно всему». «Имманентность всех субстанциальных деятелей» (термин, введенный Лосским) друг другу не означает их полного взаимослития.

3) В своей небольшой книге «Свобода воли», Лосский дал одну из самых блестящих защит реальности свободы воли во всей мировой литературе по этому вопросу. Он прекрасно показал, что кошмар всеобщей предопределенности, к которому приводит последовательный детерминизм, — является следствием ложной постановки вопро-

са и невнимания к данным внутреннего опыта. Ошибка детерминизма, говорит он — не в том, что он утверждает зависимость нашей воли от факторов среды, наследственности и пр., — а в том, что он приписывает этим внешним по отношению к нашему «я» факторам абсолютное значение. По учению Лосского, наша воля свободна: а) от всеопределяющего, якобы, влияния среды, б) наследственности, с) воспитания, д) и от самого Господа Бога, поскольку Бог сотворил нас свободными. Этим он объясняет явление богоборчества.

Добавим, что настоящий философ должен объяснить не только добро, но и зло. В своей книге «Бог и мировое зло» Лосский дал одну из самых глубоких теодицей в мировой философской литературе.

По краткости замысла данной статьи, я не буду больше говорить о философских заслугах Лосского. В силу той же краткости, я не дал в этой статье изложения теорий Лосского (повторяю, это сделано мною в других статьях о нем). Но закончу утверждением, что заслуги эти чрезвычайно велики, и что у Лосского есть чему научиться даже большим философам. Он и был великим учителем и на кафедре имел мало себе равных. В самом облике Лосского есть нечто сократическое. Но он был верующим христианским Сократом.

Теперь несколько слов по поводу популярности Лосского.

Лосский добился первой известности не только в России, но и на Западе, еще до революции. В частности, в России в конце 10-х годов образовалась группа поклонников и последователей Лосского, но преследования идеалистической философии и высылка Лосского за границу в 1922 году оборвали этот обещающий процесс. За годы эмиграции, в особенности за его чрезвычайно плодотворный Пражский период (1922-1942), эта известность достигла степени славы. Нет сомнения, что его слава стала бы мировой, не случись революции. И тогда, по справедливому замечанию В. Ильина, именно Лосский, а не Митины и Дынники представляли бы русскую философию. Все же известность Лосского на Западе сильно отставала и еще отстаёт от реальных заслуг нашего мыслителя. На Западе, особенно в послевоенные годы, особой популярностью пользовались два противоположных течения: экзистенциализм и нео-позитивизм. Учение Лосского не было созвучно ни тому, ни другому. Он не разделял того обожествления трагедии, которое свойственно экзистенциали-

стам. И он не мог сочувствовать нео-позитивизму, с его тенденцией заменить философию математической логикой. Лосский был слишком классик для обоих течений, хотя в традиционную философскую классику он внес многое новое. Бердяев и Шестов оказались в русле экзистенциальной философии, но Лосский остался в этом отношении в стороне. Конечно, многое объясняется и эмигрантством Лосского. Это все не значит, что Лосский остался неизвестным Западу. Почти все западные философы знают его имя, но лишь немногие дали себе труд прочитать его переведенные на западные языки книги. И эта, сравнительно малая популярность Лосского — не к чести современной западной философии, которая могла бы многому научиться от него.

Научиться прежде всего мудрости, а также искусству классически-четкого выражения ее.

*Сергей Левицкий*

---

---

**ИЗ МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ****ПИСЬМО Н. РИМСКОГО-КОРСАКОВА,  
М. ДЕЛИН В НИЦЦУ**

С. Петербург  
Загородный пр. 28  
22. 4. 1907 г.

Дорогой Михаил Осипович,

Я весьма виноват перед Вами, что забыл послать Вам Китеж и сделаю это на днях, (что касается до Кашея, то Вы вероятно его давно получили). Своими сочинениями, изданными у Беляева я уже не могу распоряжаться, так как из состава совета я вышел, а потому не могу указывать Шефферу чтобы он что-либо Вам высылал из моих сочинений. (Неразборчиво) партитуру Садко конечно вышлю с удовольствием Т. Марти, но сделаю это тогда, когда таковая выйдет в свет с французским переводом. Впрочем я вероятно и сам увижусь с Марти в Париже, куда проеду 30 Апр./13 Мая (в понедельник), так как приглашен устроителями русских концертов дирижировать некоторыми своими вещами. Поэтому Вы, дорогой Михаил Осипович, увидите в скором времени не только с Глазуновым, но и со мной, чему я заранее несказанно радуюсь.

Я еду со всем семейством, или почти со всем, так как замужняя дочь и женатый сын не едут.

Ничего дурного не вижу в исполнении VI картины Садко с русским текстом (солистами). Если бы русские солисты вздумали бы петь по-французски, то у них бы это не звучало как следует; подробное же изложение текста будет в программах, которая будет раздаваться даром всей публике.

Не нахожу чтоб программа концертов была составлена скверно, а, напротив, считаю ее интересной. Отсутствие сочинений С. И. Танеева действительно составляет ее недостаток, но из-за этого все остальное нисколько не поблекнет.



Фирмой Бесселя управляет брат В. В. — Иван Васильевич Бессель; о Вас и Борисе Годунове я с ним поговорю, а Вы снесите с ним сами.

Прилагаю при сем ваши письма.

Супруге привет.

И так до скорого свидания

Ваш Н. Р. Корсаков

22 Апр. 1907

С. Петербург

Фирма Бесселя управляет братом В. В.  
Иваном Васильевичем Бесселем; о Вас и  
Борисе Годунове я с ним поговорю, а  
Вы снесите с ним сами.

Прилагаю при сем ваши письма.  
Супруге привет.

И так до скорого свидания.  
Ваш Н. Р. Корсаков

22 Апр. 1907  
С. Петербург

## ПИСЬМО А. ГЛАЗУНОВА ДИРИЖЕРУ Н. КУРОВУ

14, rue de la France Mutualiste, Boulogne s/S.  
10-го декабря 1934 г.

Дорогой Николай Николаевич,

Простите, что я по многим причинам не ответил Вам на Ваше письмо. Во-первых, — было воскресенье, во-вторых, — я не собирался в концерт, где играл Арт. Рубинштейн, а в третьих, — я расхворался, сижу и даже лежу дома. У меня кашель, приподнятая температура, испарина, словом все симптомы гриппа. Мне очень будет приятно, если Вы захотите навестить меня в среду или в четверг около 6 час. вечера. Долго сидеть я к сожалению не могу, так как чувствую слабость. Появляются подагрические боли, то около левой кисти, то на шее. Играть я могу, хотя от широких аккордов левая рука утомляется и ноет. Настроение унылое, не без юмора. Снилось мне, что я слушал музыку, **полулежа** в ложе театра. Когда мне нравилось, я аплодировал руками, когда же играли Стравинского, — я бесшумно болтал ногами.

Ольга шлет Вам привет.

Всего лучшего.

Душевно преданный

Из собрания С. Лифаря

А. Глазунов



## ПИСЬМО Л. ТОЛСТОГО ЛЕОНИДУ АНДРЕЕВУ

ЯСНАЯ ПОЛЯНА.

2 сент. 1908 года.

Получил ваше хорошее письмо, любезный Леонид Николаевич. Никогда не знал, что значит посвящение, хотя кажется и сам кому-то посвящал. Одно знаю, что ваше посвящение мне означает ваши ко мне добрые чувства, тоже что я видел и в письме, а это мне очень приятно.

Вы в вашем письме так искренно скромно судите о своих писаниях, что я позволю себе сказать свое мнение не о ваших собственно писаниях, но вообще мои мысли о писательстве, которые может быть пригодятся и вам. Думаю, что писать надо во первых только тогда, когда мысль, которую хочется выразить, так неотвязчива, что иначе не отделаешься от нее, как только тогда, когда как умеешь выразишь ее. Всякие же другие побуждения для писательства, хотя и присоединяющиеся к главному: потребности выражения, только могут мешать искренности и достоинству писания. Этого надобно очень бояться. Второе, что часто встречается и чем, мне кажется, часто грешны особенно нынешние современные писатели (все декадентство на этом стоит) — желание быть особенным, оригинальным, удивить, поразить читателя. Это еще вреднее тех побочных соображений, о которых я говорил в первом. Третье, поспешность писания. Она и вредна и кроме того есть признак отсутствия истинной потребности выразить свою мысль. Потому что если есть такая истинная потребность, то пишущий не пожалеет никаких трудов, ни времени для того, чтобы довести свою мысль до полной определенности и ясности. Четвертое: желание отвечать вкусам и требованиям большинства публики в данное время. Это особенно вредно и разрушает вперед уже все значение того, что пишется. Значение ведь всякого словесного произведения только в том, что оно не в прямом смысле поучительно, как проповедь, но что оно открывает людям нечто новое, неизвестное им и большей частью противоположное тому, что считается несомненным большой публикой. А тут как раз ставится необходимым условием то, чтобы этого не было.

Может быть что-нибудь из всего этого пригодится вам. Вы пишете, что достоинство ваших произведений есть искренность. Я признаю не только это, но что и цель их добрая: желание содействовать благу людей. Думаю, что вы искренни и в своем скромном суждении о своих произведениях. Это тем более хорошо с вашей стороны, что тот успех, которым они пользуются мог бы заставить вас напротив преувеличи-

вать их значение. Я слишком мало и невнимательно читал вас, как я мало вообще читаю художественные произведения и интересуюсь ими: но по тому, что я помню и знаю из ваших писаний, я бы посоветовал вам больше работать над ними, доводя в них свою мысль до последней степени точности и ясности.

Повторяю то, что ваше письмо мне было очень приятно. Если будете в наших странах рад буду повидаться с вами.

Любящий вас Лев Толстой

Р. С. Лев Николаевич просит приписать, что так поздно отвечает на ваше письмо потому что оно, как посланное по адресу не ближайшей почт. станции, было получено им только вчера.

Искренно уважающий Н. Гусев

(Из собрания А. Я. Полонского).

Ясная Поляна  
3 сент. 08.

Многоуважаемый

Леонид Николаевич,

Уже отправив вам письмо, Лев Николаевич сделал следующие дополнения в оставшуюся у нас копию:

- 1) после слов: «всякие же другие побуждения для писательства» — *тщеславные и, главное, отвратительные денежные*
- 2) после слов: «о которых я говорил в первом»: — *Это исключает простоту, а простота необходимое условие прекрасного. Простое и безыскусственное может быть нехорошо, но не простое и искусственное не может быть хорошо.*
- 3) на последней строчке первой страницы: *читающей публики.*

С искренним уважением Н. Гусев

(Архив Леонида Андреева, University of Leeds)

**«Он пугает, а мне не страшно»**

Кому не знакомо это, еще в начале века ставшее крылатым *bon mot* Льва Толстого о Леониде Андрееве? Для многих читателей этим добродушно-уничтожающим отзывом Толстого, вероятно, и исчерпывается весь вопрос об отношении «великого писателя земли русской» к своему молодому собрату по перу. Поэтому, думается, воспроизведенное выше письмо Толстого (последнее из трех известных писем Толстого к Леониду Андрееву) многих, наверное, удивит своим задушевным тоном и еще тем, что оно свидетельствует о явно взволнованном интересе Толстого к личности и творчеству Леонида Андреева.

Уже в декабре 1901 года, вскоре после выхода первого сборника рассказов Андреева, Горький написал ему из Крыма:

«Говорил о тебе с Толстым — не первый раз уже. Сегодня он у меня был и сам завел разговор. Очень хвалил «Жили-были», «Большой шлем», «У окна», «О Сергее Петровиче». В то же время сказал «Есть анекдот о мальчишке, который так рассказывал сказку товарищу своему: «Была темная ночь — боишься? В лесу выл волк — боишься? Вдруг за окошком — боишься?» Вот и Андреев так же: пишет и все как бы спрашивает меня: «Боишься? боишься?» А я — не боюсь! Что, взял?» Много говорил похвального чистоте языка и силе изображения. Великолепный старик!»

(Горький и Леонид Андреев «Неизданная переписка»  
Литературное наследство, т. 72. Москва, 1965, стр. 122)

Отсюда, по-видимому, взяло свое начало *bon mot* Толстого, которое он потом повторял в беседе с А. Б. Гольденвейзером в 1902 году:

«По поводу Леонида Андреева я всегда вспоминаю один из рассказов Гинцбурга, как картавый мальчик рассказывает другому: «я шой гулять и вдъюг вижю бежит войк... испугайся?.. испугайся?..» А я нисколько не испугался»

(«Вблизи Толстого», Москва, 1959, стр. 124)

и с М. В. Нестеровым в 1907 году:

«Наш разговор перешел на современную литературу. Досталось Горькому, особенно Л. Андрееву, который якобы хочет своими произведениями всех напугать: “А я его все-таки не боюсь!” — закончил Толстой».

(«Л. Н. Толстой и художники», Москва, 1978, стр. 160)

Как бы то ни было — а у кого нет своих излюбленных словечек! — любопытно отметить, что, по мнению знатока яснополянской библиотеки, А. Е. Грузинского:

«Ни один из современных писателей не был с таким вниманием читаем Толстым, как Л. Андреев, если судить по количеству оценок и отметок, сделанных на его сочинениях».

(«Толстовский Ежегодник», Москва, 1912, стр. 140)

Правда, высказывания Толстого о произведениях Леонида Андреева, как, впрочем, и о произведениях подавляющего большинства молодых писателей того периода, были чаще всего довольно суровыми:

«Отвратительно! Фальшь на каждом шагу!» «Полное отсутствие чувства меры.» «Литературная невоспитанность.» «Полная бессмыслица.»

но, опять-таки по мнению А. Е. Грузинского:

«Недостатки Л. Андреева искупались чем-нибудь в глазах Толстого и, во всяком случае, не отнимали у него интереса к писателю».

После внимательного и вдумчивого изучения всех материалов по этому вопросу Тартуский ученый В. И. Беззубов пришел к заключению, в своей статье «Лев Толстой и Леонид Андреев», что:

*«Именно в проблематике творчества Л. Андреева нужно искать объяснения «особенного интереса» Толстого к молодому писателю. Андреев все время вращался в кругу тех же вопросов, тех же сложных проблем жизни, которые мучили и Л. Н. Толстого, особенно в последний период творчества».*

(«Ученые записки Тартуского государственного университета», вып. 104, Тарту, 1961, стр. 135 — курсив автора).

Этим, по всей вероятности, и объясняется постоянный интерес Толстого к новым произведениям Леонида Андреева и одновременно неприятие его художественной манеры. Характерный эпизод записан Н. Н. Гусевым 6-го февраля 1908 года:

«Вчера Лев Николаевич читал в газете заметку о последнем рассказе Леонида Андреева «Тьма». Мысль рассказа ему понравилась. Сегодня он прочитал самый рассказ и был очень разочарован».

(«Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 2, Москва, 1955, стр. 219)

В этом отношении стоит заметить, что сам Толстой допускал возможность того, что его эстетический вкус несколько устарел. В том же 1908 году он говорил А. Б. Гольденвейзеру:

«Я все боюсь, что это стариковская черта — признавать все только свое старое. Но вот и в литературе, хотя бы у нас: после Гоголя, Пушкина — Леонид Андреев».

(«Вблизи Толстого», Москва, 1959, стр. 222).

все возрастающее чувство, что:

«Ему надо было бы начать писать, как молодому, начинающему писателю, с самыми строгими к себе требованиями, забыть о своей популярности, и тогда из него могло бы выйти что-нибудь, — у него есть кое-что».

(«Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 2, Москва, 1955, стр. 234),

наверное, и побудило Толстого попытаться в некотором смысле «оздоровить» Леонида Андреева, помочь ему лучше служить их общему делу разоблачения лжи и обмана в сложившихся в продолжение веков человеческих отношениях, будь то этических и психологических, или социальных и политических. Именно такая попытка предпринимается в публикуемом письме, ибо, несмотря на то, что Толстой уверяет Леонида Андреева, что письмо содержит лишь общие замечания о литературе, на самом деле каждая из его «мыслей о писательстве» представляет собой смягченный вариант того или другого критического отзыва о творчестве Леонида Андреева, высказываемого Толстым в беседах в последние годы его жизни.

Письмо Толстого является ответом на следующее письмо Леонида Андреева (от 18-го августа 1908 года), которое достаточно ясно выражает его неизменно благоговейное отношение к Толстому:

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

У меня есть «Рассказ о семи повешенных», который я очень хотел бы посвятить Вам, и прошу на это Вашего доброго согласия. Сейчас рассказ напечатан в «Альманахе», изд. «Шиповника», а с 1-го января 1909 г. я отказываюсь от права авторской на него собственности, предоставляя издавать его всякому желающему. Я сделал бы это теперь же, но по обстоятельствам дела вынужден переждать некоторое время и дать возможность «Шиповнику» получить затраченные им деньги.

Я хорошо знаю крупные художественные недочеты рассказа, во многом сам решительно им недоволен, и в оправдание свое могу

привести только то, что я был нездоров, когда писал, и очень торопился. Думалось, что пусть лучше художественные недостатки, но только выпустить теперь же, так как молчать нельзя. И если сейчас я осмеливаюсь просить Вас о разрешении посвятить рассказ Вам, то лишь потому, что полная искренность лежит в основе его. С глубокой болью писал я, и не рассказ, который плох, а свою боль приношу Вам, человеку, всю жизнь мою, с самых ранних лет, стоявшему надо мною, как воплощение совести и правды.

Я знаю, глубокоуважаемый Лев Николаевич, что многое из написанного мною очень не нравится Вам, и знаю, что во многом Вы совершенно правы. Но силы мои ограничены, я часто не могу и не умею избавиться от недостатков письма, которые и для меня очевидны, — по-видимому, в самом существе моем коренятся они и так же неотъемлемы, неисправимы, как и голос. Все же я непрестанно борюсь с ними, ибо слишком часто они затмевают то самое дорогое для меня и важное, что только важно и для Вас — искренность. Ни разу в своих вещах я не был неискренним — только это дает мне право обратиться к Вам с этим письмом и просить — снисхождения к человеку, который так любит Вас и чтит, и если не делает всего, что нужно, то лишь по недостатку сил.

Обычай требует, чтобы в конце письма перед фамилией поставить какое-то слово, которое говорит об отношениях — но я не могу найти ни одного такого слова, которое вполне бы выразило, как люблю я Вас и что значите Вы для меня.

Очень прошу Вас адресовать Ваш ответ ко мне так:

Финляндская ж. д. ст. Териоки, местечко Ваммелсуу.

Леониду Ник. Андрееву.

Леонид Андреев.

(«Сборник Государственного Толстовского музея»  
Москва, 1937)

Отрывок из ответа Толстого был напечатан в газете «Русские Ведомости» (№ 69 от 25 марта 1909), и полный текст письма вошел в сборник «Италии» (С.-Петербург, 1909) в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине. С тех пор письмо перепечатывалось несколько раз, в частности в юбилейном издании сочинений Толстого (т. 78, стр. 218-219). Однако, в данной форме оно появляется впервые. Увидеть его в первоначальном виде, с припиской Н. Н. Гусева в конце основного текста и с дополнениями, сообщаемыми Андрееву Гусевым в отдельном письме от 3-го сентября 1908 года, позволяет нам еще раз убедиться в том, что Толстой придавал своему ответу на письмо Леонида Андреева большую важность и долго размышлял о нем.



## ПИСЬМО АЛЕКСАНДРА БЛОКА

3 февраля 1911.

СПБ. М. Монетная 9, кв. 27.

Леонид Николаевич, мне было приятно получить Ваше письмо. Почему Вы сомневаетесь, надо, или не надо писать? Если было влечение, так надо. В нашем знакомстве с Вами было что-то трудное — внутренне и внешне. Я опасался и до сих пор опасаюсь многого в Вашей душе; кроме того, не люблю Ваших произведений последних лет — того, что знаю из них и о них; кроме того, дичусь Вашей знаменитости и той среды, которую она около Вас создает.

Ведь, конечно, редко  
удается говорить похоро-  
сту, или чувствовать  
настоящее „общее“;  
но ведь, сам и не видя  
ничего, это не боги  
знают конья бода.  
Жму Вашу руку.

Александр Блок.

Все это могло бы быть второстепенным, если бы я мог узнать о Вас что-нибудь другое. Каким способом это сделать, — не знаю; знаю, что Вы — очень тяжелый человек, да и я — тяжелый.

На всякий случай, хочу Вам сказать: если Вам вздумается когда-нибудь зайти ко мне, я всегда буду рад Вас видеть. Конечно, редко удастся говорить попросту, или чувствовать настоящее «общее»; но ведь, если и не выйдет ничего, это не Бог знает какая беда.

Жму Вашу руку

Александр Блок

(Из собрания А. Я. Полонского).

#### «Почему мы с Вами идем против судьбы?»

В этом вопросе, заданном Леонидом Андреевым в письме к Блоку в апреле 1908 года, вкратце выражена вся история их так никогда и не состоявшейся дружбы.

В начале своих воспоминаний о Леониде Андрееве, написанных в 1919 году, Блок с не меньшей горечью писал:

«Воспоминания мои совершенно почти лишены фактического содержания, но связаны с Л. Андреевым мы были и при редких встречах заявляли друг другу об этой связи с досадным косноязычием и неловкостью, которые немедленно охлаждали нас и взаимно отчуждали друг от друга.

Поэтому все, что я могу сейчас сказать, будет нерадостно и невесело. Будет рассказ, каких немало, о людях которые кое-что друг про друга знали *про себя*, а воплотить это знание, пустить его в дело не умели, не могли или не хотели. Я об этом говорю так смело, потому что не на мне одном лежит вина в духовном одиночестве, а много нас — все мы почти — были духовно одиноки».

Собрание сочинений, т. 6, стр. 129-130).

Сложные перипетии взаимоотношений двух писателей подробно прослежены и всесторонне освещены в другой блестящей работе В. И. Беззубова «Александр Блок и Леонид Андреев» («Блоковский сборник», Тарту, стр. 226-320), основываясь на которой можно сделать вывод, что отношение Блока к Леониду Андрееву не было однозначным, оно могло резко меняться в ту или иную сторону в силу разных причин, чаще всего касающихся в первую очередь личных переживаний и творческих поисков самого Блока. Поэтому,

было бы ошибочным судить об отношении Блока к Леониду Андрееву по одному публикуемому выше письму, которое относится к периоду довольно сильного отталкивания от личности и творчества Леонида Андреева. В противовес этому письму можно привести следующее место из письма Блока к В. П. Веригиной от 27 февраля 1907 года, периода наибольшего, пожалуй, притягивания Блока к Леониду Андрееву. Веригина не разделяла восторженного мнения Блока о «представлении» Леонида Андреева «Жизнь Человека», идущем в театре Комиссаржевской в постановке Мейерхольда, и он ей писал:

«Я знаю, что Вы не чувствуете теперь Леонида Андреева, может быть от усталости, может быть оттого, что не знаете того последнего отчаянья, которое сверлит его душу. Каждая его фраза — безобразный визг, как от пилы, когда он слабый человек, и звериный рев, когда он творец и художник. Меня эти визги и вопли проникают всего, от них я застываю и переселяюсь в них, так что перестаю чувствовать живую душу и становлюсь жестоким и ненавидящим всех, *кто не с нами* (потому что в эти мгновенья я с Л. Андреевым — одно, и оба мы отчаявшиеся и отчаянные.). Последнее отчаянье мне слишком близко, и оно рождает во мне последнюю искренность, притом, может быть, вывороченную наизнанку».

(«Собрание сочинений», т. 8, стр. 181)

Со своей стороны, как вспоминал Корней Чуковский:

«Леонид Андреев был почитателем Блока и любил его поэзию до слез».

Как раз увлечение стихотворением Блока «Поздней осенью из гавани...» послужило поводом для письма Леонида Андреева от 26-го января 1911 года, ответом на которое является воспроизведенное выше письмо Блока от 3 февраля 1911 (впервые опубликовано в журнале «Нева», № 4 за 1966 год). Чуковский вспоминает дальше:

«Как-то в Ваммельсуу я пошел с Андреевым на лыжах, и он неподалеку от станции Райвола рухнул в снег и не встал, а когда я попробовал помочь ему встать, оттолкнул мою руку и произнес со слезами:

И матрос, на борт не принятый,  
Идет шатаясь сквозь буран.  
Все потеряно, все вышито!  
Довольно — больше не могу...

И назвал эти строки гениальными».

(«Люди и книги», Москва, 1960, стр. 535-536).

Стихи Блока произвели на Леонида Андреева такое сильное впечатление, что он написал ему следующие строки:

«Прочел Вашего «Матроса» в «Новой Жизни» — и как-то душевно потянуло меня к Вам. Нужно ли это писать Вам, или нет, не знаю. Может, и не нужно. Но подчиняюсь влечению, шлю Вам сердечный привет и память, крепко жму руку».

(«Реквием» — Сборник памяти Леонида Андреева, Москва, 1930, стр. 87).

Однако, и в этот раз желание Андреева перестать идти «против судьбы» ни к чему не привело. Это не мешало Блоку потом сказать, что:

«Мы встретились и переключались независимо от личного знакомства — чаще в «хаосе», реже — «в одиноких восторженных состояниях».

И он закончил свои воспоминания скорбными словами:

«Знаю о нем хорошо одно, что главный Леонид Андреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, не признан и всегда обращен лицом в провал черного окна, которое выходит в сторону островов в Финляндии, в сырую ночь, в осенний ливень, который мы с ним любили одной любовью. В такое окно и пришла к нему последняя гостья в черной маске — смерть».

(«Собрание сочинений», т. 6, стр. 135)

*Ричард Дэвис*

## К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. ЗАЙЦЕВА

Вы родились, Борис Константинович, в Орле 29 января 1881 года. Детство провели в русской деревне конца XIX века и молодость Ваша протекала в стране, подвергнувшейся неимоверным потрясениям, которые теперь принадлежат истории. Страна эта, которая так Вам дорога, что Вы как бы носите ее в себе, которая, на протяжении всего Вашего творческого пути является единственной темой, явной или тайной — страну эту Вам пришлось покинуть вот уже 48 лет тому назад. Вы разделили судьбу миллиона русских эмигрантов и Вы продолжали творить с чувством, будто бы Вы подчиняетесь исторической необходимости.

Сегодня Вы могли бы воскликнуть торжествующе с тем чувством, которому французский поэт Сэн Жон Перс дал окончательную и lapidary форму «Grand Age, nous voici!»\*). Ваш взор охватывает целую эпоху и в то же время больше полувека литературного творчества. Недаром Вас прозвали «Патриархом русской словесности». Прежде чем отвечать на все вопросы, на которые Вы один можете ответить не прибегая к книжным источникам, не согласились ли бы Вы поделиться с нами переживаниями, которые может испытать человек, имевший редкий дар принадлежать к двум столетиям и который при тех обстоятельствах, которые нас в настоящую минуту объединяют, должен осознать то редкостное и исключительное свое положение из «Реки времен», если только Вы нам разрешите воспользоваться этим образом, заимствованным из названия Вашей последней книги?

Да, я родился в Орле, но уже годовалым ребенком был перевезен в Калужскую (соседнюю) губернию, где отец, горный инженер, получил место начальника рудников для ближайших железодельных заводов.

Родители мои, по происхождению дворяне, находились на границе барства и тогдашней интеллигенции, т. е. немногочисленной группы просвещенных людей. Нас, детей, воспитывали как во всех семьях тогдашнего образованного общества: первоначальное домашнее обучение (гувернантки немки), дальше гимназия и высш. учебн. заведения. Мы жили — в раннем моем детстве, — в большом некогда

\*) «Вот и мы, глубокая старость».

помещичьем доме села Усты, отец ездил каждый день на соседние рудники, а в Устах, при патриархальном тогдашнем складе жизни, считался как бы и представителем власти, а с другой стороны заступником крестьян в их бедах (пожары, голод, мать моя лечила, как умела, детей, укрывала баб от побоев мужей, и т. п.).

Все мое детство прошло — кроме семьи моей — среди простонародья. Был я среди них «барчук», но и простой товарищ детских игр. Крепостное право уже не существовало, но конечно состояние — по всему складу и материальной жизни и образованию — было огромное между «нами» и «ими». (Начальная школа в нашем селе была, но этим и ограничивалось народное образование. Всеобщая грамотность появилась позднее, перед войной 1914 г.).

Да, я жил и в том и в этом веке. Видел Россию и императора Александра III, и Ленина. Детские мои годы относятся ко временам патриархальным, взрослые к революции и эмиграции. Могу повторить, за Saint-John Perse: «Grande Age, nous voici!». Много видано. От России молодости моей во многом остались рожки да ножки, все-таки я ее помню, далеко не все в ней люблю, но сойду в могилу *русским*, некая основа навсегда осталась, как ни изменилась жизнь.

*Расскажите нам об этой России конца прошлого столетия, «Россия изб и усадеб», которую Вы описали в Вашей тетралогии «Путешествие Глеба».*

Вы меня спрашиваете, какова была эта Россия дореволюционная. Вопрос сложный, ответ даю краткий и упрощенный. Россия была: барин и мужик. Необъятная земледельческая страна с тонким верхним слоем дворянства, нарождающейся буржуазией и интеллигенцией. Фабрично-заводского в стране было мало — это развитие — дело уже XX века. Мои родители принадлежали к дворянству, отец горный инженер, жил постоянно в деревне, заведая рудниками или железодельательным заводом, но всегда в тесной связи с низами.

В нашу дорогую, родную, но культурно отсталую страну вносили, как умели, более высокое, не принадлежа ни к каким революционным партиям.

*Расскажите нам также о воспитании, полученном Вами в калужской гимназии, где Вы получили среднее образование?*

Одиннадцати лет я поступил в Калужскую гимназию, лицей

с древними языками. Обучали языкам этим сухо и формально... Учреждение вообще глубоко-чиновничье, как бы созданное для того, чтобы воспитывать неприязнь к себе. Нас вели строго и вообще все заведение, руководимое суровым директором и педантическим инспектором, скорее смахивало на военную казарму. Я пробыл там недолго. Уже через год, по вступительном экзамене, был принят в 4-ый класс Реального училища — для подготовки к карьере инженера. Здесь было проще и жизненней, все же интересы мои внутренние были совсем не тут...

*Что Вы читали в те годы?*

*Начали ли уже писать, когда были в гимназии или Ваше писательское призвание открылось позже?*

Я всегда много читал. Ребенком Жюль Верна, Майн-Рида. Позже Тургенева. «Первая любовь» его навсегда вошла в душу. Помню, кончив ее, выбежал я в парк и долго бегал в восторге по аллеям. Кажется, ни одно литературное произведение не производило на меня такого действия. Увлекался Эмилем Золя (к нему позже был вполне равнодушен). Чтение это привело к мелкому полукомическому инциденту. Помню, вызвал меня инспектор в длинный коридор, и гуляя со мной, побалтывая, заложив назад руку, фалдой фрака, сказал: «Золя читаете? Слышал, слышал...» Я не возражал. «Пакостный писатель, пакостный-с... Советую бросить. Можете получить неполный балл по поведению». Что такого страшного нашел инспектор провинциального Училища в Золя, не знаю. Дурной отметки по поведению я не получил, но позже сам этого Золя бросил. Любовь моя перешла к Флоберу.

Сам тогда я не пробовал еще писать, но на каникулах 1897 года попалась мне книжка Чехова «Хмурые люди». Этот писатель покорила. Тургенев великое прошлое, этот живой, свой, такой близкий по духу.

*Вы нам только что говорили о русской деревне, не могли ли бы Вы теперь описать тот провинциальный город, таким каким его увидел тогдашний гимназист.*

Приближалось время, когда надо было покидать Калугу с ее Реальным Училищем. Город это был губернский, вялый и малозаметный в русской тогдашней жизни. Расположен очень красиво на

высоком берегу реки Оки, могучего притока Волги. Прорезает Ока чуть не всю среднюю Россию — на ней расположен и Орел Тургенева, Лескова, Бунина, Леонида Андреева. Теперь город сильно модернизирован, а в мое время был известен только тридцатью шестью церквями и «калужским тестом» — нельзя сказать, чтобы вкусным.

*В 1898 Вы выдержали конкурсный экзамен для поступления в Императорское Техническое училище, но весной были исключены за участие в студенческой забастовке — можно ли из этого заключить, что Вы были тогда одним из тех, кого теперь во Франции называют «étudiant contestataire» \*)).*

Я действительно был исключен за участие в студенческих беспорядках. Но contestatair'ом \*\*) никогда не был. Все дело в самолюбии. Вопрос ставится так: «Кто не с "нами", тот трус». Ах, я трус? Покорнейше благодарю. И примкнул. И скоро почувствовал, что сделал глупость.

*После Вашего исключения из московского Технического училища, Вы уехали в Петербург, где с успехом сдали трудный конкурсный экзамен для поступления в Горный институт. Каковы впечатления молодого провинциала по приезде в столицу Российской империи?*

Хотя учебный год 1898-99 я прожил в Москве, но настоящую «столицу» увидел лишь в Петербурге. И сразу же невзлюбил ее — за сумрачность, известное величие и холод, все не-русское в ней (в противоположность Москве). Я жил одиноко и грустно в чужом неприятном городе.

*Двумя годами позже Вы возвращаетесь в Москву, где поселяетесь у Вашего отца, приглашенного между тем на место директора большого железодельного завода Гужона. Вы уже сами больше не стремитесь к инженерной карьере, но целиком предались словесности. Как начались Ваши первые шаги в литературе?*

Будучи на втором курсе Горного Института, вдруг, перед Рождеством 1899 г., вернулся, к удивлению родителей, в Москву. Тут и начинаются первые попытки мои литературные. Они совпали по

\*) Студентом-бунтовщиком.

\*\*) Бунтовщик (фр.).



времени с намерением Чехова продать подмосковное свое имение Мелихово, чтоб окончательно переселиться в Крым. А отец мой как раз хотел купить имение. Я вызвался съездить в Мелихово для переговоров, мечтая о Чехове и литературе. Но Чехова там не оказалось, находился он уже в Ялте, в Крыму. Тут я проявил некое упрямство. Будучи уже автором меланхолической вещи, навеянной тоской Петербурга, я летом ухитрился съездить в Крым и, предварительно отослав рукопись, нагрянуть к Чехову. Когда извозчик остановился у дачи, оттуда выходил тоже молодой человек, и с рукописью. Чехов был прост, естествен, ничего особого не сказал, но на меня подействовал ободряюще. Этого именно я и ждал.

*Девяностые годы характеризовались застоєм в литературной и художественной жизни. Были ли Вы причастны к тем основным литературным течениям того времени, оканчивающимся на «измы», которые Вы сами, не без некоторой иронии отметили: реализм, символизм, модернизм и импрессионизм?*

Девяностые годы были унылыми для русской литературы. Прежний реализм как бы иссякал. Старые корифеи — Тургенев, Толстой, Достоевский уже исчезли, из новых почти никого. Зато назревали новые течения, пока еще недостаточно проявившиеся. Символизм, импрессионизм и др.

*Опубликовав Ваш первый рассказ в 1901 году, Леонид Андреев ввел Вас в литературные московские круги и Ваше появление не осталось незамеченным, как можно убедиться, читая воспоминания Н. Телешова: «Однажды Андреев привез к нам новичка. Как в свое время его самого привез к нам Горький, так теперь он сам привез на Среду молоденького студента в серой форменной тужурке с золочеными пуговицами — юноша талантливый, — говорил про него Андреев — напечатал в «Курьере» хотя всего два рассказа, но ясно, что из него выйдет толк. Юноша всем понравился — и рассказ его «Волки» тоже понравился и с того вечера он стал членом Среды и ее посетителем. Вскоре из него выработался писатель — Борис Зайцев». Расскажите нам об этих московских литературных «Средах».*

В это как раз время в Москве начинал печататься молодой писатель, быстро прошумевший, Леонид Андреев, которого можно бы назвать импрессионистом и даже символистом. Он притягивал к себе меня, как магнит. Я с ним познакомился. И сразу почти влюбился. Он тоже был старше меня, как и Чехов, но это человек уж

вполне *нашего*, молодого поколения, именно призванный *освежить* застоявшуюся литературу. Он заведывал тогда литературным отделом газеты «Курьер» — там и начал печатать меня. (Первый мой импрессионистически-бессюжетный рассказ «В дороге» был напечатан 15 июля 1901 года). Помню огненное впечатление, произведенное на меня, когда развернул я в тот далекий день газету «Курьер». Судьба моя решилась. Никаких инженерств — литература.

Андреев же ввел меня в московский кружок писателей «Среда» — членами которого были: он сам, Бунин, Вересаев, Телешов и другие, менее известные. Наездами, из старших, Короленко, Чехов, Горький.

Андреев прославился быстро: сначала небольшими, с трагическим налетом, импрессионистическими рассказами, потом пьесами — фантастическо-символическими, шедшими по всей России и частью за границей.

Бунин — образ «искусства для искусства», вернее для немногих, не на большую публику. По духу несколько уединенный талант, получивший истинное признание позже, отчасти русский Леконт де Лиль, будущий академик и нобелевский лауреат.

Вересаев — врач, социал-демократ. Известность крупную получил «Записками врача». Книга очень искренняя и правдивая. Имела большой успех, чего нельзя сказать о его повестях и романах (жизнь русской интеллигенции).

Чехов и Горький находились тогда уже в зените славы. Появлялись на «Среде» случайно, очень редко, с чтениями не выступали никогда. Пьесы их шли в Художественном Театре с огромным успехом.

Короленко бывал, как почетный гость, когда приезжал в Москву из Полтавы, где жил. Это была как бы икона прежней полосы литературы — и человек высокого благородства и человеколюбия.

*Некоторым показалось, что Вы и Леонид Андреев — модёрнистское и прогрессивное крыло кружка. Что Вы об этом думаете?*

Те, кто считали Андреева и меня как бы левым крылом «Среды», по-моему, не ошибались. Тут начинался уж XX век.

*Вы печатаетесь, начиная с 1904-го года, в самых значительных журналах и альманахах того времени: «Правда» (журнал с марксистским уклоном!), «Новый путь», «Вопросы жизни», «Золотое Руно»...*

Журнал «Правда» был, действительно, марксистский. Но печатались там и не марксисты. Одно время литер. отделом заведывал Бунин, он и пригласил меня сотрудничать. Продолжалось это недолго. Рядом с Лениным и Луначарским это было неподходяще. Нас выгнали.

Другой журнал, «Золотое Руно», литературно-художественный, с отличными репродукциями, модернистского направления, оказался гораздо более подходящим для меня.

Это все Москва. В Петербурге тоже росли новые течения литературные. В начале века Мережковский редактировал «Новый Путь», журнал нео-христианства и символистов. Затем его заменили.

«Вопросы Жизни», журнал приблизительно того же направления, но с участием нео-православных Бердяева, проф. Булгакова и др. — редактировал его мой приятель, «мистический анархист» Георгий Чулков, а секретарем редакции был Ремизов. Он при редакции и жил, как и Чулков. Помню, вошел я раз в гостиную их общую, там сидел в кресле Мережковский и с нежностью глядел на сидящую у него на коленях крошечную девочку, покачивая ее (дочь Ремизова). Странно было видеть этого собеседника Христа и Антихриста за таким идиллическим и благодушным занятием.

И «Новый Путь», и «Вопросы Жизни», как позже и «Факелы» Чулкова были журналы молодежи, новаторские, относившиеся уже к XX веку. Более старшая полоса — «Вестник Европы», «Мир Божий», «Русское Богатство» — ежемесячные солидные журналы русской либерально-радикальной интеллигенции. Короленко как раз редактировал «Русское Богатство». Между новыми и старыми течениями существовала всегда полемика и даже некая враждебность. Главным образом из-за религиозного вопроса. Старшее поколение было далеко от христианства, младшие ближе, но к обновленному («Новый Путь»). Тут Мережковский, жена его Гиппиус, Бердяев, Булгаков были против Короленки, Михайловского.

*В течение некоторого времени Вы были редактором литературного альманаха «Шиповник», издаваемого в Петербурге. Так что*

*у Вас возникли связи в петербургской литературной среде. Можете ли Вы нам рассказать, каково было различие и даже противоречия, которые Вам приходилось наблюдать, между Москвой и Петербургом, этими двумя полюсами русской литературной жизни начала века? Расскажите подробнее о вечерах «на Башне» у Вячеслава Иванова, где собирались Блок, Кузьмин, Городецкий, Ремизов, Сологуб, Чулков. Встречались ли Вы, когда наезжали в Петербург, с Д. Мережковским и с Зинаидой Гиппиус?*

Первую мою книгу рассказов издало молодое издательство «Шиповник» в 1906 году, в Петербурге. Насколько это было время затишья в политике, настолько — расцвета в литературе. «Шиповник» именно выражал молодую линию в литературе, молодыми были и издатели — З. И. Гржебин и С. Ю. Копельман. Отношения у меня с ними были очень хорошие, и мне поручили редакторство первых литературных альманахов «Шиповника», где и сам я печатался почти в каждой книге.

Особенной разницы между Петербургом и Москвой в литературном отношении не было, но оттенок существовал. Московские модернистские издания — «Весы» (Брюсов), «Золотое Руно» (Рябушинский) поддерживались московским купечеством образованного круга. Петербург более международен и надменнее. Здесь художественный журнал «Мир Искусства» — Дягилев, Бенуа, Лансере и т. п., не говоря уже об упомянутых «Новом Пути», «Вопросах Жизни», «Шиповнике». Литературная жизнь в Петербурге кипела, пожалуй, больше, чем в Москве. Во всяком случае, это был мирный, недлинный промежуток истории русской, перед войной и революцией, благоприятный литературе художественной, в прозе ли или стихах. Мережковского и Гиппиус я в Петербурге, конечно, встречал. Фигуры это были очень своеобразные. Книгой «Толстой и Достоевский» я как раз увлекался. Помню, что Зинаида Гиппиус, на обеде у поэта Федора Сологуба, дразнила меня, «провинциала» из Москвы, вопросом: «Что сделали бы вы, если бы по скатерти ползла мушка, и вы бы знали, что она ползет ко Христу?» При этом насмешливо наводила на меня лорнет. Чувствуя, что это именно для издевательства, я ответил что-то юношески-резкое, почти дерзкое.

*Кажется, что Ваш переход от некоторого пантеизма к христианскому мировоззрению совершился под влиянием религиозного мыслителя Владимира Соловьева.*

Да, Владимир Соловьев сыграл огромную роль в духовном развитии моей молодости. Он раздвинул, как бы расширил и чрезвычайно освежил рамки официального христианства, приближая к самому Христу. Многое, очень многое сдвинул в моей душе, от пантеизма ранней юности моей повел дальше. Летом, живя в имении отца в Тульской губернии, в 70 верстах от Ясной Поляны Толстого, я зачитывался Соловьевым до восхода солнца. Косари выходили на покос, позвякивая косами, натачивая лезвия о бруски, а я выходил к крыльцу флигеля своего, приветствуя восходящее светило, — для меня символ Бога. О, Русь! Еще смиренная в наших местах, но в 1905 году совершившая уже генеральную репетицию позднейшего.

*В 1905 г. Вы были уже довольно известным молодым писателем, вращавшимся в прогрессивной части литературной и артистической богемы. Как Вы и Ваши друзья отнеслись к тому, что Ленин, позже, назвал «генеральной репетицией революции»?*

Судьба всегда отводила меня от исторических событий. Незадолго до московского вооруженного восстания, зимой 1905 года, я уехал в имение родителей. Жена и все друзья мои оставались в Москве и были свидетелями, сочувствующими революции. Меня занимали больше религиозные и метафизические вопросы.

*Не думаете ли Вы, что можно найти приглушенные отклики революции 1905 года в Вашем творчестве, в частности в Вашем первом романе «Дальний край»?*

Конечно, в писании моем остались глухие отзвуки революции. В романе «Дальний Край» (1911 г.) они даже явные, явное сочувствие революции (размеров и конечного облика которой никто из нас тогда не представлял). Совсем недавно я получил из России сведения, что меня привлекали даже к суду по серьезной статье Уголовного Уложения. Высшая судебная инстанция отменила заключение прокурора. Но роман во время войны был на несколько времени конфискован.

*Расскажите нам о небольшом и недолговечном журнале «Зори», где Вы были одним из главных сотрудников, вместе с А. Блоком, А. Белым, Ремизовым и Муратовым.*

В мирном промежутке, между революцией 1905 г. и войной 1914, мы, группа московской молодежи литературной, издавали жур-

нальчик «Зори», возвышенно-христианского духа, в котором принимали некоторое участие и известные молодые писатели — Блок, Андрей Белый. Все это было очень чистое и искреннее, отчасти младенческое. Один из сотрудников наших написал, что ставит стихи Блока выше «Анны Карениной».

По правде сказать, это не было мнением редакции.

*Подобно Гоголю, Баратынскому, Тютчеву, Мережковскому, Блоку, Кузмину и Павлу Муратову, Вы отправились в Италию света Феба Аполлона и Тайны Аполлона-Мусагета. Какой Вам показала Италия и что она собой для Вас представляла?*

Италия сыграла огромную роль в жизни моей. Я видел ее и жил в ней (в Риме, зимой 1911-12 гг.) пять раз. Итальянское искусство стало для меня даже более родным, чем русское.

*Была ли мировая война для Вас переломом, как это случилось с Полем Валери? Пришли ли Вы к тягостному выводу, что все цивилизации смертны, или Вы отстранились от слишком жестокого зрелища, которое представляла тогда Европа раздиравшаяся, и не замкнулись ли Вы в «Башне из слоновой кости»?*

*Видите ли Вы особенное значение в том, что Вы предприняли в те мрачные дни перевод дантовского «Ада», который Вы окончательно завершили уже в Париже во время второй мировой войны?*

Данте, «Ад» которого я в это время перевел, сопровождал меня многие годы. И в известной степени был тем *tour d'ivoire*, о котором вы спрашиваете, как же не *tour d'ivoire*, когда однажды, работая над переводом в своем флигеле, в самом начале *большой* революции, я, по сигналу из дома должен был, бросив рукописи, прятаться в кусты от ожидавшегося обыска со стороны революционеров? Перевод Данте я начал до войны 1914 г. Войну я переживал в Притыкине, а не в Москве, очень страстно, кипя и волнуясь от газеты до газеты. Да и не я один в нашей семье. Разумеется, работа над Данте, детищем любимой Италии, была громоотводом и неким переселением в иной мир. То, что писал я сам тогда, было очень далеко от современности.

А современность надвигалась грозно — именно в России. Для Франции Версальский мир был триумфом (недолговечным!) — для

России началом страшного периода революции — уж не такой «лепетии» как в 1905 году, а настоящей.

*Как приняли Вы революцию? Как отнеслись Вы к падению монархии и, год спустя, к убийству царской семьи в Екатеринбурге? Как отразилась революция на Вашем творчестве?*

*Для Вашего духовного развития — какую роль сыграла революция в Вашем возвращении в лоно православной Церкви?*

*Можно ли сказать, что Вы внутренне пережили это искупление ошибок многих поколений — и это утверждение было запечатлено Вами a posteriori в Вашем втором романе, «Золотой узор».*

Собственно монархию мы не жалели. В начале все нам представлялось по-иному. Думали, что приходит свободная демократическая республика, с Парламентом, все как на Западе. Разочарование было полное. Террор, расстрелы, деспотизм... Убийство Императора и всей его семьи, детей и близких, воспринималось ужасно.

Революция, конечно, очень отозвалась и на моем писании. Слишком много было пережито. Были расстреляны мой племянник, молодой офицер — в первый день бескровной революции, в 1919 г. мой пасынок, тоже молодой офицер и тоже безвинно. Смерть отца — от огорчений — все это переживалось очень горестно.

В писании моем первое время — уход в Ренессанс и темы исторические, но и современность, взятая в небольших лирических поэмах, в прозе, над которыми висит острота и мука революции — отсюда и переход к усиленной религиозности. Конечно, произошло это несколько позже, когда осознал я и некую расплату за нашу прежнюю эгоистическую и беззаботную жизнь. Да, это внутренняя тема моего более позднего романа «Золотой Узор».

*В 1921 году Вы были избраны в Москве председателем Союза Писателей. Это избрание не может нас не удивлять, если принять во внимание исторический контекст той эпохи. Можете ли Вы нам дать пояснения по этому поводу?*

*Будучи председателем Союза Писателей Вам приходилось обращаться с различными ходатайствами в защиту преследуемых соотечественников перед Камневым и Луначарским. Какие Вы сохранили воспоминания об этих встречах?*

Действительно, в начале революции, в 1921 г., я был избран Председателем Московского Союза писателей. Это не был коммунистический Союз. Тогда в Москве оставалось еще много прежней русской интеллигенции. В Уставе нашем говорилось, что ни один коммунист не может быть членом Союза. Парадокс? — Разумеется, но тогда правительство было занято еще гражданской войной, не до нас ему было.

Еще до революции я был лично знаком с Каменевым и Луначарским. Меня иногда направляли к ним с ходатайствами об освобождении арестованных членов Союза. Обычно оба относились сочувственно. Раз удалось даже помочь задержанному в Харькове франц. проф. Мазону (ныне покойному) — он к Союзу никакого отношения не имел.

*В 1921 г. Вы оказываетесь в числе писателей, которые создали кооперативную лавку писателей, воспользовавшись НЭПом. Что Вы скажете об этой деятельности и о Ваших сотрудниках, в числе которых есть имена Бердяева, Осоргина?*

В те годы, при так называемом НЭП'е, нам, некомунистическим интеллигентам, разрешали открывать т. наз. «Лавки писателей». Их оказалось в Москве несколько. Занимались они книготорговлей. Одни клиенты приносили для продажи свои книги. Лавки покупали, продавали их другим, зарабатывая на этом.

Я тоже работал в такой лавке — вместе с Бердяевым, проф. Дживелеговым, известным писателем Осоргиным и др. Благодаря этому мы могли, не служа у большевиков, все-таки не умереть с голоду.

*Можете ли Вы нам рассказать о Вашем участии в комитете помощи голодающим?*

В это как раз время, летом 1921 года, Россия очень пострадала от голода. Следуя давним заветам, русская интеллигенция, не преследуя никаких политических целей, решила прийти на помощь. Был образован Комитет для сношений с иностранными благотворителями (Гувером, Нансеном и др.). В этот Комитет вошел и я, от писателей. Сначала власти разрешили нам собираться и заседать, под председ. Каменева, потом вдруг всех арестовали. Бюро Комитета было выслано в восточные губернии. Меня выпустили через два дня.



*Как Вам удалось легально выехать из России в июле 1922 г.? Предчувствовали ли Вы тогда, что покидаете свою родину навсегда?*

Весной 1922 г. я заболел сыпным тифом в тяжелой форме. В одну из страшных ночей, когда все доктора нашли положение мое безнадежным, одна Вера, моя жена, верила в выздоровление. Положила с вечера мне на грудь икону св. Николая Мирликийского и тринадцатую свою бессонную ночь просидела со мной. Утром кризис, я пришел в сознание — началось выздоровление.

Под предлогом поправления здоровья, при содействии Каменева и Луначарского, меня выпустили с семьей в Берлин «для лечения». Да, я не думал, что это навсегда. А дочь моя, десятилетняя Наташа, когда поезд переходил границу, задумчиво бросила на русскую почву цветочек — прощальный. «Папа, мы никогда не вернемся в Россию». А мы с женой думали — временное отсутствие.

*Вашей первой остановкой в изгнании был Берлин. Каким Вам показался этот космополитический город, о котором можно сказать, что он был своего рода сортировочной станцией русской словесности, пересылочным пунктом, где капризная судьба выполняла роль стрелочника — одни уже возвращались из Парижа с более или менее укрепившимся намерением вернуться в СССР (А. Толстой, И. Эренбург), другие — философы Бердяев, Франк, Лосский, Степун... — пополняли, поневоле, ряды эмигрантов первого призыва, сидевших на своих чемоданах и пытавшихся всеми силами обмануть свое бесконечное ожидание (Ремизов, Цветаева, Белый, Ходасевич, Пастернак, Шмелев, Шкловский). Каковы были Ваши отношения с этими столь различными людьми?*

Первый этап наш был Берлин. Он кишел русскими эмигрантами разных настроений политических. Преобладали противники советского режима. Но Алексей Толстой, ранний парижский эмигрант, как и некоторые другие, пробирался домой при посредстве просоветской берлинской газетки «Накануне». Это ему удалось.

*Лето 23-го года Вы провели на берегу Балтийского моря, недалеко от Штральсунда, в том же доме, что Бердяев и Франк, где встречались с Алексеем Толстым. Расскажите нам о разговорах, которые Вы вели с ним?*

Лето 1923 года мы проводили на балтийском побережье. Жили

в том же доме, что и Бердяев, философ Франк. Отношения были дружественные. Недалеко, в Херингсдорфе, жил Горький, в то время тоже эмигрант, издававший за границей журнал «Беседа».

Однажды Толстой, с которым в Москве мы в свое время были близки, сказал мне: «Борька, Борька, ты дурак. И Вера дура. Вы всегда были нищими, и при всяком режиме будете нищими. Потому что ты дурак». (Он разумел под этим то, что я не кланяюсь большевикам в ноги — и вообще никому не кланяюсь).

*После Берлина Вы ненадолго задерживаетесь в Риме, где профессор Этторе Ло Гатто пригласил Вас принять участие на съезде, посвященном подлинной русской культуре, организованном Istituto per l'Europa Orientale. Можете ли Вы нам напомнить имена других участников и обсуждавшиеся темы?*

Римский проф. русской литературы Ло Гатто пригласил нас в Рим на конференцию журнала «Russia», редактором которого был он. Предмет — о России (современной). Состав: Бердяев, Франк, Чупрев, Новиков (рект. Моск. У-та), Осоргин, Муратов и я. Мы поочередно читали лекции — большинство по-французски, мы с Осоргиным по-итальянски. Для римлян все это было ново и интересно. Съезд прошел очень хорошо.

*Третий и последний этап — Париж. В 1924 году Вы прибываете в Париж. Каковы были Ваши первые впечатления от Франции сразу по приезде? Какие писатели Вам предшествовали в этой столице русской эмиграции, которой уже стал Париж?*

Последний этап эмиграции нашей — Париж. Тут испытал я чувство подобное наташиному: «Да, надолго». В Париже находилось уже немало русских писателей-эмигрантов: Мережковский, Гиппиус, Бунин, Куприн, Ремизов, Шмелев, Алданов, Тэффи (псевдоним очень известной юмористки). Это группа старших, но были и более молодые: Георгий Иванов, Одоевцева, Адамович, Ходасевич, Берберова, Газданов. Мы попали более или менее в свою среду. С французами были отношения благожелательные с обеих сторон.

Русская эмиграция разделялась на старшую группу и младшую, гнездившуюся главным образом на Монпарнасе, в знаменитом тогда кафе Ротонда.

*Составляла ли эмиграция в Париже в те времена нечто однородное, или, наоборот, с самого начала было несколько «эмиграций»?*

*В каких журналах и альманахах стали Вы сотрудничать?*

Кроме разделения по возрасту, существовали и оттенки политические. В Париже издавались три газеты ежедневно: более левая «Последние Новости», под редакцией Милюкова, бывшего министра Иностранных дел Временного Правительства; еще более левая «Дни» Керенского (недолго), и правая «Возрождение» (но не монархическая). Лично я печатался во всех трех, не будучи, собственно, писателем политическим. В «Юманите», впрочем, я не стал бы печататься, да туда никто меня и не звал. Как курьез вспоминаю, что как раз «Юманите», единственная из парижских газет, приветствовала мой приезд в Париж. Статья была подписана французом, переводчиком моего романа «Золотой Узор», подписывавшимся Parigani-ne. Я знал его еще в России. Переводил он также Бунина.

*Принимали ли Вы участие во встречах, организованных в 1929-1930 г.г. Studio Franco-Russe, встречах, в которых участвовали со стороны французов Ж. Бернанос, А. Мальро, Г. Марсель, Ж. Маритен, Ж. Мадоль, Г. Массис, Ст. Фюме... а со стороны русских Бердяев, Вышеславцев, Цветаева, Ходасевич, Тэффи, Берберова, Алданов, Осоргин, Маковский, Слоним, Газданов, Поплавский...*

У меня остались хорошие воспоминания о них, русско-французских литературных собраниях, скромных и симпатичных. Помню Бернаноса, показавшегося мне похожим на нашего Алданова. Дебаты были чисто академические, по литературным вопросам. Со стороны русских выступали преимущественно писатели молодые — Фохт, Поплавский, Цветаева.

*В то же время Вы написали и опубликовали во французском издательстве PLON «Житие Преподобного Сергия Радонежского» в номере 3 коллекции Roseau d'Or (Золотой Тростник). В этой же коллекции были напечатаны также Бердяев и Ремизов. Как по-Вашему, было ли в этом начало франко-русского сближения?*

В самом начале эмиграции, таким образом, наметилось некоторое сближение с французскими литературными кругами, но оно оказалось непрочным и в дальнейшем не возросло, а скорее убавилось.

*По поводу этой «житийной» книги, за которой последовали «Алексей Божий человек» и «Сердце Авраамия», можно ли говорить о Вашем возвращении к истокам русской духовной жизни?*

По поводу моего «Св. Сергия Радонежского», «Алексея Человека Божия» и «Сердца Авраамия» можно, конечно, говорить о некотором устремлении к древнему, святому, мирному и христианскому в русской жизни, в противовес ужасам революции.

*Одновременно с этими духовными поисками мы сталкиваемся с тем, что я бы назвал «поисками утраченной России». Речь идёт о Ваших трех биографиях, ставших образцовыми — Тургенев, Жуковский и Чехов. Что вы можете сказать по этому поводу?*

Возможно, что и тяготение к биографиям крупных русских писателей вызвано отталкиванием от тяжелой современности.

*В Париже и в Грассе Вы находились в постоянном общении с Иваном Алексеевичем Буниным. Расскажите нам о нём как о человеке и о его творчестве, которое Вы так рано оценили. Что значила для Вас, в 1933 году, Нобелевская Премия эмигрантскому писателю?*

Дни в Грассе, где мы гостили временами у Бунина, вспоминаю всегда по-хорошему. Жены наши были подругами с юных лет. Я тоже знал и ценил Бунина еще молодым. В Грассе на его вилле жили и два молодых писателя — Галина Кузнецова и Зуров. Все писали, так что мы работали в четыре пера, маленький литературный улей. Строгий в писании своем, отчасти парнасском, здесь Иван Алексеевич был приветливым хозяином, прекрасным рассказчиком, во время прогулок или за обедом смешившим нас артистическим изображением разных людей — особенно из простонародья. Как писатель он был всегда «не для толпы», к слову относился очень требовательно, высоко ценил Флобера, но сам был человек природно русский. Характер переменчивый и не всегда легкий. Во всяком случае, один из самых выдающихся писателей того времени, быть может последний представитель русского классицизма, восторженный почитатель природы и острый знаток народа русского. Нобелевскую премию Бунина мы встретили восторженно, это была как бы победа эмиграции. Помню, мне пришлось писать для «Возрождения» передовую в день получения известия. Единственный раз в жизни писал я наспех, в типографии, около Porte d'Italie, кончил около 3-х часов

ночи и в повышенном настроении обошел все быстро площади, в каждом выпивая рюмку коньяку, приговаривая: «За Бунина».

*Чем было для Вас присуждение в 1959 году Нобелевской Премии Борису Пастернаку и что Вы вообще думаете о тех, которых официальная советская критика называет «внутренними эмигрантами»?*

Пастернака я мало знал. В 1921 году он пришел раз ко мне со своей рукописью, очень мне понравилась проза весьма своеобразная и многообещающая. Так оно и оказалось, позднейший «Доктор Живаго» обошел весь мир. Конечно, для советской власти Пастернак совершенно неподходящий человек. А для меня — настоящий большой писатель. В последний год его жизни у нас завязалась оживленная дружеская переписка. Это было трудное для него время: власть всячески травила его, некий Семичастный публично определял его «хуже свиньи». Разумеется, он очень ценил дружескую поддержку из заграницы.

*Помимо Вашей переписки с Пастернаком Вы смогли с начала «оттепели» если не говорить с советскими писателями, то хотя бы войти в контакт с некоторыми из них. Расскажите нам о визите к Вам в Париже Константина Паустовского (в 1962 году).*

Несколько позже кончины Пастернака посетил меня выдающийся советский писатель Паустовский. Нобелевской премии он не получил (хотя одно время считался кандидатом). Произвел на меня хорошее впечатление: образованный, простой, скромный человек, выросший в атмосфере прежней русской интеллигенции.

*Раз мы говорим о Нобелевской Премии, я хотел бы Вам задать вопрос более злободневный: чем явилось для Вас присуждение этой Премии Александру Солженицыну?*

Присуждение премии Солженицыну считаю неким «выпрямлением линии» Шведской Академии, после Шолохова. Этот последний получил ее в результате долгого давления советской власти на жюри. Это был как бы «собачий кусок»: вот, нате вам, только отвяжитесь. За Солженицына никто из сильных мира сего не хлопотал. В его лице верх взяла правда мученической жизни, большой души и большого таланта. Солженицына я никогда не видал, произведения же его читал и ценю очень высоко.

*С другой стороны, что Вы думаете о соцреализме?*

Социалистический реализм выдуман М. Горьким. К настоящей литературе он не имеет никакого отношения.

*В книге «Одиночество и Свобода» Георгий Адамович пишет: «Среди писателей, покинувших родину ради свободы, Зайцев — один из тех, кому свобода действительно оказалась нужна, ибо никак, никакими способами, никакими уловками не мог бы он там выразить того, что говорит здесь... Если мы вправе толковать о духовном творчестве в эмиграции, то лишь благодаря таким писателям, как он...» И естественно поэтому мы именно Вас просим дать определение.*

Мне трудно оценивать вклад эмиграции в русскую литературу, потому что я и сам есть частица этой эмиграции. Все-таки могу сказать: что могли, то и сделали. У нас оказалось великое преимущество свободы, но и великая грусть отрыва от родины, та грусть, которую испытала моя дочь, девочкой переезжая русскую границу. Кичиться нам нечем. Жизнь наша здесь была нелегка, но никогда не приходилось гнуть голову ни перед кем. Какие были, такие и остались — впрочем, осталось нас весьма мало. Это ничего не значит. За грехи наши понесли известное возмездие — надо принять это, как спокойно примириться и с участью своею. И все-таки, самый факт нашего существования говорит, что не все склонили головы перед силой, горсть осталась.

*И вот подходя к итогам нашей беседы, не могли ли бы Вы нам сказать, что Вы думаете о «Серебряном веке» русской литературы, Вы, являющийся последним его представителем?*

Моя молодость совпала с началом т. н. «Серебряного века» русской литературы. Этот «век» собственно не столетие, а просто относительно тихий промежуток между «генеральной репетицией» революции (1905) и 1917 годом, когда она пришла полностью. В этом промежутке русская литература несколько освежилась после усталости и провинциализма конца XIX в. Конечно, Толстой, Достоевский и Тургенев, да и Чехов — непревзойденные величины. Но это прошлое. В восьмидесятых, девяностых годах уже чувствовалась усталость от третьестепенных «реалистов». Сильно воспринимался новый Запад в лице Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, Верхарна, Бодлера, Верлена. Западный символизм и анти-Золя, если так можно

выразиться, стали сильно овладевать душами русских писателей. Гигантов подобных прежним не появлялось, но общий дух литературы изменился. Бальмонта, Вяч. Иванова, Блока, Белого, Ремизова никак нельзя было отнести к прежнему веку. Символизм, импрессионизм расцветали. И отпадение провинции в литературе. Кроме символизма появились и другие «изм'ы»: импрессионизм, имажинизм, футуризм — дальше шли уже искажения и несерьезное.

*Тягостно ли Вам сознание, что из-за политических обстоятельств Вы не располагаете широким кругом читателей на своей родине или Вы считаете, что Ваше положение писателя «для немногих» включает в себе некоторые преимущества? Иными словами, предпочитаете ли Вы элитарную культуру массовой культуре?*

Я всегда был писателем уединенным, большой публики не искал, поэтому отрезанность от России в этом отношении меня не удручала. Но, конечно, в отсутствии возможности говорить с русскими радости мало.

*В начале нашего интервью, мы обратились к Вам как к Патриарху русской словесности, не скрывая при этом чувства почтительного восхищения. Надеюсь, Вас не удивит, если мы Вас попросим сказать — в чем же заключается итог Вашего духовного развития. Можно ли усматривать в Вашей последней повести, «Река времен», выражение Вашей жизненной философии, которая в то же время — итог богато наполненной жизни, иначе говоря — «последнее слово» мудреца.*

Длинный путь жизни привел меня, в конце концов, к христианству. Я православный. И главная поддержка моя в страшные годы революции было именно христианство — противоположение христианской любви — крови и насилию. Быть может, в последней новелле моей жизни — «Реке времен», нечто подобное и выражено.

#### Интервью вёл Ренэ Герра

---

Это интервью подготовлено было нами в декабре 1970 г. для французского телевидения О.Р.Т.Ф. в рамках серии «Архив XX века». Я составил для этой телепередачи опросник, а Б. К. Зайцев, чтобы лучше подготовиться к выступлению, решил ответить сначала письменно на все мои вопросы. Ответы его я перевел на французский язык и этим переводом он отчасти воспользовался во время телесъемки.

Русский текст его ответов остался в моем архиве неопубликованным и печатается впервые с небольшими сокращениями.

Р. Герра

## ДВА ПИСЬМА БОРИСА ПАСТЕРНАКА

## I.

Мюнхен, Германия, Г-ну Ф. Степуну.

Herrn Prof. Dr. Fedor Stepun, Ainmillerstr. 30 München 13

Deutsche Bundesrepublik

30 Мая 1958

Дорогой Федор Августович,

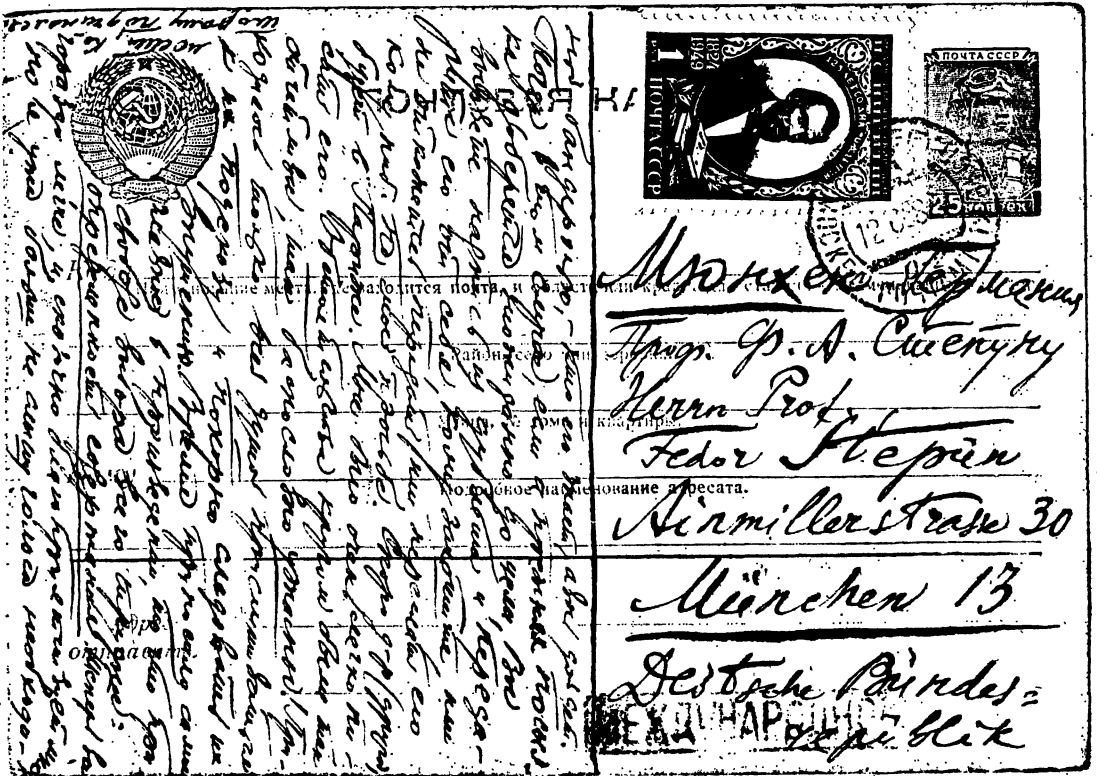
Как радостно и важно дать Вам знать, что изредка я кое-что узнаю о Вас. Сборник цветаевской прозы однажды попал мне в руки, с Вашим предисловием \*). Два немецких студента из Мюнхена рассказывали прошлым летом о Вас и Сосинских. Жива ли Ваша жена, о которой Вы писали в «Записках прапорщика»? Если да, кланяйтесь ей. Я в памяти вижу ее перед собой в окружении былых собраний, художественных, философских. Я с таким живым чувством пишу Вам не под влиянием воспоминаний. Я не поклонник прошлого, я противник прохождения жизни заново в растроганных повторных пересмотрах. Наоборот я полон счастья при мысли, что мы оба, Вы и я, еще живы в такое время, когда все меньше становится остатков самоулаждающей праздности, когда так дорого стоит и оплачивается каждое движение души, когда все так реально. Надо мной всегда нависают некоторые официальные угрозы и, в еще большей степени возвращающееся заболевание правой ноги (следствие детского перелома, затем более позднего перелома колена) вдруг начавшие сказываться в запоздалой совокупности и так болезненно, что часто надолго приходится ложиться в больницу. Я не знаю, позволит ли Вам Ваш вероятный и вполне понятный недосуг знакомиться с д-ром Ж. когда он выйдет у Фишера. Но перевод Фауста я Вам послал, когда еще не знал Вашего адреса, через П. П. Сувчинского \*\*). А если бы Вы его прочли, это за все вознаградит меня

Крепко Вас обнимаю и целую.

\*) Марина Цветаева. Проза. Изд. имени Чехова, Нью-Йорк 1953. Предисловие Ф. Степуна.

\*\*) П. П. Сувчинский, музыкальный критик. Один из редакторов журнала «Версты» и представитель левого крыла Евразийства.





## II.

10 Июня 1958

Дорогой Федор Августович,

Не думайте, что, узнав благодаря любезности г-жи М. Денцер Isar-Verlag'a Ваш адрес, я теперь замучаю Вас своими открытками. Но на-днях я написал Вам об экземпляре Фауста, направленном для Вас через посредство Сувчинского в Париже (я тогда не знал Вашего адреса). Сейчас с огорчением узнал, что возможность, которую для этого воспользовался, задержалась в своем дальнейшем движении. Это уже второй раз, что экземпляры Фауста, отправляемые через посредство или Союза Пис. или с какою-нибудь другою оказиею не доходят или возвращаются. Я вчера как раз жаловался П. П.

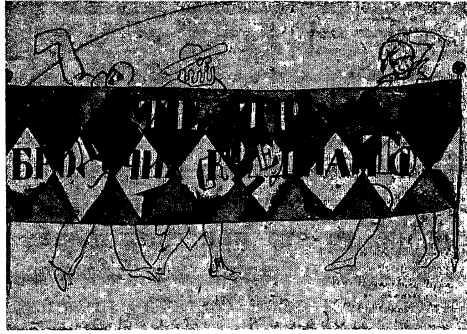
в открытке на эту странность, которую м. б. следует приписать самой природе Фаустовского мира, отовсюду замкнутого и против всего заговоренного, и в ту же минуту получил по своему дачному адресу письмо из Штуттгарта, от куратора der Faust-Gedenkstätte Knittlingen, места рождения исторического д-ра Фауста!

Но, дорогой Федор Августович, я ведь не знаю, здоровы ли Вы и как себя чувствуете! Может быть Вы больны и Вам совсем не до моих открыток. На-днях я попробую послать Вам Фауста просто по почте заказной бандеролью, — кто его знает, авось дойдет. Тогда в том случае, если и прежняя посылка доберется неожиданно до Вас, Вы вырвете надпись из дублета и передадите его от себя, кому захотите, или не откажетесь передать или переслать его кому-нибудь по моей просьбе.

Скоро д-р (другой) будет в Париже. Мне было очень легко писать его. Обстоятельства кругом были так отчетливы, так баснословно ужасны! Приходилось только всей душой прислушиваться к подсказу и покорно следовать их внушению. Время приносило самое главное в произведении, то что при свободе выбора всего труднее, *спределенность содержания*. Теперь все гораздо легче и сказочно благоприятствует мне, но я уже больше не слышу голоса необходимости, которому подчинялся.

Из собрания А. Раннита. Иейльский Университет.

СТЕПУН Федор Августович, родился в 1884 г., умер в Мюнхене в 1965. Писатель, философ и литературный критик. Был выслан из СССР в 1922 году вместе с Н. Бердяевым, С. Франком, Л. Карсавиным, Н. Лосским, Б. Вышеславцевым, М. Осоргиным, Ю. Айхенвальдом. Редактор в 1922 г. сборника «Шиповник», где были напечатаны Ф. Сологуб, М. Кузмин, А. Ахматова, В. Ходасевич, Б. Зайцев, Б. Пастернак, Л. Леонов, Н. Никитин, Н. Бердяев, П. Муратов, А. Эфрос, Л. Сабанев, Г. Чулков. Автор книг: «Из писем прапорщика-артиллериста», «Николай Переслегин». Изд. *Современные Записки*, Париж 1929. «Основные проблемы театра», Изд. Слово, Берлин 1923. «Жизнь и творчество». Изд. Обелиск, Берлин 1923. Воспоминания. Бывшее и несбывшееся в двух томах. Изд. имени Чехова, Нью-Йорк 1956. «Встречи». Изд. Товарищество Зарубежных Писателей. Мюнхен 1962. Сборник статей о Достоевском, Толстом, Бунине, Зайцеве, В. Иванове, Белом и Леонове.



## КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ АЛЬМАНАХА

**АЛЕКСЕЕВА** Лидия (Лидия Алексеевна Д Е В Е Л Ь), родилась в 1909 г. в Двинске. Из России выехала в 1920 г., и до Второй мировой войны прожила в Югославии 22 года, где окончила белградский университет и преподавала в русской гимназии. В Америку, в Нью-Йорк, переехала в 1949 г. Писать начала семи лет, но печататься в конце 30-х годов. Первый сборник был издан в 1954 г. Всего вышло 5 сборников стихов, последний в 1980 г. Печаталась также (стихи и прозу) в «Возрождении», «Гранях», «Новом Журнале», «Мостах» и в газетах «Новом Русском Слове» и в «Русской Мысли».

**АНДРЕЕВ** Ник о л а й. Историк и литератор, родился в Санкт-Петербурге 13 марта 1908 г. Родители педагоги. Во время гражданской войны семья оказалась в Эстонии. Окончив в 1927 г. Таллинскую Городскую Русскую гимназию и в 1933 г. получив в чешском Карловом университете степень доктора философии, специализировался, как историк, в археологическом институте имени Н. П. Кондакова. С 1948 года работал в Кембриджском университете. Начал журналистическую деятельность в 16 лет, еще будучи в гимназии. Сотрудничал во многих прибалтийских русских изданиях, а также в варшавской газете «За Свободу»; в пражских журналах «Воля России», «Знамя России», и в газете «Новости», в парижских «Русской Мысли», «Новой Газете», «Россия и Славянство», в журналах «Числа» и «Возрождение»; в нью-йоркских «Новом Журнале», «Новом Русском Слове» и в «Русском Возрождении»; во франкфуртских «Грани» и «Посеве» и т. д.

Редактировал три первых номера ревельской «Нови», и третий сборник стихов «Скит» в Праге. В 1930 был избран в члены литературного содружества «Скит» за рассказ «Жена», опубликованный в «Нови» № 3 (под псевдонимом К. Рем). В 1948 году напечатал сатирическую повесть «Похождения Чичикова за границей» в лондонском «Россиянине». Повесть (под псевдонимом С. Несмеянов) переиздана в «Новом Русском Слове» в 1980 г. (номер от 12 января и сл.). Ныне продолжает литературную и научную работу в русских и английских изданиях и работает над своими воспоминаниями, отрывок из которых печатается в «Альманахе».

**АНДРЕЕНКО** М и х а и л, художник и писатель. Родился в Херсоне в 1894 г. После окончания гимназии в 1912 переехал в Петербург, где одновременно поступает на юридический факультет и в школу императорского общества поощрения художников, директором которой был тогда Н. К. Рерих. Его учителями были А. Рылов и И. Билибин. Впервые выставляет свои картины в 1914 году. В том же году участвует на международной выставке графики в Лейпциге. В 1916-17 г.г. выставляет свои первые кубистические полотна. В начале 1918 г. он покидает Петербург и возвращается на Украину. В 1920 г. нелегально переходит границу и навсегда покидает Украину. В Париже с 1923 г. Его картины неоднократно выставляют. Автор книги рассказов «Перекресток» (Париж 1979, Предисловие Ренэ Герра), печатался в журналах «Возрождении» и «Новом Журнале».

**АНСТЕЙ** О л ь г а. Родилась в 1912 году в Киеве. В 1931 г. в Киеве кончила трехгодичный Техникум иностранных языков по английскому и французскому отделениям. Вплоть до войны работала в научно-исследовательских институтах Украинской Академии Наук, сначала в Институте физики, затем в Институте химической технологии — переводчиком и библиографом-аннотатором. Россию покинула в 1943 году. В 1950 году эмигрировала в США.

«Писать начала рано, в Киеве. Но в СССР писала только «в стол», в пору относительно свободного НЭПа я была еще подростком, а молодые и зрелые годы пришлось на полосу сталинской чернейшей реакции. Впрочем, и для

НЭПа моя тематика подошла бы мало: вне религии я никогда не жила, не мыслила и не писала».

С 1946 года ее стихи, статьи, рецензии и рассказы печатались в зарубежных периодических изданиях: «Обозрение», «Отдых», «У врат», «Горн», «Явь и бль» (Мюнхен); «Дело» (Калифорния); «Новое Русское Слово», «Возрождение», «Литературный современник», «Опыты», «Мосты», «Воздушные пути», целый ряд зарубежных антологий, «декламаторов». Постоянно печатается в «Гранях», «Новом Журнале», «Перекрестках».

Выпустила два сборника стихов — «Дверь в стене» (Мюнхен, 1949) и «На юру» (Питтсбург, 1976).

Перевела повесть Ст. Винсента Бенэ — «Дьявол и Даниэль Вебстер» (изд-во «Чайка», Нью-Йорк, 1960). Переводила Верлена, Рильке, Мерики, Моргенштерна, Теннисона, Хаусмана, Вальтера де ла Мара, Эдну Миллей и других.

**Б Е Н Н И Г С Е Н** граф Александр, историк, родился в Петербурге в 1913 году. Эвакуировался из Новороссийска в 1919 г., сперва в Турцию, затем в Эстонию. В 1924 году переехал в Париж. Участник Сопротивления. Окончил войну капитаном французской армии. После войны стал директором d'Etudes à l'Ecole des Hautes Etudes 6<sup>e</sup> section в Париже. С 1969 visiting professor в Slavic area Studies of the University of Chicago. Специалист по русско-тюркской истории и истории не арабского Ислама.

Его труды печатались во Франции, США, Германии, Турции и других странах.

**Б У Р И Х И Н** Игорь. Родился 3 октября 1943 года в селе Троицкое Вологодской области Грязовецкого района. С 1960 по 1975 жил в Ленинграде (и Старой Руссе). Окончил ЛГИТМиК и аспирантуру НИО при нем, специализируясь по германистике. С 1975 года — в разъездах по России, Средней Азии и Сибири, Прибалтике, Украине и Кавказу... С 1978 — в эмиграции, в ФРГ, под Кельном.

Печатался в журналах: «Континент», «Евреи в СССР», «37», «Вестник РХД», «Грани», «Гнозис», «Время и мы», «Эхо»; в альманахах: «Аполлон 77» и зальцбургском «НРЛ». В 1978, в изд-ве «Третья волна» вышел сборник стихов «Мой дом Слово».

**В Е Й Д Л Е** Владимир (1895-1980). Литературный критик, писатель, историк искусств. В 1916 г. окончил Петербургский университет, с 1921 по 1924 г. читал там же, в качестве приват-доцента, лекции по истории западного средневекового искусства. С 1924 г. поселяется в Париже, где с 1932 г. по 1952 г. состоял профессором Русского Богословского Института по кафедре истории христианского искусства и западной церковной истории. Читал лекции в университетах и колледжах Западной Европы и Америки (Мюнхен, Брюгге, Нью-Йорк, Принстон).

Литературная деятельность Вейдле началась еще в России, где он незадолго до отъезда напечатал в журнале «Современный Запад» статью о Марселе Прусте.

Основные книги Вейдле: «Умирание искусства» (1937, Париж), «Вечерний день» (1952), «Задача России» (1954), «Зимнее солнце» (1976), «Безымянная страна» (1968), «После "Двенадцати"» (1973), «На память о себе» (1979). Писал на французском языке и его книга «La Russie absente et présente» переведена на все европейские языки, была отмечена премией Ривароля. Печатался во всех крупнейших журналах русского Зарубежья: «Вестник РСХД», «Воздушные пути», «Новый Журнал», «Дни», «Возрождение», «Последние Новости», «Современные Записки», «Путь», «Новый Град» и др.

**В Е Л И Ч К О В С К А Я** Тамара, поэт. Начала печататься после Второй Мировой войны. Автор сборника стихов «Белый посох» (Рифма, 1952), готовит к печати второй сборник стихов «Цветок и камень», который выйдет в свет в 1981 году. Печаталась в журналах «Новоселье», «Возрождении», «Новом журнале», «Грани», в газете «Русская Мысль». Ее стихи вошли в антологии «Эстафета», «На Западе», «Муза Диаспоры», «Содружество».

**ВЕЛИЧКОВСКИЙ Анатолий** (1901-1981), поэт и писатель.

Печататься начал после Второй мировой войны. Его стихи и рассказы печатались в журналах «Возрождение», «Новом Журнале», в газете «Русская Мысль». Автор трех сборников стихов: «Лицом к лицу» (Рифма, Париж 1952), «С бору по сосенке» (Париж 1974 г.), «О постороннем» (Париж, Рифма 1979), и повести «Богатый» (Париж 1972). Его стихи в антологиях «Эстафета» (1948), «На Западе» (1953), «Муза Диаспоры» (1960), «Содружество» (1966).

**ВОЛКОВ Владимир**, французский писатель. Родился в 1935 году во Франции, в семье русских эмигрантов. Офицер французской армии, участник Алжирской войны. Последние четырнадцать лет жил в США. Он интересуется театром, музыкой, философией, историей, наукой и... фехтованием. Автор книг: «Тройной агент», «Метро в ад» (премия Жюль Верна, 1963), «Мушкетеры республики» (1964), «Чайковский» (по-английски), «Французская метрика», «Перевербовка» (Премия Шатобриана, 1979), «Олдувай» (1980), «Урок анатомии» (1980). Под псевдонимом Лавр Дивомликов вышли книги «Предатель» и «Посмертный ребенок».

**ГЕРРА Рене**, французский славист. Родился в 1946 году. Окончил Сорбонну Agrégé de l'Université. С 1974 года читает лекции о русской зарубежной литературе в Институте Восточных Языков при парижском Университете. Автор монографии о художнике С. Шаршуне и статей о русских эмигрантских писателях и художниках. Готовит к печати книгу о Б. К. Зайцеве (биобиблиографию), которая выйдет в свет в Париже в 1981 г. (Изд. Institut d'Etudes Slaves).

**ГОЛДЕРБАХ Сергей**, родился в 1923 г. в г. Пушкин, (быв. Царское Село). 16-ти лет поступил в Среднюю Художественную Школу при Всероссийской Академии Художеств в Ленинграде. Военные годы провел в рабочем лагере в Германии. С 1946 по 1949 г. учился в Мюнхенской Академии Художеств в Зап. Германии.

Эмигрировал в Соединенные Штаты в конце 1949-го года. Живет в Нью-Йорке и работает как живописец, график и педагог. Член Национальной Академии Художеств, Американского Общества Акварелистов. Преподает живопись и рисунок в Национальной Академии Художеств в Нью-Йорке.

**ДЭВИС Ричард**, родился в 1949 году. Окончил Кембриджский университет, занимался изучением жизни и творчества Леонида Андреева. Опубликовал библиографию русского нищестанства (журнал «Германо-Славика», 1976 г.).

**ИОАНН Архиепископ, Странник**, (в миру кн. Дмитрий Алексеевич Шаховской), родился в Москве в 1903 году, учился в Императорском Александровском Лицее, в Школе Политических наук в Париже, в Лувенском Университете и в Богословском Институте Сергиевского Подворья. В начале 20-х г.г. выпустил два сборника стихов, сотрудничал в «Пути» Бердяева. В 1925 году — редактор журнала «Благонамеренный». В 1926 — принимает постриг на Афоне. Священствует во Франции, Сербии, Германии, США (был Архиепископом Сан-Францисским). Многочисленные духовно-религиозные труды, сборники стихов. Теперь на покое, в Калифорнии, продолжает свою миссионерскую деятельность, подготавливает 5 и 6 т.т. собрания избранных трудов.

**ИВАСК Юрий**, родился в Москве в 1907 году. Мать — урожденная Дралова, бабка — Живаго. Родство с культурными кругами московского старого купечества. По отцу — немецкого (балтийского) происхождения. В 20-х г.г. семья переселилась в Эстонию, где он окончил русскую гимназию в Ревеле (Таллине) и юридический факультет университета в Юрьеве (Тарту). Несколько лет прожил в городке Печеры. В 1949 г. переселился в США. Доктор философии (по русской литературе) Гарвардского университета. Преподавал во многих американских университетах: в Штатах Канзас, Вашингтон, Теннеси, Массачусетс. Ныне — Ординарный профессор в отставке.

Четыре сборника стихов: «Северный берег» (1938 г., Варшава), «Царская Осень» (1953 г., Париж), «Хвала» (1967 г., Вашингтон), «Золушка» (1970 г., Лувен). Монография: К. Леонтьев (Жизнь и творчество), Берн, 1974 г. Цикл «Играющий человек» и «Собрание стихов» — в Самиздате, 1978-1979 г.г. Сотрудничал во многих эмигрантских журналах: «Путь», «Современные Записки», «Возрождение», «Новый Журнал», «Опыты», «Мосты» и др., а также в газетах «Русская Мысль» и «Новое Русское Слово».

**И Н О П ь е р**, родился в С. Петербурге в 1909 году. В возрасте 18-ти лет обосновался в Париже. Художественной деятельностью занялся в 1932-33 г.г. Член Общества Осеннего Салона. С 1974 года — почетный гражданин города Новый Орлеан (США). Выставлялся в Ассоциации Художников «Свидетелей своего Времени» и в «Парижском Салоне» в Сорбонне.

Три произведения приобретены Французским государством для музея Современного Искусства.

**К Е М Б А Л Л Р о б и н**, английский славист. Родился в Бирчангере (Англия). Учился в университетах Фрайбург-Бризгау (ФРГ) и Сорбонне. Преподавал в Кембриджском университете. В 1965 г. опубликовал докторскую диссертацию «Александр Блок — Изучение ритма и метрики». С 1967 года — преподаватель (и впоследствии, профессор) Лозанского университета. С 1973 по 1980 г.г. — президент швейцарского Академического общества славистов. Автор многочисленных работ и статей, посвященных русской культуре. Переводчик Ахматовой, Блока, Цветаевой и других русских поэтов.

**Л О С С К И Й Б о р и с**, родился в 1905 году в Петербурге. Учился в гимназиях Шидловской и Стоюниной, одновременно посещая музыкальные курсы Глассера. Поступил на факультет общественных Наук (бывший филологический), когда его отец сидел на Шпалерной. Выехал из России вместе с высланными в 1922 году, сперва в Берлин, затем в Прагу. В Париже с 1927 года. Окончил Сорбонну и Школу Лувра (история искусства). В 1931 году защитил диссертацию о Александре Леблоне, архитекторе Петра Великого. Хранитель Турских музеев и музеев Амбуаз и Ришельё. С 1965 по 1970 г.г. хранитель Дворца Музея Фонтенебло.

Автор многих работ и статей, опубликованных во Франции, Чехии и Италии об европейском искусстве XVI-XVIII в.в.

Кавалер Почетного Легиона.

**Л И Ш К Е А н д р е й**, родился в Париже в 1952 г. Музыковед, музыкальный критик. Сын пианиста-аккомпаниатора Константина Александровича Лишке. Музыкальное образование получил в Русской Консерватории им. Рахманинова в Париже (классы гармонии и контрапункта проф. Катюара), в Schola Cantorum (диплом по истории и эстетике музыки, 1974 г.) и в Парижской Консерватории, где получил 1-ый приз по высшему классу истории музыки в 1977 г. Там же защитил в 1979 г. музыковедческую диссертацию. Музыкальный критик газеты «Русская Мысль» и французского журнала «Лирика», сотрудник музыкальных словарей Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) и Larousse de la Musique. Выступает с передачами о русской музыке по французскому радио.

**Л О Г И Н О В А Т а т ь я н а**, родилась в Севастополе, уехала учиться в Париж в 1920 году, окончила Химический Институт. Одновременно занималась живописью у Maîtres de l'École de Paris — и у Гончаровой и Ларионова. Инициатор и редактор сборника «Gontcharova et Larionov» — 50 ans à St Germain des Prés. Изд. «Klincksieck». Написала воспоминания о Буниных. Инициатор и организатор Дней Бунина, в Грассе, в ноябре 1973 года.

Выставляла картины в салоне Тюильри, в Парижских галереях и в провинции, в Швейцарии, в Швеции, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде. Ее картины находятся в музее Сен-Жермен ан Ле, в Сен-Пьер в Лионе, в Грассе.

**ЛИФАРЬ Сергей**, родился в 1905 г. в Киеве. Учился в киевской гимназии, Консерватории и балетной школе Киевской оперы. 1923-1929 г.г. — в группе Дягилева (Париж, Монте-Карло). Первые роли в многочисленных балетах, постановки во всех европейских столицах. С 1929 г. — балетмейстер Парижской оперы. Поставил около 200 балетов. Сотрудничал со знаменитыми русскими, французскими и другими композиторами и художниками. В 1937 г. — главный организатор пушкинских торжеств в Париже: выставка, юбилейные издания, статьи, лекции. В 1958 г. создает университет танца, ректором которого он является. С 1970 г. — член-корреспондент французской Академии искусств. В 1972 г. были его персональные выставки картин и рисунков. По предложению французского президента Ж. Помпиду одна из его работ была куплена Музеем современного искусства им. Ж. Помпиду. С. Лифарь — автор многих книг на французском языке о танце и истории мирового балета. На русском языке его основные книги «Дягилев» (1939), «Танец» (1937), «История русского балета» (1945), «Моя зарубежная Пушкиниана» (1966), автобиография «Страдные годы» (1935). Ему принадлежат художественные издания «Путешествия в Арзрум» и «Писем Пушкина Н. Н. Гончаровой» факсимильное издание). Печатался в «Числах», «Современных Записках», «Русских Записках», «Возрождение» и в газете «Русская Мысль». Имеет многочисленные награды разных стран, Médaille de Vermeil города Парижа (1974).

**МАКВЕЙ Гордон**, английский славист, с 1969 г. — профессор русской литературы в Университете Восточной Англии (University of East Anglia, Norwich). В 1969 г. защитил в Оксфорде докторскую диссертацию, «Жизнь и творчество Сергея Есенина (1895-1925)». Автор свыше двадцати публикаций в научных журналах Англии и США (о Есенине, Ивнеле, Ключеве, Крученых, Кусикове, Мариенгофе и др.). Автор двух книг — биография Есенина, *Esenin. A Life* (Ардис, США, и Ходдер и Стаутон, Лондон, 1976), и *Isadora and Esenin* (Ардис, США, и Макмиллан, Лондон, 1980).

**МОРШЕН Николай**, родился в 1917 г. Автор трех сборников стихов: «Тюлень» (Посев 1959 г.), «Двоеточие» (1967 Вашингтон), «Эхо и зеркало» (Berkeley 1979 г.). Печатался в журналах «Грани», «Новый Журнал». Публикует свои стихи в альманахе «Перекрестки». См. стихи Моршена в антологиях «На Западе», «Муза Диаспоры», «Чтец-декламатор», Содружество «Вне России».

**НАБОКОВ Сергей**, родился около Царского Села 28 июня 1902 г. Покинул Россию в апреле 1919 г. при эвакуации Ялты перед занятием Крыма красной армией. Жил и учился в Афинах, с 1932 г. поселился в Бельгии, где занимался переводами и журналистической работой. С 1944 г. — корреспондент агентства Рейтер, с 1946 по 1967 — директор бельгийского отдела Рейтер. Был бельгийским корреспондентом газет «Дейли Телеграф» и «Сэндей Телеграф». С 1947 по 1967 был первым вице-президентом Союза иностранной печати в Бельгии.

**НИВА Жорж**, французский славист, профессор русской литературы в Женевском университете; автор двух книг о Солженицыне и многочисленных статей о русских символистах (в том числе этюда о «Котике Летаеве» — «Паленгез детства»). Перевел на французский язык «Петербург» и «Котика Летаева».

**ОДОЕВЦЕВА Ирина**, (р. 1901) поэт и писательница. Член второго Цеха Поэтов. В 1921 году стала женой Георгия Иванова, через двадцать лет после его смерти вышла замуж за писателя Я. Н. Горбова. Автор шести сборников стихов: «Двор чудес» (1922), «Контрапункт» («Рифма» Париж 1951), «Стихи, написанные во время болезни» Париж 1952, «Десять лет» Рифма 1961, «Златая цепь» Рифма 1975, «Портрет в рифмованной раме» Париж 1976. Автор трех романов: «Ангел смерти», «Изольда», «Оставь надежду навсегда» и воспоминаний «На берегах Невы». Печаталась во всех крупных журналах русского зарубежья: «Звено», «Современные Записки», «Числа», «Круг», «Мосты», «Современник»,



«Новый журнал». Готовит к печати второй том Воспоминаний «На берегах Сены» и седьмой сборник стихов «Золова арфа».

**РАЕВ Марк**, родился в Москве. Учился во Франции. Получил докторскую степень Harvard University (1950). С 1961 года профессор русской истории Columbia University, с 1972 года — Bakhmeteff Professor of Russian Studies. С.У. Автор монографии о Сперанском, о корнях русской интеллигенции в XVIII в. Опубликовал множество статей в славистских журналах. Преподавал в Сорбонне, Берлине, Кельне. Был Fellow of Oll Souls College, работал в Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel и, в порядке обмена, в архивах Академии наук СССР.

**РАННИТ Алексис**, родился в 1914 году в Калласте, Эстония. Искусствовед, поэт, критик-эссеист и каллиграф. Автор 6-ти эссе в области истории и теории искусств, одна из которых, о литовском художнике М. К. Чюрленисе, была издана UNESCO и 6 сборников стихотворений на эстонском языке. Два из них были переведены на русский язык Лидией Алексеевой, Василием Бетаки, Борисом Нарциссовым, Юрием Иваском, Георгием Адамовичем и другими.

Последняя книга Раннита — «Новаторство и традиция», искусствоведческий каталог собрания Томаса П. Уитней, была издана американским университетом штата Виргиния в 1980 году. *Signum et verbum*, третья книга английских переводов из его поэзии, исполненных американским поэтом Хенри Лайманом (Luman) выйдет в 1981 году в Нью-Йорке (в издательстве Элизабет Пресс). С 1960 года Раннит занимает пост куратора Института по изучению России и Восточной Европы в Йельском Университете.

**САВИЦКИЙ Дмитрий**, родился в Москве в 1944 году. Учился в Лит. Институте. Был членом-корреспондентом Союза Писателей. Писал для детей, докум. кино и радио. Стихи его циркулировали в Самиздате. На Западе с 1978 года. Опубликовал, в переводе на франц. язык: «Les hommes doubles». Ed. Lattès и «Anti-Guide de Moscou». Ed. Ramsey. Пишет для французской прессы.

**СТРУВЕ Глеб**, историк литературы и поэт. Родился в 1898 г. в С.-Петербурге. Сын известного философа и общественного деятеля П. В. Струве. Окончил Петербургский, а затем Оксфордский университет. Преподавал в Лондонском университете, с 1947 г. — профессор Калифорнийского университета. Автор ряда широко известных книг, в том числе «Истории русской советской литературы» (1935), переведенной на основные европейские языки, «Русская литература в изгнании» (1956 г.), «Русский европеец» (1950). Совместно с Б. Филипповым выпустил собрания сочинений Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Николая Гумилёва, Бориса Пастернака, Николая Клюева, Николая Заболоцкого. Печатался в журналах «Жар-Птица», «Русская Мысль», «Опыты», «Новый Журнал», в газетах «Русская Мысль», «Новое Русское Слово». Напечатал множество статей в академических изданиях.

**ТАУБЕР Екатерина**, родилась в Харькове в декабре 1903 года. В 1920 году выехала с родителями в Белград, где прожила до 1936 года. Кончила два старших класса Харьковского Института, а потом французское отделение Белградского Университета и преподавала в сербской школе французский и немецкий языки. В 1936 году уехала во Францию и вышла замуж за Константина Ивановича Старова.

Печататься начала с 1928 года в пражской «Воле России», в парижских сборниках Союза Молодых поэтов и в сборниках «Перекресток». Печаталась в «Современных Записках», в «Новом Журнале», в «Русских Записках», в «Журнале Содружества» в Выборге, в парижской газете «Возрождение» и в торонтовском «Современнике». Стихи включены в четьре Антологии Зарубежья: «Якорь» 1935 г., «На Западе» 1953 г., «Муза Диаспоры» 1960 г. и «Содружество» 1966 г.

4 сборника стихов: «Одиночество» 1935 г., «Под сенью оливы» 1948 г., «Плечо с плечом» 1955 г., «Нездешний дом» 1973 г. Кроме того, рассказы печатались в «Новом Журнале», «Мостах» и «Русской Мысли», а периодические статьи и стихи в «Новом Журнале», «Гранях» и «Современнике».

**ТЕРЛЕЦКИЙ Николай**, родился в Петербурге, там же учился во 2-м кадетском корпусе. Эмигрировал из Феодосии с Сводным кадетским корпусом. Окончил русскую гимназию в Моравской Тршебове и учился шесть семестров в университете в Праге. Был переводчиком, преподавателем, редактором, кинодраматургом и безработным. «Был женат, развелся, опять женат, опять развелся, опять женат и опять развелся». До 1948 года были изданы три книги. В 1965 году эмигрировал в Швейцарию и там были изданы две книги на чешском языке. Живет в Швейцарии.

**ТЕРНОВСКИЙ Евгений**, родился в 1941 г. в г. Раменское (возле Москвы). Переводил стихи Лорки, Вальехо, Мачадо, Нервала. В 1974 г. покинул СССР. В эмиграции опубликовал две повести («Странная история», 1976 г. «Приёмное отделение» 1979 г.), статьи в русской зарубежной прессе по религиозным и литературным вопросам. В настоящее время — лектор Кельнского университета.

**УЛЬЯНОВ Николай**, родился в 1904 г. в С.-Петербурге. Писатель, историк и эссеист. Автор двух романов «Атосса» (1952 г.) и «Сириус» (1977 г.), книги «Происхождение украинского сепаратизма» (1966), сборника рассказов «Под каменным небом» (1970) и двух книг эссе — «Диптих» (1967) и «Свиток» (1972), исследований «Исторический опыт России» (1962), «Замолчанный Маркс» (1969) и «Северный Тальма» (1964). Печатался в журналах «Возрождение», «Опыт», «Воздушные пути», «Новый Журнал», в газете «Новое Русское Слово». Многие его статьи вышли книгой под названием «Спуск флага» (О России и русском изгнанничестве).

**ФОТИЕВ Кирилл**, прот., родился в 1927 г. Образование — философский факультет Гамбургского университета и Православный Богословский Институт в Париже — кандидат богословия, ученик А. В. Карташева по истории Церкви. Литературный критик и журналист.

**ЧИННОВ Игорь**, родился накануне Первой войны под Ригой. Ранние опыты — еще студенческих лет, а первая книга, в тонах адамовичевской «парижской ноты», со словарем нарочито обедненным, вышла в 1950 г. в Париже, благодаря Сергею Маковскому и Георгию Иванову. Вторую книгу, уже покинув Париж для Германии, написал в том же сдержанном «парижско-нотном» регистре, а третья, возникшая в США, куда в 1962 г. был приглашен профессорствовать в Канзасский университет, отличалась появлением верлибров. В четвертой и пятой книге появились гротески, нарочито обедненный словарь сменился обогащенным, с усиленной образностью. Шестая книга оказалась «гимном красоте», в седьмой опять возобладали гротескные «картинки».

Книги стихов: «Монолог», изд-во Рифма, Париж, 1950. «Линии», изд-во Рифма, Париж, 1960. «Метафоры», изд. Нового журнала, Нью-Йорк, 1968. «Партитура», изд. Нового журнала, Нью-Йорк, 1970. «Композиция», изд. Рифма, Париж, 1972. «Пасторали», изд. Рифма, Париж, 1976. «Антитеза», изд. Birchbark Press, 1979.

Представлен в антологиях: Эстафета; На Западе; Чтец-Декламатор; Modern Russian Poetry; Муза Диаспоры; The Anthology of Contemporary Russian Literature; Russian Poetry; The Bitter Air or Exile; Вне России; Содружество; America's Russian Poets...

Сотрудничал в журналах Числа, Новоселье, Литературный современник, Новый журнал, Опыт, Грани, Мосты, Воздушные пути, Современник, Возрождение, Континент и др.

**ШАХОВСКАЯ кн. Зинаида** (Малевская-Малевич), родилась в Москве в 1906 году. Эвакуировалась из Новороссийска в Константинополь в феврале 1919 года. До войны сотрудничала в эмигрантских журналах и западной прессе. С 1949 года по 1968 писала исключительно по-французски. За этот период в Париже вышло 16 ее книг: романы, исторические работы и четыре тома воспоминаний (1910-1950 г.г.). Многие были переведены на другие языки. Лауреат «Премии Парижа» за 1949 г. и дважды лауреат французской Академии. В 1940-41 г.г. участвовала в Сопrotивлении, с 1941 по 1945 работала

журналисткой в Лондоне, с 1945 по 1949 была корреспондентом при союзных Армиях (Процессы Нюрнберга и т. д.). С 1958 по 1968 г. была журналисткой французского радио. С 1968 по 1978 г.г. была главным редактором парижской газеты «Русская Мысль».

Книги на русском языке: «Уход», стихи 1934. «Дорога», стихи 1935. «Перед сном», стихи 1970. «Отражения» литературные мемуары о русских зарубежных писателях 20-30 годов, 1975. «Рассказы, статьи, стихи», 1978 г. «В поисках Набокова», 1979 г.

Председательница жюри премии им. Владимира Даля

Офицер Почетного Легиона. La Croix des Evadés.

Офицер фр. ордена Искусств и Словесности.


Сотрудничала в русской периодике в «Современных Записках», «Русских Записках», «Нови», «Содружестве», «Возрождении», «Новом Журнале», «Н.Р.С.», и т. д.

В иностранной периодике: «La Revue des Deux Mondes», «Les Nouvelles Littéraires», (Париж), «The Contemporary Review», «The Message» (Англия), «The Russian Review» (США), «Le Labyrinthe» (Женева) и «Figaro Littéraire» (Париж).

ФОТОГРАФИИ КАРТИН И ЗАСТАВОК: В Л. С Ы Ч Е В.

КОРРЕКТОР: В. А. Д О П Е Р А.

ВСЬ МАТЕРИАЛ,  
НАПЕЧАТАННЫЙ В ЭТОМ АЛЬМАНАХЕ,  
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ.



РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ГЛУБОКУЮ  
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЖЕРТВОВАТЕЛЯМ,  
ПОЗВОЛИВШИМ ОСУЩЕСТВИТЬ  
« РУССКИЙ АЛЬМАНАХ »

Т. И. РОЗЕНБЕРГ  
КН. ОЛЬГЕ ГОЛИЦЫНОЙ  
Н. А. ТЕНСЕ  
Е. В. РЮКШТЮЛЬ  
М. и М. САМАРИНЫМ  
В. БЕЗРУКИ  
КН. А. МАКИНСКОМУ  
Л. А. ШИРМАН  
ВЛАДИМИРУ СЫЧЕВУ  
АНДРЕЮ ЛАЗАРЕВУ  
ЕЛИЗАВЕТЕ ЛАЗАРЕВОЙ  
Е. и М. ИВАНОВЫМ  
А. и Н. СОЛЛОГУБ  
А. К.

THE JULIA A. WHITNEY FOUNDATION  
СНЕКHOV PUBLISHING CORPORATION



## СПИСОК ЗАСТАВОК И ФАКСИМИЛЭ В ТЕКСТЕ

	стр.
Ю. Анненков. На лестнице. Собр. Р. Герра . . . . .	20
Ю. Анненков. Зеркало, 1913 г. Териоки. Собр. Р. Герра . . . . .	29
С. Чехонин. Азбука. Собр. Р. Герра . . . . .	38
” ” ” . . . . .	87
” ” ” . . . . .	89
” ” ” . . . . .	110
” ” ” . . . . .	124
” ” ” . . . . .	267
” ” ” . . . . .	276
” ” ” . . . . .	282
” ” ” . . . . .	290
” ” ” . . . . .	301
Ю. Анненков. Маска. Собр. Р. Герра . . . . .	45
С. Чехонин. Ваза. 1927 г. Собр. Р. Герра . . . . .	57
Н. Гумилев. Автограф стихотворения. Собр. С. Лифаря . . . . .	80
С. Чехонин. Урна. 1918 г. Собр. Р. Герра . . . . .	82
Ю. Анненков. Изба, 1918 г. Собр. Р. Герра . . . . .	97
М. Яковлев. Самовар. Собр. З. Шаховской . . . . .	108
С. Чехонин. Скрипка, 1925 г. Собр. Р. Герра . . . . .	134
П. Ино. Бабочка. Собр. Р. Герра . . . . .	152
А. Раннит. Факсимилэ . . . . .	155
Н. Гончарова. Птица. Собр. З. Шаховской . . . . .	183
С. Чехонин. Квадрига. Собр. Р. Герра . . . . .	187
С. Чехонин. Маска. Собр. Р. Герра . . . . .	188
А. Ремизов. Цветок. Собр. Р. Герра . . . . .	230
С. Чехонин. Палитра, 1921 г. Собр. Р. Герра . . . . .	252
Ташка Лермонтова. Частное собрание . . . . .	313
Е. П. Иванов. Фотография (тридцатые годы?) . . . . .	317
С. Шаршун. «Накинув плащ». Листовка. Собр. Р. Герра . . . . .	384
С. Чехонин. Сноп. Собр. Р. Герра . . . . .	400
С. Судейкин. Les petits riens de Mozart. Собр. Р. Герра . . . . .	408
Наполеон. Письмо. Собр. А. Полонского . . . . .	411
Де Голль. Письмо З. Шаховской. Собр. З. Шаховской . . . . .	412
С. Витте. Письмо. Собр. С. Набокова . . . . .	415
С. Чехонин. Букет. Собр. Р. Герра . . . . .	417
Салтыков-Щедрин. Письмо Гальперину-Каминскому. Собр. Р. Герра . . . . .	421
Н. Римский-Корсаков. Письмо. Собр. С. Лифаря . . . . .	444
С. Чехонин. Портрет А. Глазунова. 1920 г. Собр. Р. Герра . . . . .	445
А. Блок. Письмо. Собр. А. Полонского . . . . .	452
В. Пастернак. Письма Ф. Степуну. Собрание А. Раннита . . . . .	476
Ю. Анненков. Занавес театра Вольной Комедии, 1920 г. Собр. Р. Герра . . . . .	478

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

## На отдельных листах

- I  
 Портрет Андрея Белого, раб. С. Залшупина. Берлин 1922 г. Собрание Р. Герра.  
 Дарственная надпись В. Пастернака Андрею Белому (В. Н. Бугаеву) на книге Гете «Тайны», перевод Бориса Пастернака. Введение профессора Г. А. Рачинского. Марка и обложка раб. В. П. Третьякова, тип. ГПУ (!). Собрание Р. Герра.  
 Письмо Марины Цветаевой В. Н. Буниной. Автограф. Собрание Р. Герра.
- II  
 Дарственная надпись В. Пастернака Ф. Степуну на книге Гете «Фауст». Госиздат, М. 1957 г. Собрание Р. Герра.  
 Ф. Степун, фото шестидесятых годов. Собрание Р. Герра.  
 Н. Лосский с женой. СПб 1912. Из архива В. Н. Лосского.
- III  
 Портрет Л. Андреева, раб. Ю. Анненкова. Куоккала 1912 г. Собрание Р. Герра.  
 И. Бунин на банкете в честь С. Лифаря 1937 г. Из архива С. Лифаря.  
 В. Немирович-Данченко 1935 г. Фото из собрания Н. Андреева.  
 С. Рахманинов и С. Лифарь. Париж 1939 г. Фото из архива С. Лифаря.
- IV  
 К столетию со дня рождения В. К. Зайцева. Портрет В. Зайцева, раб. С. Залшупина. Берлин 1922 г. Собрание Р. Герра.  
 Портрет В. Зайцева, раб. С. Иванова, сангина, Париж 1960 г. Собрание Р. Герра.  
 Портрет В. Зайцева, раб. Ю. Анненкова, карандаш, Париж 1968 г. Собрание Р. Герра.  
 В. Зайцев, Париж 1970 г. Фото Ренэ Герра.
- V  
 А. Ремизов. Рисунок из серии «Les hommes et les démons». (В. Ходасевич). Собрание Р. Герра.  
 А. Ремизов. Рисунок к книге «Посолонь» («Артамошка и Епифашка»). Собрание Р. Герра.  
 Портрет А. Ремизова, раб. С. Залшупина, карандаш. Берлин 1922 г. Собрание Р. Герра.  
 Портрет-шарж А. Ремизова, раб. Н. Андреева, карандаш. Берлин 1923 г. Собрание Р. Герра.
- VI  
 Ю. Анненков. Латинский квартал, масло. Париж 1925 г. Собрание Р. Герра.  
 Л. Зак. Парижское кафе, масло. Париж 1927 г. Собрание Р. Герра.
- VII  
 С. Малевский. Париж ночью, масло. Париж 1964 г. Собрание З. Шаховской.  
 С. Малевский. Интерьер, масло. Париж 1959 г. Собрание З. Шаховской.
- VIII  
 М. Андреевко. Монпарнас, масло. Париж 1954 г. Собрание Р. Герра.  
 Ю. Анненков. Декорация к постановке пьесы В. Набокова «Событие». Париж 1939 г. Собрание Р. Герра.
- IX  
 К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ДОСТОЕВСКОГО. Ю. Анненков. Обложка к «Скверному анекдоту», тушь. Собрание Р. Герра \*.
- X  
 Ю. Анненков. Иллюстрации к «Скверному анекдоту», тушь. Собрание Р. Герра.
- XI  
 Ю. Анненков. Иллюстрации к «Скверному анекдоту», тушь. Собрание Р. Герра.
- XII  
 С. Лифарь. Парижская Опера, масло. Париж 1969 г. Собрание С. Лифаря.  
 С. Лифарь. Эскиз к постановке балета «Снегурочка», тушь.

- XIII Ю. Анненков. Декорация к постановке «Скверного анекдота» в театре им. В. Ф. Комиссаржевской, акварель. Москва 1914 г. Собрание Р. Герра.  
С. Чехонин. Композиция, тушь. Собрание Р. Герра.
- XIV К столетию со дня рождения Н. Гончаровой. Автопортрет. Sainte Maxime 1927 г. Акварель. Собрание Р. Герра.
- XV Н. Гончарова. Магнолия, масло, 1925 г. Собрание Р. Герра.
- XVI К столетию со дня рождения М. Ларионова. Портрет Н. Гончаровой, карандаш. 1907 г. Собрание Т. Логиновой.  
М. Ларионов. Портрет С. Дягилева, карандаш. Собрание Р. Герра.  
М. Ларионов. Рисунок, карандаш. Собрание Р. Герра.
- XVII С. Шаршун. Музыкальная композиция («Франческа ди Римини» Чайковского), масло. Париж 1954 г. Собрание Р. Герра.  
Н. де Стааль. Композиция, масло, 1945 г. Собрание Р. Герра.
- XVIII А. Ланской. Композиция, гуашь. Собрание Р. Герра.  
А. Ланской. Композиция, масло.
- XIX А. Старицкая. Текст Марины Цветаевой, гуашь-коллаж. Париж 1979 г.  
А. Старицкая. Текст М. Вутор, гуашь-коллаж. Париж 1979 г.
- XX С. Шаршун Русское солнце, масло. Париж. Собрание Р. Герра.  
Д. Соложев. Музыкальная композиция, цветной карандаш, 1952 г. Собрание Р. Герра.
- XXI С. Голлербах. Две фигуры, акрилик, Нью-Йорк 1972 г. Собрание Р. Герра.  
П. Ино. Смерть и Воскресение, масло. Париж 1960 г.
- XXII С. Чехонин. Портрет К. Чуковского, пастель. 1920 г. Собрание Р. Герра.  
Н. Альтман. Портрет Ю. Анненкова, перо, Париж 1930 г. Собрание Р. Герра.  
Л. Зак. Портрет А. Левинсона, акварель. Париж 1925 г. Собрание Р. Герра.
- XXIII Ю. Анненков. Портрет С. Шаршуна. Париж 1952 г. Собрание Р. Герра.  
Л. Зак. Портрет С. Шаршуна, тушь. Париж 1945 г. Собрание Р. Герра.  
М. Андреевко. Портрет С. Шаршуна, масло. Париж 1944 г. Собрание Р. Герра.
- XXIV С. Судейкин. 1814 г. Акварель. Собрание Р. Герра.  
С. Чехонин. Маска, тушь. Собрание Р. Герра.

\* Еще до второй мировой войны издательство «Петрополис» заказало Ю. Анненкову иллюстрации к рассказу Достоевского «Скверный анекдот». По неизвестным причинам, издание не было осуществлено, и только в 1945 году в переводе Алексея Ремизова и Jean Chuzeville этот рассказ вышел в Париже в издательстве «Aux éditions des Quatre vents» с предисловием Luc Durtain в количестве 750 экземпляров для библиофилов. Здесь воспроизводятся не напечатанные до сих пор варианты, предназначавшиеся для русского издания. Год спустя Ю. Анненков выпустил в свет свою инсценировку с собственными рисунками гримов (В. Temiriaseff «Fâcheuse Aventure», pièce en huit tableaux d'après Th. M. Dostoievsky. Etudes de maquillage de G. Annenkoff. Aux éditions des Quatre vents. Под псевдонимом В. Темирязов Ю. А. печатался в «Современных Записках» и опубликовал в 1934 году в издательстве «Петрополис» свой роман «Повесть о пустяках». В 1914 году Ю. А. уже сделал эскизы декораций, так же как и рисунки гримов, к инсценировке рассказа Достоевского, для театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Р. Г.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

### ПРОЗА

Андрей Белый — Томочка-песик. (Отрывок из романа «Эпопея»). Послесловие Ж. Нива . . . . .	9
Марина Цветаева — Чортъ. Послесловие Р. Кембалла . . . . .	21
Д. Савицкий — Отрывок из романа «Прыжок» . . . . .	39
Е. Таубер — Своя крыша . . . . .	46
Н. Ульянов — Золотая книга . . . . .	48
Н. Терлецкий — Вид с Олимпа . . . . .	58

### ПОЭЗИЯ

Николай Гумилев . . . . .	79
Вячеслав Иванов . . . . .	81
Георгий Иванов . . . . .	84
Ирина Одоевцева . . . . .	85
Лидия Алексеева . . . . .	88
Ольга Анстей . . . . .	90
Дмитрий Бобышев . . . . .	92
Игорь Бурихин . . . . .	96
Анатолий Величковский . . . . .	98
Тамара Величковская . . . . .	100
Юрий Иваск . . . . .	101
Николай Моршен . . . . .	103
Борис Нарциссов . . . . .	107
Валерий Перелешин . . . . .	109
Дмитрий Савицкий . . . . .	111
Странник . . . . .	115
Екатерина Таубер . . . . .	118
Игорь Чиннов . . . . .	120

### ИСКУССТВО

С. Лифарь — Танец навсегда . . . . .	127
А. Лишке — Появление русской музыки во Франции в XIX веке . . . . .	135
П. Ино — Самопознание через искусство . . . . .	148
А. Раннит — О Шаршуне . . . . .	153
Ж. Маркадэ — Два художника парижской школы . . . . .	156
В. Маркадэ — Бездонная глубина живописи Н. де Стаалья . . . . .	165
А. Григорьев — Одинокий художник — Малевский . . . . .	173
Т. Логинова — Наталья Гончарова и Михаил Ларионов . . . . .	178
Р. Герра — С. Чехонин — мастер русской графики . . . . .	184

### ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Ю. Иваск — Леонтьев и Розанов . . . . .	191
Г. Маквей — Сергей Есенин и Айседора Дункан . . . . .	205
Б. Филиппов — Заметки об Алексее Ремизове . . . . .	222



З. Шаховская — В. И. Поль и Ангельские стихи В. Набокова	231
Арх. Иоанн (Шаховской) — Из переписки с Б. Зайцевым . . .	236
Интервью Л. Зака с А. Раннитом . . . . .	250

## ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ

Николай Бердяев — Письмо Д. Философову. (Комментарий Е. Терновского) . . . . .	255
А. Беннигсен — Экуменизм царя Ивана Васильевича . . . . .	268
В. Волков — Разведка у Святого Владимира . . . . .	277
о. К. Фотиев — Заря свободы . . . . .	283
С. Левицкий — О внутренней запредельности . . . . .	291
М. Раев — О царствовании Николая I в свете новейшей историографии . . . . .	302

## МЕМОУАРЫ

Н. Г. Чулкова — Глава из книги воспоминаний о моей жизни	317
Н. Андреев — О русской литературной Праге . . . . .	332
Б. Лосский — К «изгнанию людей мысли в 1922 г.» . . . . .	351
Е. Каннак — Берлинский кружок поэтов . . . . .	363
Л. Алексеева — Из воспоминаний о Белграде . . . . .	367
А. Шваненберг — Последние годы Репина . . . . .	369
Г. Струве — Надписи Ремизова на книгах . . . . .	379
М. Андреевко — Журнал Шаршуна . . . . .	387
В. Вейдле — Главы из воспоминаний. (Публикация Р. Герра)	393
И. Одоевцева — На берегах Сены. (О И. А. Бунине) . . . . .	401

## АРХИВЫ

Письмо Наполеона . . . . .	411
Письмо генерала де Голля. (Публикация З. Шаховской) . . . . .	412
Из переписки К. Д. Набокова с С. Витте и др. (Публикация С. С. Набокова) . . . . .	414
Письмо Салтыкова-Щедрина. (Публикация Р. Герра) . . . . .	420
Н. Баранова-Шестова. Из писем Льва Шестова . . . . .	422
Письмо Н. О. Лосского. (Публикация Б. Лосского) . . . . .	435
С. Левицкий — К 110-летию со дня рождения Н. Лосского . . . . .	437
Письма Л. Толстого и А. Блока Леониду Андрееву. (Комментарий Р. Дэвиса) . . . . .	446
Интервью Б. Зайцева с Р. Герра . . . . .	456
Борис Пастернак — Два письма Федору Степуну. (Публикация Р. Герра) . . . . .	476
Краткие сведения о сотрудниках Русского Альманаха . . . . .	479
Список иллюстраций, заставок и факсимилэ . . . . .	489

## SOMMAIRE

pages

### PROSE

A. Biély — Tomočka — le petit chien (fragment du roman l'Épopée). Postface de G. Nivat . . . . .	9
M. Zvétaïeva — Le Diable (fragments). Postface de R. Kemball	
D. Savitzky — Le saut (fragment d'un roman) . . . . .	39
E. Tauber — Mon toit (récit) . . . . .	46
N. Oulianoff — Le livre d'or (nouvelle) . . . . .	48
N. Terlecky — La vue de l'Olympe ,(nouvelle) . . . . .	58

### POESIE

N. Goumilev . . . . .	79
V. Ivanov . . . . .	81
G. Ivanov . . . . .	84
I. Odoevzev . . . . .	85
L. Alekseeva . . . . .	88
O. Anstey . . . . .	90
D. Bobyshev . . . . .	92
I. Burichin . . . . .	96
A. Velitchkovsky . . . . .	98
T. Velitchkovskaya . . . . .	100
G. Ivask . . . . .	101
N. Morshen . . . . .	103
B. Nartsissov . . . . .	107
V. Pereleshine . . . . .	109
D. Savitzky . . . . .	111
Strannik . . . . .	115
E. Tauber . . . . .	118
I. Chinnov . . . . .	120

### ART

Serge Lifar — La danse pour le vie . . . . .	127
A. Lischke — La musique russe en France au XIX siècle . . . . .	135
P. Ino — L'art et la connaissance de soi . . . . .	148
A. Rannit — Charchoune . . . . .	153
J. Marcadé — Deux peintres de l'École de Paris . . . . .	156
V. Marcadé — La profondeur sans fond de l'art de N. Staël	165
A. Grigorev — Malevsky le peintre solitaire . . . . .	173
T. Loguinova — N. Gontcharova et M. Larionov . . . . .	178
R. Guerra — S. Tchekhonine . . . . .	184

### ETUDES ET CRITIQUE

G. Ivask — Leontiev et Rozanov . . . . .	191
--	-----

	pages
G. Mcvay — Essénine et I. Duncan . . . . .	205
B. Filipoff — Notes sur Remizov . . . . .	222
Z. Schakovskoy — V. Poll et la poésie angélique de V. Nabokov . . . . .	231
Archevêque Jean (Schakovskoy) — Lettres choisies de sa correspondance avec B. Zaïtsev . . . . .	236
Interview de Léon Zack par A. Rannit . . . . .	250

## PHILOSOPHIE ET HISTOIRE

N. Berdiaev — Lettre à D. Filosofov. (Commentaires de E. Ter-novsky) . . . . .	255
A. Bennigsen — L'œcuménisme du tsar Ivan le Terrible . . . . .	268
V. Volkoff — Saint Vladimir et le Renseignement . . . . .	277
R. P. C. Fotiev — L'aube de la liberté . . . . .	283
S. Levitzky — De l'au-delà intérieur . . . . .	291
M. Raev — Le règne de Nicolas I . . . . .	302

## MEMOIRES

N. Tchoukova — Un chapitre de mes souvenirs . . . . .	317
N. Andreev — La vie littéraire russe à Prague . . . . .	332
B. Lossky — Le bannissement des intellectuels en 1922 . . . . .	351
G. Cannac — Les poètes russes à Berlin . . . . .	363
L. Alekseeva — Les cercles littéraires à Belgrade . . . . .	367
A. Schvanenberg — Les dernières années de Répine . . . . .	369
G. Struve — Les dédicaces de Remizov . . . . .	379
M. Andreenko — Les feuillets de S. Charchoune . . . . .	387
V. Weidlé — « Le Contemporain russe ». Les rencontres franco-russes . . . . .	393
I. Odoevzev — Sur les berges de la Seine . . . . .	401

## ARCHIVES

Lettre de Napoléon . . . . .	411
Lettre du général de Gaulle. (Publication de Z. Schakovskoy) . . . . .	412
Correspondance de K. D. Nabokov avec le comte S. Witte... (Publication de S. Nabokov) . . . . .	414
Lettre de Saltykov-Chtchédrine. (Publication de R. Guerra) . . . . .	420
N. Baranoff-Chestov — Extraits de lettres de L. Chestov . . . . .	422
Lettre de N. Lossky. (Publication de R. Lossky) . . . . .	435
S. Levitzky — A. l'occasion de 110 anniversaire de la naissance de N. Lossky . . . . .	437
Lettres de Rimsky-Korsakov et Glazounov . . . . .	443
Lettre de L. Tolstoï à L. Andreev. (Commentaires de R. Davies) . . . . .	446
Interview de B. Zaïtsev par R. Guerra . . . . .	456
Boris Pasternak — Deux lettres à F. Stepun. (Publication De R. Guerra) . . . . .	476
Notes biographiques sur les collaborateurs de l'Almanach russe . . . . .	479
Tables des illustrations . . . . .	489
Couverture de Serge Hollerbach	

*Склад издания:*  
*37, rue du Fort*  
*92130 Issy-les-Moulineaux*  
*France*

---

Achévé d'imprimer sur les  
presses de la P.I.U.F., 3  
rue du Sabot - 75006 Paris

---

Dépôt Légal Avril 1981